

ISSN 0130 — 1527

ЗВЕЗДА ВОСТОКА

1988





ЗВЕЗДА ВОСТОКА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
УЗБЕКИСТАНА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ 56-Й

№ 7

1988 ГОД

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

В номере:

ПРОЗА

РАУЛЬ МИР-ХАЙДАРОВ. Пешие прогулки. Роман	7
ОЛЬГА КРУПЕНЬЕ. Про Катю. Рассказ	65
НИКОЛАЙ ОСТРОУМОВ. «С любимыми не расставайтесь». Повесть	82
МИХАИЛ КАГАРЛИЦКИЙ. Несколько дней в августе. Рассказ	111

ПОЭЗИЯ

АЗИМ СУЮН. Рассказ старика. «Это там, где грани скал отвесны...» Вечер в горах. Перевод с узбекского В. Лещенко	3
ГРИГОРИЙ ЗОБИН. «В квартире холодно...». «Как давит низкий потолок...». «Арбы скрипели до утра...». «...А на столе — раскрытый том...». «Как страшно говорить тогда...». «В старинном парке, в золото одетом». Мастер. «Что ж, в тесноте да не в обиде...»	58
ДМИТРИЙ КУЧЕРЕНКО. Дружба. Размышление. Физики. Простота. Пожелание. Плоты.	60
КОНСТАНТИН МЕЖЛУМЯН. «Мне казалось...». «Проблема выбора не может быть легка...». «Синее небо...» Фома.	63
ВЛАДИМИР ВАЙНШТЕЙН. Декабристу Рылееву. «Когда мне опостылят города...» «Протяжный скрип...». «Видно, мы изменились...». «Во искупление дела правого...». Март. «Безгрешная птаха...»	79
ЧЕРКЕЗ-АЛИ. Ваш возраст. Будь честен. Когда до победы осталась неделя. Кизил. Ручей детства. Перевод с крымско-татарского Д. Костюрина	104
ВАСИЛИЙ ЛАРЦЕВ. Вершины. «Так уж в это утро повелось...» Снова на Иссык-Куле. Каблочки. Сыновьям. Последний ветеран.	108

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ПУКЕЛОВ. Требуется подвижники!	121
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ХАМИД ИСМАЙЛОВ. На крыльях крика своего	131
---	-----

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

К. АКСЕНОВ. Подпространство без уникальности	140
А. СЕДОВА. Такая простая, такая необыкновенная жизнь	142

ПУБЛИКАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

Я. ТОЛЧАН. Без прикрас	144
----------------------------------	-----

РУССКИЕ ПОДВИЖНИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ

КОНСТАНТИН КУРНОСЕНКОВ. Давнее и недавнее 149

НЕРАЗГАДАННЫЕ ТАЙНЫ ВОСТОКА

ЕВГЕНИЙ БЕРЕЗИКОВ. Пещера Тимура 159

САТИРА. ЮМОР

ЗИНОВИЙ РЫБАК. Юмористические рассказы 164

ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА

ЖОРЖ СИМЕНОН. Мэгрэ у фламандцев. Роман. Перевод с французского Н. Брандис и
А. Тетеревниковой. 168

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

И. БУЛКИНА. Поэзия линии и цвета 129

«Звезда Востока» в 1989 году 207

О наших авторах 208

Главный редактор С. П. ТАТУР.

Редакционная коллегия: В. А. АЛЕКСАНДРОВ (ответственный секретарь), А. Р. БЕНДЕР (зам. главного редактора), Е. Е. БЕРЕЗИКОВ, Г. П. ВЛАДИМИРОВ, М. МУХАММАД-ДОСТ, В. П. НЕЧИПОРЕНКО, А. А. ОСМАНОВ, Т. И. ПУЛАТОВ, О. В. СИДЕЛЬНИКОВ, Н. В. СТРИЖКОВ, А. А. УДАЛОВ, Р. Х. ФАРХАДИ.



Азим Суюн

Рассказ старика

Что было — было, тут хоть плачь,
Пусть вспомнить вовсе и не в радость...
Белогвардеец ли, басмач —
Мы в том ничуть не разбирались.

И всякий раз всем кишлаком,
Лишь поступь конницы слышав,
Мы — в горы, в горы!
Хоть ползком,
Но только — дальше, только — выше!
В любом ущелье там приют —
Ну, не кишлак и уж не город,
Зато они не предадут,
Они людей надежней, горы.
А люди... Люди — сколько зла
Всегда приносит их измена.
Ушла жена — любовь ушла!
Так есть ли что-то, что нетленно?
Так что мне — жизнь?
Зачем мне жить
С моей бедой, с моим позором,
Когда и мир-то весь дрожит,
Как я, гонимый страхом в горы!
И плюнул я на мир на весь,
На жизнь, какой она досталась,
Зачем живу —
Зачем я есть,
Когда мне это просто в тягость?..
Взошел рассвет, разлив кумач
В последний раз над этой твердью, —
Белогвардеец ли, басмач:
Я в горы шел теперь за смертью.
Вот-вот плеснется звон подков...
Я шел и шел, забыв усталость,
Но что — людей,
Мне и волков,
Как ни искал, не попадалось.
Ищу... И, словно с плеч гора,
Удаче верю и не верю:
В колючих зарослях — нора!

А где ж еще таиться зверю!
Ползу во тьму — она тепла,
И, значит, смерть моя здесь, рядом...
Но нет, не звери — из кубла
Глядят испуганно зверята.
Я сгреб обоих и — назад
Я полз, казалось, долго-долго.
Ко тьме привыкшие глаза
Должно светились, как у волка.
И ветерок, и неба высь,
И солнце, белое от жара.
И снова мир, и снова — жизнь!
...Навстречу встала волчья пара.
Прижаты уши...
Дыбом шерсть
На двух загривках...
Морд оскалы...
Так, значит, вот она где, смерть,
Которой целый день искал я!
И я шагнул навстречу ей,
Подняв волчат над головою, —
Из жизни конченной моей
В еще клыкастое живое.
Но затрусил волки прочь:
С чего бы вдруг?
Два сильных зверя...
Да как же так, чтоб жить — невмочь!
Живой... И верю, и не верю.

Что было — было, как ни мерь,
Пусть и не в радость в том признаться...
А зло ли жизнь,
Добро ли смерть —
Вот в чем вовек не разобраться.

* * *

Это там, где грани скал отвесны,
Там, где ельник рвется в небеса,
Где пичужек-невеличек песни
Веселят окрестные леса.
Где над кручей сердце замирает,
Где что ни ручей — то водопад.
Где распахнутыми веерами
Дарит вам прохладу виноград.
Это там, где небо бирюзово.
Там, где рощ ореховых уют,
Там, где эхо озорного зова
Скалы хором трижды вам вернут.
Это там на горном склоне, вижу —
Хижина. И перед ней — костер.
Чайник фыркает и паром пышет.
Чабаны, к огню подсев поближе,
Повели о жизни разговор.
Это там. И где б по белу свету
Ни бродил я, по любым местам,
Где б ни жил я, все равно при этом
Сердцем — там я. Я родился там...

Вечер в горах

Солнца шар закатился за горы.
Лишь зорька алеет.
Вот и еще с одним дивным расстался цветком
Сад сегодняшней жизни моей,
и об этом жалею, —
Стало радостью меньше еще одной
в сердце моем.
Что привело меня в этот
угрюмыми кручами сжатый,
В этот глухой уголок,
сотворенный из гор?
Жаждет чего мое сердце
неясною жаждой?
Хуже других не живу.
И судьбе стыдно бросить укор.
Вот уже почернели ущелья.
И веет прохлада ночная.
Вот над миром взошла — глазу больно —
бела и полна,
Словно женская грудь,
и с того так прекрасно-земная,
Озаряя зазубрины скал и реки переливы,
луна.
Я совсем не намерен
смотреть в этот мир безучастно
И бесстрастно считать безвозвратно ушедшие дни,
Хоть и поздно, но я разгадал тайну сердца,
и с этого часа
Пусть биенья его улучшают наш мир —
для того и они.
Ель выросла в мрачный камень,
его оживляя собою,
А попробовал ли ей подобно
на свете я жить?
Посвятил ли хоть бейт этим скалам?
С бедой вековой —
Разобщенностью в мире—
сумел ли в борьбу я вступить?
Двадцать пять мне.
А в возрасте этом иные,
Мир покинув,
остались навечно живущими в нем.
Я еще ничего не успел. Ничего.
Но отныне
Я попробую.
Сердце, пылай беспокойным огнем.
Есть талант или нет?
Чем его удастся измерить?
Есть надежда, что в небе
не зря наши звезды горят.
Сердцем в мир проникать
и трудиться.
Трудиться и верить.
Может, это уменье и есть —
этот самый талант.
И сегодня в пути я.
Назначения пункт не конечный,—

Жив пока я,
 он будет всегда далеко впереди,
 В далях самых бескрайних
 я сеять хочу человечность,
 Я хочу, чтобы этот цветок
 В каждом сердце сумел расцвести.
 Избегая отныне беспечных компаний, застоля,
 Проходя мимо многих соблазнов,
 что дарит нам жизнь,
 Я заветное слово ищу.
 Ах, найти б золотое,
 Чтоб сияньем своим
 с лиц сгоняло усталости тень.
 Я ищу его.
 В детстве друзей своих так мы искали,
 Часто в прятки играя.
 Но было нетрудно найти
 Озорного товарища.
 Уши его выдавали —
 Розовели сквозь куст.
 К слову — много труднее пути.
 О, друзья!
 Не довольно ль твердить нам о вечности солнца,
 Бесконечности мира,
 что разумом нам не объять,
 И что жизнь с красотой ее вечной
 дается
 Нам, как выигрыш...
 Новое б нечто сказать!
 Ибо фактам я верю,
 но коль говорится бесцельно,
 Эти факты —
 скажите, на кой они черт?
 Ибо, слыша сто раз,
 что у времени путь беспредельный,
 Слышу:
 жизнь преходяща у нас.
 И она истечет.
 Все.
 Ждет дело меня.
 Что удастся успеть — неизвестно.
 И никто мне не скажет,
 смогу ль довести до конца,
 Что задумано мною.
 И будет ли место
 Хоть единственной строчке моей
 в человеческих сердцах.
 Так следят пики гор:
 наливается капля от солнца,
 Словно лебедя глаз, —
 ведь начало она ручейка.
 В ней — вершин благородство,
 когда же в предгорья
 пробьется,
 Что вспоит она?
 Жало колючки?
 Иль алое солнце цветка?..

Перевод с узбекского Владимира Лещенко.



Рауль Мир-Хайдаров

ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ

РОМАН

Глава I

ЛАС-ВЕГАС

I

В середине сентября неожиданно пошли дожди, столь редкие в этих краях, и пыльный городок, выцветший за долгое азиатское лето, преобразился: исчезли с окон выгоревшие до хрупкой желтизны газеты, распахнулись ставни, старившие и без того неказистые здания, вымытая ночными ливнями листва обрела подobaющий осени цвет.

Обозначились истинные цвета железных крыш особняков и коттеджей, утопавших в пыльных, мреющих от жары садах, — зеленые, темно-красные, голубые; иные, крытые белой жстью, заиграли зеркальным блеском, а ведь еще неделю назад все были одинаковы под бархатистым слоем пыли. Пыль преследовала повсюду, пробиваясь даже в наглухо закрытые комнаты, где с весны не открывались окна. Конечно, будь полегче с водой, в долгие летние вечера не составило бы труда выбрать минутку и обдать из шланга палисадник под окнами, но воды в нынешнем году явно недоставало: иной раз давали ее лишь в определенные часы, о чем заблаговременно оповещали горожан по радио. Засушливым выдалось лето, резко обмелела Сырдарья — главная поилница этих мест.

После дождей обрели цвет разбитые мостовые и тротуары, омылись бордюры из светлого местного камня — за лето прибило к ним всяких бумажек, окурков, опавших листьев и опять же пыли, оседающей лишь ночью. Темнота и, скорее, подразумеваемая, вечерняя свежесть, которую, кроме старожил, вряд ли кто ощущал, как бы гасили запах пыли, заставляли забыть о ней до утра.

А тут, как после генеральной уборки в хорошем доме, отмывались подоконники, карнизы, фасады, заблестели стекла, и теперь по вечерам городок, словно обновленный, светился огнями, гремел музыкой.

Поселок обрел статус города лет двадцать назад, но таковым по существу не стал и теперь вряд ли когда-нибудь станет, потому что рудник, благодаря которому поспешили назвать городом захолустный райцентр, быстро оказался выработанным, хотя геологи, а затем министерства и ведомства возвестили на всю страну о якобы уникальном заложении, неисчерпаемых запасах, о промышленных разработках на сотни лет, о самой качественной и дешевой руде в мире. И поселок, заметно расстроившийся, но так и не ставший настоящим городом, имел почти все,

что положено городу. За десять лет, что работал рудник, успели построить кино-театры, дворец горняков, ресторан, музыкальную школу, помпезное здание рудоуправления, стадион, две гостиницы. Не обделили себя и местные власти: здание городского суда и прокуратуры, которое в городке называли Домом правосудия, под стать было столице. Из белого камня отстроили и горком партии, и горисполком, на их фасады мрамора не пожалели. Не успели достроить только драмтеатр и больницу — финансирование прекратилось сразу, как только на руднике пошли сбой с планом. И стояли наполовину поднятые корпуса, как напоминание о бывшей финансовой мощи городка и его некогда стремительном росте; и окрестный люд, выждав, по его мнению, приличное время, потихоньку начал тащить со стройки все, что можно. Успели за эти годы отстроить два микрорайона из пятиэтажек, как и всюду, по бедности фантазии, нареченные Черемушками — первыми и вторыми, и несколько улиц с уютными коттеджами и особняками для технической интеллигенции и руководства комбината.

Когда рудник закрыли, специалисты и часть рабочих сразу уехали на новые разработки, а часть рабочих осталась в городке. Какая часть — сказать трудно. Скорее всего, из местных — тех, что за десять лет успели стать шахтерами или работали на многих вспомогательных участках комбината и на стройках. Как бы там ни было, ни одна квартира в Черемушках не пустовала. За те десять лет, пока работал рудник и бурно расстраивался городок, воды хватало вдоволь — комбинату было под силу содержать мощные насосные станции и решать любые, подчас сложные, вопросы снабжения города водой. И в эти десять лет городок не только рос, но и щедро озеленялся, «отцы» города денег не жалели, с управления благоустройства спрашивали строго, и город утопал в зелени.

Рудоуправление свернуло свои дела и откочевало в неизвестном направлении, оставив новоявленному городу коммунальных и прочих проблем в избытке. Наверное, и в области, и в республике долго не могли опомниться от шока после закрытия прибыльного рудника, и от всех запросов города отбивались как могли, оттого проблемы и множились год от года. Вернуть городу прежний статус поселка никто не решался, такого прецедента, пожалуй, не было в стране; шаг назад, даже разумный, не поощряется, местное начальство вряд ли одобрило бы такую идею: кто же станет рубить сук, на котором сидит. В городе имелся какой-то маломощный авторемонтный заводик, комбинат прохладительных напитков, куда входил пивзавод, станция технического обслуживания «Жигулей», фабрика постельного белья и керамической посуды, шелкомотальная фабрика, которую даже с натяжкой трудно было назвать фабрикой, хотя именно так она официально именовалась. Все это были предприятия мелкие, с незначительным штатом и устаревшим оборудованием. Раньше они числились артелями и вели свою родословную из далеких тридцатых годов, когда звались товариществами.

В первый год после ликвидации рудника городок жил словно в оцепенении: что же будет дальше, ведь жизнь свою люди прочно связали с рудником. Те, кто не представлял себе будущего без рудника, в основном горняки из пятиэтажек, покинули поселок без особого сожаления, а оставшиеся стали приспосабливаться к новым обстоятельствам, и, надо сказать, небезуспешно. Уже через два года тут стали забывать и о руднике, и о высоких шахтерских заработках, городок зажил новой, не похожей на прошлую, жизнью. Городок-поселок стал вновь бурно расстраиваться — правда, теперь уже его частный сектор. Ставились добротные кирпичные дома с просторными открытыми верандами, популярными в жарком краю. Появился целый район, строились там преимущественно корейцы, неожиданно полюбившие новоявленный город, чему имелись объяснения. Местные власти, поначалу обеспокоенные трудоустройством жителей, вскоре успокоились: жизнь как-то сама все утрясла. Город неожиданно охватила бурная предпринимательская деятельность: спешно возводились теплицы, оранжереи, парники, лимонарии, домашние инкубаторы — размаху могли позавидовать иные государственные предприятия. Появились и пчеловоды. Конечно, и раньше кое-кто в поселке имел пасеку или теплицу, но то было так — любительство, дилетантство; новое же строилось основательно, так сказать, на индустриальной основе. Часть горожан специализировались на цветоводстве: одни занимались тюльпанами и гвоздиками, другие предпочитали зимние калы и весенние бульденежи, третьи выводили розы каких-то немыслимых сортов, четвертые — хризантемы и гортензии. А овощи! В конце февраля у самых умелых уже поспевали помидоры, а огурцы не переводились всю зиму. Ранняя редиска, капуста, обычная и цветная, сладкий болгарский перец и острый мексиканский, которые до мая продают не на вес, а поштучно. Первый тонкий лучок, по-местному лук-барашек, укроп, киндза, кресс-салат, называемый армянами кутеном, а грузинами щидмати, молодой чеснок, первая морковка, что продается в пучках рядом с зеленью, щавель, мята, трава тархун, даже летом стоящая не менее пятидесяти копеек за пучок, — все росло в просторных дворах-усадебках.

Наиболее предприимчивые из горожан, начав с цветов или ранних помидоров, накопив достаточную сумму, строили лимонарии, потому что в Ташкенте селекционер-самоучка вывел сорт лимона, вызревающий в Средней Азии и по вкусу и размером намного превосходящий иные известные сорта. И не только вывел, а создал целые промышленные плантации, и для желающих приобретение саженцев не составляло труда — было бы желание. А уж вырасти десяток лимонных деревьев, и они себя оправдают. Можно и на базар не возить — потребкооперация охотно закупает лимонеры — благо, продукт не скоропортящийся. Лимонарий горожанам казался беспроектной лотереей, надежным вложением труда и средств.

Кое-кто умудрялся в старых темных хлебах выращивать шампиньоны и без особых препятствий сдавать их в рестораны при гостиницах. Другие — без затей, без парников, теплиц и гидропоники — просто сажали капусту, огурцы, помидоры и, что не удавалось продать, солили и всю зиму торговали соленьями. Капуста, стоявшая в сезон десять копеек, зимой, квашенная с морковкой, тянула на два рубля. Солили ее с морковкой и яблоками, солили по-гурийски — с красной свеклой, кочанами, солили вперемешку с арбузами — вряд ли забыт был какой-то рецепт, известный в народе.

Были в городе люди, занимавшиеся промыслом редким: держали нутрий, песцов, кроликов. А раз появился мех, появились и скорняки, и вся округа щеголяла в прилизанных нутриевых шапках, мужских и женских, сразу вдруг ставших модными. А кто-то взялся разводить породистых собак, пользующихся любовью и спросом. Очередь на щенков была расписана на год вперед, и, чтобы заполучить щенка, надо было заранее оставить аванс.

Город, потерявший былую экономическую значимость, конечно, сняли с щедрого государственного довольствия. Но жители, приспособившись к новым обстоятельствам, вряд ли ощущали себя ущемленными, хотя, памятуя о том, что большинство из них не занято общественно полезным трудом, время от времени, особенно перед выборами, давали наказы своим депутатам: дескать, городу нужен завод или фабрика. Правда, вряд ли они верили в скорое решение проблемы, и потому не сидели сложа руки, а занимали их чем могли.

2

Была в городе улица, не самая главная, не самая оживленная, но там всегда по вечерам, а иногда и далеко за полночь, из конца в конец слышна была музыка: так случилось, что на этой улице оказались все три городских ресторана, и можно было прошагать ее всю, словно участвуя в музыкальной эстафете. Улица эта ничем не отличалась от остальных в центре города, если не считать того, что на ней располагалось управление благоустройства, и только на ней и на площади, где находились главные административные здания города, единственная поливальная машина горкомхоза дважды в день щедро обдавала водой не только мостовую и тротуары, но и деревья, цветы и клумбы. Наверное, улица эта была самой уютной, но местный люд предпочитал шумную главную улицу имени Ленина, где располагались почти все магазины города и два однозальных кинотеатра, названные отчего-то «Арарат» и «Арагви», — здесь по вечерам всегда было многолюдно. Кино в городке любили и ходили по старинке семьями: с бабушками и дедушками, с детьми, непременно засыпавшими во время сеанса на коленях. У многих за долгие годы образовались чуть ли не свои фамильные ряды, свои места, и приезжему попасть на хороший фильм, да еще на последний сеанс, было не просто.

В большинстве народ в городке был при деле, и праздный люд можно было видеть только у кинотеатров перед началом сеансов. Даже подростки не болтались по улицам — им-то более всего находилось дел в усадьбах.

Но был в городе человек, который ежевечерне совершал прогулки по той самой, неглавной, улице, где редко умолкала музыка. Он любил эту улицу с ее серебристыми тополями, стройными чинарами и молодыми дубками вдоль тротуаров. Особое очарование ей придавали высокие кусты аккуратно подстриженной живой изгороди.

Запах роз он улавливал еще в переулке, спускаясь вниз от «Арагви». Обилие зелени, цветов, щедрый ежедневный полив создавали на улице как бы свой микроклимат, и, как он понимал, этот воздух был необходим его организму. Он и улицу эту отыскал сам. Чтобы попасть сюда, проделывал немалый путь, и всегда пешком, хотя мог приехать автобусом.

Жил он в пятиэтажке и был одним из немногих, кого можно было бы определить очень точно словом с широким спектром толкований — неудачник. Появился он тут год назад, когда нравы и порядки в городе сложились. В той, прежней его жизни

не было ежевечерних прогулок, к которым бы он привык, пристрастился, и сейчас продолжал свои моционы уже по привычке. Просто после очередного сердечного приступа врачи сказали: нужно ходить пешком как можно больше.

Человеку, совершавшему каждодневные пешие прогулки, было под пятьдесят. Выправкой и особой статью он не отличался и не выглядел моложе своих лет — наоборот, ему можно было дать и побольше. Ребяшня во дворе называла его дедушкой, и он не обижался, только иногда грустил, но не оттого, что жизнь прошла, пронеслась, а оттого, что он, к сожалению, дедушкой в полном смысле этого слова не был. Не дал ему бог детей, хоть мечтали они с женой о ребенке.

Он сейчас заметно сутулился, и плечи его время от времени безвольно никли, словно смирясь с непосильной ношей, и он, чувствуя это, вдруг спохватывался, распрямлял спину, вскидывал голову, и тверже, четче становился его шаг. Внимательному наблюдателю все эти преобразования непременно бросились бы в глаза и наверняка пришлось бы на ум, что в молодые годы незнакомец обладал завидным здоровьем, был крепок и статен. Сейчас более всего старили его усталые погасшие глаза, хотя, как правило, природа дольше всего оставляет нам неизменными голос и взгляд. Он был сибиряк, а это понятие мы не случайно связываем со здоровьем, крепостью характера, цельностью натуры. Кроме того, был он не просто сибиряк, а потомственный сибиряк, и помнил свой род от седьмого колена хоть со стороны матери, урожденной Ермаковой Надежды Тимофеевны, чей знаменитый предок покорил Сибирь, хоть со стороны отца, происходившего из старинного рода сибирских татар, которых некогда усмирил прапра...прадед матери. Вот так, через время, через века, слились две некогда противоборствовавшие крови.

Человек, каждый вечер не спеша прогуливавшийся мимо трех городских ресторанов по малолюдной улице Буденного, невольно обращал на себя внимание. Нет, не своим костюмом — понятие моды было чуждо ему. Он выпадал из толпы, сказала однажды о нем бухгалтерша с завода, где он работал. И не то чтобы был он человеком старого воспитания, старомодной учтивости. Его ровное, без подобострастия, но и без гордыни, поведение, желание как-то обособиться — не выделиться, а именно обособиться, умение держаться даже с сослуживцами на определенной дистанции, которую он определял сам, ограждали его от людей некоей стеной, хрупкой и прозрачной, создавали вокруг пустое пространство, род убежища, которым он явно дорожил.

Конечно, в небольшом городке его знали, и при встрече он сдержанно раскланивался со знакомыми, старомодным жестом приподнимая шляпу. И тогда можно было увидеть тронутые сединой, но еще по-молодому густые, с живым блеском волосы, чуть выющиеся, коротко подстриженные, с четким пробором; он сразу становился похож на обобщенного красавца-киноактера. Правда, сам он вряд ли об этом догадывался.

Костюмов у него было немного, а вот галстуков много, именно галстуки навели на мысль о его другой, прежней жизни. Галстуки были всегда со вкусом подобраны. Наверное, он получал их в подарки, потому что сам мало приходил на человека, уделяющего внимание таким мелочам; завязывал он их умело — и традиционно, и косым узлом, на английский манер; обилие галстуков и создавало иллюзию обширности и некоторой нездешней аккуратности, ухоженности его гардероба.

И еще одно обращало на себя внимание в поведении этого человека. Никто и никогда не видел его мечущимся, спешащим, суетливым, озабоченным, как новые его земляки, по горло занятые предпринимательской деятельностью.

Возвращаясь с обеда на службу, он часто по пути заглядывал в книжный магазин, по нашим временам довольно-таки богатый, потому что книгами в городке интересовались мало. Входя, он непременно здоровался с продавщицами, и те, еще только завидев его в окне, спешно ставили на полки две—три отложенные книги из новинок. Но книги он покупал вообще нечасто. И редко именно те, которыми хотели его порадовать молодые продавщицы, чем всегда вызывал удивление, — уж они-то думали, что знают, какая книга чего стоит.

Замечательно, что некоторое время его даже принимали за нового секретаря горкома, вроде бы так вот демократично, по-простому знакомящегося с местной жизнью, и город полнился слухами. Народ любит байки, в том числе и ту, что иной большой чин, подобно старинному падишаху, явно или тайно обходит свои владения, чтобы увидеть все самому, услышать, о чем говорит народ. Заходит, к примеру, в магазин и просит взвесить колбасы, а его принимают там за шутника. Или упорно пытается проехать каким-нибудь автобусным маршрутом от конечной до конечной, чтобы наутро вызвать директора автотреста на ковер. Молва есть молва, и везде она одинакова, поскольку проблемы одни. Он, конечно, чувствовал в те дни необычное внимание к себе, ловил изучающие взгляды, но мысль, что его могут принять за кого-то другого, тем более за «хозяина» города, ему и в голову не приходила. И вряд ли он когда-нибудь узнал бы об этом, если бы не рассказали ему о таком курьезе

на работе; он весело посмеялся вместе со всеми, но в душе посчитал этот знак добрым предзнаменованием.

Конечно, самообман горожан скоро рассеялся, и кто уж очень любопытствовал, тот узнавал, что человек этот работает на местном консервном заводике на неяркой должности. Но как ни странно, новость ни у кого не вызвала ни насмешек, ни иронии, наоборот, что бы там ни говорили о нем люди, но в одном сошлись: приезжий, прогуливающийся каждый вечер пешком, был некогда, несомненно, большим человеком. Народ любит «опальных князей», и незнакомец, немногословный и замкнутый, вызывал скорее симпатию, чем безразличие.

Когда он появлялся на базаре, покупая в одном торговом ряду лепешку, в другом — зелень, в третьем — фрукты, и всегда понемногу, ибо не лишал себя удовольствия часто ходить на базар, какому-нибудь новичку на вопрос «кто это?» обычно, поднимая взгляд к небу, отвечали: большой человек. При этом, разумеется, не вдавались в подробности; впрочем, этого и не требовалось: восточному человеку достаточно этих двух слов.

И на базаре, и в тех местах, где он обедал, его принимали как своего, и оттого порою он чувствовал себя неловко.

Обедать ходил он в чайхану при автостанции, где частники жарили шашлык, подавали лагман, приготовленный где-нибудь в усадьбе поблизости, торговали тут и самсой, и нарынком, и хасыпом — район возле автовокзала весьма успешно конкурировал с общепитом. Заходя в чайхану, он непременно раскланивался с чайханщиком, человеком его лет, и всегда у того находилось для него место, даже если и тесно было в помещении. С чайханщиком иногда он обменивался ничего не значащими словами о погоде, здоровье, пока тот заваривал для него чай и ополаскивал крутым кипятком пиалу без единой щербинки. А когда он усаживался, сразу появлялся возле него какой-нибудь мальчишка, из тех, что помогают в чайхане или крутятся возле своих домашних, торгующих на улице.

Его обед был, по местным городским понятиям, более чем скромным — поллагмана и палочка шашлыка, или полшурпы и одна горячая самса, или пара палочек шашлыка из свежей печени, или штуки три манты с курдючным салом и горячая лепешка. Мальчишки никогда не заставляли себя ждать. Лепешка оказывалась румяная, шашлык хорошо прожаренным, шурпа обжигает, а сдачу ему приносили до монетки, хотя тут любили округлять суммы. Поднявшись, он сдержанно благодарил чайханщика, и если проходил мимо торгующих рядов, — то и тех, у кого мальчишки брали еду, причем безошибочно угадывал, у кого они брали шашлык, у кого самсу, — и сдержанная благодарность эта особо ценилась бесцеремонным торговым людом. Привыкшие к тому, что кругом заискивали, они уважали ту дистанцию, что установил этот одинокий немногословный человек. И, отодвигая в очереди какого-нибудь важного и денежного клиента, они тем самым как бы намекали на некую причастность к нему, случайно попавшему в их город человеку, которого, по слухам, должны были куда-то вот-вот отозвать, затребовать и, конечно, вызов предполагался по самому крупному счету.

3

Шло время — недели, месяцы, — никто никуда его не отзывал, а он продолжал совершать свои ежевечерние прогулки, только изредка пропадая из города на несколько дней по делам своего консервного заводика: ездил то в область, то в столицу республики отстаивать интересы «фирмы», к которой все чаще и чаще предъявляли претензии в виде штрафов за качество продукции. Возвращался он из центра всегда расстроенный, потому что вез неутешительные вести; но, памятуя о здоровье, а чаще все-таки по инерции, по сложившейся привычке, все-таки выбирался по вечерам из дома. Проходя по улице Буденного, мимо трех городских ресторанов, каждый из которых назывался еще претенциознее, чем местные кинотеатры, а именно: «Лидо», «Консуэло» и «Шахрезада», — он невольно отмечал: вот уж где жизнь всегда бьет ключом. И пусть рядом пересеивают после весенних ливней или заморозков хлопок, пусть люди в кишлаках плохо питаются, особенно туго бывало с мясом, пусть тысячи и тысячи студентов и школьников трудятся вдали от дома на сельхозработках, пусть где-то наводнение, землетрясение, голод, ураганы, пожары, мясники, субботники, воскресники, засухи, перевороты, локальные и региональные войны — тут всегда царил праздник сытой жизни, и кому-нибудь в городе, наверное, казалось престижнее быть завсегдатаем «Лидо», чем, скажем, почетным членом Европейского географического общества.

Что время бежит стремительно — это, пожалуй, ощущают все, но если вдруг выпадаешь из жизни, в которой как будто еще живешь, — такое примечает не каж-

дый и не сразу. Гуляя как-то по излюбленной улице, он словно впервые услышал, что сейчас в ресторанах исполняют другую музыку, поют новые песни. Теперь он прислушивался к музыке внимательнее, думая, что ошибся, что вот-вот, через день-другой, зазвучит что-нибудь знакомое, донесется из распахнутых настежь окон, в стеклах которых полыхали отсветом яркие люстры, знакомая песня, но проходила неделя, вторая, и хотя репертуар трех ресторанных оркестров был довольно обширным, он не услышал ни одной старой, привычной мелодии и расстроился. «Я как инопланетянин», — впервые сказал он себе тогда.

Музыкой он особенно не увлекался, но в молодости отдавал ей должное, ходил на танцы и студенческие вечера. Тогда, в годы юности, они не были перекормлены музыкой, как теперешние молодые, и оттого многое сохранилось в памяти. Так вот из того музыкального багажа он не слышал сейчас ни одной мелодии, ни одной песни — и это усиливало ощущение выключенности из жизни.

Тем более неожиданным для него было, когда во время обычной вечерней прогулки, занятый своими мыслями, он однажды услышал из окна «Шахерезады» мелодию, которая вроде бы показалась ему знакомой. Оркестр замолчал, и он постоял еще немного под окнами, надеясь, что, возможно, кто-нибудь попросит повторить вещь — дело обычное. Случалось ведь, что какой-нибудь шлягер звучал во всех трех ресторанах одновременно и по три, четыре раза подряд. Хотя он не бывал до сих пор ни в одном из местных заведений, но догадывался, что оркестры играли, как правило, по заказу, оттого музыку здесь можно было услышать далеко за полночь.

Но на этот раз не повезло, музыканты играли что-то другое.

Однако, когда он подходил к «Лидо», словно угадав его желание, эта музыка посыпалась вновь, и он невольно улыбнулся: ну, конечно, новомодная штучка, раз играют в каждом ресторане, и, уже теряя интерес, двинулся дальше. Но, странно, чем дальше он уходил, тем ярственнее звучала в нем эта музыка. «Что за чертовщина, неужто с годами обострился слух?» Он знал, что сейчас вот вступит саксофон, а потом труба, а потом ударные.

И наконец вспомнил!

Ну, конечно, Элвис Пресли, «Рок круглые сутки»! Далекие студенческие времена! Неожиданно для самого себя он вдруг решил заглянуть в ресторан.

Когда он появился в зале, вечерняя жизнь ресторана уже набирала силу, вино и музыка делали свое дело. Громкие, возбужденные разговоры, радостные лица кругом, короче — праздник. Хотя окна были распахнуты настежь и под высокими потолками вращались лопасти вентиляторов, все же сигаретный дым густо стлался над столами, но это, наверное, заметно было только тому, кто входил с улицы.

Сквозь голубой дым он разглядел, что зал полон, ни одного свободного столика, — и уже собирался уйти, не особенно надеясь на удачу, как неожиданно из-за колонны появился метрдотель, словно кто-то из зала показал ему на входную дверь, и, вежливо поздоровавшись с гостем, пригласил его в зал.

В глубине просторного зала рядом с мраморной колонной притаился сервированный двухместный столик с табличкой «Занято», туда и привел его хозяин зала. Хотя столик находился в тени колонны, обзор оказался широким, практически он видел весь зал, и особенно хорошо — небольшую эстраду и площадку перед нею, где уже танцевали. Официант не заставил себя ждать и не отходил от стола, пока гость не просмотрел меню.

Наличие шампиньонов и перепелок не удивило его, поскольку предпринимательская деятельность местных жителей не была для него тайной. Правда, сам он ни разу в жизни не пробовал этих деликатесов, поэтому сейчас, пользуясь случаем, попросил принести то и другое и заказал еще чайник зеленого чая. После ухода терпеливого официанта, не выказавшего никакого неудовольствия по поводу чайника чая в вечернее время, он оглядел зал. Впрочем, оглядеть не удалось, потому что внимание его сразу привлекла компания неподалеку от него. Большой, богато накрытый банкетный стол с цветами занимали четверо хорошо одетых мужчин, все от тридцати пяти до сорока; о чем-то они шумно спорили, оживленно жестикулировали. Судя по обилию закусок и бутылок на столе, они еще кого-то ждали. Что-то в этой компании насторожило его, недавнего прокурора, хотя кругом, куда ни глянь, гуляли широко.

За банкетным столом тут же перехватили его заинтересованный взгляд, хотя он, конечно, не был так прост, чтобы откровенно изучать соседей. Отводить глаза ему показалось недостойным, и тут произошло неожиданное: под его взглядом все четверо вдруг встали и учтиво раскланялись. От ответил легким кивком, не поднимаясь с места. Кто они такие, отчего такая вежливость? Может, ошиблись? Но мысль об ошибке он отвел сразу: четверо одновременно обознаться не могут. Пригодился прежний опыт: тренированная память услужливо, словно снимок из фотоателье, выложила перед ним групповой портрет компании за соседним столом, хотя он

больше в ту сторону не смотрел. Кто же они, эти хорошо одетые, уверенные в себе люди? Было в их повадке что-то от власть имущих.

И вдруг его осенило: скорее всего это бывшие коллеги, он мог встречаться с ними в прошлой жизни, на пленумах и совещаниях в столице республики. Вот только из которой они области — непонятно, городок располагался на границе двух областей, при нынешних-то скоростях из обеих сюда рукой подать. Оттого и переполнены каждый день местные рестораны: наезжают издалека люди небедные, и особенно те, кому по долгу службы подобные заведения обходить следует за версту. А тут вроде бы ничейная территория образовалась. Не случайно приездие «хозяева жизни» окрестили городок «Лас-Вегасом».

Догадка эта не порадовала бывшего прокурора, он подумал, что среди тех, кого эти четверо ожидают за столом, вполне могут оказаться люди, которых он действительно знал, с кем дружески общался прежде. И миновать с ними встречи и разговора будет невозможно. Но ни с кем из своей прошлой жизни он видеться не желал; хочешь не хочешь, пришлось бы отвечать на вопросы, выслушивать слова сочувствия и возмущения несправедливостью. Поэтому он и не задержался в зале, хотя в иной ситуации с удовольствием попросил бы принести еще чайник зеленого чая: настоящий китайский тоже остался там, в прежней жизни.

Дома он принял свое обычное сердечное, хотел заодно принять и таблетку снотворного, но передумал — в эту ночь ему вряд ли уснуть даже со снотворным. И не ошибся. Если бы не усталость и заметные сбои «мотора», он, наверное, оделся бы и вышел снова погулять по ночному городу, как делал иногда, когда его мучила бессонница, которую обрел почти одновременно с первым инфарктом; теперь он уже не помнил, что чему предшествовало. Бессоннице он не придавал особого значения, больше того, считал, что это удел людей думающих, склонных к самоанализу, а у него в жизни — так уж получилось — сейчас как раз была пора раздумий, подведения итогов. В иные бессонные ночи к нему приходили такие мысли, идеи, что он откровенно жалел, что не знал подобных бессонниц в молодые годы.

Мысли его все время возвращались к «Лидо», к той мелодии из давно прошедшей жизни, которая заставила его свернуть с обычного маршрута.

Тогда, почти тридцать лет назад, на наших танцплощадках «знатоки» уже лихо отплясывали полузапретные рок-н-ролл и буги-вуги и, кроме Пресли, восхищались и другим кумиром, джазовым певцом Джонни Холидеем. Но из того времени студенческих музыкальных увлечений он запомнил именно этот «Рок круглые сутки», и на то была особая причина, достаточная, чтобы и сейчас, через столько лет, вспомнить все и почувствовать в душе разлад, хотя теперь у него и без того хватало печалей.

Он давно не вспоминал свою молодость, наверное оттого, что и повода не представлялось, и была она скорее трудная, чем радостная или интересная. Как ни странно, в студенческие годы он не знал особых привязанностей, не знал и большой любви, словно жизнь запланировала для него другой отрезок времени, где у него появятся разом увлечения, удачи и придет к нему настоящая любовь. Так, в общем, оно и произошло. Он думал: одни раскрываются рано — и на всю жизнь их душевным багажом остаются ощущения юности, у других наоборот — все к ним приходит позже. И первые удивляются такой метаморфозе вторых, не всегда умея правильно оценить духовные взлеты, профессиональные и иные успехи, принимая все за случай, за удачу, не видя подготовительной работы души.

Вспоминая давно прошедшие дни, он сделал для себя еще одно открытие: чем дальше они уходят, тем яснее и четче их видишь, и теперь многое, над чем когда-то бился, мучался, запоздало легко открывается, но все эти открытия только добавляют печали — ведь всего-то пороку нужно было войти в другую дверь. И открытие не бог весть какое, прописные истины, скажет иной, обо всем этом писано и переписано, он даже знал слова поэта: «Помню только детство, остальное не мое», — но даже в самых умных книгах это был чужой опыт, а когда чужой опыт один к одному подтверждается личным, это уже другое дело, и тогда-то твое открытие поднимается в твоих же глазах, обретает особую ценность. Хорошо, если время подтверждает твою правоту, и пусть запоздало, но доставляет тебе удовлетворение. А если наоборот, время безжалостно высветит твои ошибки, заблуждения — и ладно, коль за свои промахи ты заплатил сам. Обидно, но справедливо. А если за них расплачивались другие? Что может быть тягостнее, чем признать за собой такое, тем более если ты всегда был убежден, что живешь и жил только по справедливости, боролся и отстаивал только ее?

В его студенческие годы стройотрядов еще не было, в каникулы они ездили на казахстанскую целину. Отовсюду, со всех концов Союза, съезжались летом студенты в необъятные и необжитые казахстанские степи. Строили в колхозах и совхозах — многие из которых были пока лишь названием на фанерном щите в открытом поле — и жилье, и больницы, школы, крытые тока, дороги, бурили артезианские скважины, трудились на кирпичных заводах.

После первого курса работали на севере Акмолинской области, в краю суровом, со злыми холодными зимами, жестокими ветрами, утихавшими ненадолго только по ранней весне, а летом с неимоверной жарой и сушью. За все лето ни одного дождика. Неоглядные пространства — можно ехать полдня и вряд ли встретить жилье человеческое. Вот тогда они по-настоящему ощутили, как необъятна наша страна.

Однажды Амирхан с шофером на новом газике ездили в райцентр за продуктами. Задержавшись на базе, обратно тронулись поздно вечером. Ночь выдалась темная, протяни руку — не увидишь ее. В июле-августе в казахстанских степях такие не редкость. Что за дороги в целинной степи, известно — проселочные, колея едва накатана — и немудрено, что они заблудились. Проплутав довольно долго, решили уж было остановиться и подождать рассвета, но фары неожиданно высветили что-то похожее на человеческое жилье. Шофер прибавил газу.

Страшным оказалось то место. Тесно, впритык друг к другу, выкопанные в несколько рядов, уходили вдаль землянки, знакомые им лишь по военным кинофильмам. Под лучами фар осыпавшиеся входы в подземное жилье напоминали норы; на сохранившихся кое-где дверях виднелись порядковые номера — одни, похоже, выжжены, другие написаны масляной краской, от времени уже выцветшей и частью облупившейся. О том, что здесь царил «порядок», говорили не только номера, но и то, что землянки вытянуты строго в линию и между рядами тянулось пять-шесть просторных «улиц», да и расстояние между землянками выдерживалось одинаковое. В центре — площадь или плац, в свое время его так вытоптали, что даже сейчас, спустя годы, здесь не пробилась трава. У края этой площади — плаца, пугая пустыми глазницами окон, стоял еще приземистый мрачный дощатый барак. Построен был явно наспех, неумело, крыша посередине осела, провалилась, словно ему сломали хребет. Вдали, насколько выхватывал свет фар, виднелись опавшие кое-где проволочные заграждения. Вдруг, потревоженные шумом мотора и ярким лучом, из недалекой землянки высочили шакалы, целая стая, и, подвывая, исчезли в темноте. Страшным, гиблым показалось это место молодым людям, и Амирхан, впервые видевший такое, спросил у шофера, что же это все означает.

— Говорят, здесь держали врагов народа. Ну, тех... в тридцать седьмом... Тут неподалеку должен быть карьер и кирпичный заводик, они выжигали особый жаропрочный кирпич. Там же на карьере и кладбище. Большое, люди сказывают, — ответил шофер и невольно тяжело вздохнул. Видно, и он пошел сюда впервые; хотя работал на целине уже второй год. Обоим в душной ночи зияющие провалы входов в землянки показались незасыпанными могилами, откуда распространяется запах тлена. В немом ужасе, не говоря ни слова, рвали на «газике» в сторону и, как ни странно, часа через два выбрались на знакомую дорогу.

С шофером о том ночном видении Амирхан не разговаривал ни разу, хотя дважды в неделю они по-прежнему отправлялись на базу за продуктами, но уже в сумерки никогда не выезжали из райцентра, оставались ночевать в Доме для приезжих. Не говорили они и ни с кем из ребят, но у него долго стояли перед глазами эти норы для людей среди ровной и голой степи. Иногда казалось, что это ему приснилось, но он знал, что это, к сожалению, не так. Потом он не мог понять, почему вначале никак не соотнес судьбу своих родителей с этим лагерем политзаключенных. Казалось, при чем здесь бескрайняя дикая степь, эти норы — и его родители? Но чем чаще он задумывался, тем все больше допускал мысль, что на кладбище в глиняном карьере могли быть похоронены его мать или отец, ибо он уже знал, что существовали отдельные лагеря для мужчин и женщин. И вот так сложилась судьба, что провидение, быть может, привело его к затерянным следам родителей. Но этими мыслями он опять же ни с кем не делился, хотя в студенческой группе у него были друзья, с которыми он работал на грузовом дворе. Годами живший в ребенке страх, что его родители — враги народа, не исчез бесследно, даже когда Амирхан узнал, что мать и отец реабилитированы, что произошла трагическая ошибка, сделавшая его сиротой. Этот непроходящий страх, чувство ущербности подтачивали его изнутри, мешали стать самим собой, а у многих, наверное, страх так и остался пожизненным комплексом. И часто, в какие-то крутые минуты жизни и в детском доме, и на флоте, и даже в университете — на злополучном собрании, где он оказался неправедным судьей над своим однокашником Гиреем, он как бы ожидал подлого

вопроса: «А кто ваши-то родители? Враги народа? Реабилитированы? Может, реабилитированы заодно со всеми, а может, опять же по ошибке?»

Услышь он такой гнусный вопрос, вряд ли с твердым убеждением дал бы достойную отповедь любопытному, если б такой нашелся. В те времена об этом — ни о правых, ни о виноватых — говорить было не принято, и не говорили, да и сами вернувшиеся из лагерей без повода и всякому об этом не рассказывали. Оттого и он, Амирхан Азларханов, в ту ночь не сказал шоферу, что, может, в таких лагерях погибли и его родители. Но та ночь не прошла для него бесследно, он почувствовал неодолимое желание побывать в бывшем лагере снова — сделать хоть несколько шагов по возможному следу родителей. И однажды, возвращаясь из райцентра, купил на базаре охапку простеньких астр. Шоферу он объявил, что намерен вечером съездить в соседний совхоз к девушке, и попросил у него на ночь машину — явление по меркам того времени вполне нормальное. И как только они вернулись, одевшись как на свидание, он уехал в степь, не решившись расспросить шофера о дороге. Но он все же нашел это место, и нашел еще засветло, когда степные сумерки только начали сгущаться. Нашел он разваливающийся кирпичный заводик и огромный карьер, где в одной из боковых выработок располагалось кладбище — осевшие под осенними дождями холмики без каких-либо опознавательных знаков. На каждый холмик, сколько хватало, он положил по астре и пожалел, что не взял цветов побольше, хотя купил у ливогницы целое ведро. Прошагал он не спеша все шесть «улиц», зашел в самую большую и мрачную землянку, прошел в оба конца барака, постоял на плацу. Уходя, хотел найти хоть какую-то вещичку: пуговицу, кружку, ложку, огарок свечи, но так ничего и не найдя, отломил от колючего заграждения кусочек ржавой проволоки, хранящийся у него в бумажнике до сих пор. Тронулся в обратный путь уже в темноте, но не сделав и двух километров, вернулся. Подъехав к бараку, плеснул с двух сторон бензином и чиркнул спичкой. И долго в степи, пока он выбирался на дорогу полыхал костер.

Между этими главными событиями его первого года университетской жизни — собранием и пожаром в акмолинской степи — прошло всего два месяца. И то и другое всколыхнуло, обожгло душу. Глядя на охваченный пламенем барак в ночной степи, он еще не осознавал, что навсегда избавился от комплекса ущербности; но чуть позже он поймет, что сжег его на том вытоптанном плацу, и уже больше никогда не будет испытывать страха перед анкетами и графой. Он заметит, что его откровенность в этом плане еще долгие годы станет смущать и настораживать многих, но это уже его не собьет с позиции, а, наоборот, словно рентгеном просветит человека, вздрогнувшего от такой записи в анкете или в биографии. Здесь, в казахстанских степях, где Амирхан с товарищами строил овечьи кошары для совхоза «Жаножол» — «Новый путь», два этих события, казалось бы разных, не имеющих друг к другу никакого отношения, дали толчок к размышлениям о времени, о судьбе своих родителей, о себе, о своем месте в этом непросгом во все времена человеческом мире. Вспоминая суд над Гиреем своим однофамильцем, — а про себя он иначе то собрание и не называл, и в комитете комсомола в разговорах мелькало слово «суд», и в деканате оно проскальзывало не раз, — он думал теперь: а что если и в судьбе его родителей все было predetermined, приговор вынесен без суда и следствия, без права на защиту. И кто же были те судьи? Убеленные сединами и умудренные жизнью люди, отягощенные званиями и академическим образованием, для которых закон свят? Люди, которые были понятны заботы и тревоги интеллигенции, собиравшейся в доме его родителей? А что если судьба отца и матери решалась вчерашним уполномоченным по приемке кожсырья или по сверхплановому севу, за успехи и рвение переброшенным на службу Фемиде?

Отчего же такого не могло быть? Вполне могло. Ведь даже спустя двадцать лет пытался же он сам вместе с некоторыми другими членами комитета комсомола судить товарища по курсу за пристрастие к музыкальной моде. Это он-то, имевший одни штаны и на каждый день, и на выход и не имевшей о моде даже смутного представления. Но бои с ней, с модой, там хоть что-то можно сказать: не по-принятому короткое или длинное, узкое или широкое, и тем более если что-нибудь яркое, тут уж точно папахивает желанием выделиться. Но ведь пытался и музыку судить, к которой действительно не знал как подъехать, оценить. Разве «буржуазная», «вредная», «растлевающая», «разлагающая», «бездуховная» — это музыкальные термины? А у них в докладе на комсомольском собрании других слов и определений не было. И какая музыка по-настоящему облагораживает человека, делает его гармоничной личностью, вообще — в каких отношениях состоит музыка с жизнью — знал ли он? Конечно, как бы они, первокурсники, ни осуждали тогда на собрании модные зарубежные ритмы, запретив от имени комсомола звучать подобной музыке в стенах университета отныне и навсегда, музыка все равно жила, неподвластная диктату и администрированию. Сейчас он, обремененный опытом, не взялся бы определять судьбу музыкального произведения. Оказалось вот, что песенки тех лет,

спустя три десятилетия, не забыты и в наши дни, а ведь в искусстве выживает только настоящее, — так он думал теперь. Тогда же, в дни собрания, осуждая товарища за «пропаганду не нашей музыки» — за принесенную на студенческий вечер пластинку с записью рок-н-ролла, — а комсомольское осуждение могло повлечь за собой исключение из института, он ни разу даже себе не признался, что не вправе судить, что не знает предмета, коему должен быть судьей.

Так вот, в те дни на целине он сделал для себя открытие, не бог весть какое, но долженствующее, по его мысли, повлиять отныне на его жизнь. «Научись говорить «нет». Человек начинается с того, что может честно сказать «нет». Ведь и впрямь желание везде и всюду угодить, быть добреньким заставляет людей браться за дела, решать вопросы, к которым они не готовы. Умея вовремя сказать «нет», человек будет в ладах с собственной совестью, а не это ли главное в жизни? Вряд ли кто станет опровергать истину, что большинство бед исходит от людейшек, на чьем лице несмываемой краской написано — «чего изволите?» И чем выше забрались такие люди, тем масштабнее беды.

Снова и снова он возвращался в памяти к тому, что сказал Гирей в конце собрания, где молодые ораторы убеждали себя и зал, что «такому не место в наших рядах». «Я внимательно слушал ваши выступления. И, знаете, тоже сделал для себя вывод, что не смогу учиться с вами дальше. Уходя, хочу сказать, что сегодняшнее комсомольское собрание скорее походило на суд с заранее вынесенным приговором, а это во сто крат преступнее всяких рок-н-роллов. В любом другом вузе это не имело бы такого значения, как в нашем. Но вы же будущие юристы. Вы же судили меня только потому, что я — другой, непохожий. Лучше или хуже — вопрос иной, второстепенный. А ведь вам всю жизнь придется судить или защищать других, на вас никак не похожих. Что же выходит — непохожий, значит, чужой, виноватый, ату его?! Только сейчас, побывав в роли обвиняемого — правда, непонятно в чем, — я понял, что дело, которому мы все хотели посвятить свою жизнь, слишком серьезно, понял, что нравственно не готов быть судьей другим, а без этого преступно служить правосудию. Это главная причина, почему я решил бросить юридический факультет».

А весь-то сыр-бор разгорелся из-за того, что Гирей принес на Первомайский вечер в институт пластинку с записью песенки Элвиса Пресли, того самого «Рока круглые сутки», который свободно звучал сегодня на улице Буденного и тем разбудил воспоминания.

«Быть судьей другим... быть судьей другим...» — эти слова Гирея часто вспоминались молодому Амирхану. И он видел огромную карту страны, где в любом маленьком селении может не быть больницы или библиотеки, школы, клуба или еще чего-то жизненно важного, но присутствуют непременно органы правопорядка, суд и прокуратура. И видел он море, океан лиц — служивых людей правосудия, и к этому сонму лиц через несколько лет должен был присоединиться и сам, уже имеющий за плечами одну судебную ошибку — так квалифицировал он для себя то комсомольское собрание.

Там, в акмолинской степи, вспоминая клятву, данную самому себе еще на флоте, на эсминце, где служил срочную до института, — непременно стать юристом и посвятить жизнь борьбе за справедливость, — он понял, что одного желания, даже самого страстного, искреннего, ой как мало. И только тогда он по-настоящему осознал, почему некоторые преподаватели выделяли Гирея, ценили в нем эрудицию, кругозор, интеллект. А ведь еще совсем недавно Амирхану казалось: чтобы стать хорошим юристом, путь один — учись на пятерки, у кого красный диплом, тот и лучший юрист. Сейчас, в акмолинской степи, не отменяя и не принижая значения диплома с отличием, он понимал, что вместе со знаниями в нем должна созреть личность, душевный потенциал которой, подкрепленный истинным знанием права, даст ему моральное право быть судьей другим.

Амирхан Даутович, вернувшийся с прогулки раньше обычного, правильно рассчитал, что в эту ночь ему действительно не заснуть. Уже затихли улицы и ночная свежесть пала на город. Ни в одном окне не горел свет, только в его квартире попеременно светилось то одно окно, то другое, словно там искали что-то.

Амирхан Даутович ходил из комнаты в кухню, из кухни снова в комнату, служившую ему и спальней, и кабинетом, садился на постель, но желания лечь не было. Он подходил то к одному, то к другому окну, вглядывался в безлюдный ночной двор, обнаживший даже при слабом лунном свете свою неустроенность, неуютность, запущенность. Глядя на запустение, можно было подумать, что в домах обитали временные жильцы, и даже не жильцы, а транзитные пассажиры, готовые вот-вот сняться с места, хотя это было совсем не так: никто сниматься не со-

бирался, и Азларханов знал это. Отчего такое равнодушие кругом? Ведь даже если квартира казенная, то все равно это твой дом. И может быть, другого дома у тебя не будет, дом твой здесь — на втором или третьем этаже, и это твой двор, который иначе чем поганым и не назовешь. Так оглянись если уж не в радости, так в гнев на дом свой, так ли полагается жить человеку в собственном доме, на своей земле в одной-единственной жизни, отпущенной судьбой и природой? Но нынче мысль, скользнув поверхностно, не задержалась на сегодняшнем, думалось о другом. Первые за долгое время он мысленно вернулся в далекие студенческие годы, в первые годы своей стремительной карьеры, вспоминая давние дни, и многое оживало в памяти — в красках, с шумами, запахами.

Да, в крошечной холостяцкой квартирке на третьем этаже, где всю ночь горел свет, действительно происходило важное для хозяина дома событие.

Глава II

ЛАРИСА

1

Заканчивая третий курс, Амирхан одолел «Римское частное право» и труды Ликурга о государственном устройстве — в подлиннике, специально для этого выучив латынь. «Римское право» изобиловало цитатами, изречениями философов и поэтов, так что, увлекаясь интересной мыслью, он открыл для себя античную литературу, древних мыслителей и историков — одна ниточка тянула за собой другую. Книжного бума не было еще и в помине, в университетской «читалке» он без всякой очереди получил три тома «Опытов» Монтеня, а Плутарха, Цицерона, Фрейда, Шопенгауэра приобрел в букинистических магазинах для своей будущей личной библиотеки. Жизнь в детдоме и служба на флоте приучили его к строгому распорядку, но даже в расписанных наперед по часам неделях ему не хватало времени на многое.

Основное время, конечно, поглощала учеба. О том, чтобы повышать культурный уровень, как тогда выражались, за счет занятий, не могло быть и речи. Первоначально поставленная цель окончить университет с отличием не отменялась даже тогда, когда он принял и другую — личную — систему самообразования. Столь напряженная программа (да к тому же еще и приходилось подрабатывать на грузовом дворе), конечно, лишала его отдыха, достаточного общения со сверстниками, не давала ему полноты ощущения студенческой жизни, университетской среды. Он сам понимал это, но расплыться все же не стал; временно лишая себя приятных сторон жизни — общения, спорта, частых в те годы студенческих пирушек, даже свиданий, он не поступился главным — учебой и своей программой культурного самообразования. Кто знает, не потому ли он был, неожиданно для себя, щедро вознагражден: единственный из выпускников курса, он получил целевое направление в московскую аспирантуру. Это сейчас легко, без особого трепета произносятся слова: столица... Москва... А в те годы от этих высоких слов дух захватывало, голова кружилась. Москва! Три года в Москве! Как он радовался и как ему завидовали, как его поздравляли! Пожалуй, теперь этого не понять нынешним студентам — у них какие-то иные радости, не во всем ясные Амирхану Даутовичу.

Три года в Москве пролетели одним счастливым днем, они и в воспоминаниях мелькнули как что-то нереальное, фантастическое, словно не с ним и не в его жизни это все происходило. Аспирантская отдельная комнатка в новеньком, только что сданном, Доме аспирантов, с новой мебелью и даже холодильником, показалась Амирхану верхом роскоши, а аспирантская зарплата после студенческой стипендии — целым состоянием. А Москва! Он готов был до полуночи бродить по улицам и за три года, пожалуй, исходил ее всю. У него была карта Москвы, по которой он прокладывал себе маршруты, а уж в особо примечательных местах он побывал на первом же году жизни в столице. Вот где пригодилось умение распоряжаться своим временем! Учеба не очень затрудняла его; в те годы, как-то поверив в себя, он начал печатать в специальных юридических журналах статьи, и гонорары казались ему непомерно высокими. Тогда не так трудно было попасть в любой театр, на выставку, в музей — было бы желание. Сложнее — на вечера поэзии, необычайно популярные тогда в Москве, но он умудрялся не однажды бывать и в Политехническом музее, где чаще всего проводились такие вечера, и даже в Доме литераторов на улице Герцена. Когда он познакомился с Ларисой, учившейся на факультете искусствоведения, он даже одну зиму частенько заглядывал в модное кафе «Синяя

птица», неподалеку от площади Маяковского, где один день играл саксофонист Клейбанд, другой — гитарист Громин, со своими небольшими оркестрами; в кафе приходили послушать игру именно этих виртуозов.

А еще Лариса, сама любительница коньков, и его заставила полюбить каток на Чистых прудах. Какое это чудо, волшебство — залитый светом и музыкой сверкающий лед, медленно падающие снежинки, смех и улыбки, улыбки кругом! Неужели этот высокий молодой человек в белой щегольской шапочке, лихо режущий лед на поворотах, — вчерашний детдомовец, сегодняшний аспирант Института государства и права Амирхан Азларханов?

...Амирхан Даутович вглядывается в залитый лунным светом грязный двор, но видит давние зимние вечера на Чистых прудах, юношу в белой шапочке, медленно кружащего изящную девушку в лиловом костюме. Она так грациозна на льду, так легка, что кажется, тут уж не коньки, а пуанты. Амирхан Даутович пытается увидеть лицо юноши, заглянуть ему в глаза, понять, ощутить, насколько он был тогда счастлив, но это ему не удается. Кружится и кружится пара. Лицо зеленоглазой девушки в лиловом, румяной от мороза, он хорошо видит — и смеющимся, и улыбающимся, и грустным, но юноша так и не поворачивается лицом к светящемуся окну на третьем этаже, словно между ними ничего не может быть общего, и расстроенный Амирхан Даутович отходит от распахнутых настежь ставен и направляется на кухню, чтобы поставить на газ чайник. Чай теперь для него лучшее средство против усталости в ночных раздумьях и воспоминаниях. И вдруг, когда, казалось, мысли и воспоминания его отвлеклись от Москвы, Амирхан Даутович припомнил, как однажды они с Ларисой были в старом Доме кино на улице Воровского, что в общем-то тоже недалеко от площади Маяковского, как и любимое ими в ту пору подвальное кафе «Синяя птица».

В Доме кино он оказался впервые. Билеты достала Лариса — были у нее какие-то влиятельные родственники, связанные с миром искусства, и оттого иногда им удавалось бывать и на премьерах.

Тогда там случилось не то просмотр нового фильма, не то какая-то предфестивальная программа — картина оказалась французской; название Амирхан запомнил, а вот режиссера помнил — Бюффо, из авангардистов французского кино. Фильм оставил двойственное впечатление. И смятение вызвало даже не содержание картины, а заложенная в ней неожиданная мысль; Амирхан Даутович и сейчас отчетливо помнил все до последнего кадра.

...На Северный вокзал Парижа приезжает, опаздывая к отправлению экспресса, герой фильма. Рискуя жизнью, он успевает-таки, порастеряв вещи, вскочить в последний вагон трогającego состава. По ходу фильма становится ясно, что опоздать герой никак не мог, это была бы не только его личная катастрофа, но и катастрофа многих, вольно или невольно связанных с ним людей, и без этого вообще не могло быть фильма. Реалистический, жесткий фильм, со страстями, с назревающей к финалу трагедией. Зал, замерев, следит за судьбой героя. И вдруг в момент, когда должна бы наступить развязка, вновь возникают первые кадры фильма, и вокзал, и герой молодой, каким он был в начале фильма, пытающийся догнать уже знакомый зрителям поезд; на этот раз герой не догоняет и остается на перроне с чемоданами в руках. И начинается совершенно иная история, с новыми персонажами; изредка появляются и те, которых зритель уже знает, теперь они, увы, мало значат в судьбе главного героя. И дело не в том, что, успев на поезд, он оказался более счастлив, удачлив, а опоздав, потерял себя, потерпел жизненный крах. Вторая часть, вторая версия жизни героя оказалась не менее сложной и интересной, чем первая, она и волновала не меньше, чем первая. Но из-за минутного опоздания героя это была уже другая судьба, а всего-то, казалось, герой вошел не в ту дверь. Тогда Азларханов впервые подумал: ведь и в его судьбе не было бы ни университета, ни аспирантуры в Москве, ни Ларисы, уйдя он при демобилизации со всеми в торговый флот, в рыбаки или в китобой.

Как бы сложилась тогда его жизнь? Но в ту пору он, счастливый, видевший впереди только успех, продвижение, служение делу, к которому тянулось сердце, не пожалел ни о рыбацких сейнерах в холодной Атлантике, ни о раздольной моряцкой жизни. И Ларисе, конечно, о такой неожиданной проекции фильма на свою жизнь не рассказывал. Но фильм долго не шел у него из головы, и сейчас, видя мысленно за окном не пыльный двор, а зимний каток на Чистых прудах, он вновь вспомнил ту давнюю французскую картину: ведь и еще раз мог свершиться крутой перелом в его жизни, остаться он в Москве. А такое легко могло случиться, не заупрямься он, не считай, что дело его жизни — конкретная работа с людьми. А как упрашивала Лариса тогда же подать заявление в загс, говорила, что ей еще два года учиться в Москве, а она не хотела разлуки. И родители намекали на простор пятикомнатной квартиры, доставшейся им от деда, профессора МГУ.

Заваривая чай, Амирхан Даутович размечтался о том, как сложилась бы его жизнь, останься он тогда после аспирантуры в Москве. То видел себя седовласым профессором на кафедре, то членом Верховного суда или работником Прокуратуры СССР. Вдруг с пронзительной ясностью вспомнил старинный желто-белый особняк с колоннами в ложно классическом стиле на Чистых прудах, где жила Лариса, вспомнил кабинет ее деда, профессора права в еще дореволюционном университете, — какие там были книги! И этими книгами ему великодушно разрешали пользоваться. Ее родители шутили, что не зря сохранили библиотеку, чувствовали, что будут у них если не в роду, так в родне юристы. Помнил он и их дачу в Голицыно, на берегу речки, совсем недалеко от бывшего имения князей Голицыных, где сейчас открыт музей... Какие там пейзажи! Поленовские! Солидная, степенная жизнь, многочисленная родня, которая обожала Ларису и в общем-то одобряла ее выбор. Бывал Амирхан на больших семейных праздниках, свадьбах, поминках, где собирались все ответвления рода и где Амирхана и в шутку и всерьез представляли как жениха Ларисы, а будущий тесть иногда называл его «наш сибирский хан» и уверял, что у них в роду тоже были татарские ханы и их фамилия Тургановы — от степняков.

То вдруг Амирхан Даутович видел прекрасно изданные книги, те, что мечтал написать, когда учился в аспирантуре, но так и не написал — закрутила, завертела новая жизнь, не то чтобы писать, на чтение порой не хватало времени. Но неожиданно его пронзила такая боль, что он даже вздрогнул. Никогда прежде не задумывался об этом, не связывал: останься он в Москве, наверное, совсем иначе сложилась бы и судьба Ларисы...

Лариса написала кандидатскую о декоративно-прикладном искусстве республик Средней Азии, специализировалась по керамике, исколесила южные республики, побывав почти во всех кишлаках, где народные умельцы работали с глиной. В свои редкие отпуска он сопровождал ее в таких поездках и, честно говоря, никогда не жалел об этом. У Ларисы был вкус, чутье, она находила забытые направления, систематизировала их. Благодаря ее стараниям и энергии в Москве издали два красочных альбома, рассказывающие о прикладном искусстве этих республик, она же организовала три международных выставки среднеазиатской керамики в Цюрихе, Стокгольме и Турине. У нее быстро появилось имя в кругах искусствоведов, на нее ссылались, ее цитировали. Приглашали на всевозможные международные выставки и гостем, но чаще членом жюри. Зарубежные журналы заказывали ей статьи.

В счастливые годы, когда у нее выходили альбомы, книги, удачно организовывались выставки, она на радостях говорила мужу:

— Я так признательна тебе, твоему упрямству, что ты не остался в Москве и меня утащил, без этого я не нашла бы себя в искусстве, не сделала себе имени.

А ведь керамикой она увлеклась случайно, купив на базаре за трешку ляган, — так поразила ее простота и изящество обыкновенного большого глиняного блюда, какие изготавливают тысячами в любом районе и для каждой семьи. Она смогла увидеть в обыкновенном предмете необыкновенную художественную выразительность, самостоятельность в нехитрой росписи, индивидуальной даже для маленького кишлака, ведь мастерство и рецепты передавались из поколения в поколение, из века в век. Глина во все времена была самым доступным материалом, и человек по-своему, доступными способами и средствами, улучшал и украшал ее. В нашем унифицированном мире, где переплелось, обогащая и размывая друг друга, множество национальных школ, художественных течений, керамика, которую открыла для себя Лариса, каким-то непостижимым образом убереглась от стороннего художественного влияния. В личной коллекции Ларисы имелись керамические предметы, которые передавались из рук в руки уже в пятом или шестом поколении, но по манере исполнения, краскам и другим внешним признакам и даже размерам они вряд ли отличались от работ нынешних гончаров. «Возможно, народ сохранил до наших дней классические образцы керамики», — писала Лариса в своей кандидатской диссертации. О том же она писала и в альбомах, где щедро была представлена керамика, отысканная ею в цветущих оазисах Ферганской долины, в степях, горах, пустынях — в самых, казалось бы, забытых, глухих уголках. На организуемых ею выставках всегда предлагалась подробная карта Средней Азии с указанием мест, где обнаружено то или иное изделие, и специалисты, пользовавшиеся не только каталогами выставки, но и картой, поражались огромной работе, которую проделала Лариса всего за десять лет. С легкой руки Ларисы обыкновенный ляган для кухни, без малейшего изменения в технологии изготовления, расцветке, размерах, стал декоративным предметом — для этого на днище перед обжигом делались две дырочки, чтобы можно было укрепить его на стене. Таким образом обыкновенный хозяйственный ляган получил вторую жизнь, потому что декоративное его предназ-

начение дало взлет фантазии местных умельцев, и, пожалуй, тогда всерьез заговорили о моде на восточную керамику, а художественные салоны стали получать крупные заказы на нее из-за рубежа. И в этом, конечно, определенная заслуга принадлежала Ларисе — ее энергия, подвижничество способствовали неожиданному взлету древнего и забытого ремесла.

В крае, куда он приехал с Ларисой после аспирантуры, более всего ценился людьми семейный очаг, домашний уют, родство, дети. Нельзя сказать, чтобы молодые Азлархановы были равнодушны к своей домашней жизни. Наоборот, Лариса, впервые вырвавшаяся из-под опеки матери, бабушек, дорожила ролью хозяйки, самостоятельностью, хотя поначалу оказалась беспомощной в делах хозяйственных, особенно на кухне. Но они не делали из этого трагедии, потому что любили друг друга. Главное — у них была любимая работа, и каждый мечтал достигнуть успеха. Лариса поначалу работала в краеведческом музее искусствоведом, и года через три, когда в музее появились созданные ею стенды, имеющие художественную ценность, и ее статьи стали периодически появляться в областной и республиканской печати, она неожиданно получила какую-то должность от столичного музея искусств, и эта должность давала ей возможность самостоятельно прокладывать маршруты своих изысканий, и время от времени, но регулярно она стала выставлять свои новые находки уже и в музее искусств в Ташкенте. Амирхан Даутович двигался по службе куда стремительнее жены, и через три года уже возглавлял областную прокуратуру. В свои тридцать шесть лет он был едва ли не самым молодым областным прокурором.

Сейчас, среди ночи, вспоминая свою с Ларисой жизнь, он вспомнил и коттедж, в который они переехали из малогабаритной квартирki, когда он стал прокурором области, и в котором они прожили с Ларисой почти десять лет.

Коттедж к тому времени был основательно обжит, года три в нем жил управляющий крупным областным строительным трестом; наверное, для себя он его и возводил — настолько умело, добротно, со вкусом оказался спроектированным и построенным, — а дом в жарком краю поставить, чтобы радовал, но так просто. Управляющий получил неожиданное повышение и переехал с семьей в Ташкент, а Азлархановы переселились в дом с садом. Переселились в самый пик саратана, когда ртутный столбик термометра показывал за сорок. И вдруг такой подарок — коттедж с садом!

Дом не был отделан деревом, не имел паркетных полов, он вообще был без излишеств, в те годы мода на роскошь еще не захлестнула должностных лиц, но все в нем оказалось сработано прочно, основательно. Нравилась им большая открытая деревянная веранда, где по вечерам гулял ветерок; они любили пить там чай, ужинать на воздухе. Сад казался огромным, хотя восемь соток для современного горожанина и в самом деле немало. Более чем наполовину двор был умело затенен виноградником, и оттого почти в любое время дня тут можно было найти прохладный уголок, а по осени, когда созревал виноград, двор, особенно в вечернем освещении, приобретал прямо-таки сказочный вид: над центральной дорожкой, ведущей к зеленой калитке, висели темно-фиолетовые крупные гроздья «Чоразы», «Победы» — иная гроздь и в полтора, и в два килограмма. Лампочка, вспыхнувшая на дальней аллее в глубине сада, высвечивала тяжелые кисти красноватого «Тайфи», очень напоминающие детские воздушные шары, а вдоль веранды, только протяни из-за стола руку, тянулась царица лоз — золотистые «Дамские пальчики». Они с первого дня полюбили свой новый дом и даже днем, в обеденный перерыв, спешили к себе.

Город по тем временам был невелик, это потом, лет через десять, он начнет стремительно расти, и их коттедж окажется чуть ли не в центре. Благодаря новому дому года полтора-два они бывали вместе так много, как никогда больше в их совместной жизни.

Позже жена уйдет из краеведческого музея, и закружит ее по дальним дорогам ее единственная страсть — керамика. А пока, счастливые, они спешили днем домой, благо музей Ларисы располагался в соседней махалле, а у Амирхана Даутовича имелась служебная машина. Наверное, можно было понять, почему они жертвовали полноценным обедом где-нибудь в чайхане, — дома их ждал маленький бассейн и летний душ в саду, а в сорокаградусную жару это немалая роскошь.

Однажды, в конце лета, в воскресенье, Амирхан Даутович накрывал на открытой веранде стол, а Лариса, перед обедом уже в который раз бултыхаясь в бассейне, окликнула его:

— А знаешь, Амирхан, мне пришла в голову потрясающая идея: сделать у нас в саду музей керамики под открытым небом. Все равно же весной уберем эти грядки с овощами и зеленью. Для ухода за ними у нас с тобой нет ни опыта, ни времени, тем более баснословно дешевый базар под боком.

То лето, наверное, было и пиком их любви, и Амирхан, больше вслушиваясь в милый голос жены, чем в смысл того, что она говорила, ответил:

— Поступай как знаешь. Я полагаюсь на тебя.

Предложение Ларисы о музее под открытым небом в своем саду Амирхан не принял всерьез, он просто не предполагал, что она могла затеять.

3

Больше они о домашнем музее с Ларисой не говорили. Наступила долгая теплая осень, созрели и были убраны с грядки овощи, зелень, выкопали и картошку в дальнем углу, у забора. С ночными заморозками потихоньку осыпались розы, но по-прежнему запах их в полдень долетал до открытой веранды. В бассейне уже не купались, однако Лариса заполняла его каждый день. Она говорила: когда смотришь на водную гладь, успокаиваешься.

Как-то он уехал по делам на три дня в Ташкент, а когда вернулся, не узнал собственный двор: казался он теперь просторным и... чужим. Не осталось и намека на бывлой своеобразный восточный уют, даже живая изгородь была подстрижена.

Лариса с улыбкой спешила навстречу — она звонила в аэропорт и знала с точностью до минуты, когда муж будет дома.

— Ты только не волнуйся и не думай, что я все испортила. Я ведь за лето изучила парковую архитектуру всей Европы: и немцев, и французов, и англичан, нашла и старые российские книги — мне друзья из Москвы помогли, — и до японской добралась, думаю, что она нам больше подходит, поскольку восемь соток...

Покормив мужа с дороги, Лариса повела его посмотреть перемены. Двор теперь весь был покрыт привозным дерном и сделался зеленой лужайкой. На фоне изумрудной зелени деревья, что росли прежде среди грядки картофеля и томатов, выглядели теперь иначе — стройнее, элегантнее. Что и говорить, в этих английских лужайках что-то было. Лариса с увлечением рассказывала, какие деревья доставят ей на следующей неделе, какие кусты роз и куда она пересадит. Амирхан слушал ее внимательно, ему нравилась затея жены и то, что она так увлеклась. Слишком уж часто в последнее время она поговаривала о Москве, а тут занятий на годы и годы — можно было не сомневаться, он знал свою жену. Улыбнувшись, он только спросил:

— Ты успеешь устроить свой музей в саду, пока меня не снимут с работы?

Лариса подошла к нему и, счастливая, положила ему руки на плечи; понимая, что муж одобрил ее затею, улыбнулась и сказала:

— Плохо ты знаешь свою жену. С «Зеленстроем» я рассчиталась по смете и через кассу, и даже на всякий случай квитанцию храню. А то, что слишком уж хорошо лужайка получилась да живую изгородь аккуратно подстригли, так они ведь старались не для областного прокурора, не воображай, нужен ты им! Я объяснила, что затеяла музей на воздухе, и им это понравилось, они даже обещали мне кое-что подарить из керамики. Учти, я ведь тоже старалась для них, сама готовила, и моими кулинарными способностями остались довольны, так что, дорогой муж, все взаимно. Единственное, в чем я виновата, — гарнитур для спальни, что мы приглядели с тобой, теперь купим года через два, не раньше, музей я затеваю с размахом.

Амирхан обнял и расцеловал жену.

— Но это еще не все. — Она, смеясь, вырвалась из его сильных рук. — Тебе, как областному прокурору, придется использовать свои связи и влияние, чтобы добыть мне одну-единственную голубую елочку, она просто необходима; озеленители мне такого подарка не обещали.

4

Вдруг он вспомнил, что у него есть возможность увидеть и голубую елочку — он все-таки достал ее для жены, и аккуратные газоны своего бывшего сада. Из той прежней счастливой жизни он взял с собой в этот город, кроме самого необходимого, все альбомы, книги, проспекты, что успела издать жена. Впрочем, и забирать-то особенно нечего было, жили они по местным понятиям чересчур скромно, и главным их достоянием, наверное, был музей, или, точнее, коллекция керамики, которую собирала Лариса. Со временем, не довольствуясь экспозицией в саду, она заняла под керамику две самые большие комнаты в доме — все равно они пустовали, — и появилось у них еще два «зала» малой керамики восемнадцатого и девятнадцатого века. Альбомов, составленных лично Ларисой, с ее текстами, комментариями, было всего два, хотя имелись еще семь альбомов, где она написала раздел, главу. Они были изданы за рубежом, и некоторыми из них Лариса очень

гордилась. Наверное, это и было признанием ее труда искусствоведа, исследователя, ученого. Но Амирхан Даутович, отдавая должное полиграфии, вкусу, изыску, с которыми подавалась в зарубежных изданиях керамика со всего света, все же больше любил альбомы, изданные дома, в Москве. В одном из них были снимки музея под открытым небом и двух комнат его бывшего дома — того самого, где он прожил с Ларисой десять счастливых лет.

Он раскрыл альбом наугад: на ярко-зеленой лужайке, рядом с пушистой голубой елью, на низкой дубовой подставке лежал глиняный сосуд для воды — хум; раньше такой имелся в любом дворе, ведь не только водопровод, но и колодец в этих краях был редкостью. Сосуд из красноватой глины литров на пятьдесят-шестьдесят потерял от времени первоначальный цвет, но на фотографии и смотрелся хорошо, выцветшие краски говорили о возрасте сосуда. В нескольких местах сосуд был умело залатан, медные скобы успели покрыться зеленоватым налетом.

Фотографии для этого альбома готовились лет через пять после того, как Лариса задумала и начала осуществлять свой план музея в саду. За это время экспозиция менялась десятки раз. Когда Лариса привозила из дальних поездок какую-нибудь интересную вещь, все в саду начинало двигаться, перемещаться, и, надо признать, от каждой перестановки, замены экспонатов общий вид, панорама улучшались несомненно. За пять лет подросла и голубая ель, которую они наряжали для окрестной детворы на Новый год, укреплялись карликовые деревья. Лариса отыскивала их у садоводов-любителей по всей Средней Азии, заодно с поисками керамики, и по весне во дворе розово цвело деревце фейхоа, наполняя воздух тонким ароматом. Исчез розарий, но отдельные кусты роз — алой, багряно-красной, белой, желтой — росли, по замыслу Ларисы, в соседстве с редкими карликовыми деревьями. Перестроили они свой крошечный бассейн: отодвинули в глубь сада, эмалированную ванну сменили на бетонную, выложенную голубым кафелем, но все это делалось не только для собственного удовольствия — рядом с водой керамика смотрелась совсем иначе.

Знала Лариса, что в зодчестве Востока вода всегда служила важным элементом архитектуры, оттого так много в старых дворцах всяких хаузов, разнообразнейших по форме и назначению, прародителей нынешних бассейнов.

Когда Лариса всерьез заявила о себе и ее керамикой заинтересовались искусствоведы, ему удалось побывать с женой на двух из трех ее зарубежных выставок — в Цюрихе и Стокгольме. Конечно, он ездил туда по туристической путевке, но главное — он был рядом, мог помочь, поддержать, он был свидетелем ее успеха, видел ее необыкновенно счастливой и позже не раз благодарил судьбу за это.

Наверное, Амирхан Даутович любил альбомы, изданные в Москве, еще и потому, что, хоть и приезжала съемочная группа с осветителями, с десятком чемоданов всякой аппаратуры, лучшие снимки все-таки были сделаны самой Ларисой. Когда она стала бывать за границей, обзавелась и японской и западногерманской камерами, и все деньги в поездках тратила на фотобумагу и реактивы. Снимков она делала много, снимала и на рассвете, и на закате, и в ослепляющий полдень, и никогда не снимала дома без него, — помогая, он понимал ее без слов. Оттого ему была дорога каждая фотография в альбоме, он помнил, как они рождались.

Были в их домашней коллекции и присутствовали в этих альбомах вещи, которые дарили ему лично, зная, что жена, да и сам он увлечены столь странным, на местный взгляд, делом, как собирание керамики. Понятно бы — старинное серебро, хрусталь, бронза, ковры ручной работы, — все то, что имеет материальную ценность, а тут — черепки... Дарили часто от сердца, объясняя этот жест своим долгом помочь популяризации национальной керамики. Отказывался принять — обижались: на что, мол, человеку один-единственный кумган, даже если он сохранился от дедов, когда рядом живет собиратель, у которого к этому кумгану уже есть пара, да и чаша похожая найдется.

«Даров не принимай», — читал он некогда на латыни, и эту истину усвоил крепко, особенно имея в виду свое служебное положение, но, увлеченный азартом коллекционера, не отнес ее на счет дешевой керамики, а зря. Заповедь «даров не принимай» он не забывал и не раз заворачивал пытавшихся поднести ему огромные напольные китайские вазы, двухведерные медные кувшины и сосуды для воды. Может, и тут были люди, дарившие от души, но Амирхан Даутович спокойно объяснял, что все это уже, так сказать, из другой оперы, и китайский фарфор, даже ручной работы, его не интересует. Амирхан Даутович поражался количеству китайского фарфора в этих краях, хотя знал, что здесь проходили древние караванные пути из Китая.

Много времени спустя после тех счастливых лет в коттедже на улице Лахути, когда Амирхан Даутович уже не был областным прокурором, а работал там же в прокуратуре в следственном отделе, но уже на небольшой должности, ниже той,

с которой некогда начинал в этих стенах, попадались ему дела так называемых «коллекционеров». А ведь он точно помнил, поскольку его жена проработала три года искусствоведом в местном музее, что еще десять лет назад даже понятия такого — «частная коллекция» — в этих краях не знали, не говоря уже о самих коллекциях. А тут, в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов, враз расплодилось владельцы частных коллекций, и вряд ли тому примером послужило собрание керамики его жены, хотя областная печать не раз писала о выставке в их саду. Коллекции эти были, конечно, иные, они представляли художественную ценность, и зачастую немалую, порой приходилось обращаться к признанным экспертам, но главным мерилom считалась их материальная стоимость, и «коллекционерами» чаще всего руководило желание вкладывать добытые несправедливым путем деньги в антиквариат, который, по их твердому убеждению, дорожал день ото дня.

Коллекционировали монеты, портсигары, браслеты, галстучные зажимы, булавки, брелоки — разумеется, только золотые; правда, один из «знатоков» презрел золото и успел собрать шестнадцать платиновых шкатулок и табакерок; попался и рекордсмен по серебряным работам, из его «коллекции» московские эксперты отобрали для музея русского серебра четыре неизвестных ранее работы Фаберже. Поразила Амирхана Даутовича еще одна разновидность «коллекционеров», едва ли известная даже искусствоведам: у них в области наравне с золотом «коллекционировали» жемчуг, но эти, не в пример собирателям антиквариата, знали о жемчуге действительно много, поболее искусствоведов. Амирхан Даутович, благодаря своей работе, видел жемчуг из стран Ближнего Востока, из Африки и Австралии, с Филиппин и новейший японский с океанских ферм, иранский и иракский; владеет он сколько-нибудь пером, думал он, обязательно написал бы роман о путях жемчуга, который стекался в эти края со всего света, наверное, это был бы детектив из детективов, настоящий бестселлер. Вот с такими «коллекционерами» приходилось иметь дело Амирхану Даутовичу, и те, зная об увлечении бывшего областного прокурора, иногда говорили ему: мол, вы должны понять меня как коллекционер коллекционера — хотя ни один из них не мог сказать ничего вразумительного о художественной ценности своего собрания.

5

Утренний свет, стремительно набиравший силу, сделал ненужным электрическое освещение. «Как быстро прошла ночь! — подумал бывший прокурор. — Пора сворачивать выставку». Убирая альбомы, он не удержался, заглянул еще в один, изданный в Швейцарии. Последняя экспозиция, за полгода до смерти Ларисы. Она, наверное, и была наиболее ценной, в тот раз Лариса выставляла в Цюрихе только керамику начала века. Неожиданно для себя она отыскала в архивах Ферганской долины документы, свидетельствующие о том, что в русском поселении Горчаково в 1898 году были открыты по приказу генерала Скобелева две керамические мастерские, где работали местные умельцы. Мастерские просуществовали шестнадцать лет, вплоть до начала первой мировой войны. Лариса затратила долгие месяцы, пытаясь найти среди долгожителей хотя бы одного человека, работавшего там, но безуспешно. Однако керамики из этих мастерских сохранилось достаточно, изделия надолго пережили своих безымянных творцов. Кроме серийной продукции — ляганов, чайников, пиал, — наверное, предназначавшейся для солдат, расквартированных в долине, выпускались в мастерской и особые партии дорогой посуды — видимо, для дома губернатора, для офицерского собрания и даже для наместника, князя Михаила Алексеевича. Вот эта керамика, сделанная на заказ, представляла интерес, особенно та, что имела формы и пропорции, традиционные для Востока, отличаясь при том неожиданной росписью и цветовой гаммой.

Но Амирхан Даутович открыл альбом, изданный в Швейцарии, не для того, чтобы увидеть восточную керамику, к которой приложили руку первые русские поселенцы в Туркестане.

Именно в этом альбоме были запечатлены два экспоната, которые принесли бывшему прокурору большие неприятности. Сняты они были в доме на Лахути. Низкий стол покрывала крупная, хорошо выделанная волчья шкура. Плотный мех гиссарского волка вряд ли напоминал бы о грозном хищнике, если бы не старинное кремневое ружье тут же. Кто бы мог подумать тогда, что волчья шкура да кремневое ружье для фона — символы грядущих бед! Амирхан Даутович хорошо помнил то воскресное утро в середине апреля. В саду у них уже буйно цвела сирень, и газоны, еще ни разу не стриженные с осени, скорее походили на лесные лужайки. Кое-где в углах двора еще цвели подснежники и одинокие тюльпаны,

а в тени деревьев — голубые крокусы. Зима выдалась снежная, холодная, долгая и продержалась до середины февраля, что было необычно для здешних мест. И оттого приход весны в том году воспринимался острее обычного. Пьянил воздух, пьянили запахи согревающейся земли, тонкий аромат молодой зелени и цветов. В тот день, впервые весной, они собрались завтракать на открытой веранде. Амирхан Даутович выносил стулья из дома, когда раздался звонок. Лариса хлопотала у плиты, а Амирхан Даутович пошел навстречу гостям, или гостю.

У калитки стоял хорошо одетый человек в велюровой шляпе, а чуть поодаль — светлая служебная «Волга» с областным номером. Шофер, выйдя из кабины, протирал и без того сверкающий капот — наверное, хозяин был большой аккуратист. Незнакомец поздоровался, назвав прокурора по имени-отчеству, а на приглашение войти отказался, объяснил, что очень спешит. Сказал, что коллеги из районной прокуратуры передали с ним хозяину дома два керамических сосуда, и он с удовольствием выполняет их поручение, тем более что наслышан о деятельности жены хозяина и желает ей всяческих успехов. И добавил еще несколько слов о том, как важно пропагандировать искусство края в стране, и тем более за рубежом. Держался гость с достоинством, говорил вполне искренне, без подбострастия, нередко в этих краях. Не успел он закончить последнюю фразу, как шофер, оказавшийся внезапно рядом, подал хозяину машины, предварительно сняв оберточную бумагу, один из сосудов, а тот, оглядев подарок еще раз, как бы убеждаясь, что довез в целостности и сохранности, передал прокурору.

Амирхан Даутович, слушая приезжего из района, так и не назвавшего себя, подумал было, что тут очередной китайский фарфор, но он ошибся. Сосуд оказался действительно керамическим, удивительной сохранности, и Амирхан Даутович мог бы даже подумать, что это работа последних десяти-пятнадцати лет. Только увидев его вблизи, можно было понять, что изделие давнее, очень давнее. Амирхан Даутович, взяв сосуд в руки и машинально отметив, что он тяжеловат для традиционной керамики, не благодарил, но и не возвращал, хотя шевельнулось в нем какое-то сомнение: слишком хорошо был сосуд, чтобы принять его в подарок. И тут у калитки появилась Лариса. Увидев сосуд, она потеряла дар речи, даже забыв поздороваться с гостями; однако сразу же опомнилась и пригласила их в дом; ее восхищение и радость были столь явны и неподдельны, что приезжий тут же отметил весело:

— Вот и хорошо, кажется, мы угодили хозяйке.

И в это время шофер принес второй сосуд и тут же передал в руки хозяйке. Так и стояли они у калитки, муж и жена, держа в руках по сосуду.

Такой радостной Амирхан Даутович видел жену нечасто, и мысль о том, чтобы не принять, вернуть подарок обратно, как возвращал он китайский фарфор, появилась и тут же пропала. Они настойчиво и вполне искренне пригласили гостей в дом, но те, поблагодарив, сразу уехали.

В этот день о завтраке не было больше и речи, полетели и все обширные планы на воскресенье. Сосуды вносили и выносили из дома, под лупой не раз и не два осматривали каждый квадратный сантиметр поверхности — в общем, до самого обеда Лариса не выпускала их из рук. Даже Амирхан Даутович, уже привыкший к находкам и открытиям жены, на этот раз был взволнован, таких изделий ни в местном музее, ни в ее личном собрании до сих пор не было. Если бы не традиционная для этих мест форма, не роспись, известная как наманганская и классифицированная давно, Амирхан Даутович подумал бы, что керамика привезена издалека. То, что сосуды слишком тяжелы, Лариса объяснила мужу сразу — глины здесь ровно столько, сколько необходимо для придания формы и обжига, остальное — тонко выверенные пропорции минеральных наполнителей, горные породы, дающие такой стойкий цвет, не подвластный времени, и главное свойство — прочность. Лариса была убеждена, что за долгий век предметы эти не раз роняли; другой сосуд, имея такие зазубрины, наверняка уже давно раскололся бы. Внутри сосуд был облит толстым слоем особой эмали, включающей в себя серебро; треть или четверть неизвестных компонентов эмали составляла тайну старых мастеров, серебривших керамические предметы. Несомненно, что сосуды предназначались для воды. И возможно — для долгих караванных переходов, когда дорога была каждая капля. Лариса объяснила, что такая техника известна в Европе давно, особенно в Германии и Голландии, и что предметы, изготовленные подобным образом, ценились высоко и не были доступны бедному люду. Ясно, что старые сосуды эти не могли принадлежать простому человеку, а были специально изготовлены для кого-то или заказаны самим владельцем, человеком богатым и власть имущим, что в прежнее время означало одно и то же. Лариса говорила: не исключено, что глину для этих сосудов замешивали на молоке верблюдиц и крови животных, с использованием желтков яиц, это не было особой тайной для тех,

кто изучал местную керамику, тайной оставались пропорции смесей. Сосуды можно было бы назвать кувшинами, если бы они имели ручку; рассчитаны они были на долгую дорогу и оттого имели в стенках по три прорези для ремней. Прорези ни на миллиметр не нарушали пропорций сосуда, увидеть их можно было только вблизи, глядя сбоку.

Сосуды попали к ним без ремней, но Лариса года два переписывалась со своими коллегами из разных республик, и однажды из Горного Алтая ей прислали два ремня, каждый чуть подлиннее метра. Возраст сосудов и ремней кажется совпадал. Кожаная опояска оживила сосуды, придала им законченный вид. На темно-серой с желтыми подпалинами шкуре волка два сосуда цвета спелого абрикоса смотрелись удивительно. Особенно красивы были горловины, взятые в серебряный оклад, хорошо притертая серебряная пробка-крышка венчалась мусульманским символом. Сейчас бывший прокурор смотрел на фотографию, не испытывая ни любви, ни ненависти к этим предметам, хотя знал теперь о сосудах то, чего не успела узнать Лариса.

Глава III

ПРОКУРОР

1

За год жизни в «Лас-Вегасе» Амирхан Даутович, казалось, узнал о нем все, слухи стекались в чайханы, где он бывал ежедневно, и невольно бывший прокурор оказывался осведомлен о происходящем в городе. Иногда кто-нибудь намеренно подкидывал информацию. Ему трудно было понять, с какой целью это делается, скорее всего тут считали, что большой человек и в опале остается большим человеком, и стоит ему захотеть... у восточных людей свой взгляд на происходящее, и надо долго здесь прожить, чтобы понять логику иных поступков и слов. Нет, Амирхана Даутовича не забавляла игра в бывшего большого человека, и он не подыгрывал в таких случаях, хотя возможность постоянно представлялась. Достоинство, с которым он держался повсюду, и в чайхане тоже, бесстрашие, когда чайхана гудела, переваривая очередную информацию, еще более укрепляли веру в тайную власть бывшего прокурора.

Месяц назад в чайхане у дома один пенсионер доверительно сообщил Амирхану Даутовичу, что город их облюбовали картежники, и съезжаются они, мол, отовсюду, и даже из других республик. «Игра на выезде, играют мастера высшей лиги», — пошутил словоохотливый пенсионер.

Оказывается, его племянник работает в гостинице электриком и часто ладит картежникам яркое освещение над столом. Называя суммы выигранных и проигранных денег, пенсионер от волнения заикался, чего в обычной его речи не замечалось. Но Амирхан Даутович никак не среагировал на удивительную новость, ибо знал и о выигрываемых и проигрываемых суммах, и о масштабах явления. В бытность областным прокурором приходилось сталкиваться — за крупными хищениями, убийствами, грабежами, если копнуть глубже, нередко стояли карты, крупный проигрыш. Две недели назад, прогуливаясь вечером, он видел возле гостиницы Сурена Мирзояна — Сурика, за ловкость рук прозванного Факиром. Какие дела могли привести Факира в этот дремотный городок, кроме карт? Да никакие. Хотя Азларханов не сомневался: легенда у Сурика на случай проверки имелась безукоризненная. Наверное, если бы пенсионер узнал, что как-то за одну ночь в области, где прежде работал Азларханов, Факир выиграл сумму, значительно превышающую ту, от которой он начал заикаться, то, бедный, наверняка потерял бы дар речи вообще. Правда, после той давней ночи один председатель райпотребсоюза и один крупный хозяйственник покончили с собой, отчего все выплыло наружу, а остальные шесть человек, проигравшие казенные деньги, сели в тюрьму. Вот тогда-то прокурор и познакомился с Факиром. Ни рубля не удалось вернуть тогда обратно: Мирзоян не отрицал, что выиграл чемодан денег, но сообщил, без особого сожаления, что проиграл их через три дня, и описал подробно приметы удачливого игрока, которого якобы видел впервые.

Значит, теперь картежники облюбовали «Лас-Вегас»?

Почему бы и нет? Гостиницы, не осаждаемые толпами командированных, рестораны, куда приезжают из двух соседних областей «хозяева жизни» пошиковать пустить пыль в глаза, посорить деньгами вдали от любопытных глаз — их нетрудно

подбить на игру. «Стоящих» людей, которых можно крупно выпотрошить, порой готовят на игру месяцами, к иному «денежному мешку» годами ищут подход, чтобы «хлопнуть» в одну ночь, — только бы сел за карточный стол. В том, что все три ресторана служили поставщиками клиентуры для картежников, обосновавшихся в гостинице, Амирхан Даутович не сомневался.

Но сногсшибательные новости, вызывавшие оживленное обсуждение в чай-ханах, и вообще тайная жизнь необычного города, о которой Амирхан Даутович догадывался благодаря опыту прошлой жизни, не трогали все же в его душе каких-то главных струн. Нет, он не был равнодушен к тому, что видел или знал, в нем все-таки не удалось убить главное — гражданина. Даже в минуты отчаяния он не говорил; это не мое дело, меня не касается. Просто после двух инфарктов он берег не себя, а время, отпущенное ему; из последнего инфаркта он выкарабкался чудом, благодаря в прошлом сибирскому здоровью. Да и что он мог сделать в нынешнем своем положении? Писать? Кому? По опыту своей беды он знал, что редко какое письмо, адресованное в верха, может одолеть границы области или республики. Какая-то тайная рука, неподвластная закону, перекрывала дорогу кричащим о боли, о несправедливости конвертам. И не мудрено, если повсюду насаждались люди, у которых за версту на физиономии читалось: «Чего изволите?», если приказы Первого даже на уровне захолустного района выполнялись беспрекословно, какими бы незаконными они ни казались. А если и доходило что-то наверх, то оттуда же и возвращалось к тому, на кого жаловались, с пометкой «Разберитесь!» И разбирались, перетряхивая историю жизни автора письма с ясельного возраста до наших дней, а если она оказывалась чистой, как родниковая вода, то принимались за родню до седьмого колена, и, конечно, в жизни, зарегламентированной до предела инструкциями, постановлениями, указами, принятыми во времена царя Гороха, где в каждом пункте — нельзя... нельзя, отыскивалось желаемое. А если еще и учесть, что сейчас многие вещи реже покупаются, а чаще достаются, то редкий автор жалобы выглядел невинным, непорочным рядом с тем, на кого посмел жаловаться. А жалобы людей с «подмоченной» репутацией не имеют даже силы анонимки (не оттого ли анонимки были в ходу?) и закрываются куда быстрее, чем анонимные. Наслышан был Амирхан Даутович, например, о таком курьезе: коллеги в области, до его назначения прокурором, не принимали жалоб на ресторанную обслугу. Еще и выговаривали обчитанному — не ходи, мол по ресторанам! А иному строптивому намекали: вот выясним, почему в вас такая страсть к ресторанам, у начальства на работе для объективности письменно спросим, с женой поговорим — вызовем по повестке в удобное для нас время...

С высоты житейского и профессионального опыта Амирхан Даутович понимал, что одними лишь частными мерами, энергией да энтузиазмом низовых исполнителей нарастающих, как снежный ком, преступлений не изжить. Ну, приложит он усилия, добьется, чтобы выслали Факира из города, потому что знает точно, чем тот занимается, — так оставшиеся в неприкосновенности конкуренты Сурика только обрадуются, а само зло не перестанет существовать. Тогда, шесть лет назад, Мирзойян сказал ему:

— Какой же из меня преступник, товарищ прокурор? Я что, крал, вымогал? Обыграл рабочего, колхозника, советского интеллигента, оставил до получки семью без денег? Говорите — обобрал уважаемых людей? Это для вас они уважаемые, в горкоме и райкоме, а для меня — воры, крупные воры, откуда у них сотни тысяч? И если бы не я, вряд ли их настоящая сущность выявилась бы, так, оставаясь «уважаемыми», и продолжали бы набивать мешки деньгами. Выходит, я даже приношу обществу пользу, вывожу ворье на чистую воду. — Прокурор, конечно, не разделял взглядов Факира, хотя своеобразная логика в его словах была.

Оглядывая свою жизнь, Амирхан Даутович сознавал, как мало успел. Порою он сравнивал прежнюю работу с работой дворника, очищающего двор в большой снегопад. Очистил, пробил дорогу к калитке, к людям, оглянулся дух перевести, а сзади опять намело, да поболее прежнего. Он видел и ощущал, как ловко научились в республике обходить закон. Заведет прокурор дело, передает материалы в суд, вроде — выполняет свой долг до конца, а результата нет. На суд оказывают давление и партийные, и советские органы, народный контроль, партконтроль, — глядишь от прокурорских требований пшик остался: этого нельзя трогать, этот брат, этот сват, этот депутат, этот герой. Выкрутился один, по ком тюрьма плачет, второй, а третий, имеющий прикрытие и тылы, и вовсе перестал обращать внимание на закон, посчитав, что власть имущим он не писан.

Когда прокурор был моложе, энергичнее, когда беда еще не приключилась с ним самим, дав почувствовать, кто и в чьих интересах распоряжается в республике от имени закона, — ему думалось: вот тут подтяну, тут уберу, еще одно усилие — и пойдут дела на лад. Сегодня прошлая уверенность, оптимизм по поводу светлого завтрашнего дня правосудия вызывали печальную улыбку.

Признавал Амирхан Даутович и более жестокое крушение своих жизненных надежд.

Тридцать лет назад, на борту эсминца в Тихом океане он дал себе клятву, что посвятит жизнь правосудию, чтобы не было вокруг ни одного униженного и оскорбленного, чтобы каждый нашел защиту и покровительство у закона. Так думал он и позже, повторяя клятву в акмолинской степи, среди сотен безымянных могил. Теперь он понимал: его поколению, детям тех, сгинувших без следа, не удалось вернуть правосудию безоговорочную чистоту и непогрешимость.

Он был кандидат юридических наук, занимал высокую должность и не раз выступал на пленумах с докладами, приводившими в замешательство коллег. Имел репутацию теоретика, хотя свой воз областного прокурора-практика тянул исправнее других. Не раз и не два садился Амирхан Даутович за докторскую диссертацию, контуры которой определились еще в аспирантуре Института права в Москве, но текучка так и не дала довести задуманное до конца. А предлагал Азларханов, анализируя сложившуюся судебную практику, решения по нашим временам смелые; именно они и вызывали споры на коллегиях и пленумах.

Юриспруденция не медицина, где бывают случаи, когда иную вакцину врач мог проверить на себе, чтобы обезопасить здоровье человечества. Но раз так случилось, что Амирхан Даутович полной мерой испытал силу беззакония — ему, как юристу, невозможно было не сделать вывода, не осмыслить случившееся и с ним лично. Происшедшее, он считал, подтверждало его прежнюю позицию, его точку зрения по поводу сложившейся в республике ситуации с органами правопорядка. И теперь главным делом его жизни стало завершение работы, исследующей деятельность этих органов на примере Узбекистана. Потому-то он и берег время, а не себя самого, и не хотел размениваться на мелочи — такие, как появление в городе Факира. Врачи предупредили: третьего инфаркта не выдержит, то, что осталось жив после второго, — подарок судьбы, но надолго ли?

Когда Амирхан Даутович стал областным прокурором, первое, что он предпринял, — попытался получить объективную информацию о состоянии преступности в области. Добился он более или менее точной информации по прошествии года. Затем он на бюро обкома партии подвел итоги и предложил обнародовать статистику с его комментариями. Однако никто его не поддержал. Когда же область, по милости его объективной статистики, вышла по преступности на первое место в республике, он незамедлительно стал получать с мест иные сводки, куда более утешительные, и на бумаге кривая преступности резко пошла вниз. Нет, он не мог никого обвинить из руководства, что, мол, вмешиваются в компетенцию прокурора; его указаний не отменяли и ему самому не делали замечаний, не обвиняли, что с его приходом в области выросла преступность, — но он чувствовал, что властная рука наложила вето на его начинания.

Каждый год, несмотря на занятость, он инспектировал подотчетные ему в области городские и районные органы прокуратуры, делал он это без предупреждения, внезапно. Бывало, что инспекция проводилась в несколько этапов, потому что соседние районы оказывались уже оповещены о его приезде. Но к концу года — шесть ли, семь ли раз ему приходилось начинать инспекцию — в каждой из пятнадцати толстых амбарных книг, заведенных им по числу районов, появлялась подробная запись — и многое бы отдали руководители, чтобы заглянуть в эту книгу. Лет через пять после того, как он их завел, Амирхан Даутович узнал, что это из-за книг взламывали машину, рылись в номерах, где он останавливался в поездках.

Уделял внимание Азларханов и обстановке в исправительно-трудовых колониях. По мнению прокурора, тут требовался ряд неотложных мер, в том числе усиление материально-технической базы труда в колониях.

Как и некоторые другие юристы, Азларханов предлагал, чтобы следственный аппарат был выведен из прокуратуры, и, контролируя следствие, прокуратура не контролировала бы себя; предлагал увеличить число народных заседателей в суде и расширить их права; предлагал усилить роль адвоката в судебном процессе, а к лицам, взятым под стражу, допускать адвоката с момента предъявления обвинения; подобные меры, считал Азларханов, исключили бы недозволенные методы расследования, уменьшили бы число судебных ошибок.

Нынешние обязанности юрисконсульта на консервном заводике едва ли отнимали у Амирхана Даутовича больше часа в день, остальное время он писал, печатал на машинке, делал выписки, запросы, заказывал нужные книги. Это и впрямь была работа ученого. Давно известно, что многое в жизни сделано не теми, кому положено по должности, а теми, у кого душа болела за дело. Душа у него болела, это уж точно.

С работой этой, никому не известной пока, никто его, естественно, не торопил,

не подгонял; не связывал он с завершением ее и каких-то перспектив, перемен в своей судьбе, не мечтал ни о славе, ни о признании заслуг; труд этот успокаивал душу, и день ото дня крепла в нем уверенность, что таков его человеческий и гражданский долг. Наверное, он был похож на тех чудаков, что в одиночку в глухих горах строят мост через ущелье, или изо дня в день, из года в год наводят переправу через бурную реку, или расстят на пустыре сад, заведомо зная, что никогда не будут наслаждаться его плодами. Не нужна им ни слава, ни признание, им важно, чтобы остался на земле сад, мост, переправа, колодец в пустыне. И как тот, кто возводит мост и роет колодец, он не сомневался в необходимости своей работы. И как всякий мастер — а дилетанты вряд ли взваливают на себя подобную ношу — верил в необходимость того, что делает. Ну, в его случае пусть не каждая строка станет законом или постановлением, но эта работа может послужить толчком для некоторых важных решений.

Нервничал и торопился он лишь в те дни, когда заметно поднималось давление, болело сердце, съедала тоска — не успею, не успею. На всякий случай в служебном столе и дома лежали письма, куда все это отправить, если вдруг с ним случится неизбежное.

Выполненная часть работы, уже перепечатанная, хранилась в отдельных папках в сейфе на работе; в каждой папке имелось и сопроводительное письмо. Многие, с кем он заканчивал аспирантуру в Москве, стали крупными юристами, занимали высокие посты, и он верил, что его бумаги попадут в надежные руки.

А тут и новая тема стала занимать его. Разве он не должен как-то обобщить опыт последнего года жизни в этом необычном, со всех точек зрения для юриста, городе. Будь Амирхан Даутович лет на двадцать моложе, он, конечно, не задумываясь назвал бы деяния своих новых земляков незаконными. Но, подойдя к пятидесятилетнему рубежу, позабыв о спецбуфете и спецпайке, он теперь не был столь категоричным. Однажды, совсем не в плане «законно или незаконно», у него вырвалось: «Как много удобств в этом городе!» И в самом деле: нужен небольшой ремонт в доме — нет проблем, чайхана, где собираются малярных дел мастера, за углом. Корзину цветов ко дню рождения жены? Оставьте на базаре адрес цветочницам, к определенному часу у вас дома раздастся звонок. Перекрасить машину, устранить вмятину — это у Варданяна, на выезде из города. Хорошо ли делает? Обижаетесь, брат: у Варданяна золотая голова и золотые руки.

У вас свадьба, день рождения, голова кругом идет, никогда не принимали гостей больше пяти пар? Ничего страшного, в обед возле автостанции найдите Махмуда-ака. Плов на сто человек, триста палочек шашлыка, двести горячих самсы, сотню горячих лепешек? Все будет обеспечено по высшему разряду. Живете в коммунальном доме? Нет проблем. Сделают навесы, собьют временные столы прямо у вас же во дворе.

Зная не понаслышке о состоянии общепита, Амирхан Даутович сам охотнее ходил в чайхану при автостанции, чем в заводскую столовую. Ну ладно, в этом городе так случилось — неожиданно, незапланированно. И стало очевидным, что индивидуальная деятельность не помеха государству, а подспорье, вон как расцвел город, вместо того чтобы захиреть после закрытия рудника.

Конечно, не всякая деятельность во благо. И не оттого ли, что многие понимают незаконность своих благ, переполнены по вечерам рестораны: гуляй, ребята, одна живем! Узаконь, разреши разумное, помоги на первых порах, пусть поверит народ, что это всерьез и надолго. С годами Азларханов понял, что запретить легче легкого, да сила закона совсем не в запрете, многие запреты только вредят делу, на интересе должен держаться закон.

Конечно, никому он о своей работе не говорил, в помощи ничьей не нуждался, да и кто и в чем мог помочь ему? Скорее, следовало оберегать свой труд от любопытных. Узнай кто, чем занимается бывший прокурор, подняли бы на смех: тоже законодатель выискался! А уж поверить в то, что даже не закон, а какая-то строка его могла родиться в обшарпанном кабинете юрисконсульта консервного завода — вряд ли нашелся бы хоть один такой человек. Здесь властвовала иная психология: законы вынашиваются и рождаются где-то там, наверху, в огромных роскошных кабинетах, где уходящие в высоту стены обшиты темным мореным дубом.

И в тот вечер, когда он единственный раз зашел поужинать в «Лидо», встретить Азларханов случайно кого-нибудь из бывших коллег, окажись с ними за одним столом, он, конечно, не обмолвился бы и словом о главном сейчас деле своей жизни. Ну, этого разговора он, положим, избежал бы. Но разговора о том, как он, один из самых известных областных прокуроров республики, покатился вниз, избежать вряд ли удалось бы. И разговора о собственной жизни, о судьбе Ларисы ему вряд ли удалось бы избежать.

Амирхан Даутович не хотел возвращаться к тем страшным дням пятилетней давности, но сегодня, как никогда за эти годы, он вдруг ясно вспомнил тот ранний междугородный телефонный звонок. Звонили ему домой, на Лахути. Взволнованный мужской голос, назвавший его по имени-отчеству, сказал:

— Беда, большая беда, товарищ прокурор. Убили Ларису Павловну, срочно приезжайте...— И тут же положили или уронили гробку.

Амирхан Даутович не успел ничего спросить — как убили? Куда приезжать?— но минут через пять, когда он лихорадочно собирался, сам не зная куда, телефон зазвонил бесперерывно.

Вызвав свою машину, Амирхан Даутович сделал единственный звонок. Работал у них в областной милиции один толковый парень, капитан Джураев, сыскник от бога. Но жена Джураева ответила, что он час назад вылетел на вертолете на место происшествия; значит, милиция уже была поднята на ноги.

Через три часа Азларханов был на месте происшествия — в самом дальнем районе своей области, хотя точно знал, что Лариса с двумя коллегами работала неподалеку, но уже в другой республике, где ее тоже хорошо знали. Там местные археологи вскрыли крупное захоронение шестнадцатого века, и Ларису пригласили как специалиста, потому что обнаружилось много хорошо сохранившейся домашней утвари из керамики.

У morga районной больницы, куда привезли Ларису, как только обнаружил ее мальчик во дворе заброшенной усадьбы, Амирхана Даутовича ждало почти все руководство района. Вошел он туда один и оставался там так долго, что капитан Джураев на всякий случай заглянул в приоткрытую дверь. Прокурор окаменело глядел на жену, все еще не веря в случившееся. Густой кровоподтек на левом виске и явно испуганное выражение лица говорили и без подсказки медиков, что смерть наступила почти мгновенно. «Я не уеду отсюда, пока не найду него-дьяев сам», — поклялся он себе и вышел к ожидавшимся его людям.

— В нашем районе двадцать лет не было убийства, — сказал районный прокурор.

Район, не имевший серьезных промышленных предприятий и избежавший наплыва людей из других мест, и впрямь числился благополучным, но до этого ли было сегодня областному прокурору?

— Я думаю, что к вечеру выйду на след, — сказал Эркин Джураев, когда они остались с прокурором одни в комнате милиции, которую выделили специально для Амирхана Даутовича, и протянул ему цветную фотографию, сделанную «Полароидом».

В доме на Лахути было много подобных снимков. Иногда для рекламных плакатов фотографии из «Совэкспортфильма» делали из них коллажи. На веранде сельской чайханы, на айване, покрытом грубым домотканым дастарханом, где лежали кисть винограда и стояла тарелка с парвардой, сидели четверо стариков, перед каждым — чайник и пиала. Живописные старцы, в глазах удивление. Отчего — Азларханов догадывался: Лариса тут же вынимала из «Полароида» готовый снимок и дарила каждому из них, как тут не удивиться. «Полароид» помогал Ларисе устанавливать контакты с людьми — на базаре ли, в чайхане, или в частном доме.

— Я успел уже поговорить с каждым из них, они выражают вам соболезнование, говорят: очень милая женщина, так много знает о нашем крае. Она выпила с ними чайник чая и все расспрашивала о Каримджане-ака, которому уже почти сто лет, а он до сих пор делает из глины игрушки. Ее интересовало, не работал ли он в молодые годы в русских мастерских на станции Горчаково, потому что старики уверяли, что родом тот из Маргилана. Вот и весь разговор. Она пробыла с ними почти час и, расспросив дорогу к дому Каримджана-ака, поспешила к нему.

— Как она попала сюда? — спросил Амирхан Даутович.

— Они вчера возвращались домой с раскопок в Таджикистане на «рафике» краеведческого музея, по пути подвезли какую-то женщину, которая и рассказала о старике, что живет тут в районе и делает потешные игрушки из глины, этим всю жизнь и кормится. Лариса Павловна загорелась, сошла, машину задерживать не стала, коллеги спешили домой. Она сказала, что зайдет в районную прокуратуру и попросит, чтобы как-нибудь ее отправили. До Каримджана-ака она не дошла, но двор, где ее нашли в глухом переулке, — по пути к нему. — Джураев тяжело вздохнул. — Ясна мне и причина. При Ларисе Павловне осталась сумка, а в ней триста восемьдесят рублей, судя по документам взятые ею в подотчет в бухгалтерии на случай, если придется что-то приобретать для музея. Скорее всего кто-то польстился на необычный фотоаппарат, пытался вырвать, Лариса Павловна оказала сопротивление, и тот, или те, со страху или по злобе ударили ее чем-то тяжелым и тупым по виску.

Амирхан Даутович словно въяве увидел эту картину и услышал душераздирающий крик жены о помощи.

— У нее был еще один фотоаппарат, более дорогой, западногерманский «Кодак», — подсказал он капитану.

Джураев задумался.

— Этого я не знал. И никто мне о втором аппарате ничего не сказал, не оказалось «Кодака» при ней. И это меняет дело. Она сошла с «рафика» на автостанции, где — я уже установил — в тот час было многолюдно. Человек, понимающий толк в аппаратуре, склонный к преступлению, увидев ценную вещь у хрупкой женщины, мог пойти за ней следом. Но человек, знающий цену «Кодака», скорее всего не из местных. С «Полароидом» проще: его явная необычность могла привлечь и местного, и это сужало круг поиска. Но если человек, которого мы ищем, пошел вслед за Ларисой Павловной с автостанции, сегодня он вполне может гулять в любой точке нашей страны. — Тут Джураев осекся: — Амирхан-ака, клянусь вам, я добуду негодяя хоть из-под земли, такие преступления не должны прощаться... — Он выскочил из комнаты.

Азларханов просидел в комнате час, другой — телефон молчал, новостей не было. Он держал в руках фотографию и вглядывался в добродушные лица стариков, которые беседовали с Ларисой всего шестнадцать часов назад, всего шестнадцать. И при этой мысли он как бы наперед почувствовал всю предстоящую горечь жизни, одиночество, пустоту, ибо знал, что до конца дней своих будет прибавлять к этим шестнадцати сначала часы, затем дни, месяцы, годы... Ему вдруг так захотелось увидеть стариков, последних из людей, с кем говорила его жена, увидеть без всякой цели, без намека на допрос, ибо ничего нового они ему сказать не могли — все, что нужно, уже узнал у них дотошный Джураев.

Он выглянул в коридор. У двери дежурил милиционер. Так, наверное, распорядилось местное начальство — на всякий случай. Передал милиционеру фотографию, чтобы вернули ее тому, у кого взял Джураев, попросил собрать стариков в чайхане через полчаса.

Машина вернулась минут через десять. Старики, оказывается, в чайхане с утра и готовы встретиться с ним. Но они были явно чем-то напуганы, и разговора не получилось, хотя Амирхан Даутович понимал, что вряд ли их напугал Джураев — не та школа, не тот стиль. Настораживало его и то, что старики прятали свой испуг. Одно прояснилось: был у Ларисы и второй фотоаппарат, и они точно описали его. Значит, версия с человеком с автостанции могла быть верной.

Когда Амирхан Даутович шел к машине, на высокой скорости подскочил милицейский мотоцикл. Сержант, не слезая с него, выпалил:

— Поймали, товарищ прокурор. Поймали.

Амирхан Даутович кинулся в кабину, и машина рванула с места.

В милиции толпился народ в штатском и в форме. Когда в узком коридоре появился Азларханов, толпа расступилась, растекаясь вдоль обшарпанных стен, и Амирхан Даутович шел как сквозь строй, но вряд ли видел кого. Взгляд его тянулся к полковнику, стоявшему у распахнутой настежь двери в середине длинного беззаконного прохода. Полковник широким жестом хозяина пригласил Амирхана Даутовича в кабинет и, торопясь, что его опередают, выпалил:

— Признался, подлец, признался. Все бумаги подписал.

Посреди комнаты на стуле сидел неопрятного вида мужчина средних лет, по виду бродяга. Его отрешенный взгляд анашиста говорил о покорности любой судьбе, лишь бы его оставили в покое. Амирхан Даутович лишь мельком глянул на задержанного и сказал собравшимся:

— Оставьте меня с ним наедине.

Люди нехотя освободили помещение.

Через полчаса Азларханов попросил зайти в кабинет начальника милиции. Полковник, не отходявший от двери все это время, вошел, заметно волнуясь.

— Послушайте, Иргашев, я в области почти десять лет прокурор, и разве я когда-нибудь подавал повод, потакал раскритию преступлений любой ценой? Может, это практиковалось там, откуда вас перевели, но вы работаете у нас в районе пять лет, пора бы уяснить. Я не могу вас благодарить за рвение, даже если в данном случае оно касается меня лично. Признание, которое вы выбили у этого несчастного, ничего не стоит. Что же до ваших методов — заглядывайте иногда в уголовный кодекс, советую. Иначе мы с вами не сработаемся. — Потом, после долгой паузы, от которой полковника прошиб пот, продолжил: — А этого человека определите на принудительное лечение и не числите его фамилию в резерве, для закрытия очередного преступления. Память у меня крепкая, не советую испытывать ее.

Полковнику хорошо была знакома статья, которую имел в виду прокурор, когда

говорил об уголовном кодексе: именно из-за должностных злоупотреблений он с поста начальника областной милиции слетел сначала на пост руководителя городской службы, затем районной в городе, пока не докатился до сельской, что, впрочем, никак не отразилось на его погонах — может, оттого, что ему до сих пор так открыто никто не говорил о несоответствии.

Едва закрылась дверь за полковником Иргашевым, в коридоре дружно прошагали к выходу сопровождающие, еще через несколько минут захлопали во дворе дверцы машин, и площадь перед зданием быстро опустела. В окно прокурор видел, как по двору тащился задержанный, он испуганно оглядывался, не веря в свое освобождение, ждал: сейчас из какого-нибудь окна раздастся грозный окрик и наручники снова сомкнутся на его трясущихся руках, как бывало прежде, когда ему уже приходилось отвечать за чужие дела. И только дойдя до калитки и оглянувшись в последний раз, он неожиданно побежал, хотя жалкие попытки большого человека вряд ли можно было назвать бегом. «В каждом человеке, даже таком, где до распада личности остался шагок, живуч инстинкт самосохранения», — почему-то подумал вдруг Амирхан Даутович.

3

Наступил вечер, здание милиции опустело, тишина легла в длинном мрачном коридоре бывшего барака. Только у входной двери в комнате дежурного то и дело раздавались телефонные звонки, телефон же перед Амирханом Даутовичем молчал. Дежурный по райотделу время от времени заносил в кабинет прокурора маленький чайник чаю, но заговорить с ним не решался, не спрашивал его ни о чем и прокурор. Обхватив голову руками, он сидел, упершись локтями в залитый чернилами грязный стол, и, казалось, дремал, но это было не так: он вздрагивал от каждого телефонного звонка в конце коридора, от каждой проехавшей мимо машины. Он ждал вестей от Джураева, но от того не было сообщений с самого утра.

Скоро опустились легкие дымные сумерки, и во дворе милиции появился садовник со шлангом. Быстро и ловко он обдал мощной струей свободную от машин площадь, запыхавшиеся за день клумбы и ветви мощных дубов, наверное, посаженных первыми жильцами этого мрачного, упирающегося окнами в землю старого барака.

Амирхан Даутович не видел, как управлялся во дворе садовник, хотя все происходило у него под окнами, но неожиданную свежесть из распахнутой настежь форточки зарешеченного окна он почувствовал. Наверное, Амирхан Даутович потому особенно остро ощутил спасительную свежесть, что уже часа два-три чувствовал, как ему отчего-то не хватает воздуха. Во дворе уже зажглись фонари, над лужами протянулась легкая пелена пара.

«Дождь, что ли, прошел?» — очнулся Амирхан Даутович, но тут же отбросил эту мысль, дождь летом в этих краях большая редкость. Он подошел к форточке, расстегнул ворот рубашки, потом подумал, что ему ведь ничто не мешает выйти из душного кабинета во двор, телефон он услышит — лишь бы позвонили.

Первая горячая волна от вымытого асфальта прошла, и все вокруг уже не исторгало накопленный за день жар, как час назад, а дышало свежестью; в палисаднике, под окнами и чуть дальше, у клумб с цветами, пахло землей и садом, как после дождя. «Волшебная сила воды!» — отметил Амирхан Даутович. Он стоял во дворе, напротив ярко освещенного зева распахнутой настежь двери затихшего к ночи здания и вглядывался в темноту — не вынырнет ли вдруг из-за высоких кустов живой изгороди ловкая и бесшумная фигура лучшего розысника области Джураева, не услышит ли он шум мотора, не засветятся ли фары вдалеке.

Дежурный, заступивший в ночь, видел через окно прокурора, вышагивавшего вдоль аллеи. Ему нравилось, как тот по-мужски держался в горе, нравилось, как отчитал он сегодня полковника Иргашева, как поступил с бродягой. Милиционер был молод, заочно учился на юридическом факультете университета и мечтал стать прокурором. Он пристально вглядывался в молчаливого Азларханова, о котором достаточно был слышан и от коллег по службе, и от товарищей по университету. Дежурный жалел, что должен всю ночь просидеть за столом, он знал, что сегодня все силы милиции, вплоть до работников вневедомственной охраны, брошены на розыск убийцы, и не сомневался, что сейчас, в эти минуты, несмотря на позднее время, идет напряженный поиск, и не только у них в районе и даже области.

Он прочитал в журнале телефонограмму, переданную капитаном Джураевым в Министерство внутренних дел республики и во всесоюзный уголовный розыск. Она была зарегистрирована еще до приезда областного прокурора.

«Разыскиваемый с «Полароидом» может иметь также фотоаппарат «Кодак».
«Жаль, нет пока никакого следа, — подумал дежурный. — Как хорошо бы сей-

час выйти к нему и сказать: не волнуйтесь, товарищ прокурор, нащупали кое-что ребята». Но не мог он сказать этого и, снова заварив свежий чай, взял чайничек, стул и вышел к прокурору.

Ни от чая, ни от стула прокурор не отказался, но, поблагодарив кивком головы, продолжал вышагивать вдоль забора. Когда дежурный направился к себе, прокурор все же спросил:

— Нет ли вестей от капитана Джураева?

Тот вздохнул:

— Нет, к сожалению, товарищ прокурор...— Затем, подумав секунду — говорить или не говорить, — все же стал докладывать: — Час назад звонил лейтенант Мусаев — его отрядили в помощь капитану Джураеву, как только тот прилетел утром на вертолете. Он с обидой сказал, что Джураев оставил его в дураках и без машины, и рассказал следующее... Обедали они у Мусаева дома, Джураев попросил гражданскую одежду, переоделся под кишлачного парня. После обеда они выехали на личной машине Мусаева, был у них кое-какой план совместных действий, но неожиданно Джураев изменил его, попросил подъехать к автостанции. Пропадал он там минут двадцать, затем вернулся в машину и приказал лейтенанту, чтобы тот занял удобную позицию в чайхане при автостанции, и, если появится человек, приметыв которого он ему довольно подробно описал, велел задержать его любой ценой. А он, мол, сам на машине поедет к вам, поставит обо всем в известность и тотчас же вернется на подмогу. Наказав не покидать пост ни при каких обстоятельствах, Джураев уехал. Наш Мусаев просидел в чайхане семь часов, до самого закрытия, и понял, что Джураев просто решил от него избавиться и что ему нужны были лишь «Жигули» с местным номером. Вот и все, товарищ прокурор. А Джураев сюда не заезжал, как обещал Мусаеву.

Амирхан Даутович внимательно слушал. Что за трюки с переодеванием? Все это никак не походило на Джураева, он как раз из всех розыскников — а там подобрались неплохие ребята — меньше всего увлекался внешними эффектами, хотя результаты его работы иногда поражали выдавших виды спецов. Отказаться от помощи местного человека? Казалось, не было в этом никакой логики. Да, не было бы логики, если бы это был не Джураев! «Значит, ему как раз местный в чем-то мешал», — подытожил Амирхан Даутович. «Ждать! Ждать!» — приказал он себе и продолжал вышагивать вдоль высоких кустов живой изгороди.

Неожиданно к зданию подкатила машина, на звук ее из дежурки кинулся милиционер. Волнения оказались напрасными: приехал районный прокурор и пригласил Амирхана Даутовича на ужин, но Азларханов, перекинувшись с ним двумя-тремя словами, отказался.

Ночь прочно вступала в свои права: погасли в соседней махалле огни, угомонились поселковые псы. Амирхан Даутович вернулся в свой временный кабинет. «Теперь уже до утра не будет вестей», — решил он, поглядев на молчавший телефон, и задумался. Потому, верно, не услышал нарастающего шума двигателя. И только когда свет фар полыхнул по стеклам, он, ослепленный на миг, услышал визг тормозов и одновременно голос Джураева.

— Закрой ворота на замок, сейчас налетят родственнички! — громко приказал он дежурному. — И не открывай никому с полчаса — слышишь, никому, даже полковнику Иргашеву. Скажешь, ключ забрал Джураев. — И, уже обращаясь к кому-то еще, велел: — А вы вытряхивайтесь из машины и живо в тот кабинет, где горит окно. Там вас ждут, и очень давно.

Не успел Амирхан Даутович очнуться от воспоминаний, как Джураев энергично втолкнул в комнату двух парней. Каждый жест, движение Эркина говорили, что он очень спешит.

— Посмотри за ними, и пусть не разговаривают! — бросил он появившемуся в дверях дежурному и жестом пригласил Амирхана Даутовича в соседний кабинет.

Амирхан Даутович включил в комнате свет и, видя, как устал, издергался Джураев, предложил ему сесть. Но тот жестом отказался от предложения и, плотнее прикрыв дверь, сказал:

— Нет, товарищ прокурор, садитесь вы, вам предстоит нелегкие часы. Я свое дело сделал, и, пожалуйста, выслушайте меня, не перебивая, у нас мало времени. Сейчас примчатся десятки машин, налетят родственнички, друзья и начальство, несмотря на полночь, и вряд ли тогда они дадут мне возможность остаться с вами наедине.

Он чуть ли не силой усадил прокурора в старое кресло, протянул ему фотографию.

— «Полароид»?! — вырвалось у Азларханова.

— Тише! — предупредил его капитан. — Да, «Полароид».

С прижатой фотографии прокурору улыбались два парня, стоявшие в обнимку:

один — рослый, перекормленный, барственно-надменный, другой — типичный дистрофик с подобострастным лицом; казалось, вот-вот сорвется он с места и бросится исполнять желание господина.

— Запомнили?— почему-то настойчиво переспросил капитан.

Прокурор кивнул. Именно эти парни сейчас находятся в соседней комнате. Джураев достал фотографию и, на глазах Амирхана Даутовича изорвав на мелкие кусочки, сунул их себе в карман.

— Будем считать, что фотографии у нас нет, я дал слово, что снимок нигде фигурировать не будет, иначе этой семье здесь не жить, но это вы сами скоро поймете. Главное, что убийцы у нас в руках, и сейчас, пока не наехали защитники, надо в присутствии дежурного успеть снять первый допрос. У меня такое впечатление, что местная милиция вышла на них гораздо раньше меня и они о чем-то уже столкнулись. В доме Бекходжаева, того, мордатого, мелькнуло несколько важных лиц. Мне кажется, я даже слышал голоса полковника Иргашева и районного прокурора Исмаилова, но я в этом не уверен. Несмотря на поздний час, находился там и второй, Худайкулов. Его я собирался взять первым и допросить одного, но дома его не оказалось, мать с гордостью объяснила, что два часа назад приехал на мотоцикле его друг Акрам, сын очень больших людей, и пригласил в гости, потому что они сегодня черного барана зарезали¹

— Кто такие Бекходжаевы?— спросил прокурор.

— Суюн Бекходжаев — председатель хлопководческого колхоза-миллионера, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета республики. У него еще шесть братьев и две сестры, которых он вырастил и поставил на ноги, и всех братьев и сестер его вы хорошо знаете, они в области на больших должностях. Но и это не все: Бекходжаевы из самого знатного и влиятельного рода в здешних краях и много людей этого рода поднялось благодаря финансовой помощи Суюна Бекходжаева.

— А вы, капитан, из рода ходжа²? — неожиданно спросил Амирхан Даутович. Джураев улынулся:

— Разве похож? Когда-то я любил девушку из очень знатного рода. Нам не разрешили обручиться ее родители и братья, они с друзьями много раз избивали меня. Мужчина из знатного рода может себе позволить жениться на простолюдинке, а вот женщине никогда не разрешат выйти замуж за неровню. И вот тогда я на собственной судьбе... — Джураев вдруг оборвал себя на полуслове. — Нам пора, уже едут.

В тишине слышалось, как вдали надсадно ревели моторы.

Они вернулись в смежную комнату. Не успел Джураев приготовить бумагу для первого допроса, как у ограды появились первые машины, лучи фар скрестились на единственном окне, где горел свет. Увидев замок на воротах, приехавшие кричали и с ожесточением нажимали на клаксоны. Перекрывая шум, послышалось уверенное и возмущенное: «Что, если убили жену прокурора — значит, можно допускать произвол, хватать детей среди ночи?»

— Знакомьтесь, это сам Суюн Бекходжаев, — объяснил капитан, обращаясь к прокурору.

Поднялась на ноги вся махалля, лаяли собаки, во всех прилегающих к зданию милиции дворах зажглись огни, кто-то молотком колотил по замку. А вот и зычный бас полковника Иргашева: «Немедленно откройте ворота! Приказываю открыть ворота!»

Но дежурный по-прежнему стоял в дверях и неотрывно смотрел на бледного Анвара Бекходжаева, дававшего показания.

— Студент юридического факультета?— поразился Амирхан Даутович.

— Да, отец сказал: прокурором буду, — промямлил трясушимися губами Бекходжаев-младший.

Капитан пытался остановить прокурора, чтобы успеть задать свой главный вопрос, но Амирхан Даутович не слышал его; поднявшись над столом, вдруг закричал:

— Ты — будущий юрист?— Затем, словно спохватившись, сел и сказал капитану:— Продолжайте.

Но не успел Джураев задать вопрос, Амирхан Даутович встал из-за стола и подошел к окну. Прямо напротив, у ворот, бесновалась родня; увидев прокурора в окне, толпа зашумела пуще прежнего. Амирхан Даутович повернулся и, оказав-

¹ Черного (или коричневого — но не белого) барана в прежние времена подносили мulle, судье и т.д.

² Ходжа — человек, совершивший паломничество в Мекку, т. е. «очистившийся». В данном случае богатый и уважаемый род.

шись между капитаном и допрашиваемыми, стал медленно надвигаться на дружков, те испуганно закричали стульями. Джураев почувствовал неладное; зная, что прокурору в данном случае нельзя допускать ни малейшей ошибки, он метнулся к нему. Когда Азларханов поднял руку, то ли замахиваясь, то ли желая схватить за грудки закричавшего от страха Анвара Бекходжаева, Джураев уже был рядом, готовый перехватить любое опасное движение прокурора. Но Амирхан Даутович с поднятой рукой вдруг стал медленно валиться на него.

Капитан подхватил его, не давая упасть, и крикнул дежурному:

— Срочно «скорую»! — И добавил вдогонку: — Связь с Ташкентом — на этот телефон! — А сам, сунув под голову прокурора чужой чапан, осторожно уложил его на полу.

Вместе со «скорой» из районной больницы, находившейся рядом, во двор ворвалась и толпа, но дежурный, по приказу Джураева, пустил в здание только должностных лиц, которых в такой поздний час оказалось неожиданно много. Тут же раздался звонок из Ташкента.

— Капитан Джураев, — докладывал розыскник. — Убийцы задержаны, подробности через час-полтора в Ташкенте. А сейчас немедленно свяжитесь с санитарной авиацией и вышлите сюда самолет.

— Зачем самолет?! Можно к нам в районную больницу, можно в областную, — сказал полковник Иргашев, как только Джураев положил трубку. Держался он теперь куда увереннее, чем днем.

Джураев внимательно оглядел полковника, словно чувствовал, что им предстоит еще долгая борьба, и медленно ответил:

— Ни у вас, ни в области я прокурора не оставляю.

Глава IV

БЕКХОДЖАЕВЫ

1

Все эти годы прокурор ощущал вину перед женой, ведь он даже похоронить ее не мог — в последний путь провожали ее друзья, его сослуживцы. Но главная тяжесть забот пала на капитана Джураева: его самого он доставил на санитарном самолете в кардиологический центр республики, а жену — в осиротевший дом на Лэхути.

Приехал Азларханов на могилу жены поздней осенью; в дождливый слякотный день, прямо из аэропорта, когда через два с половиной месяца его выписали из клиники Ташкента. Выписали с весьма суровыми предписаниями, была у него на руках и путевка в кардиологический санаторий. Лечение следовало продолжать и продолжать, ни о какой работе не могло быть и речи, хотя он по-прежнему занимал пост областного прокурора. Как ни пытались врачи охранять его от волнений, Амирхан Даутович, как только пришел в себя, конечно, узнал, как развивались события. Узнал он кое-что новое и от Джураева, когда капитан привез ему в Ташкент фотографии похорон жены.

Полковник Иргашев написал рапорт, где обвинял Джураева в том, что тот превышал свои полномочия, вел следствие и розыск недозволёнными методами, не соблюдал субординации, пользуясь личным покровительством областного прокурора, из личных симпатий привлёкшего капитана Джураева к розыску убийц жены, — и капитана от дела отстранили.

Для суда дело особых сложностей не представляло. Преступники, а точнее преступник, Худайкулов Азат, которому до совершеннолетия не хватало двух месяцев, в содеянном признался. Сказал, что это он задумал и осуществил разбойное нападение. Но убивать он не собирался, все получилось непреднамеренно. Когда он сорвал фотоаппараты и побежал, потерпевшая кинулась за ним, а он, отбиваясь мотоциклетным шлемом, случайно попал ей в висок. Его товарищ Анвар Бекходжаев, владелец мотоцикла «Ява», на котором они совершили разбойное нападение, от этой затеи его отговаривал, но желание завладеть диковинным фотоаппаратом было настолько велико, что он, Худайкулов, пригрозил ему ножом, и Бекходжаев согласился.

На вопрос судьи, почему он в момент задержания оказался в доме Бекходжаевых, Худайкулов ответил: он знал, что ведутся поиски убийцы, и боялся, что

Анвар Бекходжаев может его выдать, потому пошел к нему домой и еще раз пригрозил убить, если тот выдаст. Худайкулов представил суду и нож, которым угрожал Бекходжаеву. Суд, учитывая непреднамеренность убийства — что подтвердил свидетель, студент юридического факультета Бекходжаев, — а также то обстоятельство, что обвиняемый не достиг совершеннолетия и искренне раскаивается в содеянном, учитывая его семейное положение — на его содержании находилась тяжело больная мать, — приговорил Худайкулова к десяти годам. Случай получил широкий резонанс в области, тем более что долгое время и жизнь самого прокурора Азларханова находилась в опасности. Следствие и суд провели оперативно, в кратчайшее время, в том же районе, чтобы не вызывать лишнего ажиотажа, — по настоянию некоторых руководителей области. Правда восторжествовала, убийца найден и осужден, едва не пострадавший от руки негодяя студент Бекходжаев приступил к занятиям на третьем курсе университета, неожиданно обретя опыт свидетеля в суде, могущий пригодиться ему в практике будущего юриста.

Человеку безучастному, постороннему, конечно, могло бы показаться, что справедливость восторжествовала, зло наказано, к тому же оперативно, чем, как правило, наши органы правосудия похвалиться не могут. Заседание суда было открытым, хотя открытость эта, если разобраться, имела свою историю. Заседание трижды откладывалось, коллегам Ларисы Павловны, приехавшим на суд, приходилось возвращаться назад, и каждый раз их становилось меньше и меньше — путь неблизкий. Процесс состоялся на день раньше объявленного срока, и тому тоже имелась вроде бы объективная причина — пожелал кто-нибудь выразить недовольство, не прiderешься. И зал был полон. Однако людей, действительно неравнодушных к судьбе Ларисы Павловны и находящегося в критическом состоянии Амирхана Даутовича, здесь почти не было. Были зато люди из области — родные дяди и тети свидетеля Анвара Бекходжаева, все до одного, а также приехавшие с ними на белых и черных «Волгах» сочувствовавшие попавшему в беду несмышленому студенту, сыну уважаемых родителей. Было бы, конечно, несправедливым утверждать, что в зале абсолютно все переживали за Анвара Бекходжаева. Местный люд хорошо знал, кто на что способен, и без помощи суда, но им хотелось видеть, как на этот раз выпутается из истории всесильный Суюн Бекходжаев. Он уже не один год, подвыпив, орал на колхозников: «Закон — это я!» — и показывал жирным пальцем на звезду Героя и депутатский значок. И вот представился редкий случай проверить, не переоценивает ли свои возможности их председатель. Мало кто сомневался в силе Бекходжаевых, но иным казалось: а вдруг? Суд все-таки. И убили не какую-то темную кишлячную женщину, за которую и заступиться-то некому, а жену областного прокурора, говорят, ученую, говорят, известную даже за границей.

А вышло так, как и предполагали люди, судача по углам, — правда, шепотом и с оглядкой, не дай бог дойдет до депутата.

Присутствовал на суде и капитан Джураев. Его, конечно, никто о заседании не извещал, более того — ему посоветовали подальше держаться от этого дела, официально поблагодарив и поощрив за скорую поимку преступника. Но его, опытного розыска, трудно было сбить с толку: сценарий, который разыграют на суде, он знал наперед. Предугадал он и тактику суда, точно высчитав, что заседание будет несколько раз откладываться, а затем пройдет на день-два раньше объявленного срока.

За несколько дней до суда он заехал на пост ГАИ на въезде из города и попросил дежурных дать ему знать, когда кавалькада машин, номера которых он назвал, потянется из города. Номера машин всех Бекходжаевых, всех без исключения, начинались с двух нулей, и такое их количество вряд ли осталось бы незамеченным на посту ГАИ — не те они люди, чтобы таиться.

Так что на суд он не опоздал, явился, не особенно привлекая внимания и спрятав под плащом небольшой японский магнитофон, одолженный у соседа. Всего трех кассет хватило, чтобы записать катившееся без сучка и задоринки судебное заседание.

И все это время Джураев не спускал глаз с нужного ему человека. Если бы у него имелась возможность снимать этого человека скрытой камерой, а затем показать ему самого себя! Этого человека капитан вычислил еще в день убийства и обязательно встретился бы с ним в ту же ночь, если бы не беда, случившаяся с Азлархановым. В том, что он поступил правильно, не оставив прокурора ни в районе, ни в области, капитан ни на секунду не сомневался.

После суда Джураев не сразу вернулся в город. До вечера он слонялся по базару, переходил из чайханы в чайхану и слышал: везде говорили о сегодняшнем суде. Последующие часы, пока не стемнело, он провел в чайхане при автостанции, куда когда-то отрядил струсившего лейтенанта Мусаева. Жуткий портрет убийцы он тогда нарисовал лейтенанту; впрочем, не сочинял он, в прошлом году взял такого

на одной квартире. А что ему оставалось делать? Он быстро понял, что и старики в чайхане, и другие люди, с кем он успел пообщаться, видели преступника у чайханы, но боялись назвать, а это могло означать только одно — человек этот местный. Из области ему сообщили, что в районном центре не проживает ни один уголовник, ни один рецидивист, а только бывшие казнокрады. Значит, боялись они не человека с преступным прошлым, а человека, с которым связываться было нежелательно. Так выстроил свою версию Джураев в день поимки преступников и понял, что лейтенант Мусаев, которого знают все в округе, ему не помощник, и даже наоборот, в его присутствии вряд ли кого расположишь к откровенности. Так оно и оказалось. Обратил он внимание и на дом на взгорке, наискосок от того двора, где нашли Ларису Павловну, — с его веранды хорошо просматриваются и улица, и весь двор за дувалом. Но к дому он вернулся позже, уже вечером. Время бежало, а у Джураева не было еще ниточки, за которую можно было бы ухватиться, и он решил начать все сначала — со встречи с мальчиком, нашедшим Турганову. Не исключено, что мальчик забрал второй фотоаппарат, «Кодак», если он находился у Ларисы Павловны в сумке.

Через несколько минут капитану стало ясно, что мальчик фотоаппарата не видел, хотя, конечно, он его так в лоб и не спрашивал. Чтобы как-то оправдать свое вторичное появление в доме, капитан просил мальчика еще раз рассказать, как он нашел убитую женщину. Может, в интуиции и таился талант сыщика. Мальчик повторил: играли уже в поздних сумерках в футбол, тут, прямо на улице, мяч залетел во двор, и старшие ребята, как обычно, послали его за мячом. Джураев на всякий случай дотошно расспрашивал, какие ребята послали его за мячом, после чьего удара мяч улетел за дувал. И тут мальчик вспомнил, что мяч поначалу влетел во двор напротив, к Суннату-ака, он как раз копался у себя в огороде. Обычно Суннат-ака возвращал мяч ребятам, перекинув рукой через дувал, а тут отбил его ногой во двор через дорогу, и добавил: «Ищите теперь во дворе бабушки Раушан, пока не стемнело». И как только нашли убитую, прибежали взрослые и кто-то сказал, что нужно позвонить в милицию. Телефон на этой улице был только у Сунната-ака, но он, оказавшийся во дворе со всеми, объявил, что телефон у него не работает, и попросил ребят на велосипедах доехать до милиции. Несущественная деталь, но восточному человеку говорит о многом: здесь поостерегутся сообщить неприятную весть, даже если к ней непривычны, или, как говорят на языке юристов, имеют стопроцентное алиби. Мог, мог видеть из своего двора случайно Суннат-ака то, что совершилось в этот день на пустынной улице, — может, хоть самый конец; может, крики слышал, оттого и направил ребят во двор, чтобы наткнулись на убитую. Сунната-ака в тот час дома не оказалось, а чуть позже Джураев уже напал на фотографию, сделанную «Полароидом», и точно знал, кто убил жену прокурора. В суде Джураев не спускал глаз с Сунната-ака: оправдывалась его вторая версия. Вот к нему и направился сейчас, после суда, капитан, как только стемнело.

Суннат-ака оказался человеком вовсе не робким, как предполагал вначале капитан, встретил он его без всякого замешательства и суеты, хотя ночной гость, предъявляющий милицейское удостоверение, заставит растеряться любого, тем более человека сельского. Он провел капитана на открытую веранду, откуда действительно хорошо просматривались улица и двор напротив, и усадил за стол, над которым свисала яркая, без абажура, лампочка. Потом, тут же извинившись за оплошность, сказал:

— Наверное, здесь вам будет гораздо удобнее, — и показал на низкий айван в саду.

«Пожалуй, так удобнее будет и мне и вам», — подумал Джураев, потому что с улицы освещенная веранда дома на взгорке тоже хорошо просматривалась.

Суннат-ака, захватив чайник со стола, сел на айван, с вызовом и нескрываемой иронией заявил:

— Я слушаю вас, человек закона.

Но Джураев от него лучшего приема и не ждал, боялся, что и во двор не пустит в такое время, поэтому сделал вид, что не заметил иронии, и начал мягко:

— Суннат-ака, я не стану вас спрашивать, почему вы навели ребят на двор, где нашли убитую, и почему не позвонили в милицию, хотя телефон у вас работал, это я знаю точно, потому что звонил к вам и разговаривал с вашей женой. Понимаю, вам не хотелось иметь дело с милицией. Не знал я одного — когда и как вы узнали или увидели, что во дворе напротив находится убитая женщина. Может, это случилось за час перед тем, как ребята начали играть в футбол, может — несколько раньше, а может — даже в тот же час, когда ее убили. С вашей веранды улица и усадьба Раушан-апа видна как на ладони — в этом я убедился сейчас еще раз. Так вот, до сегодняшнего дня я не мог ответить себе, что же вы знаете об этой истории — какую-то малость или все?

— И почему же вы прозрели именно сегодня?— опять с вызовом и без волнения спросил хозяин, но чай ночному гостю все-таки налил.

— Сегодня я был на суде и все время наблюдал за вами. Происходящее в суде меня не интересовало, потому что я его записал на магнитофон.

— И чем же я вам приглянулся?

— Очень любопытная была ваша реакция на некоторые показания. Например, вот это...— Капитан включил магнитофон: судья задавал вопросы Анвару Бекходжаеву.

— Какое это имеет значение, как я реагировал в суде, когда все уже ясно, убийца пойман и осужден?— не то спросил, не то подытожил, закругляя разговор, хозяин, но былой иронии в его голосе уже не было.

— Ну, положим, как вы реагировали — может и не иметь значения, но то, что вы знаете,— имеет. Ваша реакция меня убедила, что не Азат Худайкулов затеял разбойное нападение, и не он убил жену прокурора.

Суннат-ака зло рассмеялся:

— Да, нечего сказать, проникательные люди стоят у нас на страже закона! Вы что же, считаете, я тут один сомневался? Вы что, всерьез думаете, что Азат Худайкулов мог угрожать, заставлять и даже поднять нож на сына Суюна Бекходжаева? Да он глаза на него не смеет поднять, он у него в холуях чуть ли не с пеленок. Умные люди рассудили за них: зачем отвечать двоим, когда лучше одному, к тому же несовершеннолетнему. Конечно, наобещали Азату, что не оставят в беде, а тому почему не поверить? Если видит, что идет все по заранее разработанному сценарию — значит, вытаскает его потом, как обещали. Понятно, не задаром выручал дружка — Бекходжаевы люди не скупые, тем более когда речь о судьбе сына.

— А мне казалось, что вам, человеку верующему, уважаемому сельчанами, дороги правда, истина, справедливость.

Суннат-ака вроде бы растерялся от этих слов, но затем встал, давая этим понять, что разговор считает оконченным.

— Отчего же вам, образованным да власть имущим людям, всегда нужно на борьбу за справедливость выставлять впереди себя нас, простых людей? Не по совести это. Если вдруг какое несчастье, беда какая, вы взываете к нашему благородству, к совести. Поняли бы меня сегодня на суде, если б я вдруг встал и выложил все, что вы так ладно придумали? Мой дед, мой отец жили под Бекходжаевыми и я живу под Суюном Бекходжаевым, и дети мои, как я понял сегодня, будут жить под Анваром Бекходжаевым, а пока — как мне их прокормить, у меня шестеро, зависит только от председателя. И я должен встать на дороге Анвара Бекходжаева? Да вы понимаете, чего вы хотите? Ладно, пусть я,— по-вашему, человек слабый, безвольный, трус — как вам будет угодно, но я клянусь вам, здесь вы не найдете ни одного человека, который поступил бы так, как вы добиваетесь. И не вните строго нас — ни меня, ни других, наведите между собой, наверху, порядок, покажите нам другой, действительно народный суд,— тогда, может, и мы поднимемся, скажем свое слово правды. А сейчас уходите.

Джураев нехотя поднялся и, не попрощавшись, направился к выходу. Не успела захлопнуться за ним тяжелая калитка в высоком дувале, как тотчас погас во дворе свет, и растерянный капитан остался в крошечной тьме. Он долго стоял, облокотившись на дувал. Он был подавлен. Когда-то он думал, что покорность народа — благо. Сейчас, выйдя со двора Сунната-ака, он понял, что это беда.

2

Вот о чем никак не хотелось бы рассказывать Амирхану Даутовичу в тот вечер в «Лидо», если бы он оказался за столом с бывшими коллегами. Но вряд ли разговор не коснулся бы убийства Ларисы Павловны, которую они все наверняка знали лично. А следующий вопрос, естественно, был бы обращен к нему: как он оказался здесь, в «Лас-Вегасе»? (Его коллегам наверняка было известно неофициальное название городка). И вновь пришлось бы возвращаться к тому сырому, слякотному вечеру поздней осени, когда он, утопая в грязи, покидал унылое, запущенное городское кладбище. Это было пять лет назад. С самого утра моросил дождь, не прекращался ни на минуту. Амирхан Даутович, подъехав к кладбищу, оставил машину внизу у дороги, а на кладбищенские холмы поднялся пешком. Шофер напомнил ему про зонт, но он даже шляпу оставил в машине. Затяжные осенние дожди размыли могилу, тяжелая желтая глина просела, следовало бы подсыпать. На фанерном щите в изголовье можно было разобрать только цифры, на-

писанные фломастером, остальное смыли дожди: «1940—1978» — годы, отпущенные судьбой. Он так ясно увидел картину похорон, что неожиданно заплакал, в первый раз с того проклятого утра, когда ему сообщили, что Ларисы больше нет.

Среди всей этой убогости и заброшенности слова казались неуместными, и Амирхан Даутович, так ничего и не сказав жене на их горьком свидании, молча побрел к выходу. Погруженный в свои мысли, он не замечал ни дождя, ни того, что уже сильно промок.

Недалеко от выхода он вдруг поскользнулся на мокрой глине и упал. Встал и упал снова. Но во второй раз не поднялся, почувствовал, как сердце уже знакомо подкатилось к горлу, и с неожиданным облегчением подумал: «Ну вот и все, конец! Прости, милая, что не защитил, не уберег, не покарал твоего убийцу. Прости за фанерный щит без имени... Прости, что в последние твои часы на земле не был рядом с тобой и в твоей могиле нет моей горсти земли».

На миг он представил холодные ветреные ночи на этих холмах, представил, как гремят у ее изголовья ржавые венки, и от бессилия что-либо изменить, заплакал снова. Потом он, как ему показалось, закричал: «Нет!!!» — и из последних сил пополз к выходу. Он просил у судьбы месяц, только месяц, чтобы не осталось на земле безымянной могилы его любимой жены. Это желание — выжить сейчас во что бы то ни стало — наверное, и спасло его.

Моросил дождь, сгущались сумерки, на разбитой машинами и повозками дороге у пустынного кладбища полз человек — ему необходимо было выжить. Шофер, задремавший в тепле машины, очнулся — кладбище на горе потонуло во тьме, ни единого огонька, и тишина кругом, только шелест дождевых струй. Он понял, что с прокурором что-то случилось. Привычным жестом потрогал в кармане куртки тяжелый пистолет и кинулся к кладбищу. У самого выхода наткнулся на Амирхана Даутовича, быстро нащупал пульс, не медля поднял и потащил его к машине.

И снова реанимационная палата, затем кардиологическое отделение областной больницы, где его лечили и от тяжелой пневмонии, — еще два месяца между жизнью и смертью. Через месяц, когда уже пускали к нему посетителей, он попросил, чтобы пришел начальник городского отдела ОБХСС. За все годы своей работы прокурором Амирхан Даутович никогда не обращался к нему ни с какой просьбой, хотя хорошо знал, какими безграничными возможностями располагал этот тщедушный человек по прозвищу Гобсек, занимавший этот пост лет двадцать. Начальник отдела пришел к Амирхану Даутовичу в тот же день, и не без опаски. Может, какая-нибудь со знанием дела написанная анонимка поступила, думал он, но после первых же слов больного облегченно вздохнул: просьба прокурора выглядела пустяком, и он был рад, что представился случай услужить неподкупному Азларханову.

На другой день в палату провели двух молодых людей. Это, оказалось, были известные в городе мастера, братья Григоряны. Держались оба с достоинством, больному выказали подобающее уважение; сразу поняли, что прокурору сегодня хуже, и слушали его не перебивая.

— Наверное, вам уже объяснили, зачем я попросил вас прийти?

Григоряны оба молча кивнули.

— У меня нет никаких планов, никаких пожеланий. Я очень надеюсь на ваш вкус, ваше мастерство, ваш талант. Одно могу сказать вам: я очень любил ее. — И Амирхан Даутович протянул им фотографии Ларисы Павловны.

— Мы хорошо ее знали, и она нас знала, мы ведь скульпторы, да вот как сложилась жизнь... Мы уже были утром на кладбище. Оно убого, но место выбрано неплохое. Мы с братом уже представляем, что надо сделать. Положитесь на нас, не волнуйтесь, мы сделаем как надо. С вашего позволения заберем эти фотографии... — Они поднялись.

— Одну минуту, — остановил их слабым жестом Амирхан Даутович. — Сколько это будет стоить?

Братья назвали сумму, не маленькую, но гораздо меньшую, чем он предполагал. Прокурор улыбнулся и протянул приготовленный заранее конверт.

— Вот возьмите сейчас. А то ведь в моем положении всякое может быть: сегодня жив, а завтра... Здесь сумма в три раза большая, чем вы назвали...

Братья хотели было вскрыть запечатанный конверт, но Амирхан Даутович остановил их:

— Не надо. Мы не дети, всякий труд должен хорошо оплачиваться. Особенно если хочешь получить что-то достойное. Ну, а человеку, что отыскал вас по моей просьбе, можете назвать сумму, какая вам угодна.

Братья понимающе улыбнулись и тихо вышли из палаты.

Амирхан Даутович закрыл глаза. Успел все же... Хорошо, что успел.

В своем доме на Лахути прокурор появился спустя почти пять месяцев после того утреннего звонка в конце августа, когда ему сообщили о смерти Ларисы. Шла вторая половина января, сыпал мелкий снежок, на проезжей части дороги быстро превращавшийся в грязное месиво, но сад во дворе был красив. Увидев голубую ель, Амирхан Даутович с грустью отметил, что впервые ее не нарядили на Новый год.

Прокурор оглядел неукрытый на зиму виноградник: кое-где висели еще грозди неопавшего, неубранного по осени винограда, особенно живучим оказался сорт «Тайфи», красные, слегка пожухлые кисти еще дожидались пропавших хозяев. Слабые карликовые деревья впервые встречали зиму неутепленными, и Амирхан Даутович подумал, что если и выживет сад — только волею случая; впрочем, это он относил и к себе. Лужайки заросли сорной травой, кусты живой изгороди нестрижены. Сколько труда уходит, чтобы сделать, создать, и как мало нужно, чтобы все пошло прахом.

Он прошел по дорожкам сада, засыпанного пожухлой осенней листвой, пытаясь воскресить какое-нибудь давнее, счастливое воспоминание, но это ему не удалось. Сорвав крупную кисть «Тайфи», он вошел в дом, ставший теперь словно бы чужим.

Через неделю он улетел в Крым. После двух инфарктов подряд Амирхан Даутович нуждался в санаторном лечении и постоянном надзоре опытных врачей.

Крым пошел ему на пользу, здесь он воспрянул духом и уже не чувствовал себя обреченным, как в тот день, когда впервые появился у себя во дворе после пятимесячного отсутствия. В начале того февраля, когда он приехал в Ялту, следов зимы здесь уже было не сыскать — все шло в цвет, дурманящее пахло весной, морем. С гор, с виноградников «Массандры» легкий ветерок приносил в город запах пробудившейся к жизни земли. Наверное, столь очевидная тяга всей окружающей природы к росту, к жизни, цветению сказалась и на настроении Амирхана Даутовича. Он подолгу гулял один по набережной, вглядывался на причалах в названия кораблей, но все они были недавней постройки, спущенные на воду пять-десять лет назад, а ему хотелось встретить хоть один корабль-ветеран, корабль его юности. Странно — казалось бы, море и корабли должны были вызвать в нем ностальгию, как-никак, отдано четыре года Тихому океану, но из той прошлой жизни помнилось лишь одно: там, на флоте, он дал клятву обязательно стать юристом и посвятить правосудию всю свою жизнь. Когда-то, много лет назад, он вглядывался с палубы эсминца в почти невидимый за туманом берег и с волнением думал о том, как сложится дальше его жизнь. Теперь он подолгу стоял на разогретом солнцем берегу, вглядываясь в уходящую за горизонт морскую ширь, и тот же вопрос мучил его — четверть века спустя.

После короткой бесснежной зимы вновь ожили кафе с вынесенными на набережную легкими пластиковыми столами. Амирхан Даутович даже облюбовал одно такое — «Восток», заходил туда сразу после обеда. Народу было немного, ему уже привычно ставили на стол бутылку минеральной воды и стакан красной крымской «Алушты», это предписали курортные врачи после его тяжелой пневмонии. Он сидел тут, греясь на солнышке, не спеша выпивал свой стакан вина, разбавляя минеральной водой, чем вызывал удивление малочисленных посетителей Изредка перебрасывался с соседом фразой-другой, но предпочитал одиночество. Что-то стариковское было в этих долгих часах раздумий на открытой веранде «Востока» напротив главного причала порта, и человеку, знавшему прокурора раньше, бросилось бы в глаза, как резко постарел он за эти последние полгода.

Но скорее всего его взгляд, заблудившийся в морских просторах, видел вовсе не силуэты уходящих к Босфору кораблей. Может быть, он блуждал по тем кладбищенским холмам, где сейчас братья Григоряны трудились над памятником его жене. Нет, ни о районном суде, ни о «свидетеле» Анваре Бекходжаеве прокурор не забывал, но он старательно гнал сейчас от себя эти мысли, понимая, что физически слаб еще для борьбы. С трудом выкарабкавшись из двух, он не боялся третьего инфаркта, он просто должен его оттянуть хотя бы на время, необходимое ему для схватки с кланом Бекходжаевых. Он помнил, как милостива оказалась к нему судьба там, на залитом дождем осеннем кладбище, и верил, что она предоставит ему еще один шанс, других желаний у него не было.

В марте, когда до окончания курса лечения оставалось дней десять, Амирхан Даутович неожиданно получил письмо. Вестей ни от кого он не ждал и поэтому долго мял в руках конверт, внимательно вглядываясь в незнакомый твердый мужской почерк. Пообедав, он как раз собирался на набережную, и ему не хотелось портить себе настроение; вспомнилась английская пословица: «Лучшая новость — когда нет никаких новостей». Сунув письмо в карман пиджака и решив распечатать

его в кафе, Амирхан Даутович, не нарушая сложившегося в санатории распорядка, вышел на послеобеденную прогулку. Он и на веранде кафе не сразу вспомнил про письмо, а наткнулся на него случайно, когда доставал бумажник из кармана.

Письмо оказалось от капитана Джураева. Что и говорить, грустное и тревожное письмо, предчувствие не обмануло Амирхана Даутовича. Писал капитан о том, что полковник Иргашев, начальник той районной милиции, откуда впервые сообщили Амирхану Даутовичу о смерти жены, получил неожиданно повышение, возглавляет теперь областную милицию и стал его, Джураева, непосредственным начальником. Одновременно получил повышение и районный прокурор Исмаилов, контролировавший дело об убийстве Ларисы Павловны Тургановой, — он тоже занял солидный пост в городской прокуратуре. Хотя капитан и не комментировал свое сообщение, Амирхан Даутович понимал: клан Бекходжаевых щедро оплачивал выданные полгода назад векселя. Остался на месте лишь судья, двадцать лет беспрерывно сидевший в районе, был он преклонного возраста и вряд ли хотел искушать и без того благополучную судьбу: служебная карьера, конечно, уже не интересовала его. Но и тут, наверное, были свои варианты, в результате которых выигрывали дети и внуки покладастого судьи.

Но Амирхана Даутовича больше огорчило другое сообщение — видимо, ради него и было послано письмо. Писал капитан, что новый его начальник задался целью не только выжить его из милиции, но и подвести при случае под статью, а уж с опытом Иргашева проделать такое ничего не стоит. И капитан просил Азларханова по возможности посодействовать его переводу в другую область или в Ташкент.

Амирхан Даутович понимал, что полковник Иргашев догадывался: капитан Джураев знает гораздо больше, чем стало известно суду, и спешит дискредитировать его, пользуясь отсутствием Азларханова в области. И если уж капитан Джураев открытым текстом просил о помощи — значит, положение действительно серьезное. В тот же день Азларханов заказал телефонный разговор с Ташкентом, и через неделю вопрос о переводе капитана Джураева в столицу был решен.

Письмо отчаяния, полученное от капитана Джураева, послужило Амирхану Даутовичу как бы сигналом, он понял: есть здоровье или его нет, выдержит сердце еще одно испытание или разорвется окончательно — пора действовать.

Вернулся он из Ялты в конце марта. Уезжая, он оставлял запущенный дом, заснеженный сад — и тревожился, перезимуют ли деревья; но в середине зимы что-то предпринимать было поздно, да и не было у него на это ни сил, ни желания. Каково же было его удивление, когда он распахнул калитку своего дома. Сад выжил! Покрылись листвой все до одного карликовые деревца, любовно собранные Ларисой, зацвел миндаль в дальнем углу двора: под старым платаном, словно дожидаясь его приезда, одиноко тянулся к свету тюльпан; у кустов персидской сирени отцветали последние крокусы. Давно нестриженные кусты живой изгороди, омытые весенними дождями, дружно пошли в рост и поднялись выше виноградника, тоже перезимовавшего без потерь — густая зелень его уже отбрасывала на дорожки тень. Выжил сад, порадовав хозяина, поддержал, словно пример показывая.

Капитана Джураева Амирхан Даутович в области уже не застал, хотя семья его еще находилась здесь. Особых дел к капитану у прокурора не было, просто хотелось увидеть своего соратника по борьбе с оголтелой преступностью, человека умного, волевого, в чьей честности Амирхан Даутович ни на секунду не сомневался. Оттого прокурор не сказал ни слова, когда в день задержания преступников капитан порвал у него на глазах фотографию, сделанную «Полароидом», где счастливо улыбались «запуганный свидетель» Бекходжаев и совершивший «непреднамеренное убийство» его дружок Азат Худайкулов. Не спросил он тогда у капитана и откуда фотография, как попала к нему, и что сказал человек, рискнувший отдать несомненную улику, наверняка зная, что за этим последует арест сына всесильного Суюна Бекходжаева. Не стал бы Амирхан Даутович спрашивать об этом и сейчас, он понимал, что должен проделать свой путь розысков, и, может быть, тогда и возникнет ситуация, при которой понадобится состыковать им с Джураевым добытые факты.

4

В прокуратуру, после полугодового отсутствия, Амирхан Даутович пришел без предупреждения, хотя о том, что Азларханов вернулся из санатория, многие, видимо, знали. Амирхана Даутовича неприятно поразило, что его служебный кабинет, который он считал опечатанным, занимал человек, временно исполнявший обязанности областного прокурора. Прежний кабинет заместителя находился тут же, через приемную, — никаких причин для переселения не было.

Амирхан Даутович занимал свой кабинет почти десять лет, иногда сутками не выходил из него, даже ночевал тут не раз. За десять лет в строгом официальном

помещении накопилось немало личных предметов, и сейчас Азларханову неприятно было, что его книги брали в руки незнакомые люди, пользовались в душевой китайскими полотенцами, подаренными Ларисой, брали в руки электрическую бритву «Филипс» — тоже подарок Ларисы после одной из зарубежных поездок. Никому Амирхан Даутович, понятно, высказывать претензий не стал, хотя и не скрывал своего неудовольствия. И на просьбу своего заместителя позволить досидеть в кабинете хотя бы до конца дня ответил отказом. Когда обескураженный заместитель перебрался к себе, Амирхан Даутович распахнул окна и попросил вызвать уборщицу, прибравшую у него в кабинете все десять лет, пока он был тут прокурором. С ней он проговорил гораздо дольше, чем с коллегами; заодно попросил тщательнейшим образом убрать и проветрить помещение, а также сменить всю посуду. Оглядев внимательно сейф, вмурованный в стену, который он накануне того злополучного дня в спешке не опечалал, как поступал всякий раз, когда уезжал куда-то, он отправился в обком, чтобы доложить, что приступает к своим обязанностям, и больше уже в тот день в прокуратуре не появлялся.

По дороге в обком он думал о своем сейфе — там лежали его знаменитые амбарные книги, так называемые досье на каждый район в отдельности. В том, что они на месте, он не сомневался, но вот касались ли их чужие руки, как касались все эти месяцы его чайников, пиал, стаканов, утверждать однозначно он не мог, потому что знал, по крайней мере, трех человек в городе, кому по силам был и более серьезный шифр сейфа, а если бы кто и поостерегся привлекать местного человека, мастеров подобных дел немало имелось в исправительно-трудовых лагерях — их в области было пять, и полковник Иргашев, конечно, мог доставить оттуда любого.

И в обком, и в прокуратуре Амирхан Даутович выслушал немало соболезнований по поводу безвременной смерти жены — со многими с того трагического дня в конце августа прошлого года он виделся впервые. Соболезновали искренне, знали Ларису Павловну, знали отношение Амирхана Даутовича к ней, да и сама жизнь Азларханова после гибели жены, из больницы в больницу, от инфаркта к инфаркту, из реанимации в реанимацию, не могла не вызывать сочувствия. Даже внешний вид прокурора, поседевшего, постаревшего на много лет, поникшего от болезней, напоминал о перенесенной трагедии. Никто, с кем он общался в эти дни, ни разу не обмолвился ни о суде, ни об обстоятельствах смерти Ларисы, и Амирхан Даутович уяснил для себя, что скорый и решительный суд успокоил общественное мнение. О чем и говорить, если преступник пойман, в содеянном сознался и получил суровое наказание?

В эти же дни на одном из служебных совещаний Амирхан Даутович встретился с полковником Иргашевым и с бывшим прокурором того района, где произошло убийство, ныне работающим в городской прокуратуре. Оба они подошли к Азларханову, справились о состоянии здоровья и сказали, что свой долг по отношению к Ларисе Павловне они выполнили и сожалеют об одном — что случилось это на их территории. Амирхан Даутович сдержанно поблагодарил, он расспрашивать ни о суде, ни о следствии не стал, потому что дело это лежало у него в столе и он знал, что осужденный Азат Худайкулов находится в исправительно-трудовой колонии у них же в республике, но далеко, в соседней области, где некогда работал полковник Иргашев.

Амирхан Даутович уже не раз просматривал документы, собранные по делу о смерти его жены. Конечно, явно зацепиться за что-то повода не было, все в порядке, протокол к протоколу. Только уж очень заинтересованного человека могла насторожить такая гладкость следствия и суда, легкость и скоротечность процесса: ведь убийство все-таки. Конечно, Амирхан Даутович понимал: не случись с ним самим беды в ту ночь, в чем бы ни признался Азат Худайкулов, наутро провели бы тщательнейший следственный эксперимент, затем по свежим следам попросили бы обоих по минутам расписать время после убийства, и вряд ли Анвар Бекходжаев долго продержался бы в определенной ему советчиками роли свидетеля. Стодились бы тут и показания матери Азата Худайкулова, сообщившей капитану Джураеву, что за сыном к вечеру, затемно, специально приезжал пригласить в гости на черного барана Анвар Бекходжаев на свой красавице «Яве», а не сам он отправился, глядя на ночь, к Бекходжаевым, чтобы пригрозить убийством своему другу. Да не отстранила прокуратура от дела капитана Джураева, не веди его сам полковник Иргашев, неизвестно, как бы сложился суд, отвертелся ли бы Анвар Бекходжаев от справедливого возмездия, даже если б капитан Джураев и не смог обеспечить явку на процесс человека, отдавшего ему снимок, сделанный «Полароидом», и Сунната-ака, наотрез отказавшегося засвидетельствовать то, что видел во дворе через улицу.

Не случись у него инфаркта в ту ночь, одного признания Азата Худайкулова оказалось бы недостаточно, пришлось бы суду доказать его вину, а не согласиться с тем, что разыграли умные дяди в угоду всесильному Суюну Бекходжаеву. Но все это — если бы да кабы. Не надо было сбрасывать со счетов и клан Бекходжаевых,

уж они наверняка воспользовались неожиданно предоставившимся временем на тот случай, если областной прокурор Азларханов попытается вновь поднять дело, как только оправится от инфаркта. Но главная сложность ситуации заключалась в ином: чтобы он ни предпринял, любой его шаг давал противоположной стороне повод обвинить прокурора в предвзятости, субъективности, чувстве личной мести, злоупотреблении служебным положением, а это означало одно — его, как и капитана Джураева, тут же отстранили бы от дела.

Амирхану Даутовичу оставался один выход, и он им воспользовался: отправил письмо прокурору республики, где, не вдаваясь в подробности, просил в порядке надзора поднять дело об убийстве своей жены. Прошла неделя, вторая, заканчивалась третья, но ни письменного ответа из прокуратуры республики, ни телефонного звонка от самого прокурора, на что рассчитывал Амирхан Даутович, не было. Зато случился у него неожиданный разговор в отделе административных органов обкома партии, куда он зашел по каким-то текущим делам. Он уже уходил, когда заведующий отделом, заметно волнуясь, попросил его задержаться еще на несколько минут. Начал он издалека.

— Амирхан Даутович, вам ли не знать, как здесь вас ценят и уважают. Мы понимаем, что благодаря вам правопорядок в нашей области на ступень выше, чем в целом по республике. Это, конечно, и ваша заслуга как областного прокурора. Знаем мы и ваш высокий авторитет среди коллег. Поэтому мы все очень переживали за ваше здоровье после трагической гибели Ларисы Павловны. Вы даже не можете представить, какой общественный резонанс вызвал этот прискорбный случай — у меня в отделе ни на минуту не умолкал телефон. Люди требовали срочно найти убийц и наказать, ведь вашу жену в наших краях знали многие и мы все гордились ее успехами. Я думаю, мы приложили все усилия, чтобы найти и покарать убийцу, этим мы выполнили свой долг и перед памятью Ларисы Павловны, и перед вами, и успокоили общественность, которая вряд ли простила бы органам правопорядка промедление и проволочку в таком шумном деле. Какие только слухи не ходили по городу, и мне десятки раз и лично и по телефону приходилось объяснять людям, что вы живы и скоро появитесь на работе. Вот в такой нервной обстановке нам пришлось работать в ваше отсутствие. — И тут, несколько замявшись, он перешел к тому, ради чего и затеял разговор. — И вот теперь, когда мы видим вас в здравии и радуемся вашему возвращению в строй, надеясь, что ваша душа хоть немного успокоилась, мы узнаем, что вы хотели бы вновь вернуться к делу об убийстве вашей жены. Конечно, поймите меня правильно, вы вольны этого требовать, но это может худшим образом отразиться на вашем здоровье, на вашей работе, не говоря уже о том, что вновь всколыхнется общественное мнение, начнутся нежелательные пересуды, слухи. Неизвестно, чего вы добьетесь, а шума будет много, это уж точно. Так что, уважаемый Амирхан Даутович, я думаю, что вашу просьбу о пересмотре дела вряд ли поддержат и поймут. Но это, так сказать, мое личное мнение, и, пожалуйста, не считите этот товарищеский разговор как вмешательство в вашу личную жизнь и тем более в компетенцию прокурора.

Амирхан Даутович слушал молча, не перебивая, — он сразу понял, что заводделом говорит по поручению, это чувствовалось, он тяготился возложенной на него миссией. Может, он говорил вполне искренне и логика в его рассуждениях была, но он ведь не знал и доли того, что знал об этом деле Амирхан Даутович. Может, он даже допускал мысль, что Анвар Бекходжаев, проходивший по делу свидетелем, и достоин наказания, но как человек, привыкший мерить общими критериями, а не частными, нисходящими до каждой отдельной судьбы, считал, что ради этого не стоит вновь будоражить общественность и признавать ошибки. Амирхан Даутович понимал: запущен пробный шар, разговор этот затеян как предупреждение, как зондаж его настроения и духа. Понял он и то, что письмо его не вышло за пределы области, и зря он дожидался звонка прокурора республики. Ни о письме, ни о том, кто стоит за этим разговором, Амирхан Даутович спрашивать заведующего отделом не стал. Поблагодарив за заботу о его здоровье, за память о Ларисе Павловне, Амирхан Даутович, ничего не ответив по существу, откланялся. Но и заведующий не был так прост и вряд ли ему доверили бы столь деликатную миссию, если бы он не обладал проницательностью: он тоже понял, что прокурор от задуманного не отступится.

Разговор в обкоме Амирхан Даутович принял к сведению, уяснив, что писать снова в Ташкент не следует: через месяц там было назначено крупное совещание — вот тогда-то он выберет момент и попросит аудиенции у прокурора республики.

Готовясь к встрече с прокурором республики, Азларханов попытался четче определить круг прямых родственников Суюна Бекходжаева, занимавших в области большие посты, с тем чтобы дело на расследование забрали в столицу. О том, какое тут может оказываться давление, такой список говорил бы достаточно красноречиво. Двух сестер Бекходжаева, под фамилиями мужей, Амирхан Даутович установил

сам, но из братьев на номенклатурных должностях обкома пребывали только двое Бекходжаевых. Пришлось Амирхану Даутовичу обратиться к людям, которым он доверял, и тут же отыскались остальные четыре брата, но уже под другой фамилией. Поразительный факт для человека, не знающего тонкостей Востока: здесь единокровные братья и сестры могут носить разные фамилии — скажем, отца или деда; может случиться, да и случается частенько, что, жалуясь на какого-нибудь чинушу, бюрократа, мздоимца, обращаешься к его родному брату или сестре, только фамилия чинуши повторяет фамилию отца, а фамилия брата образована от имени того же отца. Кроме братьев и сестер Суюна Бекходжаева, три его старших сына, родные братья «свидетеля» Анвара Бекходжаева, тоже занимали высокие посты в области и районе. Внушительный список составил Амирхан Даутович — этот клан и без помощи извне мог одолеть любую преграду и свалить кого угодно. А кроме того, ведь была еще ближайшая и дальняя родня, да и просто преданные люди, обязанные чем-то Суюну Бекходжаеву.

Утвердившись в мысли, что через месяц непременно попадет на прием к прокурору республики, Амирхан Даутович успокоился и без суеты стал готовиться к этой встрече. Принятое решение сказалось и на его настроении, он обрел душевное равновесие.

На дворе стояла весна, и он, как прежде, хоть и несколько запоздало в этом году, подолгу копошился у себя в саду. В одно из воскресений вместе с приглашенным в помощь садовником тщательно подстриг кусты живой изгороди, и двор сразу сделался просторнее. Целую неделю после работы он выгробал с лужаек, изо всех углов двора остатки прошлогодней листвы, и казавшиеся безвозвратно запущенными «английские» лужайки удалось привести в приличный вид. Работы в саду и в осиротевшем доме оказалось так много, что ему не хватало суббот, воскресений и долгих весенних вечеров, но занятие это не тяготило его, наоборот, наполнило жизнь каким-то смыслом. Обрезая погибшие за зиму плети в винограднике, ладя новые опоры для молодых побегов, Амирхан Даутович, конечно, нет-нет да и возвращался мыслями к предстоящей встрече в Ташкенте, к последнему своему шансу добиться справедливости.

Конечно, в своих планах он просчитывал, как в шахматах, различные варианты, думал о том, что могут предпринять против него Бекходжаевы. Ему было яснее ясно, что они постараются обязательно, любым способом дискредитировать его — это верняковский, многократно подтвержденный жизнью путь против тех, кто добивается правды. Но как бы строго он ни подходил к себе, «пятен» не находил, сколько помнил себя, всегда старался жить честно, достойно. Прокурору казалось, что здесь Бекходжаевым и их советчикам придется туго.

Неожиданно ему подумалось: хорошо, что осужденный Азат Худайкулов находится в заключении далеко, не под рукой клана Бекходжаевых и полковника Иргашева. Ведь случись с ним какая беда, несчастный, например, случай, — все бы в планах Амирхана Даутовича рухнуло. И Амирхан Даутович на всякий случай пометил в бумагах, что на приеме у прокурора надо попросить, чтобы осужденного Азата Худайкулова на время следования взяли на особый режим охраны. Пойдя на компромисс с совестью, задавленный обстоятельством, парень теперь уже собственной рукой стягивал петлю на своей шее — могли ведь Бекходжаевы разыграть и такую карту.

5

Недели через две после памятного разговора в административном отделе обкома, рано поутру в кабинете Амирхана Даутовича раздался звонок — звонил первый секретарь обкома. Амирхан Даутович после выхода на работу виделся с ним несколько раз, а однажды они провели вместе четыре часа, так много накопилось важных дел за время болезни областного прокурора, а первый рассматривать их с заместителем, исполняющим обязанности, не стал.

Виделись они и накануне, поэтому Амирхан Даутович удивился звонку. Удивил его и сухой, сдержанный тон первого секретаря, который просил Амирхана Даутовича непременно зайти в обком в первой половине дня. О чем предстоит разговор, какие бумаги следует захватить с собой, ничего не сказал, а прежде бывало именно так. Удивило и время — «в первой половине дня» вместо привычного «сейчас же» или назначенного часа. Он словно предоставлял Амирхану Даутовичу возможность изрядно поволноваться.

Долгая работа в должности областного прокурора научила Амирхана Даутовича многому, прежде всего выдержке, хладнокровию, едва ли слабонервный долго продержится на такой работе; и Азларханов не комплексовал от того, мило или не-

мило говорит с ним секретарь обкома: у того тоже работа, что ни день — сюрпризы, на каждого улыбок и хорошего настроения не напасешься. Но какое-то чувство подсказывало, что дело все-таки касается его лично.

Незадолго до истечения назначенного неконкретного времени Амирхан Даутович вошел в приемную. Секретарша, по-видимому, была предупреждена о визите прокурора и потому, едва он появился, кивнула на добротнo обитую кожей дверь: «Ждет, уже спрашивал дважды».

Едва Амирхан Даутович вошел в кабинет, секретарь обкома поднялся из-за стола и направился ему навстречу, так он поступал всегда, когда был в настроении. На Востоке вопросов сразу, в лоб, не задают даже самые деловые люди и на самом высоком уровне — таковы давние традиции. И хотя они виделись только вчера, секретарь обкома все равно спросил Амирхана Даутовича о здоровье, самочувствии, о том, не нужно ли чем помочь. Потом вызвал секретаршу и попросил чаю, и она, словно знала желание хозяина кабинета, тут же внесла чайник с пиалами. Амирхан Даутович понял, что разговор предстоит долгий.

Секретарь разлил чай по пиалам, но усаживаться не стал. Взяв пиалу, подошел к окну. Окна кабинета выходили на внутренний двор, то есть в сад, тщательно спланированный и любовно ухоженный. Сейчас в обкоме был перерыв; и в летней столовой и в чайхане обедали сотрудники. Из окна третьего этажа было хорошо видно, чем потчуют сегодня повара, — впрочем, запахи плова, шашлыка, тандыр-кебаба, горячих лепешек, ангреноского угля под баком кипящего трехведерного самовара — подарок делегации из Тулы — долетали и до распахнутого окна. Но сегодня аппетитные запахи не привлекали ни секретаря обкома, ни областного прокурора, а прежде они не раз обедали вместе там внизу, в саду.

Сейчас первый молча стоял у окна, словно высматривая кого-то или не решаясь начать разговор, который, видимо, тяготил его, — такой нерешительности Амирхан Даутович за ним раньше не замечал. Затем он подошел к своему огромному столу, взял бумагу, лежавшую на видном месте отдельно, и вернулся к другому столу, где стоял чайник. Жестом пригласил Амирхана Даутовича сесть и протянул ему письмо, ради которого, наверное, и пригласил прокурора.

На фирменном бланке — дорогая вощеная финская бумага — сразу бросалась в глаза крупно набранное название учреждения на трех языках: арабском, английском, русском. Амирхан Даутович недоуменно прочел: «Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана» — и на миг усомнился, не перепутал ли свои бумаги на необъятном столе хозяин кабинета, но первый, перехватив его удивленный взгляд, сказал с сожалением:

— Не ошибся, не ошибся, читай дальше. Думаешь, только к тебе стекаются жалобы и анонимки на всех и вся. Пришла вот и на тебя, в первый раз за десять лет, да так некстати, словно кто-то задумал добить тебя после того, что ты перенес.

Письмо было написано по двум адресам: в ЦК компартии республики и копия — первому секретарю обкома. «Круто начинают», — подумал Амирхан Даутович без особого волнения, но письмо его заинтриговало.

«Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана обращается к Вам за помощью. В частной коллекции керамики областного прокурора Азларханова А. Д. вот уже несколько лет находятся предметы, изъятые из Балан-мечети селения Сардоба, представляющие особую ценность для мусульман этих мест. В 1867 году торговый человек, уроженец Сардобы, Якубходжи, на чьи средства и построена Балан-мечеть, совершил тяжелый караванный хадж в святую для мусульман Мекку. По возвращении он прожил недолго, умирая, все свое немалое состояние завещал мечети. Среди многих предметов, доставшихся сельской мечети, особую ценность представляли два дорогих сосуда, инкрустированных серебром, внутри сосуды были обработаны особой серебряной эмалью — для хранения воды в долгой дороге. Сосуды, хранившиеся до недавних пор в Балан-мечети, по записям Якубходжи, изготовил известный гончар двора эмира бухарского — Талимардан-кул. Сосуды эти, представляющие, безусловно, и эстетический интерес, совершили долгий путь с Якубходжой в Мекку и вернулись в Сардобу, и потому стали предметами, освященными в святых местах. После смерти ходжи они приобрели в глазах верующих мусульман еще большую ценность.

В подтверждение прилагаем к письму цветной снимок предметов из Балан-мечети. Фотография из художественного альбома, изданного в 1978 г. в Швейцарии, под снимком подпись на английском языке: керамика из частного собрания Л. П. Тургановой (жена областного прокурора).

Просим восстановить справедливость и вернуть святые реликвии в Сардобу. С уважением...» — и далее следовала хорошо известная в крае подпись.

Удар был нанесен тонко, ловко, вовремя — Амирхан Даутович понял это, как только прочитал первые строки. В ком не вызовет возмущение и протест подобное кощунство? Такого варварского поступка, как изъятие из мечети святых реликвий,

не одобрили бы даже атеисты. А чей справедливый гнев призван в союзники? ЦК партии, обкома. Да, слаб оказался Азларханов в стратегии против клана Бекходжаевых — о таком ударе он и подумать не мог. Искал какие-то «пятна» в своей жизни, а оказывается, здесь не просто «пятна», тут и злодеем предстать недолго, если кому-то уж очень надо. Конечно, Амирхан Даутович ни на секунду не поверил, что клан Бекходжаевых подобрал ключи к Духовному управлению, а тем более — к секретарю обкома, они просто использовали известного прокурору прием: умелую подтасовку фактов — в данном случае ход просто изощреннейший, иезуитский. Да, они сделали ход, на который ответить было совсем не просто.

Нарушил затянувшееся тягостное молчание хозяин кабинета:

— Не пойму, Амирхан Даутович, кому и зачем все это понадобилось? Кому-то необходимо свалить тебя? Понадобилось кому-то твой пост? Но я пока этого не замечал, и если это так, узнаю. Тут, конечно, не эти черепки важны, что-то другое, но я никак не возьму в толк — что именно? Мы тут решали с заведующим административным отделом... Да ты и сам понимаешь: без разбирательства не обойтись, письмо на контроле в ЦК партии, и ответ туда мы обязаны представить. Случай с Ларисой Павловной вызвал огромный общественный резонанс, ты лежал в больнице и не можешь вообразить, что тут творилось. Мы очень благодарны начальнику милиции полковнику Иргашеву и районному прокурору Исмаилову: они оперативно провели расследование, суд сурово наказал убийцу, тем самым успокоив народ. И когда пришло предложение поощрить их за оперативность, я не возражал, и теперь оба они работают в области. Им я и поручил расследовать историю с Балан-мечетью.

Затем, после небольшой паузы отхлебнув глоток чая, он спросил, разглядывая цветной снимок, приложенный к письму:

— А сосуды эти — пропади они пропадом — где: у тебя дома или в нашем краеведческом музее? Я помню, Лариса Павловна устраивала там свою выставку?

— Дома, — ответил Амирхан Даутович.

— Вот и хорошо, очень хорошо, я беспокоился, что они пропали, а это уже был бы скандал. Пожалуйста, пусть твой шофер немедленно привезет их сюда, ко мне. А я попрошу, чтобы пригласили имама Балан-мечети, и верну их ему лично. Главное, появится возможность дать лаконичный ответ в Духовное управление и в ЦК партии: реликвии возвращены мечети. Может, тем и отделаемся. — И, считая, что разговор окончен, секретарь обкома поднялся.

Амирхан Даутович ничего объяснять не стал. Он понял, что ему предстоит это делать не один раз, и устно, и письменно, потому что клан Бекходжаевых неожиданно получил еще один козырь. Комиссия во главе с полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым, конечно, постарается раздуть историю с сосудами из Балан-мечети, уж кому-кому, а им проигрывать единоборство с прокурором было нельзя.

Подавленный новостью, прокурор медленно спустился вниз и долго сидел в машине, раздумывая: потом, вспомнив просьбу секретаря обкома, велел ехать на Лахути. И тут Амирхан Даутович благодарно оценил прозрачность первого: еще не зная всей ситуации, тот почувствовал, что за сосудами из мечети что-то кроется, и пропажа их может неблагоприятно отразиться на судьбе прокурора. Азларханов впервые с ужасом подумал: а ведь действительно, пропади не дай бог эти «сокровища», какую бы только напраслину не возвели на Ларису, вплоть до того, что она не привезла их обратно из Швейцарии. Тем более, что они были главным экспонатом ее последней выставки и вызвали там пристальный интерес у коммерсантов, как отмечала пресса. Сейчас, осознав это все, Амирхан Даутович усомнился и в правильности своего ответа секретарю обкома, потому что в комнаты, где располагалась коллекция Ларисы, он не заходил ни разу после своего возвращения домой. Не без волнения переступил Амирхан Даутович порог комнаты, где Лариса собрала керамику девятнадцатого века. Сосуды Якубходжи стояли на обычном, отведенном им с первого дня месте, фоном служила деревянная панель из трех старых резных створок дверей. Амирхан Даутович и сейчас нехотая заметил, что сосуды смотрелись прекрасно и без ухищрений фотографа, без огромной шкуры гиссарского волка и кремнёвого ружья. Он вспомнил, как любовался, не скрывая восхищения, этой фотографией секретаря обкома.

Снимая тяжелые сосуды с полки, Амирхан Даутович горько усмехнулся: теперь ему нужно думать вовсе не о том, как смотрятся эти сосуды или какое они произвели впечатление на секретаря обкома, а что следует ему предпринять в связи с жалобой, ведь он ясно представлял, кто стоял за всем этим. Но как бы ни гнал он от себя эти мысли, перед глазами отчетливо стояла страница из альбома, изданного в Локарно. И вдруг сам собой всплыл такой вопрос: «Откуда у них появилась эта страница, где они взяли альбом, изданный в Швейцарии?» Ведь альбом выпускался специально к выставке небольшим тиражом, и даже Ларисе удалось добыть всего

три экземпляра. Один они подарили по возвращении в Москву дальним родственникам, рьяным поклонникам Ларисиных увлечений, а два других находились у них дома. И вряд ли даже при большом желании можно было так скоро отыскать столь редкое издание. Азларханов, оставив сосуды, прошел в кабинет, где у них была библиотека. Книги по искусству, репродукции занимали отдельную полку, и альбом, изданный в Локарно, сразу бросился в глаза — он стоял не торцом в ряду, а был развернут обложкой.

Прокурор снял альбом с полки и торопливо перелистал страницы, снимок керамики из Балан-мечети был на месте, цел. Амирхан Даутович поставил альбом на полку и начал искать второй экземпляр. Посмотрел на полках, в ящиках стола... И вдруг он вспомнил, что брал его в прошлом году на службу, когда рассказывал о поездке в Швейцарию, о последней выставке Ларисы. Вспомнил, что видел его недавно среди бумаг в сейфе. Отправив машину с сосудами Якубходжи в обком, Амирхан Даутович пешком вернулся к себе в прокуратуру. Он думал: может, прогулка по весеннему городу наведет его на мысль об ответном ходе, который ему следовало сделать без промедления. Но мысли приходили какие-то вялые, разрозненные, и, только вспомнив про альбом в кабинете, прокурор оживился — многое могло проясниться, если снимок взят из альбома, хранившегося у него в сейфе. Эта мысль и заставила его ускорить шаг.

В приемной его никто не дождался, не нужно было никуда срочно звонить, и Амирхан Даутович открыл сейф. Альбом лежал в глубине, на второй полке. Амирхан Даутович достал альбом и, закрыв сейф, вернулся за стол.

Открыл альбом наугад — получилось как раз там, где была керамика из Балан-мечети, но от страницы остался лишь корешок — обрезали весьма аккуратно. «Значит, предчувствие не обмануло меня. — Амирхан Даутович захлопнул альбом. — Так вот какой, выражаясь шахматным языком, оказалась домашняя заготовка Бекходжаевых. Что ж, зря они времени не теряли, пока я кочевал из больницы в больницу, прямо-таки гроссмейстерский ход придумали. А сколько у них таких ходов про запас приготовлено! Или уже сделано, а я еще не знаю!»

Прокурор размышлял. Конечно, он мог наперед рассчитать кое-какие их ходы, да что толку: Бекходжаевы не сидели полгода сложа руки, и каждую попытку прокурора, конечно, готовы встретить во всеоружии. Амирхан Даутович снова вернулся к сейфу и достал книгу по району, где находилась Балан-мечеть. Прочитав пять-шесть записей по Сардобскому району, не стал листать дальше и положил ее обратно в сейф. Даже этих беглых, наугад взятых записей, с фактами, а главное — с его предположениями, вполне хватало, чтобы Бекходжаевы, торгуя этими сведениями, заполучили из района любую удобную для них версию исчезновения сосудов из Балан-мечети. И стало ясно, что комиссия во главе с полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым представит секретарю обкома документ, где он будет выглядеть совсем не лестно, и, может, даже подведут его действия под уголовный кодекс — в том, что Бекходжаевы не будут придерживаться никаких правил игры, Азларханов теперь не сомневался.

Оценивая положение, Амирхан Даутович просидел, не выходя из кабинета, до позднего вечера, но ответа, равного ходу Бекходжаевых, так и не придумал. Все сходилось на том, что необходима встреча с прокурором республики, где он должен был выложить теперь все как есть: и о Ларисе, и о могущественном клане Бекходжаевых, и о письме из Духовного управления, и о сосудах из Балан-мечети, и об исчезнувшей из сейфа странице альбома, и о полковнике Иргашеве, и о прокуроре Исмаилове, неожиданно получивших повышение, и о заключенном Азате Худайкулове, которого следовало перевести куда-нибудь подальше и взять под особый надзор. И встреча эта, наверное, выглядела бы убедительнее, если бы на ней присутствовал капитан Джураев.

Конечно, рассчитывая только на встречу с прокурором республики, Амирхан Даутович по сути расписывался в собственном бессилии, но какие бы он ни строил планы, он понимал, что Бекходжаевы имели огромный выигрыш во времени.

Поздно вечером того же дня на Лахути раздался неожиданный междугородный телефонный звонок. Звонил из Ташкента прокурор республики. Расспросив о здоровье, он так же, как и секретарь обкома, долго не переходил к главному, ради чего позвонил в столь поздний час. И Амирхан Даутович, как и утром в обкоме, почувствовал это.

— Ты, конечно, догадался, что неспроста я звоню тебе среди ночи, да еще домой. Но я знаю тебя уже больше десяти лет и по-человечески, думаю, просто обязан поставить тебя в известность. Тут в последние три недели пошли потоком на тебя анонимки. Первые откладывал в стол, а вот последние не могу придержать и я, потому что направлены они в два адреса — в ЦК партии республики и к нам, в республиканскую прокуратуру. Чуть вроде бы, а реагировать обязаны. Одна пришла из Ялты, оттуда один отдыхающий из санатория, где ты лечился, сообщил,

что ты предлагал за семьдесят тысяч интересную коллекцию керамики XVIII и XIX веков, которая неоднократно выставлялась за рубежом и указана в большинстве известных в Европе каталогов по искусству. Якобы в поисках клиентов ты ежедневно ходил в модное и дорогое кафе «Восток», где просиживал долгие часы. Тут даже написано, что официанты нашли тебе клиента за шестьдесят тысяч, но ты не уступил, и есть намек, что анонимка в отместку за твою жадность и неуступчивость в цене.

Другая анонимка куда более подробна и написана с большим знанием твоей жизни; наверняка консультировали люди, близко знавшие и тебя, и Ларису Павловну. Там тоже ваша коллекция оценивается, но гораздо выше, цитирую: «По самым скромным подсчетам, коллекция, собранная прокурором, стоит от ста до ста двадцати тысяч...»

Там пишут, опять же цитирую: «... скромная жизнь прокурора области Азларханова лишь ширма, главная цель его — обогатиться за счет уникальной коллекции». Обращают внимание, что ты ни разу в своей жизни не пользовался бесплатной обкомовской путевкой в отпуске, а проводил эти дни в экспедициях с женой, чтобы, используя свое должностное положение, ускорять поиски необходимых для коллекции предметов. Пишут, что Лариса Павловна при нашем содействии специально издала альбом музея под открытым небом в вашем саду на Лахути, чтобы рекламировать свое частное собрание с тем, чтобы позже выгоднее его реализовать. Пишут, что и в зарубежных альбомах, особенно в последних, она старалась подать керамику только из своего собрания, и что, мол, вывозила свою личную керамику за рубеж, чтобы прицеливаться, сколько же это будет стоить. И что главной ее целью в будущем было показать свое частное собрание за границей полностью и при удобном случае остаться с нею там, разбогатев на продаже известной коллекции.

В общем, чушь несусветная, там еще много всяких небылиц, вроде той, что вы с женой собирались остаться в Швейцарии, когда были на последней выставке Ларисы Павловны, да что-то там вам помешало. Или Швейцария вас не устраивала, тем более, что у Ларисы Павловны через год намечалась выставка в Америке, в Нью-Йоркском центре современного искусства.

Короче, восемь страниц убористого текста на машинке. Ты же знаешь, у нас жалобы и анонимки на судей и прокуроров одни — взятки, — потому и раздумывали, как это обвинение классифицировать, как подступиться. Тут нам рекомендовали сверху создать комиссию, включили экспертов по искусству, чтобы оценить ваше собрание, в общем, ждите ее на днях. Трудные вам предстоят дни, Амирхан Даутович, но я от души желаю вам выпутаться из этой нелепой истории...

И разговор неожиданно прервался. Амирхан Даутович не успел даже слова в ответ сказать. Впрочем, о чем бы он говорил? О том, что никогда не только не предлагал никому коллекцию жены за семьдесят пять тысяч, но даже и не подозревал, что она может стоить таких денег? Или спросить, в здравом ли уме люди, берущие на контроль подобные анонимки, — до денег ли, пусть даже и семидесяти пяти тысяч, человеку, только что потерявшему любимую жену и чудом оправившемуся от двух подряд тяжелейших инфарктов, человеку, месяц не покидавшему реанимационной палаты?

В эту ночь Амирхан Даутович не сомкнул глаз. Нет, не оттого, что испугался коварных анонимок, или лихорадочно прикидывал ответы на вопросы во все инстанции, или мысленно готовился к встрече с комиссией, которая должна была вот-вот нагрянуть. После неожиданных разговоров в один день с секретарем обкома и прокурором республики, особенно после ночного звонка из Ташкента, Амирхан Даутович понял, что он уже не контролирует положение, угловое суденышко его жизни сорвалось с причала и понеслось в открытый штормящий океан. В бессонную ночь он меньше всего оценивал серьезную опасность, нависшую над его репутацией честного человека. Как прокурор, охраняющий права граждан, он думал о том, что закон несовершенен: одной умело написанной анонимки достаточно, чтобы закопшились вокруг тебя комиссии, проверяющие, уполномоченные. И откуда только сразу и люди, и средства на подобные мероприятия находятся? И даже кристально честный человек обязан в таких случаях едва ли не выворачивать карманы перед комиссией, оставаться в нижнем белье, показывать свою спальню, кухню, кладовки, дабы убедить, что он живет по средствам.

И даже если комиссия подтвердит твою кристальную честность, не велика ли плата за доставленное анонимщику удовольствие? Как же дальше смотреть в глаза друг другу: и тому, кто проверял, и тому, кто велел проверить, и тому, кого проверяли? Делать вид, что ничего не произошло? Если находят люди, так легко раздевающиеся перед другими, кто гарантирует, что они в следующий раз не будут раздевать догола других, причем, ссылаясь на собственный пример и подавая его уже как образец поведения.

Не давала ему покоя и другая мысль: два человека, наделенных такими высоки-

ми полномочиями — и первый секретарь обкома, и прокурор республики, — проявили сегодня человеческое участие в его судьбе. Так что выскажи он при случае им какую-то обиду на несправедливость, они едва ли теперь поймут его, потому что, даже высказывая ему сочувствие, они как бы совершали героический поступок, ибо преступали некую запрещающую линию, прочерченную анонимкой. Значит, на открытую помощь этих людей, хорошо знавших и даже ценивших его, Азларханов рассчитывать не мог, и тому подтверждение — полутайный ночной звонок: но, как говорится, и на том спасибо.

6

А дальше события развивались куда стремительнее, чем предполагал Амирхан Даутович. Комиссия, возглавляемая полковником Иргашевым и прокурором Исмаиловым, управилась с делами в Сардобском районе за один день и к вечеру представила в обком материалы об изъятии областным прокурором Азлархановым сосудов Якубходжи из Балан-мечети. Любопытные документы... Выходило, что прокурор Азларханов трижды посещал Балан-мечеть, и даже были точно указаны даты, которые совпадали с теми днями, когда Амирхан Даутович действительно проверял Сардобский район. И все три раза он, Азларханов, якобы требовал от имама мечети подарить ему сосуды Якубходжи, побывавшие в Мекке, на что имам всегда отвечал отказом. Была якобы однажды в мечети, в отсутствие имама, и Лариса Павловна, жена прокурора. Она, мол, тоже долго восхищалась керамикой Талимардан-кула, — гончара бывшего эмира бухарского Музаффара, и очень хотела приобрести кувшины для своей коллекции. Она даже оставила собственноручно написанную записку имаму. На страничке из блокнота было написано ее стремительным почерком: «Очень понравились ваши кувшины, думаю, они украсили бы любую выставочную коллекцию. Готова приобрести их по разумной цене. Жаль, не застала вас, заеду еще раз на этой неделе.

С уважением, Л. П. Турганова».

Такие записки Лариса не раз оставляла в домах, если не оказывалось в этот час хозяина или хозяйки интересовавшей ее керамики.

А изъять сосуды Азларханов, якобы собственноручно, при следующих обстоятельствах. Понимая, что имам мечети добровольно никогда не отдаст святые реликвии мусульман в частную коллекцию, Азларханов наказал работнику районной прокуратуры Шамирзаеву следить за работой Балан-мечети и при первой же маломальски противоправной деятельности тут же поставить его, Азларханова, в известность. И такой повод скоро представился. При ремонте мечети завезли два кубометра пиломатериалов и машину кирпича, первоначально предназначенных для строительства школы в соседнем кишлаке. И Шамирзаев, согласно распоряжению областного прокурора, завел уголовное дело на имама мечети, купившеговорованный материал.

Вывод был таков: путем угроз, шантажа областному прокурору удалось заполучить желанные сосуды для своей коллекции. За ними он якобы приезжал лично в сопровождении работника районной прокуратуры Шамирзаева. И дата изъятия тоже документально подтверждалась: Амирхан Даутович действительно в этот день проезжал Сардоду и был в прокуратуре, где провел короткое совещание.

Ознакомившись с заключением комиссии в административном отделе обкома, Амирхан Даутович лишь спросил у заведующего:

— Нельзя ли вызвать в обком Шамирзаева из Сардобы?

На что завоетделом грустно закатил глаза и развел руками:

— Умер, умер, к вашему и нашему сожалению, Шамирзаев, еще в позапрошлом году. А имам — год назад.

Не заставила себя ждать и высокая комиссия из Ташкента, о которой предупредил Амирхана Даутовича ночным звонком прокурор республики. Прибыли они впятером, два незнакомых Амирхану Даутовичу искусствоведа-эксперта, работник из прокуратуры республики — из новеньких, важный чиновник, представляющий народный контроль на республиканском уровне, и представитель из парткомиссии при ЦК Компартии Узбекистана. Такого солидного состава не ожидали ни в обкоме, ни в прокуратуре, не ожидал такого внимания к себе и Амирхан Даутович.

Проверяющих из Ташкента в обкоме не ждали и, наверное, потому были рады, что заключение своей, областной комиссии по жалобе у них уже имелось. И приездие, еще не увидев частного собрания Тургановой, были тут же ознакомлены с выводами комиссии полковника Иргашева. Об их прибытии в обком Амирхану Даутовичу сообщили на работу и просили через полчаса быть дома, чтобы показать проверяющим коллекцию керамики, собранную его женой.

Амирхан Даутович не стал вызывать машину, а отправился домой пешком, полчаса ему вполне хватало, чтобы не заставлять себя ждать.

Было начало апреля, сочная зелень радовала взор. Оставив калитку распахнутой, Амирхан Даутович прошел во двор. За эти двадцать пять дней после возвращения из Ялты он с помощью нанятого садовника привел двор в порядок. Возвращаясь с работы, прокурор до полуночи проводил время в освещенном саду, подбеливал, обрезал, окучивал, и сегодня, после обильных мартовских дождей, двор, кусты роз, сирени выглядели так, словно нарочно были подготовлены для осмотра. И Амирхан Даутович невольно залюбовался творением рук Ларисы — все здесь до мелочей было продумано ею и напоминало о ней. Задумавшись, он и не слышал, как комиссия появилась у него за спиной.

— Впечатляюще! — сказал представитель народного контроля.

Оба эксперта-искусствоведа разбежались по двору, их восторженные возгласы раздавались то у одного экспоната, то у другого. Амирхану Даутовичу приходилось каждому из них давать объяснения, чаще всего о том, в каких каталогах и где была представлена эта керамика. Все, что им говорил областной прокурор, они тщательно вносили в затрепанные толстые тетради, запись вел и представитель из народного контроля, следовавший за Амирханом Даутовичем по пятам, словно боялся, что он о чем-то сговорится с экспертами. Два других члена комиссии, по всей вероятности задалые садоводы, проявили искренний интерес к карликовым деревьям, редким кустарникам и цветам, к «английским» лужайкам, и если задавали вопросы, то они касались только сада.

Пробыв в саду более часа и осмотрев все экспонаты «музея под открытым небом», перешли в дом. Две самые большие комнаты коттеджа, отданные под коллекцию, Амирхан Даутович успел тоже привести в порядок, после того как вернул сосуды Балан-мечети секретарю обкома. Здесь гости пробыли гораздо меньше, чем во дворе, и тут он тоже отвечал только на вопросы искусствоведов-экспертов и важного чиновника из народного контроля, у которого их оказалось всего три. Указывая на ту или иную вещь, он спрашивал: «Это за сколько приобретено? Где приобретено? У кого приобретено?» Вот на эти вопросы отвечать Амирхан Даутович затруднялся, особенно на первый — за сколько приобретено? — потому что он точно знал, что редко какое изделие покупалось за деньги. Большинство предметов было принесено незнакомыми людьми, подарено друзьями, соседями, коллегами по работе. Он и говорил об этом, но по глазам видел, что его ответ не вызывал веры у представителя из народного контроля, который, наверное, и был председателем комиссии, потому что слишком уж надменно и официально держался.

В комнатах, несмотря на теплый весенний день, было прохладно, тянуло из углов сыростью — видимо, и керамика хранила еще зимний холод нежилых помещений, — и комиссия выразила желание посмотреть альбомы, каталоги выставок, книги Ларисы Павловны во дворе, на весеннем солнышке. На открытой летней веранде уже стоял стол, и Амирхан Даутович вынес туда все то, что попросили проверяющие. Разобрав альбомы, члены комиссии стали внимательно разглядывать их, время от времени делая какие-то выписки. По тому, как увлеченно рассматривали альбомы искусствоведы-эксперты, Амирхан Даутович понял, что некоторые из них, в основном изданные за рубежом, они видели впервые. Особенно быстро и шумно одолевал альбомы и каталоги тот, которого Амирхан Даутович внутренне признал председателем комиссии. То и дело слышалось:

— Во дает, в Испании издалась...

Или:

— Смотри, смотри, вот тот хум, что под дубом лежит. Напечатан в швейцарском альбоме.

Разглядывая композицию с сосудами из Балан-мечети, он сказал:

— Это ж надо, какого огромного волка охотник подстрелил из такого древнего ружья... — И долго сокрушенно качал головой.

Передавая друг другу, приезжие рассматривали альбом и каталоги дольше, чем всю коллекцию керамики. Представитель из парткомиссии, видимо зная, что Амирхан Даутович сопровождал Ларису Павловну в двух зарубежных поездках, спрашивал о том, как проходили эти выставки, какие экспонаты представляли особую ценность, впрочем, ценность он подразумевал не эстетическую и не научную, но это не сразу дошло до областного прокурора. Они, наверное, задержались бы у него во дворе еще с часик, но неожиданно за высокими проверяющими прибыли две машины, и человек, приехавший за ними, объяснил Амирхану Даутовичу, что обед в загородной резиденции обкома уже готов. Пригласили на обед и Амирхана Даутовича, не очень настойчиво правда, но Азларханов отказался. С тем комиссия и отбыла, и о ее выводах Амирхан Даутович узнал только через неделю на бюро обкома партии, созванном по его персональному делу.

С заключением ташкентской комиссии его ознакомили перед началом бюро,

которое было перенесено по каким-то причинам на более позднее время. Путаное, неконкретное заключение, как и все, что выдвигалось и вменялось в вину Азларханову. Не смогли эксперты-искусствоведы и правильно оценить коллекцию керамики, собранную Тургановой, но тумана в этом вопросе напустили немало. Дважды в заключении ссылались на лондонский аукцион предметов искусств «Сотби», где в последние годы участилась продажа частных собраний керамики из разных стран. И приводили в пример коллекцию господина Кемаля из Анкары, которая была продана за восемьдесят четыре тысячи фунтов стерлингов, называлась и коллекция генерала Чарльза Грея, которую тот в начале века вывез из Египта, ее на аукционе «Сотби» оценили в сто тысяч. Эксперты проводили такую параллель потому, что, на их взгляд, коллекция Тургановой не уступала собраниям господина Кемаля и генерала Грея, и ссылались при этом на высказывания зарубежных газет о керамике, которую Лариса Павловна демонстрировала за границей. Ссылались также на статью, где приводилось сравнение частного собрания Тургановой с коллекцией Чарльза Грея и предпочтение отдавалось керамике Средней Азии, она оказалась представлена куда шире. Не преминули эксперты указать и на тот факт, что в рецензиях о выставках Тургановой западные журналисты не раз оценивали стоимость экспонатов, а газетчики оценивали коллекцию щедро, тем более что знали — она не продается. Оттого предполагаемая цена, называемая восторженными журналистами, была куда выше, чем назначил аукцион «Сотби» за коллекции из Анкары и Порт Саида. Эксперты переводили фунты, доллары, западногерманские марки, японские иены, французские франки, в которых хоть однажды оценивалась коллекция, по официальному курсу на рубли, и сумма получалась астрономическая, что-то около ста пятидесяти тысяч, превышая даже цену, названную анонимщиками. И эта, гипнотизирующая любого советского человека, живущего на зарплату, цифра витала в стенах обкома задолго до начала бюро, она определила тон и настроение его. Наверное, слух опережает скорость света, обрстая деталями или, наоборот, теряя их, и уже скоро не говорили, что коллекция керамики оценивается экспертами примерно в сто пятьдесят тысяч, а говорили, что областной прокурор собрал сто пятьдесят тысяч, или просто называли эту потрясающую цифру, увязывая всяк на свой лад с его фамилией такие большие деньги. Но все эти слухи распространялись и ширились после бюро, на котором и решилась судьба Амирхана Даутовича.

Конечно, и до бюро обкома его члены знали и о заключении комиссии полковника Иргашева, и о выводах проверяющих из Ташкента. Комиссия из Ташкента еще отметила, что иметь в домашнем саду «Музей под открытым небом» для такого должностного лица, как областной прокурор, — вызывающая нескромность, и партийная, и должностная.

Однако, обшарив чуть ли не все углы коттеджа, комиссия даже мельком не упомянула о спартанской скромности жилья областного прокурора, где не было ни одной вещи, которые принято называть предметами роскоши.

Членом бюро обкома оказался и один из младших братьев Суюна Бекходжаева, из тех, что носили другую фамилию. Он не стал выступать первым, но, видя, что собравшиеся не вполне разделяют выводы двух комиссий, взял слово.

— Я бы хотел, чтобы меня поняли правильно. Мне совсем не просто сказать слова правды человеку, перенесшему большое горе и едва оправившемуся после двух тяжелых инфарктов, но долг коммуниста обязывает к этому. Я тоже, можно сказать косвенно, соприкоснулся с бедой товарища Азларханова. Убийца-маньяк, так быстро пойманный и сурово наказанный органами правосудия, угрожал жизни моего родственника, студента, будущего коллеги нашего прокурора. Поверьте, если он не пострадал физически, то моральную травму он получил на всю жизнь, я знаю это точно. Так что мне, больше чем кому-либо, понятна беда товарища Азларханова. Беда неожиданно высветила и другое, но я убежден: даже не случись беды, рано или поздно ситуация с частной коллекцией в доме областного прокурора выплыла бы наружу. И тут мы подходим к сути дела. Я хочу сказать о корысти, какие личины она может принимать. Если раньше на бюро мы обсуждали людей, наживших несправедным путем дома, машины, дачи, ковры, хрусталь, сегодня мы сталкиваемся с более изощренной формой стяжательства. Меня поразила оценка уважаемых и авторитетных экспертов из столицы — сто пятьдесят тысяч! Такой астрономической цифрой оценивается собранная семьей Азлархановых редкая керамика нашего края.

Я не знаю всех методов, посредством которых собрана коллекция, и не хочу знать, копать в грязь, но, например, изъятие святых для мусульман реликвий Балан-мечети из Сардобы не разделяю даже я, убежденный атеист. Этот факт дискредитирует товарища Азларханова и как коммуниста, и как должностное лицо. Это большой политический вопрос, и, я думаю, бюро обкома даст принципиальную оценку такому поступку.

Но вернусь к корысти. Она шла под руку с неумемным тщеславием жены товарища Азларханова, и в лучах этой славы, как я знаю, любил покрасоваться и сам товарищ прокурор. Партийной нескромностью я считаю и то, что он дважды сопровождал жену в ее зарубежных поездках. Сегодня, когда была названа сумма в сто пятьдесят тысяч, я понял, наконец, объяснил для себя ее действительно неумную энергию, подвижничество. Убежден, ею двигали только тщеславие и корысть, это отчасти и привело ее к гибели.

Амирхан Даутович, хладнокровно выслушавший всех выступающих, неожиданно вскочил с места.

— Прекратите свои подлые измышления, товарищ Бекходжаев, и не касайтесь грязными руками имени моей жены, иначе я... — Амирхан Даутович, как тогда, в день задержания преступников, вышел из-за стола и, не помня себя, угрожающе двинулся на Бекходжаева.

Такое на бюро обкома случилось впервые, и дядюшка Анвара Бекходжаева взвизгнул от страха. Амирхана Даутовича под руки вывели из кабинета секретаря обкома, где проходило бюро, вызвали врача, и заседание закончилось уже без него.

Бюро обкома началось во второй половине дня; когда Амирхан Даутович, не дожидаясь врача, покинул приемную, рабочий день в старинном особняке давно закончился, и он брел по пустым, гулким коридорам, спускался по устланной коврами лестнице, не встретив ни единого человека. Между вторым и третьим этажом у Амирхана Даутовича снова прихватило сердце, и он, присев прямо на ступеньке лестницы, принял нитроглицерин. Нашел в себе силы подняться только потому, что чувствовал — заседание бюро вот-вот закончится, а он не хотел, чтобы его видели в таком жалком состоянии ни друзья, ни враги. Осторожно, держась за широкие, отполированные временем перила мраморной лестницы, Амирхан Даутович спустился вниз.

Уже сгустились весенние сумерки, и в воздухе заметно посвежело — Амирхан Даутович даже поежился, но, наверное, знобило его не от холода. Он не спеша пересек нарядную площадь перед обкомом и направился на стоянку служебного транспорта. Несмотря на поздний час, машин на стоянке оказалось много. Обычно, когда Амирхан Даутович еще пересекал площадь, его машина уже вырывалась со стоянки навстречу, но на этот раз «Волга» не спешила к нему, и Амирхан Даутович подумал, что его шофер заговорился с коллегами. Подойдя ближе, он не увидел своей машины и стоял некоторое время в растерянности, заметив, как из других машин наблюдают за ним. Он уже хотел повернуть назад, как из «Волги», крайней в ряду, вышел пожилой шофер и направился к нему. Амирхан Даутович узнал Усмана-ака, несколько лет назад тот возил его. Усман-ака подошел к Амирхану Даутовичу, поздоровался и, жестом пригласив к машине, не скрывая смущения, сказал:

— Бежал, как крыса с тонущего корабля. Пронюхал где-то, что Азларханов уже не областной прокурор и у вас крупные неприятности, и уехал, как только ушли на бюро... Такая нынче молодежь пошла практичная, а небось, у вас характеристику в институт подписывал, заочник... — И Усман-ака от злости сплюнул.

Амирхан Даутович, поблагодарив старого шофера, от его услуг отказался и отправился домой пешком — пройтись ему не мешало.

Была суббота, последняя суббота апреля, и на улицах большого города вечерняя жизнь вступала в свои права, люди шли в кино, в парки, просто гуляли. Многие раскланивались с Амирханом Даутовичем, оборачивались ему вслед: после смерти Ларисы Павловны вряд ли в городе был человек, не знавший его историю. Не знали они только о сегодняшнем бюро обкома, о выводах которого Амирхан Даутович догадывался еще до заседания. Впрочем, особых иллюзий он не строил: после ночного звонка прокурора республики понял, что Бекходжаевы обложили его основательно, после таких обвинений едва ли кого оставили бы на столь ответственном посту.

О своем несдержанном поступке на бюро обкома Амирхан Даутович не жалел, потому что знал: не останovi он Бекходжаева, тот продолжал бы поливать грязью Ларису, а домашних заготовок у них на этот счет, наверное, имелось немало, безошибочно высчитали, как дорога для него память жены. Не жаль ему было и должности, которую наверняка потерял надолго, если не навсегда, — обидно было сознавать, что проиграл борьбу без боя. Растоптали, как мальчишку, и пикнуть не позволили. Эта мысль не давала покоя ни по дороге домой, ни дома.

«Если Бекходжаевы думают, что дискредитировали меня как прокурора и лишили меня должности и теперь я им не опасен, — рассуждал Амирхан Даутович, — так зря они успокоились. Может, мне без чинов и легче будет отстаивать свою честь. И, может, то, что они считают концом, будет только началом?»

Амирхан Даутович походил по пустому, неуютному дому, не зажигая света, затем вышел в сад. Весенние сумерки быстро перешли в ночь, и буйно разросшийся по весне сад пугал темнотой. Прокурор долго стоял на открытой веранде, не желая возвращаться в дом и не включая огней в саду. Мысль о том, что он сдался без боя, не давала ему покоя.

И вдруг он представил себе, как Бекходжаев, по паспорту Садыков, вернулся после бюро обкома домой, где его наверняка дожидались остальные родственники, включая и самого Суюна Бекходжаева, и сейчас они за столом празднуют победу, упиваясь своей вседозволенностью; ведь не шутка — отстояли убийцу и заодно стерли в порошок областного прокурора. Это ли не показатель их мощи?

Азларханов так ясно увидел это торжество самодовольных людей, что, не задумываясь, решил испортить им преждевременный праздник.

Он вернулся к себе в рабочий кабинет и поднял трубку прямого телефона, потому что такой же аппарат с двухзначным номером стоял и на квартире члена бюро обкома Садыкова. Звонить по городскому телефону Амирхан Даутович не стал, знал, что трубку поднимут домашние, и вряд ли задуманный разговор в этом случае состоялся бы, а к обкомовскому Садыков наверняка подойдет сам. Так оно и вышло, ответил сам, в голосе довольство, ликование. Амирхан Даутович понял, что поднял Садыкова из-за стола, тот что-то торопливо дожевывал, но к телефону поспешил — наверное, ждал поздравлений по поводу своей бескомпромиссной речи на бюро.

— Это Азларханов, — представился Амирхан Даутович и услышал, как на другом конце провода человек от неожиданности икнул и тяжело засопел.

— Товарищ Бекходжаев, — Амирхан Даутович упорно называл Садыкова Бекходжаевым, и тот ни на бюро, ни сейчас не возразил. — Мне кажется, вы рано празднуете победу. Если я сегодня и потерял должность, это не значит, что смирился с решением суда. Я хорошо знаю, кто убил мою жену, и есть люди, которые помогут мне доказать это. Если я не найду правды здесь, в республике, я дойду до генерального прокурора страны. Раненый зверь куда опаснее здорового, примите это к сведению. Меня поставить на колени не так просто, бороться буду до последнего дыхания. — Амирхан Даутович чувствовал, с каким напряженным вниманием его слушают на другом конце провода, и, наверное, увидев, как изменился в лице хозяин дома, к нему уже подошли родственники.

Амирхан Даутович в своем предположении не ошибся. Садыков вдруг нервно сказал:

— Подождите две минуты, не кладите трубку. — Прикрыв микрофон, он, вероятно, совещался с набравшими родственниками.

Через несколько минут он ответил Амирхану Даутовичу:

— Я буду у вас через два часа, нам необходимо переговорить с глазу на глаз.

Амирхан Даутович посмотрел на часы, и в этот момент городские куранты пробили десять; значит, ровно в полночь в коттедж на Лахути должен был прибыть Акрам Садыков, родной дядя убийцы его жены.

Амирхан Даутович прошел на кухню и поставил на газовую плиту чайник, за весь день он не выпил и пиалушки чая, такой суматошной выдалась суббота.

«Полгода им не хватило, еще два часа понадобилось», — подумал зло прокурор о Бекходжаевых. В том, что у них поубавился аппетит за столом, Азларханов не сомневался.

«Для чего им понадобились эти два часа?» — думал он, но сколько ни перебирал варианты, к единственному выводу не пришел. Но в том, что им действительно необходимы эти два часа, Амирхан Даутович не сомневался, все их поступки до сих пор оказывались точно выверены, просчитаны, и чувствовалось, что мозговой трест клана работает четко и оперативно.

«Один придет Акрам Садыков или вместе с братом, Суюном Бекходжаевым? А может, займется вся мужская половина рода?» — продолжал размышлять Амирхан Даутович. И опять ни в чем уверенности не было, все ходы этого семейства оказывались непредсказуемы, не стоило и голову ломать. Один ли придет Акрам Садыков, или явится сам Суюн Бекходжаев — прокурор был готов к разговору и действию, чаша терпения переполнилась. Конечно, не мешало бы, чтобы сейчас в его квартире был Эркин Джураев, умный надежный человек, единственный свидетель, на чью помощь мог рассчитывать теперь прокурор. Но в эти же самые минуты в доме Акрама Садыкова, словно читая мысли прокурора, тоже говорили о капитане Джураеве, зная, что тот упрямец, не убоявшийся арестовать Анвара Бекходжаева в доме его отца, всемогущего Суюна Бекходжаева, единственная надежда Азларханова.

Так в бесплодных размышлениях и пролетели два часа.

Едва городские куранты отбили полночь, по сонной улице Лахути тихо прошуршала черная «Волга» с выключенными огнями и остановилась у ворот дома прокурора. Хлопнула дверца машины, и по слабо освещенной дорожке сада к дому двинулся человек — один.

На бетонных плитах дорожки от калитки к веранде четко слышны уверенные шаги. Уверенная поступь сразу подсказала Амирхану Даутовичу, что это не Акрам Садыков и уж тем более не Суюн Бекходжаев — братья были в теле, каждый за сто килограммов, и при ходьбе от ожирения шумно дышали.

Амирхан Даутович поднялся навстречу полуночному визитеру. В ярко освещенной прихожей стоял подтянутый молодой мужчина, лет тридцати пяти-тридцати семи, хорошо одетый, можно даже сказать — элегантно, в правой руке он держал новенький кожаный «дипломат» с цифровым кодом. Встреть Амирхан Даутович ночного гостя на улице пять часов назад среди празднично одетой вечерней толпы, принял бы его если не за иноземца, так за москвича — настолько он не вписывался в улицы их провинциального областного города.

— Добрый вечер, — сказал незнакомец и нервным жестом поправил свой безукоризненный пробор. На его крепком запястье сверкнули золотом не то «Картье», не то «Роллекс», дорогие и редкие швейцарские часы, особо престижные, прокурор это знал.

Амирхан Даутович ничего не ответил и только жестом пригласил пройти в дом. Незнакомец сделал шаг и задержался в дверях, пропуская вперед прокурора. «Осторожный», — отметил Амирхан Даутович.

В кабинете, не дожидаясь приглашения, незнакомец занял кресло, ближнее к входной двери, тем самым оставляя Амирхану Даутовичу место у письменного стола.

Люстра свисала как раз над креслом, где расположился ночной гость, и прокурор хорошо видел его. Гость чувствовал это, но не отодвигал кресло, потому что оттуда хорошо просматривался коридор. Внешне гость был спокоен, сдержан, не суетлив, но Азларханов чувствовал в нем собранность, готовность к любой неожиданности.

— Считайте, что я Акрам Садыков или Суюн Бекходжаев — все равно, как вам будет удобнее. У меня самые широкие полномочия от семьи, — заговорил пришелец, усаживаясь поудобнее в кресле, и попросил разрешения закурить. — Разговор нам, товарищ прокурор, наверняка предстоит долгий, — добавил он, но тут же, погасив зажигалку, неожиданно попросил: — Ради бога, простите мне мое любопытство, но прежде чем мы начнем разговор, я хотел бы одним глазом взглянуть на вашу коллекцию — много наслышан. Вряд ли у меня будет еще возможность появиться в доме областного прокурора, да и вообще в Средней Азии. Признаюсь, я не люблю Восток, здесь люди непредсказуемо коварны, и не все поступки объяснимы даже изощренному европейскому уму... — Гость поднялся.

Амирхан Даутович расценил его просьбу как возможность проверить соседнюю комнату: нет ли там засады. И чтобы гость успокоился, — а Амирхану Даутовичу побольше хотелось выведать у него, и, похоже, можно было рассчитывать на удачу, потому что человек явно принадлежал к породе упивающихся собственным красноречием, — прокурор пригласил его в зал.

Керамика, видимо,нисколько не интересовала гостя — в комнатах он задержался не более двух-трех минут. Вернулся он в кабинет более спокойный и сказал разочарованно:

— И эти черепки оценили в сто пятьдесят тысяч?! Впрочем, хорошо, что остановились на этой сумме, потому что на другом лондонском аукционе «Кристи» в последние годы продано несколько известных коллекций керамики, и гораздо дороже, чем коллекции из Анкары и Порт-Саида. Эти коллекции, доложу вам, также сравнивались с коллекцией вашей жены, особенно с той, что выставлялась в последний раз в Цюрихе, и некоторые искусствоведы отдавали предпочтение вашей. Что и говорить, хорошо поработали люди в Москве, горы газет перелопатили, копии со статей в зарубежных журналах и газетах снимали, они-то и подали идею исходить из оценки лондонских аукционов. Все статьи, где указывалась достаточно высокая цена коллекции или отдельного экспоната, были высококачественно отсняты на японской копировальной машине и тут же, рядом, давался перевод на русский язык. Эти документы, а их набралось немало, прилагались к каждой анонимной жалобе на вас. Так что бедным экспертам ничего не оставалось, как следовать по указанному нами пути и видеть коллекцию глазами восторженных западных журналистов, иначе бы их заподозрили

в симпатиях к вам. Хотя я убежден, надумай какой наш музей приобрести у вас эти черепки, вряд ли предложил бы более тысячи рублей. Но тысяча нас не устраивала, какой от тысячи резонанс, что она для общественного мнения — нуль! Вот сто пятьдесят тысяч — это масштаб! Сто пятьдесят — это хапуга, за сто пятьдесят во всех смертных грехах можно любого обвинить... Но в то же время, оцените, и не миллионы: цифра должна быть реальной.

Амирхан Даутович внимательно слушал ночного пришельца: тот явно хотел дать понять, что он в курсе всех неприятностей прокурора, и даже больше — он выдавал себя за одного из стратегов, организующих эти неприятности.

Амирхан Даутович пытался вспомнить: где-то он видел это жесткое, волевое лицо, характерный прищур пугающих холодом глаз, высокий лоб с едва заметными залысинами — то ли в картотеке особо опасных преступников, то ли встречал фотографию в документах, когда просматривал личные дела, инспектируя колонии заключенных на территории области. И вдруг, то ли желая сбить с него спесь, то ли проверяя, все ли он знает, Амирхан Даутович спросил:

— Не вы ли вскрыли у меня в прокуратуре сейф?

Для незнамого гостя вопрос не оказался неожиданным, он сделал презрительную гримасу:

— Не мой профиль, шеф. Берите выше, я работаю не отмычкой, а головой. — И опять он поправил свою безукоризненную прическу. — А что касается вашего сейфа, то, конечно, открыл его человек, отбывающий тут срок, но он о нашем деле, то есть о вашем, ни ухом, ни рылом. Ему сказали, что областной прокурор потерял ключи и его надо выручить. В сейфе нас прежде всего интересовали ваши книги записей по каждому району. В обмен на информацию из этих книг мы хотели получить содействие должностных лиц против вас. И, как видите, план вполне удался. Суд в районе, где случилось преступление, прошел без сучка и задоринки, и в Сардобском районе, где расположена Балан-мечеть, тоже оказались всячески поддержке, судя по заключению комиссии полковника Иргашева. А за то, что повредили альбом, вы уж извините, у нас другого выхода не было. В вашей дыре нет копировальной машины, передающей цвет, а Духовное управление могла тронуть, вызвать праведный гнев только подлинная фотография.

— Почему вы мне все это рассказываете? Не боитесь, что каждое ваше слово в определенной ситуации я могу повернуть против вас? Организованная преступность у нас карается сурово.

Незнакомец зло рассмеялся в ответ:

— Не боюсь, товарищ прокурор, не боюсь. За это и деньги получаю. «Организованная преступность»... Как вы боитесь произнести это определение, как вообще боитесь что-либо сообщать народу о преступлениях и преступниках, все тешите себя иллюзией: этого у нас нет, этого быть не может. Скажу вам, раз выпала мне такая честь пообщаться с самим прокурором, попавшим в беду: преступность в основном и есть организованная, и так она организована, что вам и представить трудно, иначе бы вы успешнее боролись. Вы же умный человек, разве вас не пугает такая компания: Суюн Бекходжаев — Герой Труда, депутат Верховного Совета, председатель колхоза, Акрам Садыков — член бюро обкома, крупное должностное лицо, тоже депутат, Иргашев — начальник областной милиции, прокурор Исмаилов, и я, профессиональный преступник, будем называть вещи своими именами.

Вот вы, прокурор, из тех, что не идут на сделку с совестью, уж мы-то знаем, кто есть кто. Наверное о том, что вы достойный человек, знают и люди на высоких постах, — так почему же они оставили вас одного против Бекходжаевых, почему на бюро не приехал прокурор республики, чтобы защищать вас? Честно говоря, строя планы, мы не были уверены, что удастся растоптать прокурора области такими сомнительными и демагогическими выступлениями, но Садыков оказался прав, он, конечно, лучше знает вашу среду — у нас, в преступном мире, так легко оболгать человека не удалось бы. Воистину — тут, у вас, сместились все понятия о чести, нравах.

— Ну какие у нас нравы — позвольте разобраться нам самим, обойдемся без благородной помощи преступного мира. Не все так мрачно, как вам видится, молодой человек. А союз ваш — ненадолго, не так уж много в наших рядах иргашевых, бекходжаевых, иначе бы вы сейчас не отбывали срок, — прервал Амирхан Даутович философствующего преступника и заметил, что ночной посетитель нервно среагировал на его последнюю фразу. Значит, угадал.

— Много ли, мало — а вам они испортили жизнь, сломали карьеру. Ваша песня спета, прокурор, вы проиграли. А впрочем, давайте не будем препираться, мы люди полярных взглядов, проговорили уже с полчаса, а к делу не приступили.

Прокурор, глядя на удобно устроившегося в кресле человека, думал о закрытых совещаниях в прокуратуре республики, где его коллеги не раз пытались подни-

мать вопрос о сращивании организованной преступности с органами правопорядка у них в крае; думал о том, как такие разговоры круто пресекались, а то и высмеивались, хотя примеры приводились далеко не смешные. Глядя на уверенно державшегося ночного визитера, Амирхан Даутович сейчас не поручился бы, что он «гастролер» и прибыл откуда-то из Ростова или Грозного, Москвы или Тбилиси. Он вполне мог быть выпущен полковником Иргашевым на время операции из мест заключения на территории области.

Если бы он мог, если бы он только мог задержать этого незваного гостя! Но Азларханов понимал, что сделать ему это не удалось бы. Во-первых, того наверняка подстраховывали, возможно, сообщник стоял в тени летней веранды и в мгновение оказался бы в комнате; во-вторых, преступник был вооружен. Амирхан Даутович сразу, еще в прихожей, отметил едва заметную ремennую лямку пистолета под мышкой, тонкий модный пиджак гостя не очень годился для такого снаряжения. А главное — что он мог сделать после двух инфарктов и тяжелой пневмонии с человеком безусловно сильным, да и жестоким. Глупо было бы погибнуть от пули, от приема каратэ или кунфу, которыми несомненно владел этот человек, — не исключено, что ощущение этой власти силы над другими подтолкнуло его стать преступником. Обиднее всего, что убийство такое, случись оно, вряд ли когда-нибудь и раскрылось бы: преступник к утру вернулся бы к месту заключения, и какая светлая голова догадалась бы искать убийцу за тюремной решеткой?

Гость достал новую сигарету из длинной золотистой пачки, щелкнул дорогой зажигалкой.

— Бьюсь об заклад, вы никогда не догадаетесь, зачем я к вам пришел...

Амирхан Даутович не перебивал, давая возможность ему разговориться.

— Скажу коротко: передать вам этот французский дипломат, кстати сказать — модную ныне вещь, и заручиться вашим честным словом. И ничего больше. Но прежде чем расшифровать свое скромное поручение, я должен передать вам от всей огромной семьи Бекходжаевых искреннее соболезнование по поводу гибели вашей жены.

Видя удивление Амирхана Даутовича, гость повторил:

— Да-да, самые искренние соболезнования. Не станете же вы утверждать, что вашу жену убили... специально. Это тот самый случай, который принято называть трагическим. В данном случае и для вас, и для Бекходжаевых трагичнее и не придумаешь. Но от судьбы не уйти. Мне понятна и ваша утрата, понятна и позиция Суюна Бекходжаева. Он рассуждает так: понесет их сын наказание или нет, вашу жену уже не вернуть, и стоит ли губить еще одно существо? Цинично, но для такого цинизма есть причины. Суюн Бекходжаев имеет в этих краях определенную власть, и многие люди на высоких постах обязаны своим восхождением ему. В конце концов, семейство не отрицает своей вины и готово нести ответственность, скажем, материальную, готово на определенную компенсацию. Против вас лично у них нет никаких предубеждений, и не затевай вы столь решительно пересмотр дела — вы до сих пор оставались бы на своем посту областного прокурора. Так что поста вы лишились благодаря собственным усилиям, таковы жесткие условия игры: или вы нас, или мы вас, третьего не дано. В случае вашего успеха понесли бы суровое наказание и полковник Иргашев, и прокурор Исмаилов, игра зашла слишком далеко, и назад хода нет. Впрочем, извините за откровенность, мало кто думал, что вы выкарабкаетесь после двух-то инфарктов. Но опять же, повторяю, ни у кого не было мысли лишать вас поста областного прокурора, и в подтверждение — вот эта компенсация.

Незнакомец поднял на колени стоявший на полу вишневого цвета кожаный дипломат, быстро набрал шифр. Раздался легкий щелчок, и крышка стала сама медленно подниматься. Как только дипломат открылся, гость развернул его к Амирхану Даутовичу.

— Здесь ровно сто тысяч, это компенсация за организованную нами потерю должности областного прокурора и вытекающих из этого благ: служебной машины, бесплатных путевок, буфета и т. д. Учли и предстоящую разницу в зарплате, и потерю коттеджа с великолепным садом, который наверняка у вас отнимут — вот до чего может довести упрямство!

Незнакомец неожиданно хлопнул дипломат, ловким жестом опустил на пол, подтолкнул легонько ногой к креслу Амирхана Даутовича.

Амирхан Даутович молча, правда не так ловко, как ночной гость, отпихнул носком ботинка дипломат обратно.

— Не устраивают сто тысяч? Мало? Впрочем, я бы тоже за потерю такой должности потребовал лимон.

Амирхан Даутович знал, что на жаргоне «лимон» означает миллион и что у них в крае есть подпольные миллионеры.

— У меня повышенная кислотность, и лимон мне противопоказан, не нужно мне и ста тысяч, да еще в таком роскошном дипломате. Должность свою, на ваш манер, я никогда не оценивал в деньгах, так что напрасно думаете, что я лью слезы, потеряв место областного прокурора. Хотя, честно говоря, очень жалею, что потерял его в такой момент, когда у меня на многое открылись глаза, сегодня я работал бы уже по-другому. Моя личная трагедия высветила жизнь совсем по-иному. И поймите, наконец, вы со своими компаньонами, что не все потери в жизни компенсируются, не за все в жизни можно расплатиться деньгами.

Незнакомец вдруг хищно улыбнулся и похлопал в ладоши:

— Bravo, прокурор, bravo!

— Перестаньте паясничать! — оборвал Амирхан Даутович.

— Я не паясничаю. Я сейчас выиграл пари в двадцать тысяч, — почему бы не поаплодировать себе? Поясню. Идея с этим дипломатом не моя, я сразу сказал — деньги вы не возьмете, не тот человек. С вами по-другому надо говорить, вплоть до крайней меры, извините за откровенность. А братья смеются, говорят: кто же от ста тысяч откажется? Тогда я предложил каждому из них пари, в счет своего будущего гонорара за особые услуги. Так что на вашей порядочности я заработал двадцать тысяч.

— Тяжелый у вас хлеб, — прервал Амирхан Даутович посланника Бекходжаевых, — и я честно хочу предупредить: если наши пути пересекутся, а они пересекутся рано или поздно, я приложу максимум усилий, чтобы вы никогда больше не жили среди нормальных людей, вы крайне опасный человек.

Незнакомец поправил галстук и, улыбаясь, ответил:

— Я на вашу милость никогда и не рассчитывал и отдаю себе отчет, что мы с вами враги, настоящие враги, — и стоим по разные стороны баррикад, как у вас говорится. Но ваша убежденность, вера мне нравятся, как это ни парадоксально, особенно, наверное, на ваш взгляд. Знаете, критерии человеческих отношений сейчас настолько размыты, что настоящих врагов не осталось, наверное, только вы и я, товарищ прокурор, — теперь, правда, уже бывший, — поэтому давайте будем уважать друг друга. И, заканчивая нашу беседу, я хочу заручиться вашим честным словом, что вы не будете настаивать на пересмотре дела об убийстве вашей жены.

— Это тоже ваша идея? — спросил язвительно Амирхан Даутович.

— Да, моя, и она намного более разумнее, чем те, на которых настаивают другие — назовем их радикалами.

— И каковы же планы ваших «радикалов»?

— А вот этого я вам сказать не могу: чужие секреты. Но уверяю вас, жестокие планы, они пугают даже меня. Будьте благоразумны, прокурор, и примите мои условия. Вам сегодня не выиграть схватку, слишком неравные силы, и моральные и материальные, время на стороне Бекходжаевых. К тому же каждый ваш ход мы можем рассчитать наперед, или, точнее, рассчитали еще полгода назад, и, как видите, до сих пор ни разу не ошиблись. Мы имели фору в полгода и, поверьте, не сидели сложа руки. Наши действия для вас непредсказуемы, как непредсказуемы и силы, которые мы можем ввести по ходу дела. Ваши тетради оказывают нам бесценную помощь, слишком уж большому количеству уважаемых ныне дюдей выгодно лишить вас поста и дискредитировать.

Да и на что вы можете рассчитывать? У вас есть один-единственный шанс, или, точнее, единственный человек, на чью помощь и свидетельство вы можете рассчитывать. Тут вы нас немного опередили, успели перевести его в Ташкент, а жаль — у полковника Иргашева в отношении Джураева был интересный план, не успели реализовать, иначе не было бы сейчас у вас и этого шанса. Не скрою, мы проделали огромную работу и установили того, кто помог Джураеву так быстро задержать убийц. Установили и человека, с кем встречался капитан после суда. На них можете не рассчитывать, их и запугали и задобрили одновременно, припомнили им их собственные грешки, не получившие огласки в свое время. Если они до суда отказывались вам помочь, то теперь — тем более. С Джураевым несколько посложнее, его не запугаешь и не купишь. Вам, наверное, известно, что однажды он задержал человека в бегах, у которого денег с собой было гораздо больше, чем в этом дипломате. Задержанный просил в обмен на эти деньги отпустить его, но Джураев отказался.

Амирхан Даутович помнил этот случай не из-за денег, а потому, что Джураев задержал особо опасного рецидивиста, на чьей совести было три убийства.

— Так вот... Джураев... А что, собственно, Джураев? Работа сыщика — опасная работа, и в ней всякое может случиться, вы это хорошо знаете, прокурор. Больше всего милиция теряет людей в уголовном розыске. Ну, например, капитан, поздно вечером возвращаясь домой, проезжает мимо одного особняка, где частенько собираются люди, чьи биографии он бережно хранит в нагрудном кармане, и вряд ли, учитывая его храбрость и благородство, он избежит искушения встретиться с ними.

Он не станет осторожничать, ведь там будут люди, за которыми он давно охотится. Но у нас есть возможность предупредить и тех, кто в особняке.

— И пусть выживет более удачливый?

— Нет. Капитан не выживет, потому что в суматохе, если надо будет, его пристрелит тот, кто будет страховать эту трогательную встречу. А поскольку там без выстрелов не обойдется, он погибнет честно, на боевом посту, и смерть его ни у кого не вызовет подозрений. Я логично рассуждаю, прокурор? У этого плана есть несколько страховочных вариантов. Такому отчаянному человеку, как Джураев, несложно организовать встречу с пулей или ножом в темном переулке или подъезде. И последнее. Предугадываю, вы скажете: есть Азат Худайкулов, может, в нем заговорит совесть и он расскажет начистоту все как было? Не расскажет. Потому что на снисхождение суда ему рассчитывать не приходится, а правда для прокурора его не волнует, его волнует жизнь, когда он выйдет на свободу, а она целиком зависит от Бекходжаевых, как и жизнь его больной матери. К тому же он не капитан Джураев, и тревоги у нас не вызывает. Если надо будет, чтобы он замолчал навсегда, для полной гарантии, то он замолчит, будьте уверены. Он как раз работает на строительстве высотного дома, в третью смену, и ходит как сонная муха, того и гляди — сам улетит в монтажный проем.

Наверное, беседа затягивалась, и гость нервно взглянул на часы.

— Теперь, надеюсь, вы понимаете, в обмен на что я прошу вашего честного слова.

Амирхан Даутович сидел, понурился; он поверил сразу в этот иезуитский план: они хотят получить его молчание в обмен на две жизни, а в том, что они, спасая свои шкуры, не останутся ни перед чем, прокурор не сомневался. Как ни парадоксально, оставалось только радоваться, что «радикалы» в группировке не одержали верх и эти люди оставались живы до сих пор.

Мысль прокурора работала лихорадочно, искала хоть какой-то просвет в тупике, но выходило, что загнали его основательно — не шевельнуться.

«Давать честное слово этому подонку — значит, стать перед ними на колени, признать их правоту...» — в отчаянии рассуждал Амирхан Даутович, не замечая, что гость уже нервничает и торопится.

И вдруг посланник Бекходжаевых, словно прочитав его мысли, сказал:

— Кажется, я допустил какую-то бестактность, требуя от вас дать честное слово, извините, я не буду настаивать на такой форме решения вопроса. Сделаем так. Я оставляю вас одного, взвесьте мои предложения и свои шансы. Ровно через полчаса, если вы приняли наши условия, включите в зале свет. Если нет, бог вам в помощь, дальше события будут контролироваться радикалами.

— Вы числите себя в «либералах»? — еще нашел силы для иронии Амирхан Даутович.

— Представьте себе, да. И ваше счастье, что с вами говорят не они. — И гость, подхватив дипломат, быстро выскользнул из кабинета.

Когда он проходил бетонной дорожкой вдоль летней веранды, Амирхан Даутович ясно уловил шаги еще двух человек.

Он еще долго сидел, понурился, не находя в себе сил встать и что-то предпринять, потом неожиданно вскочил и бросился к телефону. Поднял трубку одного, второго — телефоны не работали.

И впервые за долгую ночь чувство страха охватило его: ведь у них могли быть варианты куда короче и надежнее.

Он прокручивал в памяти долгий разговор с ночным гостем, и порою казалось, что это сцены из детектива, причем детектива зарубежного; настолько все было нереально для нашей жизни, что, поведай Амирхан Даутович кому-нибудь об этом разговоре, вряд ли его рассказ приняли бы всерьез. Но в том-то и ужас, что все было всерьез, прокурор знал это. И знание это не облегчало душу, он понимал, в том, что страшные люди, подобные ночному гостю, полковнику Иргашеву, прокурору Исмаилову и Бекходжаевым, здравствуют и считают себя хозяевами положения, есть и его прямая вина.

Но долго рассуждать ему о своей вине не пришлось: раздался слабый звук автомобильной сирены — с улицы напоминали, что время, отпущенное ему, истекло.

Амирхан Даутович тяжело поднялся, шатаясь, прошел в зал и на секунду включил огни.

В ответ клаксоны двух машин сыграли радостный марш и, разрывая ночную тишину, «гости» резко рванули по сонной улице Лахути.

Окончание следует.



Григорий Зобин

* * *

В квартире холодно. Не топят.
По ней гуляют сквозняки.
Иные дали не торопят,
Всем ожиданиям вопреки.

Все как и прежде, честь по чести.
Как встарь бывало на земле.

В гостиной шкаф на том же месте,
Все те же книги на столе.

Но суета и окаянство
Вторгаются в фанерный быт,
Возобновляя постоянство
Утрат, сомнений и обид.

* * *

Как давит низкий потолок,
Какое утлое жилище...
Для тех, кто рос на скудной пище,
Оно — лишь к странствиям предлог.

О, если б хоть однажды мог
Я рассказать об этой жизни,
О той любви, что и на тризне
Мешает подвести итог!

* * *

Арбы скрипели до утра,
И был Дунай седым.
Сидел Овидий у костра,
Вдыхая горький дым.

Над ним синел небесный свод,
И он смотрел туда,

Где чуть мерцала, словно лед,
Далекая звезда.

В костре трещала головня,
Был отблеск золотым.
Всю ночь звучала у огня
Печальная латынь.

* * *

...А на столе — раскрытый том.
Часы бормочут: чет и нечет
И тихо Батюшков лепечет,
Склонясь над розовым кустом.

Свеча растает, и потом
Придут слова. Они воочью
Тебе предстанут этой ночью
В своем величии простом.

И в этот миг душа твоя
Нездешним светом озарится,
Когда в глаголе претворится
Немая жажда бытия.

* * *

Как страшно говорить тогда,
Когда не ждут еще ответа.
О дар предвиденья! — беда
И счастье русского поэта.

В какой невысказанной тоске,
В каком сердечном испуге
Писать на аспидной доске:
«Река времен в своем стремлении...»,

Часы последние ловить,
Припасть к тобой воспетым струям
И отрока благословить
Своим последним поцелуем.

* * *

В старинном парке, в золото одетом,
Прозрачный воздух звонок, как струна,
И неба хрупкая голубизна
Напоена вечерним ясным светом,
И птица, зачарованная летом,
На юг не может улететь одна...

Мастер

Изнемогающий от жажды,
От искушений без числа,
Я испросил себе однажды
Простую мудрость ремесла.

И, затворяясь в темной келье,
Я ощущал, как в глубине
Рождалось светлое веселье,
Еще не ведомое мне.

* * *

Что ж, в тесноте да не в обиде..
Пейзаж торжественно-скупой,
И овцы, как при царь-Давиде,
Теснились черною толпой.

Пылали звезды. Остывала
Лепешка теплая в руке.
Спускалась полночь с перевала.
Огни мерцали вдалеке.

И ветер, дующий неровно,
Срываясь, вторил невпопад
Пастушеской свирели, словно
Тысячелетия назад.



Дмитрий Кучеренко

Дружба

Не задавай вопросов другу,
Когда о чем-то
просит он,
Все сделать — это не услуга,
А дружбы праведный закон.
Когда ему придется круто,
Ты зова горького не жди,
В необходимую минуту,
Чтоб с другом рядом
стать, приди.
Его расспросами не трогай,
Пока он сам не сыщет слов,
Но если скользкою дорогой
Пойдет он —
Будь к нему суров.
Бояться правды
здесь не нужно,
Пусть будет жестким разговор,
Чтоб не смешались
святость дружбы
И попустительства позор.

Размышление

Когда умру,
Нырну в тебя, Земля,
Как в люк космического корабля.
Сквозь миллиарды миллиардов
Я пролечу по круговерти,
Взрывая звезды, как петарды,
И, как материя, бессмертен.

Физики

Они провидят
То, что нам не снится,

Стремительно их дерзкое перо.
Им видно,
Как нейтринные частицы
Насквозь пронзают атома ядро.
По малой капле
Нарастает знание,
Но озаренья наступает срок,
И совершает яркое дерзанье
В галактику неведенья рывок.
Туда, где всей науки
Свет летучий
У новой тайны краешек задел,
Где весь Эйнштейн —
Лишь только частный случай
И скорость света —
Вовсе не предел.

Простота

Как трудно
Достается простота —
К ней тяжела, извилиста дорога.
Пока к сей чаше
Припадут уста,
Блуждая, перепробуешь так много!
Влекут нас блески,
Яркие сперва,
И вычурно закрученное слово.
От них болит
Нередко голова,
Но кажется, что это
Очень ново.
Как будто бездну
Темную постиг,
На крыльях тайны улетел куда-то,
А оглядишься —
Не простор — тупик,
И фокусы ужасно бородачи.
Лишь простота
Не меркнет никогда,
И как радушно ни мерцает пена,
Нам жажду утоляет
Лишь вода,
Которая на вид обыкновенна.

Пожелание

Желает юность — все иль ничего —
Максимализм от века ей назначен.
Да будет идеала торжество
И на пути желанные удачи!
Когда же трудных будней череда
Нагрывает, жестко в идеал вгрызаясь,

Пусть сердца не коснутся и тогда
Ни малодушье,
ни корысть,
ни зависть...

Плоты

Я не знаю, ровесник,
Припомнишь ли ты,
Как по матушке-Волге
Гоняли плоты —
Был медлителен ход их и ровен.
Неизвестно куда
Сплоток шла череда
И звенела вода
Между бревен.
Отрешенно, как будто
Совсем не у дел,
На краю плотовщик
Бородатый сидел,
Самокрутка дымила степенно.
И, привычное делая
Дело свое,
Рядом с ним полоскала
Хозяйка белье,
Серебрилась на солнышке пена.
На плоту неказистый
Стоял теремок,
Из трубы жестяной
Поднимался дымок
И пластался над синей водою.
Так хотелось мне
По широкой волне
Плыть в раздолье
Реки голубое.
А буксир-старичок —
Чох-чих-чих,
Чох-чих-чих —
Шумно пенил колесами воду
И утягивал плот
За крутой поворот
Звено за звеном.
Словно годы...



Константин Межлумян

* * *

Мне казалось: так просто
 не помнить,
 не знать,
 позабить.
 Без коней и без почвы прожить
 мне казалось так просто.
 Да и что мне до них:
 до молитвы чужой и мольбы,
 До прадедовских храмов,
 до дедовских скорбных погостов.
 Пусть у райских ворот
 прохлаждается ключник хромой.
 Верил я в новизну,
 в молодое вино без осадка.
 Было мне все равно,
 лишь бы руки не зябли зимой.
 Я чужую судьбу примерял,
 как чужую перчатку.
 Думал, тайны веков,
 словно ржавую воду, пролить,
 Чтобы чистой водою
 мое бытие наполнялось.
 Но такая тоска —
 от слепых ожиданий и битв.
 От метаний вслепую
 такая приходит усталость.
 Быть безродным грешно.
 Сиротлива сырая постель.
 Понапрасну, протак,
 предаюсь я скитаньям бесцельным.
 Как ребенок, прошу:
 пусть мне прадед качнет колыбель,
 Пусть прапamatерь напомнит
 старинный напев колыбельной.

* * *

Проблема выбора не может быть легка.

 Мне Буридан одолжит ишака
 Меж двух стогов в раздумье бесконечном.

Принц Гамлет вычурною речью
Кольнет меня — мне боль его близка.

К истоку не воротится река.
Неужто только в том мои печали,
Чтобы конец соединить с началом
И святость сделать символом греха?

Змея к слиянью с собственным хвостом
Стремится, изогнувшись в знак вопроса.

Я на нее поглядываю косо.

Мне этот знак сомнения знаком,
Но в центре круга побывать хочу я,
Холодным знаньем разум свой врачуя.

* * *

Синее небо!
Приюти мою душу
В час прощанья с земною
 судьбой.
Белое облако!
В синее небо
Возьми мое сердце с собой.
Земля сырая!
Прими мое тело,
Когда я закончу свой труд.
Талые воды!
Пусть в темную землю
Деревя корни врастут.
Ветер вольный!

Знаю, ты будешь
Ветви ломать и гнуть.
Ветер и ветви,
Воды и корни
Продолжат земной мой путь.
Направленья и расстоянья
Исчезнут.
Что — близко?
И что — вдали?
Знаю:
Ветви —
Корни, ушедшие в небо.
Корни —
Ветви в глубинах земли.

Фома

Предупреждают: не садись в седло —
Конь не объезжен и крута дорога...
Смеюсь я недоверчиво и зло
И тут же в стремя всаживаю ногу.

Упрашивают: глубока река,
Течение бурно, пасмурна погода...
Я — напрягаю мышцы для прыжка,
Бросаюсь в воду, хоть не знаю брода.

Мне угрожают: не шути с огнем,
Сгоришь дотла, ведь это — аксиома...
А я не верю в правду аксиом,
Не доверяю мнению чужому.

В огне горю, от холода дрожу,
Весь в синяках — такой характер скверный!
Но лишь в себе опору нахожу,
Недаром я зовусь — Фома неверный.



Ольга Крупенье

ПРО КАТЮ

РАССКАЗ

Катя проснулась и, еще не разлепляя век, подумала, что в комнате слишком жарко и не мешало бы проветрить. Она высунула ступни из-под одеяла и пошевелила влажными пальцами. По-кошачьи потянулась и открыла глаза. И не сразу вспомнила, где она. Посмотрела в окно — темно. Обвела взглядом потолок, стены.

«Ах да — больница».

И спокойствие ее как рукой сняло.

Она быстро просунула руку сквозь прутья детской деревянной кровати, придвинутой вплотную к ее, Катиной, кровати, и положила ладонь на лоб дочери. Кожа была влажной и прохладной. Слава богу, температуры нет!

Часов у Кати с собой не было, забыла вчера в суматохе захватить. Но чутьем женщины, привыкшей вставать в шесть, она почувствовала, что уже утро.

В коридоре горел свет и через дверное стекло неярко освещал палату. Доносились приглушенные голоса медсестер и стеклянные звуки; в конце коридора надрылся маленький ребенок; мимо двери несколько раз торопливо прошли. Больница готовилась к новому дню. Приподнявшись на локте, Катя огляделась: кровати, тумбочки, стол, капающая раковина в углу — стандартная больничная обстановка. Они с Маришкой были здесь пока единственными обитателями.

— Рядом с постом, для трудных, — сказала вчера про эту палату медсестра.

Припомнив ее слова, Катя опять тревожно вскинулась и наклонилась над дочкой. Но та спала спокойно, и Катя, вздохнув, откинулась на подушку.

А ведь еще вчера утром ничто не предвещало больницы. Это была самая заурядная простуда: чуть-чуть кашля, чуть-чуть насморка. Катя даже испытывала некоторое раздражение по поводу своего вынужденного домоседства: шел разгар учебного семестра, нагрузки у нее было много, а работала на этой кафедре она недавно, и пока еще ей полагалось трудиться на авторитет. А какой авторитет можно заработать с пятилетним, вечно болеющим ребенком? И Катя злилась. И уж никак не предполагала, что через несколько часов эта самая простуда перерастет в настоящий кошмар. Когда она увидела посиневшее от натуги лицо дочери, ее глаза, неестественно увеличившиеся, ей стало так страшно, как не было страшно никогда в жизни. И она растерялась. Схватила Маришку на руки и бестолково забегала с ней по комнате.

— Что?.. Что? — спрашивала она, а Маришка сразу вдруг осипшим голосом пыталась ей что-то объяснить, но каждый раз заходила кашлем.

Наконец Кате попался на глаза телефон, и она сообразила позвонить в «Скорую». «Скорая» почему-то не отзывалась.

— Сорок два, сорок три, — машинально считала Катя длинные гудки, не спуская при этом глаз с поглубевших Маришкиных губ.

— Господи! Да тут умереть можно, пока дозвонишься!

Трубка полетела на рычаги, соскочила с телефона и упруго закачалась над полом.

— Скорее, скорее...

Катя стала натягивать на Маришку курточку, но запуталась в рукавах и тогда просто завернула дочку в одеяло, накинула на себя плащ и бросилась к выходу.

Потом муж расскажет ей, что, примчавшись домой, он нашел дверь квартиры распахнутой. На газовой плите дожаривался в кастрюле суп.

Ловить такси Кате не пришлось. Из переулка вывернулся голубой «Москвич» и остановился. Это тоже Катя вспомнит и оценит много позже, хотя по-человечески ничего удивительного в том не было. Мечется по дороге с ребенком на руках полуодетая женщина — ясно, что случилась беда. Плащ-то Катя накинула, а о чулках и думать забыла, так и выскочила на дорогу в тапочках на босу ногу — и по лужам!

В приемном покое больницы молоденькая врачиха полистывала журнал мод.
— Вот... вот,— прерывающимся голосом начала Катя.

Врач взглянула на Маришку и отбросила журнал в сторону. Выхватив ребенка из рук плачущей, окончательно потерявшейся Кати, стала ловко раздевать. Катя только толкалась рядом, ловила и комкала вещи.

Распутав одеяло и стащив с Маришки верхнюю одежду, врач быстро пошла с ней куда-то внутрь. Катя ринулась было следом, но ее остановила сестра:

— А вы куда?

— Туда,— всхлипнула Катя.

— Девочка уже большая. С такими матерей не кладем. Не положено.

Катя похолодела. Как? Ее хотят разлучить с родной дочерью эти чужие люди? Но разве смогут они понять Маришку и ухаживать за ней так, как это сделает сама Катя? Слезы у нее моментально высохли, и по телу пошли горячие волны удушающей злости.

— Не положено? — только и спросила она и решительно обошла «белый халат».

— Зина,— вздохнув, сказала та, что представляла собой здесь сейчас высшую медицинскую власть.— Переодень ее. Только учтите, больничный вам не положен.

— По-хорошему-то и постель тебе не положена,— бурчала Зина, санитарка, извлекая из недр огромного, покосившегося шкафа халат.— И кормить тебя не положено... Ишь, выискалась!

Халат сильно смахивал на арестантский. Он оказался высокой и по-девчачьи тонкой Кате коротким и широким. К тому же отсутствовал пояс. Катя собрала расходящиеся полы и беспомощно посмотрела на санитарку.

— Другого нет! — отрубила Зина, но потом смилостивилась и сунула Кате кусок бинта.

Жизнь осталась за окном. Теперь была больница. Стояла весна, и в садах наливалась сирень, а Кате вдруг показалось, что сейчас — глухая осень.

Катя глянула на градусник и перевела дух: к вечеру после всех уколов и пилуль температура у Маришки наконец-то упала. Унялся и кашель.

Катя осторожно промокнула капельки испарины на лбу и переносице дочки. Та посмотрела на мать и закрыла глаза:

— Буду спать...

В горле Кати вырос комок: осунувшейся и похудевшей увиделась ей Маришка, и так жалко голубела венка на тонкой коже возле виска.

Маришка натянула на себя одеяло и уже сонно пробормотала:

— Спой песню... Про зверей...

— «Спят все звери на земле, кто в берлоге, кто в дупле...» — тихо запела Катя, радуясь до боли в груди, что дочке стало полегче и у нее появились хоть какие-то желания, и была готова выполнить все, что та ни попросит.

И вдруг сама заснула, как провалилась.

Проснулась Катя неожиданно, как будто кто-то толкнул ее. Было темно и тихо. За окном в свете уличного фонаря бесшумно двигались, скрещиваясь и расходясь, голые еще ветки деревьев. Значит, уже ночь. Сколько же она проспала? Катя посмотрела на Маришку — ее на месте не было!

Катя взвилась и, с трудом удерживая отчаянный крик, бросилась в коридор.

— Где она? Где?! — задышавшись, подбежала к дремлющей у ночника сестре.

— Кто? — не вдруг поняла та, поднимая голову.

— Дочь моя! Что с ней?! Куда ее дели? Почему меня не разбудили?

Сестра странно посмотрела на Катю, пожала плечами и пошла за ней в палату. Оглядела пустую кровать: отброшенное одеяло, смятая подушка, одна тапочка около ножки. Вид этого башмака в единственном числе почему-то особенно потряс Катю, словно был доказательством, что случилось несчастье.

Сестра наклонилась, заглянула под кровать, потрогала и зачем-то перевернула башмак, поднялась и уже растерянно проговорила:

- Я заглядывала недавно. Она спала.
- На улицу? — быстро спросила Катя.
- Исключено. Я бы увидела.

«Вы же спали», — хотела возразить Катя, но времени на бесполезную перепалку не было. Надо искать Маришку.

Все объяснилось просто и скоро. Девочку нашли в соседней палате сладко спящей на свободной кровати. Она вышла в туалет и, возвращаясь, перепутала двери.

* * *

После обеда Катя читала дочери книжку и прилагала все силы к тому, чтобы не закрыть слипающиеся глаза.

Скрипнула дверь.

Катя обернулась и увидела мальчугана лет шести-семи, прижимающего к груди полиэтиленовый пакет с вещами. Катю поразило его лицо: она вдруг вспомнила о бледных ростках мартовской картошки, проросшей в теплом погребе.

— Здравствуйте, — сказал мальчик. — Это — десятая палата?

— Да, — ответила Катя. — Здравствуй. Тебя к нам положили?

Он кивнул, деловито прошагал мимо них с Маришкой к свободной койке и высыпал содержимое своего пакета на постель. Проворно разложил все по местам: полотенце — на спинку кровати, бокал с ложкой — на тумбочку, мыльницу, пасту и зубную щетку — в ящик. Потом разделся, аккуратно сложил пижаму, тапочки поставил на коврик — носок к носку — и лег, накрывшись до подбородка одеялом и вытянув руки поверху. Катя удивленно наблюдала за его действиями. Именно так и должен, наверное, вести себя ребенок, но ей от такого образцово-показательного поведения стало отчего-то не по себе.

Вместе с тем у нее мелькнула мысль, что палата-то у них для тяжелых, а мальчишка поступил без матери, и, значит, часть времени, по праву принадлежащего Маришке, придется отдавать ему. Но Катя тут же одернула себя и загнала эту мысль поглубже.

— Ну и как же тебя зовут? — бодро спросила она и смутилась: так неестественно прозвучал ее голос в застоявшейся тишине палаты.

— Алексей Петров, — четко, без тени улыбки или смущения ответил мальчик и снова озадачил Катю: не Алеша, а именно Алексей Петров.

— А что у тебя болит?

— Голова.

— А еще что?

— Больше ничего.

— А ты будешь играть со мной? — ввязалась в разговор Маришка.

— Нет, мне нельзя играть. Мне сказали лежать и выздоравливать.

— Но сказку-то ты слушаешь? — спросила Катя.

Он кивнул.

Читая, Катя все время искоса поглядывала на мальчика. Он слушал внимательно, живо переживал за героев, замирал в критические для них моменты и искренне радовался, когда злые силы, как и полагается в сказках, терпели поражение.

Совсем иначе вела себя Маришка. В улыбке ее и взгляде явно просматривался ранний скептицизм.

Но дочитать им до конца не удалось. Катю позвала зачем-то медсестра.

А когда она вернулась, Маришка уже сидела около Петрова.

— Мама! — воскликнула она. — А Алеша, оказывается, живет в детском доме! У него нет мамы!

Катя замерла, не зная, как реагировать на слова дочки. Одернуть ее? Пожалеть мальчика? Спросить, как ему живется, или, наоборот, показать, что ничего особенного тут нет?

Катя так и не нашлась.

— Ты почему встала? И тапочки не надела? — ворчливо проговорила она и, не поднимая глаз — ей сейчас было просто невозможно встретиться взглядом с детьми, которые, она чувствовала, следят за ней, — будто бы вспомнив про важное несделанное дело, подошла к своей тумбочке и озабоченно зашуршала бумажными пакетами.

— Вы, может быть, проголодались? — спросила она.

— Нет, мы будем рисовать, — ответила Маришка и тем самым очень выручила ее. — Дай нам карандаши и альбом!

Катя засуетилась и с преувеличенным оживлением начала устраивать детей, чувствуя сама, что ведет себя неестественно, но никак не попадала в нужный тон и злилась на себя за это.

— Я буду рисовать куклу Женю, — заявила Маришка.

— А я — Первомай, — солидно отозвался Петров.

Катя села на стул и взяла спицы. Но ей решительно не вязалось.

Она старалась не смотреть в сторону Петрова слишком часто и пристально и думала.

«Он сразу показался мне каким-то не таким. Есть все-таки на нем печать сиротства и неприкаянности... Чем он болен-то? Сказал, голова болит. И эта бледность... Просто обескровленный... Интересно, давно он т а м? Скорее всего, отобразили у родителей. Сейчас т а м почти все такие...»

В дверь снова заглянула медсестра:

— Можно вас на минутку?

— Да? — вышла к ней Катя.

Сестра притворила поплотнее дверь, и Катя догадалась, что говорить она будет о Петрове.

— Понимаете, — начала сестра, косясь на дверь, — мальчик, которого к вам положили, из детдома.

— Я знаю, — ответила Катя внешне спокойно, но внутренне запротестовав против выражения и тона сестры.

— Вы уж присмотрите за ним. Ребенок все же.

Тут Катя поняла, чего ей не хватало в словах сестры: искренности и участия. Была только попытка изобразить это участие. И еще Катя подумала, что только что в палате сама была так же фальшива.

Сестра истолковала ее молчание по-своему:

— Вы не бойтесь, он не заразный. И вшей нет — я посмотрела.

— Да о чем вы говорите! — возмутилась Катя. — Зачем вы так? Конечно, посмотрю! Вы только скажите, что с ним? Есть-то ему что можно?

— Диагноз еще не поставлен. Головные боли с температурой и рвотой. Может статься, и что-то наследственное. Сами понимаете, кто теперь в детские дома попадает: отец неизвестен, мать — алкоголичка, оставила ребенка в роддоме.

Тут сестру кто-то позвал, а Катя, охваченная приступом острой жалости, желанием согреть, накормить и приласкать, отправилась к себе.

Вечером Катя рассказывала мужу, который пришел навестить их с Маришкой:

— Я сразу увидела, что в нем есть что-то необычное.

— Ненормальный, что ли? — поинтересовался муж.

— Ну почему сразу — ненормальный? Скажешь тоже!

— Очень может быть. Сама говоришь, его мать пила.

— Нет, он — нормальный. Наоборот, ласковый, рассудительный. Но слишком взрослый.

И, впадая в газетную патетику, Катя добавила:

— Вот почему у нас так? Жить мы стали лучше, а детские дома не переводятся?

— Прикорбный и постыдный факт, — отозвался муж, и Катя быстро и подозрительно взглянула на него. Нет, он не иронизировал, а просто попал в ее тональность. И ей опять стало стыдно.

Когда Катя, попрощавшись с мужем, поднималась по лестнице на свой этаж, она подумала, что за последние два-три года муж ее сильно стал смахивать на сытого домашнего кота. И не то чтобы пополнил, а вот все вместе взятое...

Она вошла в палату.

Около кровати Петрова на табурете сидела полная женщина лет сорока в наброшенном на плечи белом халате. Первое, что бросилось в глаза, полные перламутровые губы, прихотливо изогнутые и выщипанные в ниточку брови и неприязненный взгляд.

Поразмыслив потом, Катя поняла, что привычка иметь дело с женщинами, относящимися к своим родительским обязанностям, мягко говоря, легкомысленно, приучила ее видеть во всех матерях без исключения потенциальных мерзавок.

— Здравствуйте, — сдержанно поздоровалась Катя.

Не отвечая на ее приветствие, женщина встала и, бросив мальчику: «Я к тебе еще приду, Петров», — шагнула к Кате.

— Значит так, — безапелляционно начала она. — Я — директор детского дома. Договоримся сразу — ребенка не подкармливать, не помогать, не сюсюкать! Все только сам! А то я вас, добреньких, знаю! Разбалуете, а нам потом возиться!

Катя заглянула в колючие, водянистые глаза женщины и сорвалась:

— Да как вы можете? И еще при нем! Вас же близко к детям подпускать нельзя! Кого вы из него сделали? Старичок какой-то!

Директриса усмехнулась:

— У вас одна, а у меня — двести. И все с комплексами. А я обязана сделать их людьми.

— Людьми, но не машинами, — едко уточнила Катя.

Директриса не стала спорить, мельком глянула на часы и широким шагом человека, уверенного в своих действиях на много лет вперед, отбыла.

Катя посмотрела на Маришку — сжавшись серым мышонком, та испуганно таращила глаза на захлопнувшуюся дверь. Посмотрела на мальчика — он неловко улыбнулся и сказал:

— Она вообще-то ничего...

Что-то дрогнуло внутри у Кати. Стараясь, чтобы дети не заметили ее заблестевших глаз, она стала распаковывать сумку, которую принес муж.

— Вот,— приговаривала она, выкладывая на стол содержимое,— печенье, компот, яблоки. А это что такое? М-м-м... Да это же шоколад! Садитесь к столу. Будем пировать!

Маришка, хихикнув, скакнула на стул.

— А ты чего? — повернулась Катя к Петрову.— Садись ближе!

И взъерошила ему чуб.

* * *

Ночью у Петрова поднялась температура.

— Мама! Мама! — звал он в бреду.

Катя сбегала за медсестрой.

— Возьмите его,— попросила та, готовя шприц.

Катя подняла мальчика и села с ним на постель.

— Держите крепче!

Катя прижала его к себе и отвернулась. Она не могла смотреть, как делают уколы. В тот миг, когда игла сначала вдавливалась в тело, а потом — раз! — протыкала кожу, она ощущала почти физическую боль. Но и не глядя, она все равно улавливала этот момент.

Как-то Катя рассказала об этом мужу, и он посмеялся над ней. Спорить Катя не стала, но подумала, что просто ему природой многого не дано понимать.

— Я побуду около него,— сказала Катя сестре после укола.

Та согласно кивнула:

— Если что — я на посту.

Катя хотела переложить мальчика, но он неожиданно обвил ее руками за шею, и у Кати не хватило мужества оторвать его от себя.

В палате горел свет. Лампа дневного света стрекотала над Катиной головой сверчком. Капала вода в раковине. За окном — темнота, вокруг — тишина. У Кати появилось странное ощущение оторванности от всего белого света. Как будто существовали только они с Маришкой и Петров. А все остальные — там, где-то...

Катя сидела и по извечной женской привычке раскачивалась и украдкой, боясь, как бы Петров не проснулся под ее взглядом, рассматривала его: нос картошкой, по-детски припухлые губы, нахмуренные во сне брови.

«Господи! — ужаснулась Катя.— Да кем же надо быть, чтобы оставить своего ребенка? Часть себя! Свою кровь и плоть?»

Катя вспомнила, как, родив Маришку и еще лежа в родильном зале, она — двадцатилетняя девчонка — сладко разревелась, когда акушерка, обратившись к ней, назвала ее странно и непривычно — мамаша.

Вспомнила, как им впервые принесли кормить детей и сестра, показав на каталку, где ровным рядком лежали одинаковые белые личинки, предложила в шутку:

— Ну-ка, мамочки, найдите своих!

И ни одна не ошиблась, каждая потянулась и взяла свою.

Вспомнила Катя и женщину, родившую мертвого мальчика и бившуюся в истерике головой о железную кровать.

И вдруг отдать? Отказаться по своей доброй воле?

У Кати затекли руки, и она осторожно переложила мальчика.

Потом погасила свет и легла сама. И слезы, которые весь день носила в себе, потекли на подушку.

* * *

Дверь, звякнув стеклами, распахнулась, и в палату с истошным визгом вкатился толстощекий малыш. Он подлетел к кровати, на которой лежал Петров, нырнул под нее и затих, затаился. Следом вбежала запыхавшаяся большая пожилая женщина, бывшая, судя по всему, на последнем месяце беременности. Она бестолково затопгалась вокруг убежища, в котором отсиживался ее детеныш, и панически заверещала:

— Выходи, кому говорю! А то я скажу, и тебе вместо одного пять уколов сделают! Вылезай сейчас же! Или я домой уйду, а тебя тут оставлю! И все твои игрушки выкину! Ой, да что же это такое!?

«Надо помочь», — мелькнуло у Кати в голове, и она, сев на постели, стала нащупывать тапочки, одновременно натягивая халат.

Но встать не успела: на нее накинута женщина:

— Что вы смотрите? Интересно стало? Да помогите же! Видите, я не могу! Странные какие люди!

— Да я и так собиралась, — покраснев, стала оправдываться Катя.

Она подошла к кровати, под которой прятался ребенок, села на корточки и начала его уговаривать.

— Да тащите его! — возмущалась мать. — Бойтесь вы его, что ли?

Катя встала на коленки и заглянула под кровать. Малыш увидел ее, показал ей язык и снова заревел.

— Давайте я его вытащу, — сказал Петров.

Он соскочил с постели, на животе подполз к мальчишке и что-то стал ему тихо говорить. Через несколько минут Петров вылез сам и помог подняться малышу. Мать немедленно подскочила к сыну и вlepила ему затрещину.

— Не трогайте его, — сказал Петров. — А то он опять спрячется. Идем, маленький, — обратился он к ребенку и вывел его из палаты.

— Нет, вы только посмотрите! — фыркнула мать и, запахнув халат, вышла следом.

Маришка восприняла все происходящее как увлекательную игру в прятки и теперь прыгала на полу и заливалась смехом.

— Ты почему босиком? — заругалась Катя. — Марш в постель!

Маришка оборвала смех, укоризненно посмотрела на мать, вздохнула и легла.

Результатом этого происшествия было то, что теперь, когда маленькому Русланчику надо было делать очередное вливание, его мать входила в палату и хмуро говорила Петрову:

— Иди уж, твой ждет тебя... Чего уж...

Но раз она застала Петрова спящим и хотела его разбудить.

Кате пришлось вмешаться:

— Пускай спит! Он тоже болен!

— Но вы же знаете, Руслан без него не пойдет!

— Ничего, один раз справитесь со своим ребенком сами!

И опять коридор огласился визгом и воплями.

А женщина после этого стала смотреть при встречах на Катю сверлящим, ненавидящим взглядом.

«Зато Петрова оставила в покое», — думала Катя.

Но как-то вечером крики за дверью стали совершенно невыносимыми, и Катя, потеряв терпение, решительно направилась в коридор с твердым намерением прекратить их раз и навсегда. Она открыла дверь в соседнюю палату и увидела, что мать крепко отбивается от двух цветастых не то подруг, не то родственниц и, мотая седой растрепавшейся головой, кричит:

— Ушел! Бросил! Воспользовался моментом! А-а-а... Высосал, выжал и ушел к молодой!

Тут ей на глаза попала застывшая в испуге Катя, и женщина рванулась к ней:

— Вот к такой же ушел, к розовенькой! Ну, ничего! Ты не думай, что тебя будут вечно любить! И ты состаришься! Будь ты проклята!

Она издала совсем уж какой-то задавленный крик и, обхватив живот руками, села на пол.

Катя захлопнула дверь. Вернулась к себе и опустилась на стул, чтобы унять дрожь в руках, стиснула ладони между коленями. Какое счастье, что Маришка с Петровым спят!

Вопли понемногу утихли. Катя пересела на постель. Машинально сунула руку под подушку и достала зеркальце. Провела пальцем по одной щеке, по другой...

«Розовенькая», — усмехнулась она.

Катя вздохнула и спрятала зеркало обратно. И задумалась уже о себе. И о своем муже...

Катя сразу поняла, когда он стал ей неверен. Он вдруг перестал перечить ей и вмешиваться в домашние дела. Исчезли неизбежные семейные перебранки, он принимал все, что ни делала Катя. Но вместе с тем ушла и ласка, а ей на смену пришли вежливость, предупредительность и стерильные супружеские отношения. Странно, но ни ненависти, ни желаний выцарапать глаза сопернице у Кати никогда не возникало. Появился лишь легкий оттенок презрения в отношениях к мужу. Она вообще никогда не обмолвилась с ним ни словом на эту зыбкую тему.

«Идеальная семья», — говорили родственники и знакомые.

Забавным было то, что «идеальной» она прослыла как раз тогда, когда пропала любовь. А была ли она? Любовь.

Катя вспомнила себя — десятиклассницу и чистенького, пригожего Славика —

сына репетитора по математике. Славик учился на втором курсе физтеха. По вечерам после занятий провожал Катю домой. Потом стал не только провожать, но и встречать из школы. Он входил в класс, синеглазый, високий, с соломенной копной волос, неизменно в хорошем расположении духа, по-свойски здоровался с Катиными одноклассниками, подавал ей пальто и отбирал портфель. Девчонки умирали от зависти, а Катя будто бы не замечала их взглядов, брала Славика за руку и независимо шагала в коридор.

Было удовольствие, польщенное самолюбие, желание порисоваться перед подругами и помучить влюбленного в нее Костю Ивкина. Но при чем тут любовь?

Весной Славик простудился и слег, и Катя, сбежав с уроков, пришла его навестить. Она потчевала больного с ложечки липовым бабушкиным медом и вытирала ему губы своим носовым платком.

Славик вдруг отодвинул ее руку и посмотрел на нее пристально и даже строго. И Катя поняла, что сейчас он ее поцелует. От жгучего любопытства и ожидания внутри у нее все замерло. Она опустила глаза и ждала. Славик обнял ее за плечи и поцеловал. Катя прислушивалась к себе изо всех сил, но — странно — ничто внутри не откликнулось на этот поцелуй. Она почувствовала разочарование. Первый «настоящий» поцелуй. Не таким он ей виделся в розовых мечтах. Единственным ощущением было то, что губы Славика от меда стали липкими и сладкими.

Славик не отпускал ее и сжимал острыми пальцами плечи все крепче.

— Я люблю тебя,— прошептал он.

«Что же я молчу,— подумала Катя.— Ведь и я, наверное, люблю его».

И ответила:

— И я тоже... люблю тебя.

Торопливо и неумело он начал расстегивать ей кофточку. А потом был диван... А потом они сидели, нахохлившись и отвернувшись друг от друга, и Кате было стыдно и противно. Она заплакала.

Славик встал перед ней на колени и обнял за талию.

— Что же ты плачешь? — проговорил он.— Может быть, ты боишься, что я не женюсь?

Катя заплакала еще горше.

Слушая с тех пор восторженные причитания подружек о любви и всяких нежностях, Катя кусала от досады губы и думала: «Какие глупые, и совсем-то любовь значит другое».

Не было в ее жизни ни бессонных ночей, приправленных лунным светом и запахом фиалок, ни сладких мук, ни горьких страданий.

Впрочем, однажды что-то такое было.

Катя зашла к Славiku домой и застала его у чертежной доски с пухленькой девушкой.

— Нина,— представил Славик девушку Кате.

А про нее сказал:

— Это — Катя, моя невеста. Прошу любить и жаловать!

Девушка весело рассмеялась, обнажив при этом все тридцать два зуба, правда, очень ровных и белых, а Кате стало отчего-то стыдно, и она обозвала про себя девушку «зубастой».

— Ты пока посиди, почитай что-нибудь, а нам надо курсовую досчитать,— сказал Славик, усадил Катю в кресло и навалил ей на колени охапку журналов.

Катя старательно делала вид, что читает, и поглядывала на них из-под опущенных ресниц. И ощущала себя деревянной мумией.

Славик с Ниной внимания на нее не обращали, звали друг друга Славкой и Нинкой, громко спорили и пили заварной чай по очереди прямо из носика чайника. Что-то у них не получалось, и они стали ругаться. Славик обозвал Нину ослицей, а она его болваном. Потом они наклонились через стол друг к другу и что-то стали пересчитывать на калькуляторе. Волосы их смешались, а у «зубастой» в вырезе платья грудь видна была вплоть до смуглых сосков. Славик, казалось, не замечал этого, но зато очень заметила Катя. А когда все у них потом сошлось и получилось, прямо на Катиных глазах они обнялись, поцеловались и захохотали.

Тут Катя не выдержала, расплакалась и выскочила в прихожую. Натягивая поспешно сапоги, дрожа и всхлипывая — ноги ее тут больше не будет! — она улышалась, как Славик удивленно спросил:

— Чего это она?

А «зубастая» весело ответила:

— Тебя ревнует, дурачок, значит, любит!

«Зубастая» оказалась сообразительной девушкой, быстро собралась и ушла. А Катя осталась.

И было бурное примирение с диваном, успевшим осточертеть Кате еще задолго

до того, как скуластая чиновница в ЗАГСе шлепнула в ее паспорт штамп и Катя превратилась в замужнюю даму.

...А при чем все-таки здесь любовь?

* * *

С появлением Петрова Катя получила неожиданную и счастливую возможность передохнуть. Он занимал сразу потянувшуюся к нему Маришку лучше всякой няньки, даже лучше самой Кати. И нравился ей все больше.

Катя все время сравнивала с ним избалованную и зацелованную многочисленными тетушками и бабушками Маришку, не говоря уж о ней самой, и приходила к выводу о явном несовершенстве их семейной педагогической системы, вернее, о полном ее отсутствии.

Раз, свалившись после обеда, Катя сквозь полудрему услышала, как Петров увещевал Маришку, хотевшую во что бы то ни стало разбудить понадобившуюся ей мать:

— Обойдешься, не маленькая! Все мама да мама! У нее от тебя голова кругом идет! Одеться сама — и то не можешь! С ложечки тебя кормят, стыд какой!

— Я могу, — оправдывалась Маришка. — Просто мама быстрее...

Но когда за обедом Катя попыталась докормить ее супом, Маришка воспротивилась и решительно отняла у нее ложку:

— Я сама.

* * *

Маленькая женщина, по виду совсем еще девочка, с рыженькой растрепанной косичкой на затылке, поступила в отделение с грудным сыном сразу же после обеда.

— Воспаление легких, — прошептала она в ответ на немой Катин вопрос, и глаза ее наполнились слезами.

Прижав ребенка к груди, женщина ходила по палате.

В холле по телевизору показывали детский фильм, и Катя отправила Маришку с Петровым туда.

Вошла медсестра.

— Будем делать укол в головку, на руке вену не найти, — сказала она, и мать пронзительно закричала:

— Я не позволю сделать моего сына идиотом!

И снова пошла по палате.

— Да положите вы его! — не выдержала сестра. — Затаскаете, как кошка!

Женщина отчаянными, непонимающими глазами взглянула на нее. Сестра решительно подошла и забрала ребенка.

— Пусть полежит. И вы ложитесь.

Женщина послушно легла и закрыла глаза. Но как только дверь за медсестрой закрылась, она вскочила, и опять началось хождение.

Вошла Зина со шваброй и ведром в руках и с недовольным видом стала тыкать по углам.

— Лечат здоровые коровы, а ты надрываешься, — бурчала она, распаяясь. — Чё убиваешься? — ругнула Зина женщину. — Молодая, будут еще дети!

До Кати даже не сразу дошел смысл сказанного. А когда она поняла, то, потеряв всякий контроль над собой, подскочила к Зине и прошипела:

— Вон! Убирайтесь вон. И не смейте входить сюда.

— А ты на меня не ори! Я свои права знаю! А у тебя тут прав никаких нету! Я вот главврачу все выскажу! Пусть решает! Меня везде с руками-ногами оторвут, а ты...

— Уйдите!

Неужели это она заорала?

Зина оторопело взглянула на Катю и, подымая худые, острые плечи, пошла расхлябанной походкой к двери, волоча швабру. У двери швабра зацепилась тряпкой за гвоздь. Зина зло рванула ее и с силой хлопнула дверью.

«Старая дева, наверное», — мстительно подумала ей вслед Катя.

Словно никакого отношения к ней разыгравшаяся сцена не имела, женщина продолжала мерить палату шагами.

А Катя сидела на своей кровати и думала, машинально следя за ней глазами:

«Кто здесь главный? Завотделением? Главврач? Ну как же! Зина! Ее все боятся, перед ней заискивают! Тот же главврач!»

Шесть шагов туда, шесть — обратно. И опять туда...

Хрипло, с присвистом дышал ребенок... И вдруг стало тихо.

Мать остановилась, пристально взгляделась в маленькое, сморщенное личико, вскрикнула по-птичьи и выбежала.

Минут через двадцать пришла Зина и стала мрачно домывать пол. Уходя, она бросила Кате:

— Младенец-то умер...

После обеда Маришка заснула, а Катя сидела над ней и думала:

«А вдруг?.. Нет! Нет! Тогда и жить не стоит! Открыть газ — и все! Или в метро. Там уж точно костей не соберут».

Катя осторожно положила руку на теплое плечо Маришки. И сразу же стала успокаиваться. Ей начало казаться, что рука ее слилась с телом дочки, и составляют они единое целое и неразъемное. Катя несколько раз вздохнула. Спокойно, спокойно... Все будет хорошо...

Она подняла голову и встретилась глазами с Петровым. И ее словно кольнуло в сердце. Она подошла к нему.

— Ну, как ты себя чувствуешь? Почему не спишь?

— Не знаю...

— Тебе плохо?

— Нет...

— Посидеть возле тебя?

Он кивнул.

Катя опустилась на край кровати. Она смотрела на мальчика и испытывала неловкость от того, что не знала, о чем и как поговорить с ним.

— Спи,— сказала она наконец.— Тебе надо отдохнуть, чтобы поскорей поправиться.

Он сразу же послушно закрыл глаза. Катя еще посидела и перешла на свою постель. И опять стало ей стыдно, больно и тоскливо.

* * *

Маришкины дела быстро шли на поправку. А Петрову опять вечером стало плохо. Он метался в жару, и Катя не отходила от него ни на шаг.

— Пить. Хочу пить,— попросил он.

Катя поднесла ему стакан с чаем, он отпил — и тут же его вырвало. Пуская носом пузыри, он начал икать. Катя кое-как обтерла его полотенцем и побежала к Зине.

— Перемените, пожалуйста, постель! Ребенка вырвало!

— Опять! — раздраженно бросила Зина.— Думаешь, я каждый раз тебе выдавать буду?

Катя неприязненно молчала.

— На! — кинула ей сырую простыню и наволочку Зина.— Сама переберешь!

Когда Катя принесла ей испачканное белье, санитарка пила чай и была уже настроена благодушнее.

— Положь в угол. Этого, что ли, вывернуло, подкидыша?

— Зачем вы так? Он же ребенок,— тихо ответила Катя, боясь вызвать Зинино раздражение, но и не имея сил молчать.

— А чего я такого сказала? — лениво спросила Зина, громко отхлебывая чай из блюда. По ее распаренному лицу тек пот, завитые бараньими кудряшками волосы липли ко лбу. Большие свои ноги в больничных мужских шлепанцах она вытянула, загородив проход Кате.

Катя осторожно перешагнула через Зинины ноги, при этом ее не покидало дурацкое ощущение, что вот сейчас Зина подставит ей подножку, и пошла к выходу.

— А этот живет,— сказала Зина ей вслед, припомнив, по-видимому, умершего мальчика.— Никому не нужен, а живет. Себя мучает, других мучает... Помер бы — и государству легче, и сам освободился бы.

Чувствуя, что сейчас опять сорвется и уже не успокоится так скоро, Катя почти бегом пустилась из подсобки.

Сидя над сомлевающим после снотворного укола мальчиком, Катя, горестно подперев щеку кулаком, думала:

«Как жестоко, как несправедливо. Никому не нужен! Но ведь так нельзя, так не может быть! Так не должно быть!»

Тут Катя вспомнила его директрису.

«Ей он действительно не нужен...»

Но ведь берут же некоторые детей оттуда. Может быть, и ему повезет. Повезет — не повезет. Что это, спортлото, что ли?

А вот ты бы взяла?

Я? Не знаю...

А почему — нет?..

Нет, невозможно! И муж ни за что не согласится! Такая ноша.

А вдруг согласится? Да, согласится, а потом, когда поймет, что это такое,— уйдет. Ведь семья-то держится на честном слове, это надо признать... А, пусть! Не пропадем! Буду жить и растить детей. Не так уж мне муж и нужен, в конце концов. На ногах я стою, слава богу, крепко.

Хотя, почему я так сразу подумала о нем? Мало ли что у нас с ним было. Разве он такой уж плохой человек? Одно дело — дурацкие мелочи, а другое — серьезное... мероприятие, тьфу, слово-то какое! Но не в том суть... Главное — дать обездоленному ребенку ласку, семью, дом — ради этого можно многим пожертвовать! Уговорю мужа! Женщина я или нет! И мы его усыновим!»

И Катя увидела себя идущей по праздничному парку и ведущей за руки двух нарядных детей: мальчика и девочку, Петрова и Маришку. Между прочим, оба они — светловолосые и сероглазые и великолепно сойдут за брата и сестру.

Катино сердце заняло от умиления, когда она представила себе эту трогательную картину.

* * *

И весь следующий день Катя тоже провела возле Петрова.

Она уже почти почувствовала его своим сыном, и даже прикрикнула на раскапризничавшуюся Маришку, которая никак не желала укладываться спать без матери.

Маришка вконец разобиделась, буркнула:

— Можно подумать, что ты его мама, а не моя.— Отвернулась носом к стенке и затихла.

А у Катя потеплело на сердце от этих нечаянных слов дочки, и она подумала: «А что? И его мама тоже».

И опять вернулась к идее усыновления.

Самая, конечно, большая сложность — муж. Как наяву услышала она все, что он может сказать: «Идеалистка! Ну, возьмем мы одного! А остальные? Их во-он сколько!»

Петров что-то забормотал во сне и сбросил на пол одеяло. Нога его при этом свесилась с кровати.

Катя осторожно поправила ногу, подняла одеяло и поцеловала мальчика в потный висок.

«Надо будет завтра ему ногти остричь»,— подумала она, взглянув на его руку, судорожно зажавшую угол пододеяльника.

Теперь, когда для себя Катя уже решила вопрос усыновления, она перешла к практической стороне дела.

Мысли ее произвольно обежали препятствия под названием «муж» и покатились дальше. Катя стала переставлять вещи в квартире.

Первое: где он будет спать? Вероятно, в детской вместе с Маришкой. Больше просто негде. Если развернуть платяной шкаф, то, пожалуй, можно втиснуть еще одну кровать. Правда, шкаф при этом закроет ровно половину двери. Решение — не из самых удачных.

Передвинуть ближе к окну Маришкину кровать? Ни в коем случае! На нее будет дуть!

Вообще вынести шкаф в столовую, где спят они с мужем? Но куда? Да и что это будет за столовая? Это будет мебельный склад!

Вытащить в коридор? Покорно благодарю, там и так не пройти!

И-да, их уютная двухкомнатная квартира, идеально подходящая для малогабаритной семьи типа — «муж-жена-один ребенок», оказалась безнадежно мала для второго. И какие только варианты квартирного интерьера не рождались в Катиной голове! Но было ясно: места для Петрова нет.

Он снова зашевелился, и Катя наклонилась над ним.

«А все-таки есть что-то в его лице туповатое,— неожиданно подумала она.— Не зря же мать — алкоголичка. Да и отец скорее всего — тоже».

Теперь забормотала и села на постели Маришка. Она сонно посмотрела на Катю и спросила охрипшим спросонья голосом:

— Мама, а уже завтра или еще вчера?

И повалилась на подушку.

Катя растроганно улыбнулась. При взгляде на беспомощно разметавшуюся дочь ее охватило раскаяние.

«Бедная моя девочка. Совсем я тебя забросила. Петров — Петровым, но так тоже нельзя!»

Она присела и тихо, чтобы не потревожить Маришку, провела губами по раст-

репавшимся волосенкам. От дочери пахло родным, теплым запахом, и Катя с удовольствием вдохнула его полной грудью.

Совсем иначе пахло от Петрова. «Казенщиной» — так определила про себя Катя этот запах.

* * *

Катя загадывала детям загадки, которые вычитала в одном умном педагогическом издании:

— На одной чашке весов стоит петух, а на другой — гиря, весом в два килограмма. Сколько весит петух?

— Знаю! Знаю! — закричала Маришка. — Два килограмма!

— А если петух подожмет одну ногу, изменится его вес или нет?

— Знаю! — опять закричала Маришка и от возбуждения застучала кулачками по подушке.

— погоди, — остановила ее Катя. — Пусть Алеша скажет.

Петров медленно думал, шевеля губами и бровями.

Маришка не вынесла:

— Два! Два! Правильно, мам?

— Ну конечно...

Петров добродушно закрутил головой:

— И как это я не догадался?

— А теперь такая задача: что тяжелее — килограмм ваты или железа?

Изо всех сил Катя старалась быть объективной, но все же с невольной и тайной радостью отмечала про себя, что Маришка гораздо сообразительнее Петрова. И она подумала:

«Что ж из того, что он быстро ест и сам одевается? А вот соображает плохо. Впрочем, зачем им в детдоме это? Готовят-то их для ПТУ.

И меня мать кормила с ложки до второго класса. Однако это не мешало мне быть отличницей. И университет закончила с красным дипломом. А подрастет Маришка — буду поступать в аспирантуру.

Стоп! О какой аспирантуре может идти речь теперь, когда она решила взять Петрова? С двумя детьми в аспирантуру не разбежишься. Хотя... если поднапрячься...»

Катя вздохнула. Аспирантура была одним из самых заветных ее желаний. Но если и не выйдет теперь ничего... что ж, счастье ребенка дороже. Рядом с благим деянием усыновления аспирантура бледнеет.

И все же Кате стало грустно. Но она мужественно обозвала себя эгоисткой и потянулась за вязанием — успокоить нервы.

Петров соскочил с постели, подбежал к столу, где на тарелке лежали яблоки, взял одно, с хрустом откусил и опять нырнул под одеяло.

«Какой все-таки бесцеремонный, — неожиданно с неприязнью подумала Катя. — Даже в голову не пришло спросить разрешения».

Но тут же она спохватилась, испугалась своей неприязни и как можно ласковее сказала:

— Кушай на здоровье!

Петров с Маришкой стали вырезать из цветной бумаги аппликации.

А Катя думала:

«Еще неизвестно, чем он болен. Его придется лечить долго и серьезно, везти в отпуск к дядьке-профессору в Москву. А так хотелось вывезти Маришку к морю! Подкрепить ее после больницы. Ведь через год ей в школу. Отправить ее с мужем, а самой — в Москву? Позвольте, но где взять на все эти разъезды средства? Деньги они с мужем, между прочим, не печатают, а зарабатывают. Видно, придется летом куковать Маришке со свекровью.

А Петров? Страшно подумать, что сулят в будущем эти его головные боли. Мать-алкоголичка... О, господи! А вдруг она когда-нибудь объявится? Этого еще не хватает! А ведь очень возможная вещь. Молодость пропорхает, а на старости лет вместо инвалидного дома — к любимому сыночку».

* * *

Этим вечером Маришка не на шутку разругалась с Петровым.

Разыгравшись, она разбросала по палате кубики и ни за что не хотела их собирать.

— Я одна не могу! — заявила она Кате. — Мне трудно!

Катя покорно наклонилась и стала выгребать кубики из-под тумбочки.

Петров, наблюдавший эту сцену со своей кровати, вмешался:

— Не помогайте ей! Сама рассыпала, пусть сама и собирает!
— Не твое дело! — огрызнулась Маришка.
— Нет, мое! Белоручка, вот ты кто!
— Нет, не белоручка!
— Белоручка и лентяйка! Из тебя не вырастет хорошего человека!

Маришка разревелась и запустила в него коробкой от кубиков. Он презрительно улыбнулся, сполз с кровати и стал помогать Кате. Катя молчала и чувствовала, как, вопреки всякой логике, в ней нарастает глужое раздражение.

— Спасибо, — сказала она Петрову, когда кубики были собраны.

Он уловил холодок и удивленно посмотрел на нее.

«Я что-то сделал не так?» — спрашивал его взгляд.

Катя сделала вид, что не понимает этого взгляда.

— Ложись, поздно уже, — сухо бросила она ему и стала успокаивать Маришку.

— Спокойной ночи, — потухшим голосом отозвался Петров.

Кате стало стыдно.

— Спи, уже поздно, — повторила она и постаралась придать своему голосу побольше теплоты. — Нам папа принес сегодня пластилин. Завтра будем лепить. Ты умеешь лепить?

— Умею, — сразу же ожив и заблестев глазами, ответил он. — Я могу слепить насадку с цыплятами.

— Вот и хорошо. Завтра покажешь. А теперь спи.

Укачивая Маришку, Катя подумала про Петрова:

«Удивительно нудный ребенок».

Но тут она вспомнила, что решила усыновить его, вздохнула и стала додумывать квартирный вопрос:

«В одной квартире мы не разместимся, это точно. Вставить на очередь — на расширение»? Да в ней до седых волос стоять можно! Значит, предстоит обмен: «меньшая — на большую». А это опять деньги, и немалые. Полностью уйдут сбережения, предназначавшиеся для отпуска и нового кухонного гарнитура. Даже еще не хватит, придется залезать в долги.

Катя вспомнила польский гарнитурчик, который присмотрела в мебельном перед самой больницей. Как удачно вписался бы он в их кухню. Надо бы только кафель заменить. И плафон.

Ну какой кафель? Какой плафон? Петров, Петров... Отныне будет Петров...

«Пора, конечно, и с мужем поговорить», — подумала Катя.

Муж забежал в больницу следующим утром перед работой.

— Я на минутку, — сказал он. — Вот мать вам пирожков напекла. Еще тепленькие. Как дела-то у вас?

— Врач говорит, видимо, в конце недели выпишут. Тьфу-тьфу, — суеверно поплевала Катя. — Сам-то ты как?

— Ничего, поживаю, — ответил он и посадил Маришку на колени. — Золотые рыбки скачают без тебя и просят передать привет.

— Рыбки не умеют говорить, — возразила Маришка.

— А как же «Сказка о рыбаке и рыбке»? Выходит, умеют.

Маришка засмеялась, обняла его за шею и стала что-то нашептывать на ухо.

Закусив губу, Катя смотрела на них:

«Как я могла? Так легко решила лишить дочь отца? Я, положим, переживу, но Маришка? Да и он... Он все-таки сильно привязан к семье. Шесть лет — не шутка. А если учесть и то, что было раньше, так все девять. А что я предлагаю Маришке вместо? Петрова? Как они разругались с ним из-за кубиков? А если они не поладят? Шум, драки, крик — ад!»

Господи, и до чего же спокойно ей жилось до сих пор!

— Кстати, а как поживает ваш Петров? — повернулся муж к Кате, которая накануне горячо расписывала ему бедственное положение ребенка.

Загорелась у нее мысль — сейчас же и поговорить с ним, коль он сам спросил, да и погасла.

— Ему, кажется, лучше, — ответила небрежно и перевела разговор на другое.

«Потом, после, — подумала она. — Сейчас не время, он торопится. Нельзя же так сразу, в лоб».

Распрощавшись с мужем, Катя вернулась с Маришкой в палату.

— Сейчас будем завтракать, — сказала она Петрову. — Нам папа пирожки принес. А еще я вам сделаю вкусную смесь.

Насчет вкуса Катя, конечно, сильно преувеличивала, но вот насчет питательности — чистая правда. Такой смесью Катю кормила в детстве мать; теперь, позабыв, как она пряталась в шифоньер, увидев в руках матери терку, она сама потчевала ею Маришку.

Катя натерла яблоки, морковь, залила их сметаной и бухнула туда же сырое яйцо. Перемешала и посмотрела на Маришку.

Та покорно сидела на постели, давно уяснив, что спорить с матерью бесполезно: Катя все равно впихнет в нее содержимое чашки до последней капли.

«Не мой характер, отцовский»,— думала иногда с сожалением про дочь Катя. Но вдруг Петров, давно с интересом наблюдавший за действиями Кати, сказал: — А по-моему, если все съесть по отдельности, будет в тыщу раз вкуснее! И Маришка взбунтовалась:

— Не буду!

— Я бы тоже не стал такое есть,— задумчиво сказал Петров.

Катя в сердцах повернулась к нему:

— Ну кто просил тебя вмешиваться?! Зачем ты лезешь? Я без тебя разберусь, чем кормить родную дочь! Наверное, я немножко постарше и поумнее тебя!

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга: Катя зло, тяжело дыша; Петров — растерянно и виновато улыбаясь.

— Мама,— осторожно подергала ее за рукав Маришка.— Давай я съем...

Петров лег и отвернулся к стенке.

Катя с ненавистью посмотрела на его стриженный белобрысый затылок, хлопнула чашку на стол и вышла.

Походила по коридору, постояла у окна, подошла к зеркалу. На нее глянула бледная, нелепо одетая женщина. Губы женщины слились в недобрую ниточку, глаза сузились.

«Нельзя, так нельзя,— стала уговаривать женщину Катя.— Чего раскипятилась? Ничего особенного он не сказал. Возьми себя в руки».

Она заставила женщину улыбнуться. «Вот и хорошо»,— сказала она, хотя понимала, что ничего хорошего нет. Тут Катя заметила, как за ней наблюдают две девчушки, застыдилась и пошла в палату.

Маришка съела злосчастную смесь и даже вымыла за собой чашку и сидела теперь, чинно сложив руки. Петров лежал, по-прежнему отвернувшись.

— Мама,— шепотом спросила Маришка.— А можно, я с ним поиграю?

— Конечно,— ответила Катя с приготовленной еще у зеркала улыбкой.— Зачем спрашиваешь?

— Думала, ты не разрешишь.

— Почему? — почти натурально удивилась Катя.

— Так...

Маришка взяла коробку с конструктором и перешла к Петрову.

— Мама разрешила,— все так же шепотом сказала она.— Давай дом делать.

— А почему ты шепчешь? — спросила ее Катя.— У нас никто не спит. Можно говорить громко.

Маришка быстро взглянула на мать, и Кате стало не по себе от того мимолетного выражения, которое скользнуло по лицу дочери.

Катя взяла спицы — это было испытанное средство успокаивать нервы.

* * *

И снова пришла ночь. И снова стрекотала лампа и капал кран.

Катя не спала, сидела на постели, прислонившись спиной к стене и обхватив колени руками. Думала:

«Кстати, есть еще один деликатный вопрос. Ведь они скоро вырастут: Петров и Маришка. В одной квартире. И будут знать, что не являются братом и сестрой... Тьфу, что за нелепые мысли лезут в голову! Хотя, почему нелепые? Это жизнь, и от нее никуда не спрячешься. Нужно все предусмотреть, прежде чем решиться на такой шаг. Предусмотреть и оградить дочь от возможной опасности... От опасности, которую создаю своими руками!»

Как все запуталось, усложнилось. Не рано ли я настроила замков? Тут собственная семья на грани развала...»

И вдруг Катя совершенно ясно поняла, что ей совсем не хочется никого усыновлять. Вернее, внутри нее произошел раскол. С одной стороны — она была женщиной, самой природой предназначенной для материнской жалости и любви, и поэтому всем существом тянулась к покинутому малышу.

Но с другой, она чувствовала, что ничего не хочет менять в своей привычной, тихой, устоявшейся жизни и никогда не сможет полюбить Петрова так, как любит Маришку. Ей было стыдно, но она ничего не могла с собой сделать.

Почему-то вспомнила про зайчих, кормящих в лесу маленьких зайчат независимо от того — свои они или чужие. Но тут же вспомнила и пару голубей из своего детства, насмерть забивших случайного голубенка, попавшего в их гнездо.

Петров внезапно сел на постели, обвел мутными со сна глазами палату и, все перепутав, лег ногами на подушку.

«Почему я в ущерб своей дочери должна возиться с ним?» — подумала Катя, уже не таясь от себя.

Но все же подошла к Петрову, переложила и укрыла. И ущерба большого, как оказалось, Маришке это не причинило.

Уже протянув руку к выключателю, Катя вспомнила, что забыла остричь Петрову ногти.

«Ничего, сделаю это завтра», — подумала она, еще раз взглянув на Маришку, и погасила свет.

* * *

— Вам на вливание, — заглянула наутро в палату сестра.

Когда Катя вернулась с Маришкой из процедурного, то застала Петрова переодетым в «гражданскую» одежду — новенький плохо сшитый костюмчик. Он по-нуру сидел на стуле и прижимал к груди свой пакет. Нервно пощелкивая костяшками пальцев, над ним стояла его директриса.

— Вас ждем, — с усмешкой сказала она.

Петров встал и неловко, как-то боком, приподняв одно плечо, шагнул к Кате:

— Я попрощаться...

— Тебя выписали? — удивилась Катя.

— Нет, — помотал он головой. — Переводят в другую больницу. Специализированную, — произнес он по слогам трудное слово.

— Ну что ж, до свидания, — сказала Катя и подала ему руку. — Желаю поскорее поправиться!

— И я желаю, — высунулась из-за Кати Маришка. — Приходи ко мне на день рождения. Ладно, мам?

— Конечно, — ответила Катя. — О чем речь?

Петров, не ответив, по-взрослому тряхнул Катину руку своей сухой и горячей ручонкой, быстро посмотрел ей в лицо и отвел глаза.

— Спасибо. До свиданья.

Потом воспоминание об этом прощании долго жгло Катю стыдом и раскаянием, но даже себе она не признавалась никогда, что в тот момент, глядя вслед уходящему из ее жизни Петрову, она почувствовала громадное облегчение.

Вечером Катя рассказывала мужу:

— Знаешь, его перевели в неврологический диспансер. Врач мне сказала, что у него плохой снимок головы. Что это может быть?

— Да уж ничего хорошего, — ответил муж, лаская Маришку.

Помолчав, Катя сказала:

— Жалко мальчишку. Подумать страшно, что с ним будет. Кому он нужен, кто станет с ним возиться? Мне даже в какой-то момент пришла в голову мысль — не взять ли его нам?

Муж внимательно посмотрел на Катю, чуть пожал плечами и ответил:

— Ну и надо было взять.

Катя опешила:

— Не на время — насовсем. Усыновить, — пояснила она, решив, что он не так ее понял.

— Насовсем — так насовсем...

Тут он взглянул на часы и поднялся:

— Мне пора...

И приложился к Катиному лбу.

— Ты, вообще-то говоря, странный человек, — накаляясь, заговорила Катя. — Разве серьезные дела так делаются? Ведь надо все обдумать, решить! А Маришка! А квартира? А отпуск? Наконец, средства? Это же масса проблем! Только языком молоть легко!

— Ну, значит, мы его не возьмем, — отозвался муж. — Выздоровливай, коза!

Он чмокнул Маришку и ушел.

С трудом сдерживаясь, Катя дошла до палаты. А там, ничком бросившись на постель, дала волю злым слезам.

—————



Владимир Вайнштейн

Декабристу Рылееву

Одурманенный вечером запахом новой колоды,
от игры и вина навсегда протрезвев поутру,
незаживший ожог от глотка раскаленной Свободы
буду долго лечить на сыром петербургском ветру.

Заплелись в кружева те дороги российских губерний,
вдоль которых дождем осыпается рожь на полях.
Звон церковей зазывает народ для молитвы вечерней,
чтобы веру потом до утра пропивать в кабаках.

А дороги узлы заплетают все туже и туже —
это месиво грязи с лихою судьбой пополам.
И над каждым узлом воронье ошалелое кружит,
и старуха с косою неотступно бредет по пятам.

Дикий северный ветер, так зло обжигающий кожу,
леденящий по жилам лениво бегущую кровь, —
наши чистые души на честное дело помножив,
нас клеймит троеперстно —
Россия,
Свобода,
Любовь.

* * *

Когда мне опостылят города,
когда от суеты мне станет душно —
я убегу, наверное, туда,
где тихая береза у пруда
доверчива, печальна и воздушна.

Где след войны последней не исчез,
где жив лесного боя отголосок,
хранит в себе высокий русский лес
и роту, что ушла наперерез,
и дым от довоенных папиросок.

Там отразит доверчиво вода
березу, молчаливую подружку;
над зеркалом застывшего пруда
мне прокукует лучшие года
убитая смоленская кукушка.

* * *

Протяжный скрип...
Кортеж саней
по снегу к Черной речке мчится.
«Оставьте, что со мной случится?!» —
сквозь храп простуженных коней.

Бокал, осушенный до дна.
Спит Петербург под вальс метели.
И не Поэт,
а вся страна
от боли дрогнула в прицеле.

Отмерив двадцать пять шагов,
молчат.
Менять что-либо поздно.
Церковный стон колоколов
крошится в воздухе морозном.

«Динь-донн-н-н!»
...и выстрел прогремел...
(на алтарях задули свечи).

Снег ослепительно блестел.
Снег января на Черной речке.

Поводья выбравши в струну, в седле откинувшись
по моде, —
читал гусар на всю страну стихи о чести и
свободе...

* * *

Видно, мы изменились
и нервными стали?
Оттого, что устали.
Оттого, что устали...
Если птица быстра —
обязательно выстрел.
Если рыба быстра —
обязательно в сети.
Наказуемо все:
и поступки, и мысли!
Наказуемо все. Безнаказанны дети.
А кто сердце свое не берег про запас?
Тех уж нет среди нас.
Тех уж нет среди нас.



Николай Остроумов

«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»

ПОВЕСТЬ

Прострация!

Сколько раз касалось его слуха это слово, да и сам он иногда, при случае, так сказать, для придания речи большей интеллектуальности, прибегал к нему, но как-то так, воспринимая его отстраненно, не очень-то вдаваясь в суть, им выражаемую. А вот теперь его состояние было яркой иллюстрацией к тому, что обозначается таким эффектно звучащим словом.

Максим Петрович медленно возвращался к смыслу окружающего его мира, заторможенно осознавая себя живым, мыслящим. Существом, которому больно и которому... стыдно. Вот так, первым чувством после накатившей слабости и полного безразличия оказалось это будоражащее совесть состояние — стыда. Или вины?!

И еще не очень уверенно, но все больше и больше проникаясь гневом к себе, он стал тихонько шептать, тем самым признавая грех за собой и как бы сбрасывая хоть толику тяжести с души:

— Как ты мог! Как же ты мог, Максим Петрович!

— Стыдно! Ох, как стыдно!

Он приехал в Кисловодск в полдень. Приехал, к сожалению, не как бывало — энергичный, бодрый, переполненный желанием отдохнуть, отключиться от каждодневных на износ трудов. Два перенесенных инфаркта обуздали его энергию, сделали узкими, осторожными желания. Но тем не менее он приехал с оптимизмом и надеждой в душе, правда, хорошо темперированными лечащими врачами.

Пусть в этом оптимизме и было немного игры, но как бы то ни было, а он радовался встрече с уютным, приветливым городом, с удовольствием отмечая приметы нового, мечтал поскорее добраться до места — оформиться, хорошо пообедать (после выхода на пенсию он вдруг понял, как много приятностей может заключать в себе отменно приготовленный обед или чуточку деликатесный ужин) и начать набираться сил, укреплять сердечную мышцу, тем более, что все эти скромные мечтания были вполне реальными — путевка у него была в первоклассный, можно сказать, избранный санаторий.

Хорошее его настроение то и дело подпитывалось: и в дороге попался уважительный, терпеливый таксист, сразу, видать, смекнувший, что везет человека больного, которого легко обидеть, огорчить неосторожным словом; и в санатории оформили любезно, а самое главное — мгновенно. Слава богу, успел он и на обед и остался им доволен. И, наконец, после душа, утомленный порядком, но все так же оптимистично настроенный, он уснул, не отягощенный никакими дурными размышлениями.

То ли снилось ему это, то ли происходило наяву, только ощутил он, как к руке его, лежащей поверх одеяла, прикоснулась легкая женская рука, на секунду другую задержалась на ней и как бы нежно погладила.

Усилием воли он сбросил с себя остатки сна и... смутился. Женщина была настоящей — элегантная, стройная, хотя и далеко немолодая. Почему он воспринял ее именно такой — элегантно, ведь на ней был врачебный наряд — белый свободный халат и белая же шапочка? Что придавало ей эту элегантность? Манеры, осанка? Мой лечащий врач, сообразил он, не отрешаясь, однако, от смущения и чувства неудобства. Она заметила его состояние и обезоруживающе улыбнулась:

— Зорин! Максим Петрович! Господи, да проснитесь же! Ну! Здравствуйте!

Он ничего не понимал и только неуверенно и близоруко щурился. Наконец сообразил надеть очки, но и это не помогло как-то определиться.

А она уже откровенно и радостно смеялась:

— Ах, вот оно что — не узнаете? И очки не помогают? А когда-то клялись любить вечно!

Господи, каким родным, каким близким повеяло на него. Он минуту-другую всматривался в лицо этой улыбающейся женщины, и вдруг его пронзила острая боль, боль, рожденная разом нахлынувшим прошлым. Начался тяжелый приступ.

... Приступ сняли. Сколько было хлопотавших вокруг белых халатов, он и не помнит, четкое восприятие вернулось к нему лишь когда отпустила, чуточку высвободила из ватных тисков эта самая прострация. И удивительно, когда отступила на задний план и боль физическая, и боль воспоминаний, все яростнее стало подниматься в нем чувство стыда, и он твердил и твердил, беззвучно выкрикивал, точно заклинание:

— Как ты мог! Максим Петрович, как же ты мог!

Не узнать, не почувствовать, не угадать шестым, седьмым... каким там еще чувством. Женщину, которая стала его судьбой, вернее, так и не стала судьбой, женщину, которой поклялся в вечной любви и которую потом тщетно искал и искал. Вечную муку и боль своего сердца!

Он не мог понять, перед кем ему более стыдно — перед Надеждой (все эти длительные годы он видел в светлом имени ее некий магический смысл — он верил, надеялся в глубине души, что не уйдет из этого мира, не отыскав её, если она только еще жива) или перед собой, перед своей как бы поставленной теперь под сомнение верностью и преданностью.

Необыкновенной, какой-то удивительно живой помнится ему та весна. Сорок шестой! Зимой он, демобилизованный офицер, становится секретарем райкома партии. В Подмосковье. У него было такое чувство, что в районе своем он свернет горы. Ну, горы не горы, а хлеба будет вдоволь у всех. И молока, и мяса, а уж о картошке и говорить нечего. Одним словом, установка ясна — даешь изобилие!

Весна пришла дружная, теплая. Точно по заказу выпадали дожди — и мощно всходили яровые, тучнели луга, цвели, окутывая всё вокруг радостным белым дымом, яблони. Он видел на лицах сельчан радость, в работе их было что-то яростное, одержимое. Сам Зорин, точно проклятый, мотался по району. «Секретарь партийный должен знать все и все уметь!» Кто же, кто тогда впечатал в него это представление о партийном руководителе, о сущности его работы?

... Не помнит Зорин, сам ли попросил принять его, или вызван был в обком партии?

Пришлось подождать в приемной, пока разрешили войти к первому.

— Здравствуйте, Борис Иванович.

— Здравствуй, здравствуй, Зорин! Что новенького?

А новенького к тому моменту, ой, имелось. И не очень жаждал Зорин на эту тему распространяться. Потому и тянул с ответом. Борис Иванович усмехнулся:

— Ну давай тогда прямо с ЧП и начинай. Дошли до меня слухи, а точно не знаю...

Зорин вздохнул:

— Точно?.. Если точно, то лишился, считай, мой район одного колхоза. Цыганского.

— Как так? Ведь хвастали они, что покажут себя.

— Показали! Лучше некуда показали!

Эх, цыгане, цыгане. Два года, как осели они на землях разрушенного немцами колхоза. Попервоначалу вроде взялись работать. Правда, работали мужики. Жены, те по всему району шныряли — гадали, подаяние клянчили.

Весной этой не хватило у колхоза семян для ярового клина. Ну не хватило — не хватило, у многих такое случалось. По разнарядке райисполкома выделили цыганскому хозяйству две тонны семенной гречихи. Через два дня председатель их

доложил — гречиху посеяли. А еще через две недели сам лично явился к Зорину — расстроенный. И объявил: семена дали плохие, всходов нет.

— То есть как это нет? — поразился Зорин. — Везде есть, а у тебя нет?

— Нету! Хлебом клянусь, детьми клянусь, — рванул председатель ворот рубашки. — Обманули нас. Помоги, Петрович. Скажи, чтобы дали ячмень или овес! Это как раз по нашей земле.

Зорин с решением не спешил:

— Завтра у тебя агроном будет, — сказал председателю, — он посмотрит, поверит, тогда и решим, что делать.

На том и расстались.

Агроном через день доложил: гречиху посеяли, а всходов действительно нет. Сам, мол, проверял поле — грядки разрывал. Семена есть — а всходов как не бывало.

С недоверием слушал Зорин агронома — а ну как опоили его цыгане, пришла ему мысль. Попросил он съездить в колхоз уполномоченного КГБ Данилова. Тот закончил Тимирязевку, агроном-полевод, он-то и разобрался во всем.

Оказывается, по приказу председателя гречку проручили: крупу меж собой поделили, а шелуху посеяли.

На следующий день райком поручил прокурору привлечь виновных к ответственности. Прокурор выехал не сразу, дня через три. Вернулся из колхоза обескураженный — цыгане с места снялись и скрылись в неизвестном направлении.

Так обвели Зорина, фронтовика, вокруг пальца, словно мальчишку. Стыдно признаваться в этом, а ничего не поделаешь — надо.

Секретарь обкома слушает, и рот в иронической усмешке кривит. Не успел от одного стыда Зорин оправиться, Чернов ему новый преподнес.

— В селе Красном солдатская вдова в шалаше с четырьмя детьми живет. Куда ни стучалась за помощью — везде отказ. Почему? — спрашивает.

Зорин развел растерянно руками.

— Не знал я этого, Борис Иванович, приеду — разберусь.

И вот тут-то и припечатал его Чернов спокойно и жестко:

— Секретарь райкома должен знать все. И про колхоз цыганский, и про вдову бездомную...

Да уж, весна та была памятной. Самая яркая и для нынешнего времени жуткая картина, возникающая в памяти, — женщины, впряженные в плуг. На людях зачастую пахали. Зорин сам не раз впрягался вместо ломовика. И не для агитации, а потому, что жаль становилось чью-нибудь мать или безрукого калеку. Однажды увидел, как мать боронует поле вместе с сыном своим, совсем еще мальчонкой. Подошел, остановил их, а мальчишка такими страшными глазами уставился, что завывать бы впору — что объяснишь детским глазам, в которых застыла вековая усталость?

После того случая Зорин решительнее стал насаждать на область — просил, умолял, требовал, выколачивал трактора.

Ох, этот весенний клубок, намоталась на него уйма забот — одна первоочереднее другой. Тут пахота на людях глаза выедает, душу рвет на части, тут цыганский фокус будь любезен расхлебывай, тут тебе бандиты в лесах, от которых жителей защитить надо.

И везде и всюду райком — ответчик. А уж где ты время на все про все выищешь — твое, как говорится, личное дело.

Вспомнилось Зорину, как пришлось ему на одно поле десять дней подряд по утрам ездить. А дело было так — спустили из области план раннего боронования зяби. Но колхозники-то привыкли к другой практике — и воспротивились. Пришлось собрать председателей, агрономов, районный актив и прочесть популярную лекцию. Выслушали, а потом заявили — неубедительно все это.

— Ах, так, — разозлился Зорин, — ну что ж, будем убеждать на практике!

На следующий день в одном из колхозов десятигектарное поле, занятое озимыми, разделили поровну. Половину решили пробороновать, оставшуюся часть не трогать, чтобы было с чем сравнить.

Когда приступили к боронованию, председатель подхватил бригадиров и перекрыл путь трактору, истошно крича:

— Не пущу! Через мой труп проедешь, подлец!

Мужики его тоже загалдели.

— Какой дурак это придумал?

— Деды наши никогда не бороновили весной!

Кое-как задавил этот «бунт» силой своего положения Зорин. Хотя, отдавая распоряжение бороновать, сам до конца не был убежден, что правое дело делает, —

мало ли каких указаний не спускали сверху. А тут еще после новомодной агрономической процедуры картина ужасная взору крестьян предстала: до боронования поле было зеленым, бархатистым, а после — стало выглядеть черной уродливой картой.

Кто плевался, кто вздыхал, председатель демонстративно укатил домой. Вот с того утра Зорин как штык ежедневно на пробном поле появлялся. А оно, к его радости, вновь зазеленело, пшеница мощно закустилась, и через десять дней обогнала в росте соседний участок. Собрались аграрники со всего района, посмотрели и ахнули.

— Что ж ты, Петрович, — говорят, — как следует нас не убедил?

— Вот, теперь убедил, — кивнул он устало в сторону зеленых своих аргументов.

Ему-то казалось, энергии хватит на десять таких районов, как Хвастовичский. А вот же — устал. Да так, что утром пробуждаться не то что сил не было — не хотелось, да и только.

Не хотелось, потому что знал — поднимется он для того, чтобы подставить плечи под груз, который дай бог до вечера дотащить. А не скажешь никому об этом — надо ведь являть собой для всего района образец. Никому не пожалуешься на то, что не отдыхал уже лет одиннадцать.

И перед войной не до того было, про годы войны и говорить нечего, а после войны как-то проситься в отпуск неудобно считалось — хозяйства разоренные поднимали.

После посевной, однако, выпало денька два не таких уж суматошных. И Зорин решил воспользоваться добродушным разрешением обкома: Чернов позвонил ему, с окончанием посевной поздравил, сказал:

— Беспokoить и искать не будем. Пару суток отдыхай.

Поездка на дальние озера, ночевка в сосновой роще, рыбалка, уха с дычком — представил Зорин живописную эту картину, и сердце защемило — какими недоступными были для него эти маленькие радости. Но вот же — сбываются они. Компания подобралась узкая — ближайшие друзья, жена с детьми.

Рано утром решил, прежде чем отправиться на отдых, заскочить в райком, чтобы, как говорится, совесть была чиста.

Позвонил на узел связи, узнал — не разыскивал ли его кто, поговорил с председателем райисполкома, главным агрономом, — причин для беспокойства вроде не было. Посмотрел на часы — девять! Пора было уходить. Но тут заглянул помощник, доложил:

— Максим Петрович! Ланина явилась. Сейчас ее примите или пусть подождет?

Он недоуменно уставился на помощника:

— Что еще за Ланина? Мы же решили это воскресенье отдохнуть!

— Ланина — хирург подбужской больницы. Вы ее приглашали на беседу в четверг, но она говорит, что не смогла тогда выбраться.

Зорин, все мысли которого уже были возле костерка с дымной ухой, никак не мог взять в толк, по какому случаю он вызывал эту самую Ланину.

Помощник терпеливо объяснял:

— Поступило заявление на директора баяновической средней школы Сомкина. Там фигурировало ее имя.

А-а-а! Он вспомнил — в сейфе у него лежала анонимка на хорошего, как казалось Зорину, человека — директора самой лучшей в районе школы, секретаря территориальной партийной организации Михаила Семеновича Сомкина.

Письмо было злое. Аноним, не стесняясь в выражениях, обвинял директора в том, что он обманом склонил к сожигательству врача Ланину. У Ланиной родился сын, а Сомкин от него открестился. Морально разложившийся директор школы не может быть педагогом, примером для учеников.

Считая основным виновником амараловки Сомкина, строгий блюститель нравов не оправдывал и Ланину. «Безнравственно ведет себя врач подбужской больницы. В деревне сейчас много молодых вдов, не вышедших замуж девушек, есть девочки-подружки. Учитель и врач на селе — лучшие представители интеллигенции. Так чему же научат такие учителя и такие врачи? Поведение Ланиной — дурно. Оно требует общественного осуждения!»

Прочитав анонимный «сигнал», Зорин решил сам поговорить с Ланиной. Ведь письмо могло оказаться ложью, и тогда открытое разбирательство, что в общем-то практиковалось довольно широко, могло нанести Сомкину моральную травму.

Как-то не верилось, что Сомкин — морально разложившийся тип. Они часто встречались по партийным делам. Директор производил впечатление человека скромного, тактичного, но одновременно настойчивого и принципиального. Зорин

даже подумывал о выдвижении Сомкина на пост секретаря райкома партии. И вдруг — это письмо. Надо было разобраться.

Да, конечно, надо разобраться. Но очень уж не вовремя явилась Ланина. Зорин еще раз взглянул на часы — прикинул, насколько задержится. Сказал помощнику: — Пусть войдет.

Через минуту в кабинет вошла молодая женщина с грудным ребенком на руках. Зорин вскинул на нее взгляд и невольно улыбнулся — крепкая, румяная, она словно принесла с собой запах леса, свежесть весеннего утра. Но самыми удивительными на ее лице были глаза. Они приковывали к себе, не отпускали.

Многих приходилось секретарю принимать в этом кабинете, и он заметил, что глаза посетителей начинают говорить раньше, чем те вымолвят слово. Разные это были глаза: требовательные, просительные, возмущенные, невинные, колючие.

Глаза Ланиной были строгими и чистыми, она явилась по вызову в райком партии, но не было в ее глазах ни вопроса, ни удивления. Только... тут Зорин на миг словно бы споткнулся, подыскивая определение... да-да, только озорное любопытство, идущее, видимо, от сознания собственной молодой силы, своего достоинства, от желания быть выше молвы.

Да, от таких как бы завораживающих глаз трудно было оторваться, и Ланина, видимо, понимала это. Но пока Зорин все это прокручивал в уме, пауза затянулась, и Ланина, как бы желая и в этой ситуации быть чуточку выше, улыбнулась и представилась:

— А я — хирург подбужской больницы. Пришла по приглашению, — уголки губ ее лукаво опустились, — точнее, по вызову.

Зорин спохватился, встал, подошел к Ланиной поздороваться за руку, чтобы тем самым как бы дать знать, что это не официальный вызов, а разговор по душам, но, наконец-то, остановив взгляд на ребенке, смутился. Господи, да что же это он! Пригласил женщину для воспитательной беседы, а сам!..

— Да вы распологайтесь! — засуетился он, совсем позабыв о том, приличествует ли это секретарю райкома. — Устраивайте малыша, раздевайтесь! Не думал я, что вы придете вдвоем, — можно было поговорить и в Подбужье.

— Вот-вот, — откликнулась вполне добродушно Ланина, устраивая свой сверток на диване. — Мы с сыном сначала на попутке километров десять отмахали, а потом думаем — ну что трястись по такой погоде, и остальные пешком по лесу прошли.

Зорину было приятно на нее смотреть, приятно слушать, и он опять замешкался с объяснением, зачем же все-таки понадобилась она здесь, в райкоме. А Ланина словно читала его мысли.

— Идем с Сережей по лесу, благодать вокруг, а мы недоумеваем — что могло случиться? Ведь сам первый секретарь нами интересуется. — Она внимательно, изучающе поглядела на Зорина и чистосердечно призналась: — Никогда вот так запросто не приходилось говорить с партработниками большого ранга.

Максим Петрович рассмеялся, но тут же подумал — ох, девка, иронию подпускаешь. И сказал, хоть и не нажимая на официальность, но довольно серьезно, вспомнив вдруг, что ведь речь-то в письме идет об аморалке:

— В райком вас пригласили, Надежда Сергеевна, чтобы ознакомить с письмом, в котором говорится о вас. Вот. — Он придвинул к ней густо исписанный лист бумаги и уточнил: — Письмо без подписи.

Ланина обожгла его удивленным взглядом, но ничего не сказала, лишь скривила губы, — как расшифровал мысленно Зорин, — презрительно и даже брезгливо. Читать принялась без энтузиазма и без всякого интереса. Но по мере того, как осознала, что ведь это просто-напросто кто-то перебирает её нижнее бельё, лицо её становилось то бледным, то покрывалось горящими пятнами.

Когда, дочитав до конца, Ланина отстранила от себя анонимку, она выглядела уже совсем другой женщиной, не той, жизнерадостной, пышущей здоровьем, уверенной в себе молодой матерью, что явилась сюда десять минут назад из раннего весеннего утра. Изменился даже голос — он стал резким, почти враждебным.

— А кто дал вам право вмешиваться в мою личную жизнь? Я достаточно взрослый человек и способна отвечать за себя и устраивать свою жизнь по собственному желанию, а не по указанию райкома.

Зорин был разочарован — он-то надеялся, что письмо это — сплошное вранье. И особенно надежда выросла, когда увидел он глаза «потерпевшей», такие чистые, такие искренние. Но злой, агрессивный тон Надежды Сергеевны свидетельствовал, что анонимка — правда. «Так, так, — думал Максим Петрович несколько растерянно, — придется разбираться в этом щекотливом деле».

Он взглянул на часы безнадежно и потянулся к телефону — надо было предупредить жену. Надежда Сергеевна сидела, вздернув плечи, и неприязненно наблюдала, как он набирает номер.

Жена на телефонный звонок отреагировала бурно, тут же форсировала голос, и Зорину пришлось срочно прижать трубку плотнее к уху, так как крики вполне могли быть слышны и Ланиной.

— Так и знала, не сомневалась, что сорвешь поездку, — жена словно выплескивала накопившуюся злость. — Семью, детей готов променять на посевную, на свиноферму, на что угодно! У твоих детей нет отца, нет!

Странно, но крики жены его совершенно не раздражали. Он слушал ее терпеливо и молча, а сам глядел на Ланину и думал совсем о другом. Думал о том, сколь щекотлива тема, на которую сейчас придется вести разговор. Он, конечно, понимает, трудное послевоенное время, многое списывается на войну, унесшую мужиков. Но... при всем том — аморальный педагог, аморальный врач! Да еще на селе!

Наконец он сообразил, что монолог жены затянулся, и спокойно подвел итог:

— Поездка не срывается. Только я буду позже, видно, после обеда.

Он положил трубку и минуту-другую молчал, как бы подбирая тональность, наконец, ему подумалось, что самым приемлемым будет общение участливое и доброжелательное, а иначе она либо уйдет в себя, либо впадет в агрессивность, и каждый останется, как говорится, при своих интересах.

— Надежда Сергеевна! Согласен с вами — личная жизнь — это личная жизнь. И не подумайте, что пытаюсь влезть к вам в душу, сорвать покров с вашей тайны. Но поймите — речь идет о партийном лидере солидной организации. И нет того тайного, что рано или поздно не становится явным. И вот они — слухи, уже поползли, уже показывают люди пальцем и на Сомкина, и на вас. Требуют наказания.

Ланина бросила на Зорина презрительный взгляд и зло, с расстановкой передразнила:

— Ах, люди! Ах, требуют наказания! От того, что Сережа на свет появился, нравственность, видите ли, их пострадала.

Зорин спешно искал слова, которые смогли бы остановить эту гневную отповедь, и не находил их, и почти терялся, в общем-то, с одной стороны, хорошо понимая ее состояние, а с другой, то и дело упираясь в письмо, которое, видимо, увы, не будет единственным. Но самое ужасное, что письмо это справедливо в одном — на селе учитель и врач — это цвет интеллигенции, вольно или невольно оглядываются на них все остальные.

Да только как это все преподнести человеку, который оскорблен вторжением в его интимную жизнь?! Зорин сделал новую попытку нащупать контакт, но тут же, еще не закончив фразы, понял, что совершил очередную оплошность:

— Ну зачем вы так, Надежда Сергеевна? Просто райкому не безразлично, что говорят о ведущем хирурге района. Нам бы хотелось, чтобы репутация ваша была безупречна.

И вот тут Ланина прямо-таки взвилась. На лице ее появилась ехидная улыбочка:

— Ну, спасибо! Ну, уважили! Репутацию, значит, мою женскую соблюдаете? А жизнь мою женскую понять вам не хочется? А долю мою женскую? Или это уже не входит в перечень обязанностей секретарских?

Она сорвала со спинки стула пальто, подхватила с дивана малыша и с пылающим от гнева лицом выскочила, не попрощавшись, за дверь.

Зорин оцепенел — вот так оборот! Вот так — поговорили! Нескладно получилось. Не так он хотел повести дело, не так. Не перебирать чужое белье собирался, а хотел предотвратить возможные последствия и для Сомкина, и для Ланиной. Ведь слухи, точно снежный ком, будут расти, расти да и придавить могут этих в общем-то неплохих людей.

Максим Петрович сидел и, сам того не замечая, расчерчивал на квадраты и треугольники листки календаря. Он нервничал, но не мог бы точно сказать — отчего. То ли от чувства неловкости, которое накатывало тут же, как только возникли перед ним ясные глаза Ланиной, то ли от раздражения — все против той же Ланиной, так бесцеремонно щелкнувшей его сегодня по носу. Ну а он — не бесцеремонно? А он?.. Но ведь не он же замешан в истории, которая станет скоро достоянием всего района!

Совершенно расхотелось ехать на рыбалку. Он принялся вчитываться в записи, сделанные на воскресном листке календаря, — вдруг все-таки есть нечто неотложное, что надо решать. Тогда и ехать не придется. Но листок был столь яростно расчерчен его нервной рукой, что почти невозможно было разобрать на нем заметки на память.

Зорин вздохнул. Ну, ладно, — настроение настроением, а ехать надо. Он привел в порядок стол и только собрался подняться, как дверь кабинета распахнулась. На пороге стояла с малышом на руках Ланина.

— Можно, Максим Петрович?

Зорину захотелось броситься ей навстречу, самому уложить ребенка на кожа-

ный диван, стул пододвинуть так, чтобы удобнее ей сиделось, но вместо всего этого он лишь сдержанно сказал:

— Входите, входите.

— Удивлены моим приходом?

Он улыбнулся:

— Не столько удивлен, сколько озадачен.

Ланина вновь удобно устроила сына на диване, скинула пальто и платок и села напротив Зорина. Посмотрела ему в глаза без тени смущения, даже вроде бы как-то требовательно.

— А я вот вернулась. — Снова пристальный взгляд. — Но не затем, чтобы извиняться.

— Да я ведь вас ни в чем и не обвинял. Верно?

Ланина на минуту задумалась, глаза ее стали грустными и оттого показались бездонными. Затем она тряхнула головой, словно отгоняя сомнения, и решительно сказала:

— Расскажу. Вам — расскажу. Улыбка у вас хорошая. Честная!

Зорин смущенно опустил глаза, такого определения улыбки он никогда прежде не слышал, да еще применительно к себе. Надо же — честная улыбка! А Ланина смотрела на него выжидательно, словно бы ждала знака — что можно начинать. И Зорин мягко сказал:

— Я слушаю. — Но тут же подумал, что прозвучало это все-таки несколько официально, и добавил: — Что же волнует вас, Надежда Сергеевна?

Глаза Ланиной вдруг стали влажными, чтобы скрыть это, она даже отвела взгляд, и Зорин понял, что коснулся большого места, может быть, открытой раны. Он еще раз, теперь как бы успокаивающе повторил:

— Надежда Сергеевна, рассказывайте.

— Да, да, — встрепенулась Ланина. — Я сейчас... Я думаю, вам полезно это услышать, ведь таких женщин, одиноких, как я, много. И заявлений на нас будет еще, ох, сколько! наших женихов забрала черная невеста — война. Но мы-то живы! И мы — женщины! Наше назначение на земле — быть матерью! И никакой райком партии не в силах запретить женщине рожать. Это право дала ей природа!

Максим Петрович помнил эту страстную не то исповедь, не то обличительную речь Ланиной так четко, так ярко, словно это было вот только вчера. Может быть, произошло это потому, что впервые за его секретарскую практику с ним говорили так открыто, всю подноготную выложила Ланина, а он, не привыкший к такого рода общению, сидел тогда ошарашенный, не находя в своем партийном багаже «инструкции» на подобного рода ситуацию.

...Надя и Махмуд собирались пожениться, на зимних каникулах уже побывали у родителей Махмуда в Ташкенте. Свадьбу решили сыграть после того, как получат дипломы врачей. Но вышло так, что дипломы им вручили уже после того, как началась война. А свадьбу и вовсе пришлось отложить до победы.

В военкомате они получили назначение в разные полевые госпитали. Прощание их было последним. Известие о гибели жениха Надя получила в последний год войны. Накануне победы. Была убита известием. Но горе — горем, а дело — делом. Близились конец войны, но раненые-то в госпиталь прибывали. Не скажешь им — «не могу оперировать, у меня жениха убили». Вот так и держалась.

Раненый один, пожилой, очень уж в тяжелом состоянии был. Зная, видимо, что умирает, попросил молодого врача христом-богом — захватить после победы к нему в родное село Подбужье, рассказать Филипповне о последних его днях. Жаль ее, жену Филипповну, одна остается на свете — сына-то их еще в начале войны убили.

Обещала Надя, просто не могла умирающему отказать в последней просьбе. И когда кончилась война и ей, сироте, пришлось думать после демобилизации, куда же ехать, она решила — сначала исполню долг, а там видно будет. Так оказалась Надежда Ланина в Подбужье. Филипповна, вдова солдата, узнав, что «девушке» дальше двигаться некуда, обрадовалась. Выделила ей комнату, сказала: «Живи, пока не устроишь судьбу». В Подбужье оказалась большая больница, стала там Надежда Сергеевна работать хирургом, а вскоре ее сделали заведующей отделением.

Все вроде бы постепенно обустраивалось. Энергичная деятельная Ланина стала известным человеком не только в Подбужье, но и в районе. Годы послевоенные — тяжелые. Но энтузиазма людям было не занимать. Кипела жизнь вокруг Ланиной, и она кипела в этой жизни, не стояла в стороне. Но полного счастья жизни не ощущала ее душа, жаждавшая не только беззаветного служения людям, но и пусть крохотной, а своей, личной радости. Хотела душа заботиться не только обо всем чело-

вечестве, но и об одном, двух, трех — своих, личных человечках. Детей она хотела, детей жаждала.

Зимними долгими ночами каких только картин не рисовало ей пылкое воображение, каких решений не принимала деятельная ее натура. Надо выходить за вдовца с детьми, заменить малышам мать — заканчивалась одна бессонная ночь. Нет, нет, если и брать детей, так только сирот, из детдома, — решала она в следующую бессонницу. А третьей одинокой ночью обнимала она горестно подушку и давилась слезами, и требовала ответа, неизвестно от кого, вопрошая — за что же мне это, чем я хуже других, семейных, многодетных, счастливых?

Мудрая женщина Филипповна — все видела, все понимала. Но помочь-то как? Сосватать ведь некого — все при деле, по району и женатых-то по пальцам сосчитать можно. Смотрела она на свою жиличку, смотрела да и бухнула однажды за ужином:

— А ты роди, Надёна, Роди!

Надежда Сергеевна, растерянно уставившись на хозяйку, прошептала:

— Да как это, без мужа-то?!

Филипповна вздохнула:

— Ну что ж, что без мужа. Пригляди какого, чтоб поздоровше... и роди. Лет тебе уже немало, а то и опоздаешь. А женщине опаздывать нельзя — женщине дитя надобно.

Отмахнулась Надежда Сергеевна от простодушного совета Филипповны, как от чего-то несерьезного, но дело свое этот совет сделал — воображение Ланиной заработало с новой силой. И хозяйка поняла, что слова ее упали, точно зерна в жаждавшую почву. Не оставляла она в покое жиличку.

— Ты, Надёна, баба крепкая, выходишь. Я буду помогать. Когда увидишь впервые улыбку своего дитя — вот тогда только и поймешь, что вроде бы не жила прежде.

— Да стыдно ведь, Филипповна, — в сладком ужасе восклицала Ланина. — Что люди скажут? Развратница?!

— Эх, нашла развратницу! — спокойно возражала хозяйка. — Развратница, она рожать не будет. Ей веселую жизнь подавай.

— Филипповна, — приходила уже почти в отчаянье Ланина, — да ведь не от святого же духа рожать!

— Конечно, не от святого, — соглашалась та. — Найди мужика солидного, самостоятельного. Такого, чтобы не обидел.

Найдя мужика! Господи, думала Надежда Сергеевна, звучит-то как кошмарно. Ну а где же любовь, или хотя бы какие-то теплые чувства? Где, наконец, гордость женская? Но как бы ни кружили, ни трепали ее сомнения, одна мысль заглушала все ухищрения доброй морали — надо родить ребенка. Ребенок — вот счастье!

Вольно или невольно, стала она обдумывать, как осуществить эту идею. Свыклась с ней постепенно, и уже не казалась она ей такой дикой и недостижимой. Ловила себя на том, что на мужчин теперь смотрит только с этой точки зрения — сможет ли он быть отцом ее ребенка. «Пусть будет какой поздоровше», — советовала Филипповна. Но Ланина отклоняла такой уж совсем прозаический вариант. Ей хотелось, чтобы отец ее будущего сына или дочери был хорошим человеком прежде всего.

Как-то так само собой получилось, что выделился в ее сознании из всех мужчин, с которыми приходилось общаться, Михаил Семенович Сомкин, директор школы. Оба они были общественниками, встречались по самым разными делам. Не так уж и часто, но встречались. Сомкин производил впечатление мужчины спокойного, умного. В глазах его всегда светилось участие и желание помочь. Он-то скоро и завладел воображением Надежды Сергеевны.

Однажды пригласили Ланину на актив в Бояновичи. Вопрос шел о подготовке к 30-летию Октябрьской революции. Проводил актив Сомкин в школе после занятий. Ланина до начала актива заглянула в кабинет директора, увидела, что он один, и решила:

— Михаил Семенович, я к вам по личному делу.

Сомкин радостно пошел к ней навстречу.

— Рад вас видеть, Надежда Сергеевна! Но разговор придется часа на полтора отложить. Пора начинать актив. — И он увлек ее за собой в класс, где собрались активисты сельского Совета.

Ланина плохо слушала, о чем говорилось на совещании. Щеки ее пылали, а мысли возвращались к одному и тому же — что и как сказать Михаилу Семеновичу. Что и как? На войне она имела дело только с мужчинами и знала, как подойти к каждому из них. Разные были это мужчины — и безумно отчаянные, и просто честно выполнявшие свой долг, и, что греха таить, трусливые тоже. Но для нее они были только ранеными, только страдающими, и для каждого в ее сердце находилось ми-

лосердие. Но только милосердие. Никогда и ни с кем не допускала она вольности или просто кокетства. Жестокая изнанка войны приучила ее быть сдержанной в чувствах. Эта сдержанность путами висела на ней теперь. Не могла она кокетничать, строить глазки, щебетать «завлекательный» вздор. Она могла выражать свои чувства только прямо, только честно и просто, не прибегая ни к каким женским уловкам.

Вот и сидя на активе, Ланина наперед знала, что выложит Сомкину все на-чистоту. И боялась этого.

Когда актив объявили оконченным, Ланина бочком стала пробиваться к двери. Ее охватило одно-единственное желание — скрыться, исчезнуть. Но голос Сомкина остановил ее:

— Надежда Сергеевна, а как же наш разговор?

Ланина почувствовала, что ноги у нее стали ватными, а сердце неистово заколотилось. Подошедший Михаил Семенович взял ее под руку и повел к себе в кабинет.

— Ну, так что же случилось? Говорите откровенно. Партийная организация всегда вам поможет. Да, кстати, вам и самой давно пора в партию вступать. Что же это вы — фронтовичка, прекрасный работник...

— Михаил Семенович, — резко прервала его Ланина, — я не к партийной организации пришла, а к вам. И не как к партийному руководителю, а как... — она минуту поколебалась и нетвердо закончила: — а как к мужчине.

Глаза Сомкина стали круглыми от удивления, после минутного замешательства он шутливо сказал:

— Ну ладно. Это хорошо, что как к мужчине, а не как к тряпке. Готов помочь.

— Михаил Семенович! Просьба у меня необычная, вернее даже, не просьба, а... — Надежда Сергеевна смолкла, чувствуя, что сейчас произойдет нечто ужасное.

Щеки ее из пунцовых превратились в свекольные, а глаза от смущения, обиды, жалости к себе наполнились слезами. Сомкин, видя ее состояние, совершенно не свойственное этой выдержанной, такой уверенной в себе женщине волнение, сочувственно воскликнул:

— Да говорите же, что случилось, Надежда Сергеевна!

И Ланина закрыла глаза и в отчаянье прошептала:

— Хочу от вас ребенка.

Слова эти до сознания Сомкина дошли не сразу — некоторое время он бессмысленно смотрел на молодую женщину, закрывшую от стыда лицо руками. А когда понял — вскочил, точно ужаленный.

— Вы что? С ума сошли? За кого вы меня принимаете? А себя? В какое положение вы ставите себя?

Монолог его был страстным и искренним. И даже ночью, натягивая одеяло на голову, она не могла заглушить оскорбительных слов. «Вы что, с ума сошли!» Господи, да она и вправду с ума сошла, если отважилась на такое. И он совсем не виноват. Пришла, видите ли, некая Ланина и... А вдруг он о ней подумал... По-разному ведь относились к фронтовичкам. Некоторых называли — пэ-пэ-же. Походно-полевая жена! Но такие ведь сами дали повод для подобных разговоров.

Наутро Ланина не в силах была подняться — столь сильным было потрясение. Заглянула к ней в комнату хозяйка, справилась:

— Ты, девонька, аль захворала?

И тут все, что накопилось в душе обидное, горькое, подступило вдруг к горлу, и она по-бабы завывала, запричитала, жалуясь на судьбу, на себя, на дурака Сомкина. Филипповна, с трудом разобравшись в причитаниях, раздумывать не стала, тоже завывала в голос, и они долго и вдохновенно плакали, избавляясь от тяжести на душе и обретая в слезах успокоение.

Шло время, и утихала обида, притуплялась боль. Но видеть Сомкина Надежда Сергеевна уже не могла. Избегала тех мест, где можно было с ним встретиться. Но однажды он сам напомнил о себе.

Как-то поздним зимним вечером постучали к ним в окно. Филипповна уже спала. Надежда Сергеевна отодвинула занавеску, но сквозь промерзшие стекла ничего не разглядела. Отправилась в сенцы, спросила:

— Кто здесь?

И услышала пьяный, заплетающийся голос. Не сразу и сообразила, что это Сомкин.

— Надежда Сергеевна! Я готов выполнить вашу просьбу.

Кровь бросилась ей в голову, она дрожащей рукой повернула щеколду, распах-

нула дверь и, когда, наконец, разглядела в полумраке его пьяную физиономию, отвесила такую оплеуху, что и без того нетвердо стоявший на ногах Сомкин рухнул мертвым.

— Вон отсюда! — прошипела она и захлопнула дверь.

Но с того вечера и началось. Сомкин стал буквально преследовать Ланину, все пытался извиниться. Не получались встречи, он присылал письма. А то и приходил и подолгу простаивал поздними вечерами под дверью.

— Ишь, мужик, совсем ошалел, — с сочувствием сказала как-то Филипповна. — Ну, Надёна, уж больно ты крута.

— Да не крута я, а безразличен мне он, — ответила Ланина, радуясь в душе, что действительно — безразличен. Не было больше в сердце ни горечи, ни обиды. Так, досадное недоразумение случилось.

И уже не избегала она его, не боялась встречаться взглядом. А однажды после очередного совещания даже позволила проводить себя до дома. Сомкин расставаться не спешил, попросил мягко:

— Может, угостите чайком, Надежда Сергеевна. Очень я замерз.

Ланина пожала плечами, сказала без удивления:

— Заходите.

Поставила самовар, собрала нехитрое угощенье. А сметливой Филипповне тут же к закадычной подруженьке заглянуть понадобилось. Ушла она поспешно.

Михаил Семенович обрадовался, что есть возможность, наконец-то поговорить.

— Ох, Надежда Сергеевна! Задали вы мне задачу. Всю ведь жизнь мою переиначили.

— Не надо, Михаил Семенович, — попыталась отмахнуться Ланина. — Кто старое помянет...

— Да не старое... До сих пор хожу сам не свой. И все о вас думаю. Сначала решил — ну, девка сдурела. А потом... Эх, Надежда Сергеевна! Чем больше о вас думаю, тем больше вы мне нравитесь. Однажды решил — будь что будет. Выпил как следует для храбрости — и к вам. Ан вот что получилось. И ведь знаю, что не так поступаю, не то делаю, а тянет к вам — и все тут. Такое чувство, словно вина какая-то на мне.

Спокойно слушала Ланина Михаила Семеновича и выпроваживать не спешила. И еще несколько вечеров провели они вместе. Но когда поняла Надежда Сергеевна, что станет матерью, объявила Сомкину:

— Михаил Семенович! Постарайтесь забыть все, что между нами было. Не хочу, чтобы люди узнали, что это вы... А замуж? Нет, я вас не люблю.

Максим Петрович не замечал, что уже давно тихонечко ходит по комнате и улыбается. Какие это светлые воспоминания. Молодая Ланина всегда видится ему подобно мадонне со старинных картин — с младенцем на руках и непременно среди роскошного зеленого пейзажа. Он даже помнит тот аромат, ту свежесть, которые принесла с собой молодая женщина в его строгий, официальный кабинет.

... Рассказ давно был окончен, а они все сидели тогда друг против друга; и она молчала, словно бы обессилевшая после исповеди, и он молчал, заново и заново перебирая в памяти услышанное и прикидывая мысленно, что же сейчас уместнее всего сказать.

Наконец, не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Что же Сомкин?

Надежда Сергеевна посмотрела на него с укором:

— Хотите все-таки выяснить, кто из нас виновен? Ну, считайте Михаила Семеновича жертвой.

Зорин рассмеялся:

— Да нет, я не виновных ищу. Просто любопытство разбирает — ведь знает же Сомкин...

Надежда Сергеевна усмехнулась:

— Я пригрозила Сомкину скандалом, если он еще хоть раз у меня появится. — Она помолчала и заключила: — Вот видите, какая история.

— Непростая история, — согласился Максим Петрович. И вдруг радостно улыбнулся. — Ну а вы... вы в этой истории — молодец.

Максим Петрович действительно очень искренне радовался. Конечно, прежде всего тому, что Ланина никого не запачкала в своем рассказе и ему не придется еще и с директором школы разбираться, но еще больше тому, что светится она вся, что счастлива своим материнством. Надежда Сергеевна уже попрощалась, ушла, а он все сидел за столом и задумчиво чертил треугольники в настольном календаре.

Максим Петрович подошел к окну — глазам его предстал неправдоподобно правильный пейзаж. Все подстрижено, все ухожено, все вымыто — такое впечатление, что за каждым листиком, за каждой травинкой индивидуальный уход. Распахнул створки и глубоко, с удовольствием вдохнул воздух, о котором можно было сказать словами его любимого поэта — чист и свеж, как поцелуй ребенка.

Да, воздух здесь потрясающий. Но сейчас он фиксировал это как бы автоматически, имея в виду скорее всего ощущения прошлых своих приездов в Кисловодск, а теперешними своими чувствами он был далеко, где-то между весной и летом сорок восьмого, среди разнотравья и нежной, неяркой природы Подмосковья.

Встреча, которой он столько ждал, встреча, одна мысль о которой согревала его в самые трудные минуты жизни, произошла. А он чувствует себя растерянно, почти нелепо. Ланина! Надежда, Надя — вот только нажми кнопку, войдет в комнату. Да пойми же ты, Максим Петрович, говорил он себе, ведь чудо свершилось. Но он не знал, как распорядиться этим чудом. И потому рвался в прошлое, в воспоминания, словно хотел там найти палочку-выручалочку, которая подскажет единственно верное решение — ему казалось, он это остро чувствовал, что должен принять какое-то решение, совершить некий поступок, который завершит историю их отношений с Ланиной.

И еще одно обстоятельство — в этом неотступном прошлом он чувствовал себя более уверенно. А может, это ему только казалось так, может, что-то он отсеивал, скрадывал в своей памяти? Ведь не зря же он раскручивал воспоминания не последовательно, а выхватывая из мозаики прошлого то один яркий кусок, то другой.

Почему, например, припомнилась ему история с солдатской вдовой Деевой? Да только потому, что связана она была с Ланиной. Нет, не впрямую, конечно. Просто в тот день, когда так неожиданно раскрылась перед ним докторша, когда ушла она, оставив после себя словно нимб светящийся, словно едва различимый аромат от одежд мадонны, он вдруг решил, что не поедет ни на какую рыбалку, — бог с ним, с отдыхом — а сделает-ка лучше доброе дело, заглянет в село Красное и выяснит что же там у Деевой стряслось.

В ежедневной череде секретарских дел он, естественно, выделял главные. Да и те не успевал сделать — хоть и спал иногда по пять часов в сутки. Может и приходилось слышать в эти дни о солдатской вдове Деевой, да не врезалась она в память — это ведь, к примеру, не цыганский колхоз, целиком снявшийся с оседлого места.

И даже тогда, когда Борис Иванович — секретарь обкома — рассказал ему о мытарствах Деевой (в обком из Красного острый сигнал поступил) и укорил в равнодушном отношении к людским судьбам, Максим Петрович не кинулся тут же в усадьбу узнавать — исправили ли оплошность местные власти. Посчитал, что задача все-таки не из первоочередных.

А тут, отменив рыбалку, решил, что придется по второстепенным своим заметкам, выполнит внутренние обязательства. Это первое, что побуждало его к действию. Первое, но, хоть он и не признавался себе в этом, не главное. Второе же обстоятельство оказалось куда более существенным. Мадонна с младенцем требовала от него какого-то благородного поступка. И он решил его немедленно совершить.

От Бориса Ивановича он в подробностях узнал, что произошло с Деевой. Во время грозы молния ударила в ее домишко — старый, деревянный — и сожгла дотла. Ветхий домишко был, однако — свой угол, приют для четверых ребятишек. Пошла Деева в сельсовет, да зря, в правление колхоза — напрасно. Наконец в райисполкоме оказалась. А результат — живет в шалаше колхозница с четырьмя детьми.

Максим Петрович посмотрел на часы — время обеденное. Скорее всего Проскурин — председатель райисполкома — дома уже, обедает. Зорин усмехнулся, снял трубку, набрал номер. Обрадовался, когда услышал голос Проскурина:

— Иван Евдокимович! Собирайся, в Красное поедем.

Проскурин удивился несказанно, ведь утром он секретарю хорошего отдыха пожелал. По его разумению, тот сейчас на бережку рыбку должен был удить.

— Есть новости. — Максим Петрович по красноречивому молчанию председателя понял, что надо брать быка за рога. — Неприятные новости. И почему секретарю обкома они известны, а нам — нет?

Проскурин на другом конце провода занял выжидательную тактику. Видимо, прикидывал мысленно, о каких новостях речь идет.

— В селе Красном у колхозницы Деевой дом сгорел. Осталась на пепелище с четырьмя детьми. К районным властям за помощью обращалась, да не добилась ничего.

Кажется, Проскурин облегченно вздохнул, во всяком случае, сказал довольно бодро:

- Ко мне не обращалась. Я-то уж, конечно, помог бы.
— Вот что, Иван Евдокимович, выходи к воротам, я через пять минут подъеду.

За час с небольшим добрались до Красного, остановились у сельсовета. Председатель его — Аникин, оказался на месте. Проскурин, едва дверь распахнул, набросился на него.

— Ты зачем этот пост занял? Для авторитета, для солидности?! А люди у тебя в шалашах живут! Вот тебя в шалаш посадим, а Деевой сельсоветовский дом отдадим.

Аникин захлопал растерянно глазами:

— Так, товарищ секретарь, — он вытянулся перед Зориным в струнку, — председатель колхоза должен был помочь. У него и лес есть, и плотники.

Максим Петрович остановил его:

— Пошли-ка побеседуем с солдатской вдовой.

От сельсовета до руин деевского дома рукой было подать. Хозяйка хлопотала на улице, ребятишки копошились возле шалаша. Зорин подошел к ней, протянул руку:

— Здравствуйте, Матрена Афанасьевна. Извиняться приехали за бесчувствие наше. Когда же дом-то сгорел?

Деева поднесла конец платка к глазам, помолчала немного — видно, нелегко ей было мытарства свои припоминать.

— Более месяца уж как бездомные мы. Дотла сгорела хата, и обувка, и одежда — все сгорело. Как жить буду?

Максим Петрович был рад сделать публичное заявление — при местной и районной власти, при народе — кое-кто из сельчан, завидев начальство, подошел узнать, что происходит. Конечно, запоздали они со своей помощью, но зато уж будет она теперь ударной. Сам секретарь ведь решение выносит.

— Матрена Афанасьевна, выделим вам мы делянку леса, колхоз заготовит бревна, поставит сруб и сюда, на место, перевезет.

— Э, милые! Начальники хорошие! — пропела сдобная тетушка, прибежавшая прямо в домашних тапочках и халате. — Все это уже делается. Да быстро-скоро, не то что у вас в райисполкоме.

Все трое с удивлением уставились сначала на толстуху, затем на хозяйку.

— Да к батюшке я к нашему сходила, — объяснила Деева. — Люди посоветовали. А батюшка долго рассуждать не стал, после молебна к прихожанам обратился — помочь, дескать, ближнему надо, рабе божьей Матрене. И надо же — на другой день после работы чуть не полсела на делянку вышло. Идет работа. К концу лета дом обещают.

Зорин не знал, куда от стыда глаза деть. Вот так поп, вот так батюшка! Оперативный мужик, сразу смекнул — с амвона к старушкам обратился, а те призыв по всему району разнесли. Да разве русский человек на призыв о помощи не откликнется? А доброе дело попу в актив занесут. Ну, Зорин, ну, партийный вожак — цыгане тебя вокруг пальца обвели, теперь вот поп опередил. Но не будешь же прилюдно объяснять — что к чему. Хоть и неохотно, но сказал Максим Петрович:

— Ну и хорошо, Матрена Афанасьевна! Сруб у вас будет. А мы другим поможем — доски, шифер, кирпичи, стекло — все райисполком выделит. Так, Иван Евдокимович?

— Так, так, — выпалил Проскурин, опасаясь встречаться глазами с секретарем. И поспешно добавил: — Из фонда помощи ситец дадим, сапоги кирзовые.

По дороге домой Максим Петроич все больше молчал. День, начавшийся для него на такой светлой ноте, вдруг потускнел, стал неудобным. «Сапоги кирзовые! — восклицал он мысленно. — Сапоги-то мы ей дадим. А вот сумеем ли вернуть веру в то, что Советская наша власть, она не только народная, но и для народа. Как легко выбить у человека эту веру. Вот ведь и с Ланиной чуть не напортачили. Чуть не убили в ней веру в порядочность людскую бесцеремонным вмешательством в святая святых — личную жизнь». Вновь поплыл перед ним образ молодой, сияющей матери с младенцем на руках, но тут же вспомнил он другую мадонну — в галашах, в старенькой телогрейке. Почерневшая от невзгод Деева, а рядом — четверо ребятишек. И глаза — огромные, всепрощающие. Нет в них ни гнева, ни осуждения — ко всему притерпелись эти глаза.

Это-то и угнетало больше всего Максима Петровича. Кто, как не они, вожаки партийные, должен заставить ожить такие глаза, засветиться. А они вон что,

батюшке позволили... И вдруг пришла странная, ниоткуда не вытекающая мысль — а вот если бы рассказать все это Ланиной! Как бы рассудила она? Что сказала? Или, может, как и жена его, отмахнулась? «Да ну тебя, Максим, с твоими заботами! У меня своих хоть отбавляй».

— Разрешите?

Голос Ланиной заставил его вздрогнуть. Ну вот, надо общаться. А он так засмотрелся в окно, что и забыл переодеться, в спортивном же костюме — в этих трико со вздутыми коленками — как-то было не по себе. Раньше, когда они встречались, ему ни разу не пришлось смутиться за свой вид.

Ланина смотрела на него улыбаясь, радовалась, что с ним все в порядке.

— Вы молодец, Максим Петрович! А я, честно говоря, испугалась. Представляете, человек приехал подлечиться, отдохнуть и — на тебе! Грызу себя, ем поедом, что не сумела как-то иначе все устроить...

Максим Петрович слушал ее с недоумением, совсем не этими должны быть первые ее слова. О чем она? О каком самочувствии? Он робко позвал ее:

— Надя!

Надежда Сергеевна споткнулась на полуслове, взглянула на него виновато и молча опустила на стул, положив руки на колени.

Максим Петрович подошел к ней, взял ее мягкую ладонь в свои руки и все так же тихо спросил:

— Ты почему так поступила, Надя? Я искал тебя. Ты ведь жизнь мне исковеркала. И почему молчишь — кто родился-то у меня? Дочь, сын?

— Дочь, — прошептала Ланина. — Светлана. — Она решила, наконец, посмотреть Зорину в глаза. — Дед ты, Максим Петрович, по Светланке. А у меня внуков полно, у Сережи ведь тоже двое. Сережа инженером стал, Светка — докторша, как я. Ну а вы-то как, ведь у вас...

Максим Петрович чувствовал, что уходит Ланина от ответа, уходит от воспоминаний. Да и чего он, собственно, ждал — больше тридцати лет прошло с той поры. У нее иная жизнь была, и в этой иной жизни его место занял кто-то другой. Мысль эта показалась ему нестерпимой, и он решил тут же выяснить — так ли это?

— Надя, ты замужем?

Надежда Сергеевна легким движением высвободила свою кисть и вновь положила руки на колени, напомнив Зорину провинившуюся ученицу. И ему так захотелось в этот миг услышать покаянные нотки в ее голосе. Но Ланина ответила спокойно, и даже как бы защищаясь от покушения на свое достоинство.

— Нет, Максим, замуж я так и не выходила. Мать-одиночка.

— Я теперь тоже... — Максим Петрович решил сразу же внести ясность в их положение, чтобы не возникло, не дай бог, между ними недоразумений. — Когда дети стали взрослыми, обзавелись своими семьями, решили мы с женой, наконец, расстаться. Ну, в том смысле... Одним словом — она с сыном живет. А я — один.

Ланина молчала, усиленно разглядывала свои руки, которые по-прежнему держала на коленях. И он тоже стал всматриваться в эти руки с удивлением, не узнавая в них тех белых, шелковистых рук, которые однажды решительно, быстро, деловито и все-таки, как ему тогда казалось, нежно пальпировали занедужившее его тело.

— Ну, Максим Петрович, готовьтесь к операции, — объявила Ланина. — Мало вас на фронте резали-шили, теперь я за вас примусь.

Зорин чертыхнулся, и Ланина, поняв это по-своему, принялась успокаивать:

— Да не волнуйтесь. Аппендицит у вас! Элементарщина.

Зорин, едва сдерживая стоны — так скрутила его боль в правом боку, проговорил, злясь неизвестно на кого:

— Да некогда мне тут с этим аппендиксом. Обком указание дал... Вы бы мне укол или еще как-то...

Да уж, начальство любило здоровых. Семижилых. Таких, что могли по двадцать четыре часа... Да что греха таить, он и сам не слишком терпимо относился к тем, кто вдруг выходил из строя. Какие могут быть болезни, когда в районе на учете каждая пара рабочих рук, каждый мужик.

Утром в тот день он поехал на заливные луга, хотел посмотреть, как идет ранняя косьба. Нравилось ему на покосах: запахи скошенного разнотравья, женщины, девчата, подростки работают шумно, песни задорные поют. Валки разгребать, ворошить полувывсохшее сено, в копны его складывать — это ведь не то, что пахать, впрягшись в плуг. Тут дело легкое, веселое.

Но начинаются общие работы где-то часов в одиннадцать. С утра же, часов с

шести, на лугах народ солидный — косари. Они работают молча, лишь изредка отпустит кто-нибудь соленую шутку, прокатится над лугом громкий смех, и вновь слышны неторопливые, но спорые взмахи косы.

Приезд секретаря заметили все, но спешить с приветствиями не стали, докосили рядки до конца и лишь тогда окружили.

— Новости привезли, товарищ Зорин? Говорят, все областное руководство сменили?! Правда, нет?

— Новостей много, но вот руководство никто не менял.

— Сбрехали, значит, про председателя облизподкома, — проговорил кто-то разочарованно.

— Ну а как там Чан Кайши? Скоро Красная Армия Китая победу одержит?

— Да что вы заладили — область, Китай! — возмутился седоусый мужик. — Пусть лучше секретарь скажет, когда в сельпо одежда, обувка появятся?

Зорин отвечал на вопросы охотно, обстоятельно. А потом вдруг спросил:

— А ну, дайте, мужики, косой немного помашу.

Мужики развеселились, все тот же седоусый справился:

— Ак ты чо, умеешь, аль поучить?

Зорин вырос в деревне, в десять лет остался без отца. Тяжелый крестьянский труд был знаком ему сызмальства — пахал, боронил, сеял. Косил и луга, и зерновые.

— Вы дайте мне косу хорошую, тогда и поглядим, надо ли меня учить.

— Дадим, дадим, — охотно откликнулись мужики. — Чего другого нет, а косу тебе подберем. Микита, покажи свою, может, секретарю понравится.

Никита Хомяков, большой, небритый, какой-то мощный, как трактор, подал Зорину косу. Максим Петрович осмотрел ее и с неудовольствием покачал головой — косье не было пригнано как следует, ручка выпирала влево да и посажена была выше, чем надо. Сама коса плохо отбита, ее и наточить-то как следует не наточишь.

— Нет, это не коса, — заключил Зорин.

Косари уважительно крикнули, согласились:

— А ведь понимает секретарь мужскую работу. Микиткину косу давно выбросить пора.

— Кто у вас косит первый ряд? — спросил Зорин.

Ему указали на невзрачного, но, судя по всему, крепкого, жилистого мужичка. Зорин его косу и взял. Осмотрел внимательно, сказал:

— Вот этой буду косить. Ну, за кем становиться?

А косари решили:

— У первого косаря взял косу, вот и становись в первый рядок. А мы — за тобой.

Максим Петрович понимал хитрость косарей, в первом ряду идет самый спортивный, за ним тянутся остальные. Тут сразу станет ясно — чего стоит косарь. Снял Зорин китель, поточил косу, подошел к травостою. Поплевал на ладони и сделал первый замах.

Коса оказалась ловкая, острая, как бритва, работать ею было легко и спорно. Трава покорно ложилась в густые валки, рядок был ровный, чистый. Он косил с удовольствием, с полной отдачей сил. Закончил первый гон, второй, начал третий, а усталости нет. Так и шли за ним косари дружно и молча, пока не услышал он голос бригадира:

— Кончай, секретарь. Завтракать пора. Мы думали, того... для форсу ты больше... А выходит, крестьянский труд тебе в радость... Отведай с нами хлеба-соли...

Принялся Зорин отнекиваться, знал, что с едой на селе пока туговато, но кто-то уже протянул ему кусок хлеба, кто-то положил на хлеб шматок сала, так и состоялся его завтрак на природе, и беседу косари вели теперь уважительно, по-доброму обращаясь к нему за советами.

С лугов Зорин возвращался довольный — и тем, что заготовка кормов шла успешно, и тем, что не ударил в грязь лицом перед колхозниками. Они ведь народ приметливый, пустых агитаторов, громко призывающих лучше работать, не любят.

Зина, шофер его, машину вела резво. На развилке она как-то неожиданно круто развернула газик, и Зорин неловко стукнулся о борт, напрягся, пытаясь удержать равновесие, и вдруг почувствовал острую боль в правом боку. Обругал мысленно Зину, прижал руку к заболевшему месту, надеясь, что сейчас же все и пройдет, — от неловкого, резкого движения, видно, возникла эта боль. Но бок разболелся не на шутку, а вскоре Зорин уже и понять не мог, где у него болит — в боку ли, или весь живот рвет на части.

На лбу у него холодная испарина выступила, чувствует, что сил терпеть дальше нет. Стал лихорадочно соображать, что делать. И вспомнил. Подбужье — Ланина! Приказал Зине:

— Гони в Подбужье, в больницу. Плохо мне.

— Ой, — взвизгнула Зина, — уж не отравили ли они вас! Тут, знаете, после войны всякий народ водится...

До Зорина едва доходил смысл ее причитаний. Он пришел немного в себя, лишь когда коснулись его тела нежные и быстрые руки Ланиной. Так и оказался он на операционном столе. И боль ему уже не казалась такой беспощадной, потому что рядом была эта удивительная Ланина, приговаривавшая без конца:

— Потерпите, миленький, потерпите. Все будет хорошо.

«Ну вот, здоровый мужик, лежи тут из-за этой хреновины, отростка этого убудочного», — ругался всяко-по-всякому Зорин, выспавшись и опаматовавшись после операции. Лето, разгар сельских забот, не то что день, каждый час дорог. Но как ни казался Максим Петрович, как ни ругал судьбу-злодейку, стоило ему вспомнить свою спасительницу, и злость пропадала. На смену раздражению приходило чувство покоя и умиротворения.

Ланина уже не раз заглядывала в палату, торопливо осведомлялась: «Ну как?» — и опять исчезала. Но наконец выбрала время и зашла, чтобы осмотреть его. Руки у нее — мягкие, прикосновение — словно шелковистое. И в то же время голос — совсем другой, и манеры — другие. Не такой она предстала перед ним в первую встречу. Другая она здесь. Он долго подбирал определение — какая же. И подумал — деловая. Дело у нее сейчас на переднем плане. И он, Зорин, для нее сейчас — часть ее дела. Не больше. И все эти «миленький, потерпите» не ему адресовались, то есть не лично ему, а — больному.

Так на фронте, в полевых госпиталях, юные сестры жалостливо упрасивали раненых — «миленький, потерпи». С этим милосердным заклинанием тащили те же девчонки-сестрички солдат, истекающих кровью, из-под огня. Вот откуда у Ланиной... И все же так приятно было вспоминать ласково-озабоченное — «миленький», и так хотелось отнестись это лишь на свой счет.

На третий день Зорин заявил, что собирается уходить. Ланина не всплеснула от негодования руками, не вскинула удивленно брови, спокойно сказала:

— Понимаю вас, Максим Петрович. Но выписать не могу.

— Да я же солдат, Надежда Сергеевна, — принялся горячо ее убеждать Зорин. — Выдюжу.

Надежда Сергеевна колебалась:

— Выпустишь вас, а вы начнете по району мотаться.

И точно, он мотался по району уже через каких-нибудь пять-шесть дней. Прижмет руку к шву и терпит. А уж когда совсем становилось невмоготу, принимался перебирать в памяти все их с Ланиной разговоры. Так уж само собой получалось — приходила Ланина на ум; и все тут.

Никаких мыслей (секретарю недозволительных) не возникало при этом. Ни с кем ее не сравнивал, не выискивал особенных женских достоинств. Просто вспоминал — как вспоминают погожий день, плавную голубизну реки, легкие узоры облака.

Начнет вспоминать — и вдруг захочется сгонять в подбужскую больницу, показаться хирургу Ланиной — мало ли что может с этим швом приключиться, совет врача всегда полезен. Но выбраться в Подбужье все было недосуг, а увиделся он с Ланиной вскоре совсем по другому поводу. Невеселому, прямо сказать.

В райком партии позвонили и сообщили, что в колхозе «Рессета», что километрах в тридцати от райцентра, стряслась беда. Опасно ранена Мария Смирнова. Сказали, что врач уже вызван.

Смирнова — лучшая доярка области, член райкома, депутат местного Совета. Надо было ехать. Но, как назло, Зина отпросилась по каким-то своим неотложным делам. Не раздумывая, Зорин сам сел за руль райкомовского газика и погнал в колхоз.

По дороге терялся в догадках. Опасно ранена? Кем, за что? Вот только видел он ее в районе на семинаре доярок. Смирнова делилась опытом раздода молодых коров, рассказывала о своей технологии ухода за ними. Завистники обвинили Марию Смирнову в том, что она подобрала себе коров племенных, высокопродуктивных — отсюда, мол, и ее результаты. И тогда Мария поменяла коров — взяла у отстающих доярок их никчемных буренушек, в основном молодняк. И опять вышла в передовые. Так что же сейчас-то случилось?

Разъяснилось все на месте. Неопытный тракторист резко затормозил на повороте — как раз возле фермы, и занесенный в сторону прицеп шибб Смирнову, раздробив ей ногу. Почти точно примчалась вызванная по телефону Ланина, привезла с собой все необходимое. Смирновой наложили шину, ногу загипсовали, перенесли домой.

В просторной светлой спальне хлопоты возле Марии уже заканчивались. Ланина давала советы больной, учила родичей, как обращаться с пострадавшей. Зорин хотел было войти в спальню, лично поговорить со Смирновой, ободрить, утешить, но Надежда Сергеевна сделала знак — не стоит. Затем, выйдя в горницу, объяснила — устала она, перенервничала, ей сейчас отдых, покой нужен. Все необходимое сделано. Поправится скоро лучшая доярка района.

У Зорина отлегло от сердца, повеселели и собравшиеся здесь председатель, агроном и парторг.

Максим Петрович разноса устраивать не стал за то, что неумех к трактору подпускают. Понимал, всякое в работе случается. Довольное этим обстоятельством колхозное начальство пошло провожать его до газика.

— Максим Петрович, — остановила его Ланина. — Машина из Подбужья не дождалась меня, ушла. Не подбросите до больницы?

— Пожалуйста, пожалуйста, — радостно откликнулся Зорин. — Он-то и не ожидал такой возможности.

Попрощавшись с рессетовцами, он тронул газик.

Был уже полдень, солнце стояло в зените — вокруг словно бы истома разлилась. В конце июля погоды стояли знойные, удушливые. Надежда Сергеевна достала белый расшитый платочек и то промокала им лоб, то принималась энергично обмахиваться.

Зорин с улыбкой поглядывал на разомлевшую Ланину. Вдруг, неожиданно для самого себя, предложил:

— Надежда Сергеевна! А не искупаться ли нам? А заодно и перекусим, у меня бутерброды всегда в машине про запас имеются.

Ланина посмотрела на него внимательно и серьезно. Затем улыбнулась и, не ломаясь, согласилась. Но на всякий случай справилась:

— А не боитесь, что секретаря увидят на бережку вдвоем с посторонней женщиной?

Зорин беспечно мотнул головой:

— А, пусть видят. А еще лучше, мы сейчас меж кустарников на безлюдное местечко проскочим.

Через несколько минут они уже сидели на берегу — молча, зачарованно смотрели на плавное течение реки, слушали тишину, что царил в прибрежном тальнике, вдыхали прохладный, ароматный воздух. И думали, видно, об одном и том же — как редко в суете дней, за делами и обязанностями, видит человек редкостную эту красоту. И забывает, а может быть и забыл уже, что сам он — часть этой гармонии, имя которой — природа.

Первой встрепенулась Надежда Сергеевна, она вздохнула, сказала тихо:

— А жаль, что не придется нам слиться с такой красотой!

Зорин посмотрел на нее вопросительно, и она объяснила:

— Да мы же с вами не готовы к тому, чтобы купаться... Кто знал, что будет такая возможность?!

Зорин смутился, даже как-то сжался от неловкости. Надо же — зазвал женщину купаться и совершенно не подумал, что для этого ей костюм нужен.

Видя состояние секретаря, Ланина рассмеялась, сказала задорно, даже как бы поддразнивая:

— А, ничего! Вы отвернетесь, а я — нырну. Согласны?

Он радостно закивал, чувствуя, как нечто неведомое, томительное и сладостное подкатывает к сердцу. Эта Ланина была непредсказуема, при всей ее, казалось бы, определенности. Ее присутствие и утешало, и звало, и отпугивало.

Зорин сидел, напряженно всматриваясь в противоположный берег, а за спиной у него происходило некое таинство. Но вот послышались легкие, словно летящие шаги, чуть сбоку раздался всплеск и тут же послышался восторженный возглас:

— Красота-то какая!

Он повернулся на этот вскрик и увидел, как Ланина уже плывет к середине реки — энергично, как-то по-военному четко взмахивая руками.

Он, все еще ощущая в себе растерянность, разделся, критически ошупал свои черные сатиновые трусы — да, наряд не курортный, это уж точно, разбежался и с шумом плюхнулся в воду. Ланина обернулась, помахала рукой и так же энергично поплыла дальше.

Максиму Петровичу стало даже немного обидно — смотри-ка, как захватила ее

стихия. Пловец он был неважный, поплавал немного, понырял возле берега и стал нетерпеливо поглядывать в сторону Ланиной. Она словно почувствовала его взгляд, резко повернула обратно, так и не достигнув другого берега, хотя до него было — рукой подать. Возвращалась довольная, сияющая. Когда до Зорина оставалось несколько метров, она вдруг резко ударила рукой по воде и обдала его веером сверкающих брызг. Задорно крикнула:

— А ну, секретарь, кто кого! — И начала, смеясь и по-девчоночьи взвизгивая от радости, колотить по зеркальной глади, направляя на него водяной вихрь.

А он уже и позабыл, что он — секретарь. Ему было легко, свободно рядом с этой удивительно естественной женщиной. Он, словно мальчишка, тоже колотил по воде ладонями, стараясь, чтобы его водяная завеса была более мощной и веерной, и тоже хохотал легко и самозабвенно, радуясь солнцу, небу, радужным брызгам, — жизни.

И вдруг замер и, оглушенный, закрыл глаза. Он и сам понять не мог, как это произошло, — только руки его в какое-то мгновение обвили тонкую талию, робко, но неодолимо, словно против своей воли, скользнули вверх, коснулись упругой, мраморной груди. Ему казалось, что он вот-вот лишится чувств. Ему не позволили это нежные, с шелковистой кожей руки, радостно и в то же время беззащитно обвившие его шею.

И вот перед ним эти руки спустя столько лет, полжизни почти. О чем она думает, рассматривая их? Может быть, они вспоминают одно и то же? И ей тоже видится тот солнечный день, который как-то выломился, выпал из его нормальной, привычной жизни? В тот день он не был секретарем райкома партии, мужем, отцом. Он был потерянным от восторга и счастья мужчиной. В тот день он познал, что такое любовь.

Они были раскованны и непосредственны, точно дети. Их ничто не смущало, не обременяли никакие условности, они отринули от себя все земные заботы. Ему тогда и в голову не пришло хоть на минуту задуматься над тем, что с ним происходит. Вспомнить об обязанностях, долге, приличиях, наконец. Он не казнился, не ужасался, ни в чем не упрекал себя, потому что тогда бы это было просто предательство — по отношению к этому лежащему рядом существу, которое он даже в мыслях не осмеливался назвать земным именем — женщина.

И в то же время она была женщиной. Потрясающей женщиной. У которой война украла молодость, и поцелуи, и ласки, и нежность. И она в тот день безумствовала сама и его сводила с ума.

Домой они возвращались молчаливые, обессиленные от лавины накативших на них чувств. Когда до Подбужья осталось совсем немного, Максим Петрович попытался как-то прояснить ситуацию.

— Надежда Сергеевна... Надя, после того... ну, одним словом, нам надо серьезно поговорить...

Она посмотрела на него внимательно, коснулась его щеки тыльной стороной ладони:

— Да разве получится сейчас серьезный разговор?! Вы вряд ли способны сказать что-нибудь путное, а я так и вовсе ничего не понимаю.

Она замолчала, он бросил искоса взгляд на ее лицо и в который уже раз удивился его преображению. Куда исчезла одухотворенность, светлая чистота, придававшая всему ее облику какую-то праведность, правоту. Сейчас Надежда Сергеевна словно бы отсутствовала, она была никакой. О таком лице нельзя было сказать ничего определенного.

Максим Петрович разом сник, примирился с ее решением, а при расставании не осмелился даже пожать руку.

Руки ее сейчас лежат перед ним, натруженные руки уже очень немолодой женщины. Можно их взять в свои ладони, целовать, гладить. Так почему же они оба молчат и не знают, можно ли протянуть руки навстречу друг другу. Чего опасаются оба — что настоящее окажется уже ненужным, странным, неуклюжим отголоском прошлого?! А прошлое будет видеться им всего лишь миражом, солнечным ударом, странным, случайным отклонением от нормального хода жизни?!

Но нормального хода уже не получалось. Нет, внешне, конечно, все было по-прежнему. Он так же самозабвенно отдавался работе, так же неустанно мотался по району. Так же был нежен с подсолнушками — белобрысых своих детей, усыпанных рыжими веснушками, иначе и не представлял.

Но словно звенела у него внутри струна, не давая забыться ни на минуту. Звенела и звала куда-то, словно бы дразнила и спешила поведать, что есть и иная жизнь, отличная от той, которая у него происходит. Есть в той жизни иные ценности, иные чувства, и эти чувства уже опалили ему душу, коснувшись лишь края ее.

В той, другой жизни была Надя. Надежда Сергеевна. И в нем шла подспудная работа, неосознанная, глубинная — как соединить или, вернее, как преобразить его жизнь в ту, другую. А потому и было совершенно непреодолимым желание увидеть Надежду Сергеевну. Поговорить, ну хотя бы — поговорить. О большем он уже и не мечтал.

Как-то он выбрал маршрут поездки так, чтобы в район возвратиться через Подбужье. Задержался в дальних колхозах подольше, намеренно дожидаясь темноты — не хотел заглядывать в больницу. Где-то часу уже в двенадцатом остановил газик у дома Филипповны. На стук вышла Надежда Сергеевна, увидела, всплеснула руками, а затем прикрыла ладонями рот, словно опасаясь издать хоть звук.

Они стояли и смотрели друг на друга — без улыбки, без радостного удивления. Их глаза изучали друг друга, спрашивали — насколько же все это серьезно. И отвечали — серьезно. Серьезнее и не бывает.

Наконец Ланина кивнула, и они все так же молча вошли в горницу. Надежда Сергеевна на минуту вышла, разожгла примус, поставила чайник. Затем принесла в вазочке варенье, домашние пироги. Она, словно челнок, сновала из кухни в горницу и обратно, и по той старательности, с которой делались нехитрые операции по украшению стола, Зорин понял — Надежда Сергеевна оттягивает ту минуту, когда придется им сидеть друг против друга.

— Надя! — Максим Петрович просительно посмотрел на Ланину. — Да перестань ты суетиться. Ну не за чаем же я к тебе приехал.

Надежда Сергеевна тут же покорно села за уставленный угощением стол, сказала тихо:

— Да уж, конечно, не за чаем. Только знайте, Максим Петрович, в этой же самой горнице сидел Сомкин. И мы с ним тоже не только чай пили...

Зорин почувствовал, как кровь отхлынула от лица. Всего, чего угодно, ждал он от встречи, только не этого отчаянного крика души, не этой выплеснувшейся затаенной боли.

— Замолчи, Надя! — сказал он строго. — Замолчи. Никогда и никого у тебя не было, кроме меня. Понимаешь ты это?!

Он смотрел на нее с ожиданием, но она молчала, и тогда он еще строже и решительнее сказал:

— Я люблю тебя, Надя! Знаю, что и ты... Скажи, ну зачем нам хитрить? Себя-то ведь не обманешь.

— Да опомнись, Максим! — Ланина вдруг разрыдалась. И сквозь слезы уже почти выкрикивала: — О какой любви ты говоришь! Да разве ты имеешь право меня любить?

— Для этого не права надо иметь, а сердце. В моем сердце — только ты.

Ланина вскочила и стала нервно расхаживать по комнате. То прижимала руки к сердцу, то зябко, несмотря на летнюю теплынь, обхватывала ими плечи. И опять перешла на «вы».

— Максим Петрович, зачем вы мне это сказали? Люблю. Я же ничего не требую, ни о чем не прошу. Да, вы мне нравитесь, может быть, я даже... Но у вас жена, дети... Да поймите же вы, каково мне-то! Я ни о чем не жалею, все произошло, ну, словно помимо нашей воли, пусть этот день будет нам с вами редкостным подарком судьбы, пусть...

И опять перебил ее Максим Петрович строго и решительно:

— Жену свою... Одним словом, разные мы люди. Я понимаю, это звучит пошло. Но это так. Да, все правильно... когда-то я объяснился ей в любви, просил быть моей женой. Объяснился в любви, не зная, что это такое. Теперь знаю.

Ланина все продолжала ходить по комнате, лицо ее горело красными пятнами, глаза лихорадочно блестели, и Зорин догадывался, понимал, какая нелегкая работа идет сейчас в ее душе.

Наконец она остановилась прямо перед ним, положила руки ему на плечи и тоскливо сказала:

— Будь что будет, Максим. Ты говоришь «люблю», и я тебе верю.

Неужели все это с такой мгновенной быстротой раскручивается в памяти? Говорят, вот так, в минуту смертельной опасности, в минуту, когда ты осознаешь эту смертельную опасность, пронесится перед тобой в единый, краткий миг вся твоя жизнь. Но сейчас! Сейчас-то ведь случилась радость, которая казалась уже недостижимой. А реакция — та же.

Но почему у их радости такой странный оттенок?
Осторожно, ощупью идут они навстречу друг другу.

Надежда Сергеевна вдруг решительно поднялась.

— Максим Петрович, прошу вас подумать о своем сердце. Не те эмоции должны сейчас у вас быть. Всплески вам противопоказаны. Пожалуйста, отключитесь от всего, отдыхайте. А когда я увижу, что вы в хорошей форме, — повезу вас к себе домой. Знакомить с дочерью.

Ланина улыбнулась доброй, чистой улыбкой, и Зорин вновь увидел, что перед ним та Надя — из ослепительного летнего дня пятидесятого года. Он не стал ее удерживать и мысленно согласился с тем, что она сказала. Воспоминания действительно заставили его волноваться, а главное — требовали от него каких-то решений. К которым он не был готов. А может, и был готов, да не знал, какими именно они должны быть.

После ухода Ланиной он переоделся, вышел погулять по воздуху, поужинал, но уже за ужином понял, что что-то ушло. Ушла та легкость, необременительность, которые он любил в отдыхе. Ну, так, чтобы без проблем. А теперь вот предстояла работа души. И мысли, конечно. Надо было все осознать, понять, чтобы решить — каким должен быть поступок. Он уже понял — как бы ни вела себя Надежда Сергеевна, но и она невольно будет думать и ждать, как же он поступит теперь? Он, отец ее дочери.

С волнением думал он о встрече со взрослой дочерью, которую никогда не видел и у которой уже были собственные дети. Что он ей скажет? Что сказала ей мать об отце? Признает ли его Светлана за отца, или он для нее останется всего лишь чужим человеком... Тут мысль Максима Петровича в смущении замирала. Несколько раз подходил Зорин к этому вопросу и... не решался довести мысль до логического конца.

Вот сейчас Светлана узнает, что он ее отец. И, естественно, задастся вопросом, а где же он был-то все эти годы? И как же так получилось...

Вот именно, как же это все получилось?

А получилось так, что в один из осенних погожих дней упал он с небес на твердь земную. Встретились они с Надей случайно на совещании в райисполкоме. После совещания Зорин тут же вспомнил, что у него в Подбужье есть дела. Предложил Ланиной подбросить ее, и та радостно согласилась.

Ехали они возбужденные — не то бурное совещание так на них подействовало, не то радость встречи сказывалась. Но постепенно Ланина стихла, стала вдруг задумчивой и даже грустной.

— Что ты, Надя? — удивился ее перемене Зорин.

Она посмотрела на него спокойно, но печальная улыбка не покидала ее глаз.

— Так ведь осень, Максим! Грустная пора.

Он решительно свернул газик к реке, остановился на их любимом месте.

И опять они сидели на берегу и смотрели на плавные, но уже потемневшие и казавшиеся от того глубокими воды. Устремляли взгляд в бездонное, едва тронутое облачками небо, и в тихом молчанье ощущали, как им хорошо, свободно друг с другом.

Ласки ее в тот день, как тут же отметил Зорин, были тихими, какими-то кроткими. Почти материнскими. В глазах вспыхивал неясный свет; было такое впечатление, что она прислушивается к себе, к своим чувствам.

— Да что с тобой, Надя? — уже несколько обеспокоенно спросил Зорин. — Ты какая-то другая.

И Ланина спокойно согласилась:

— Да, другая. — Подумала и с улыбкой добавила: — Я стала еще лучше. И тебя люблю еще сильнее.

И вдруг обняла его с такой отчаянной нежностью, так самозабвенно, словно теряла его навсегда...

...Домой он вернулся поздно и был встречен нервным выговором жены.

— Ну, что, опять заседали? Где? И с кем? Председатель райисполкома — дома, второй давно семьей занимается, только ты...

Он молча прошел на кухню, а жена все продолжала выкрикивать, даже не делая попытки его накормить.

— Знаю, для чего ты Зинку на другую машину посадил. Чтобы лишних глаз не было...

Дальше он уже не слышал. Этот выкрик жены его точно громом поразил. Мысль его лихорадочно заработала. Неужели Ксения что-то знает о Ланиной? И откуда знает — значит, уже нашептали? Значит, слухи пошли?

Он жил все эти дни, недели, месяцы, одурманенный доселе неведомыми ощущение-

ниями. Он больше прислушивался к себе, с любопытством новобранца вдумываясь в малейшие движения собственной души, удивляясь и радуясь той подспудной работе, которая в ней шла. И совершенно далек был от того, чтобы озаботиться внешними обстоятельствами.

Никакая грязь не должна была коснуться их возвышенных чувств. И вдруг — ком грязи в лицо. «Чтобы лишних глаз не было...»

Глаза! Любопытствующие, оценивающие, взвешивающие, готовые прильнуть и к замочной скважине! Есть, ох, есть еще такие глаза. И никуда не деться от их неусыпного надзора, как не уйти от людского суда. И во всей своей неразрешимости предстала перед ним ситуация, в которой оказался он, первый секретарь райкома партии.

Зорин сидел в кухне за пустым столом, подперев голову руками, отрешенно уставясь в осеннее окно. «Так ведь осень, Максим». В голосе ее странно сплелись и спокойная удовлетворенность жизнью, и затаенная грусть. И ласки ее сегодня были грустными. Так прощается с любимым ребенком мать. Господи! Он аж покачнулся от пришедшей к нему догадки. Да она же прощалась с ним, и нежность ее была материнская — осторожная, трогательная. Материнская! Как он сразу не понял этого! Ребенка ждет Надя — вот что!

И стало невыносимо, неуютно на душе. Он вел себя все это время так, словно жили он с Надей на необитаемом острове. А работа? А семья? Имя партийного секретаря должно быть безупречным. И дети — малые подсолнушки — должны иметь отца.

Но он не может! Никогда не откажется от своей любви. Он не предаст Надю! Конец известен — поступит в обком анонимка, да может еще и не одна. Вызовут на ковер, как он Надю, и примутся в его аморальном поведении разбираться. Ну, нет. Только не это. Хватит и того, что он уже попытался однажды забраться в чужую душу, как говорится, не снявши галош. Не вынесет Надя этого, не вынесет. А он? Что он-то скажет, как поступит? Не знает он, ничего не знает.

В кухню, шлепя по полу босыми ногами, вошла дочка — в смешной, мешком сшитой, ночной рубашке, со спутанной соломой волос. Поглядела на него с сочувствием, покачала сердобольно, как делают деревенские старушки, головой и принялась накрывать на стол. Достала из печи теплую картошку, вынула из шкафа крынку молока, налила в стакан, отрезала хлеба. Все это пододвинула отцу.

Он вдруг почувствовал, как тугой ком забил ему горло, стало трудно, невыносимо дышать. Он схватил в охапку дочь, прижал к груди, уткнулся лицом в шелковистые волосы и замер. Боялся только одного — что он, бывший фронтовик, прошедший огонь и воду, он, человек, в чьи обязанности входит — вдохновлять, заряжать энергией, оптимизмом людей, — сейчас разрыдается от разверзшейся перед ним безысходности.

Наутро его ни свет ни заря поднял звонком начальник районной милиции. Сотрудники напали на след главаря шайки — Бога. Эта бандитская свора была самой наглой из всех, что орудовали в местных лесах. Грабили магазины, склады, людей. Действовали внезапно и жестоко. Не раз милиция получала от них весточки — «такого-то числа будем грабить такой-то магазин, усильте охрану». И подпись — Бог. Начальник милиции метался — не знал, верить или нет упреждающему письму. И все-таки, после долгих колебаний, посылал к указанному месту наряд. А бандиты в тот же день и час совершали грабеж в другом месте, часто — почти рядом. В следующий раз милиция уже не откликнулась на весточку, но точно в указанный срок происходило ограбление названного склада или магазина.

И вот этот самый Бог настолько обнаглел, что приказал директору маслозавода организовать «вечер» — попойку для всей банды. Обещал прирезать, если тот попытается известить милицию. Каким-то чудом директору все-таки удалось связаться с милицией. Ему посоветовали принять «гостей». Теперь предстояла облава.

Зорин немедленно оделся, отправился в райком. Следовало предупредить как-то всех жителей района, чтобы были в этот и последующие дни осторожны. Вооруженная банда способна была на все.

День выдался напряженный, нервный. Не успел Зорин в кабинете появиться — звонок из обкома партии, из сельхозотдела. Заведующий отделом спрашивал — что за самоуправство в колхозе «Тельмана» происходит? И Зорин тут же догадался — речь о свиноферме Хмурова идет.

Два года назад попросился к Зорину «на собеседование» колхозник Хмуров из колхоза имени Тельмана. «Собеседование» начал с вопроса:

— Товарищ секретарь, вы в сельском хозяйстве разбираетесь?

— Разбираюсь. Учился. Агроном, — ответил Зорин.

Хмуров обрадовался.

— Да я о свинофермах пришел разговаривать. Убыточные они по всему району. — Перехватив удивленный взгляд секретаря, твердо повторил: — Все убыточные. Узнавал я, проверял. Очень уж большой падеж и молодняка, и взрослого поголовья. В нашем, к примеру, колхозе, заведующих фермами каждый год меняют, а проку-то! А ведь свинофермы могут большую прибыль давать.

— Так. И что же для этого нужно?

— Пример нужен. Я берусь этот пример показать. Мы с соседом, он крепкий хозяин, ну и жены наши, беремся поставить свиноферму на ноги. Надо определить количество поголовья, план сдачи свиней на заготовки, а главное, следует точно определить, сколько для этого требуется кормов. Пусть зоотехники посчитают, а агрономы скажут, сколько потребуется земли для производства этих кормов. И дело пойдет.

Зорин слушал колхозника с большим интересом. Животноводство в районе пока ох как хромало. А тут вполне здравые предложения.

— Лично я вас поддерживаю, — сказал он Хмурову. — Но такие вопросы мы решаем коллективно. Скоро будет бюро, обсудим ваше предложение и дадим рекомендации правлению колхоза.

На бюро обсуждение этого вопроса проходило бурно. Многие сомневались, можно ли отдавать свиноферму в руки двух семей. Подведут, загубят дело, а отвечать будет райком. И все же в конце концов решили рискнуть. Согласилось на опыт и правление колхоза.

В прошлом году ферма дала хоть и небольшую пока, но прибыль. В этот год дела шли еще успешнее. И вот этой осенью Хмуров получил на своих полях урожай зерновых выше, чем где бы то ни было по району. Урожай без потерь убрали, похозяйски весь учли, взвесили, засыпали в закрома.

Но, как видно, кому-то это показалось обидным, несправедливым — у двух семей свиноферма дает прибыль, а у целого штата работников — они убыточны. И вот в обком этот кто-то сигнализирует — в то время, когда страна еще не преодолела послевоенной разрухи, когда у народа еще хлеба не вдоволь, некоторые колхозы, поощряемые секретарем Зориным, сотнями тонн ячмень и рожь оставляют на корм свиньям.

Выслушал Максим Петрович заведующего сельхозотделом и понял — жди проверок, комиссий...

Поздно вечером милицейская засада должна была взять банду. Зорин сидел на работе, ждал известий. Несколько раз звонила жена, и он с раздражением думал — проверяет. Но мысли эти были мимолетны и летучи, так как голова была забита другим. Во-первых, как на иголках сидел, ждал результатов операции, а во-вторых, и это ему уже казалось более существенным (бандитов-то все равно выловят), прикидывал план оборонительных действий — судя по тону обкомовского работника, над свинофермой собирались тучи. А ведь это был по району уже такой яркий пример.

Наконец позвонил Тихомолов, начальник милиции. Облава закончилась не совсем удачно. Когда нагрянула милиция, бандиты открыли стрельбу, разбили лампу. В темноте невозможно было понять, где свои, где чужие. Главарь выпрыгнул в окно, огородами стал уходить. Когда увидел, что за ним по пятам идут милиционеры, стал отстреливаться. Двух сотрудников убил, а одного ранил. И скрылся. Остальных взяли.

На второй день Зорин погнал в колхоз Тельмана, предупредить председателя и Хмурова, что будет комиссия. Сам представителей обкома дожидаться не стал, и без того забот было много, а вернее, не хотел с комиссией сталкиваться, решил подождать, к каким выводам она придет.

А выводы комиссия сделала жесткие — все зерно, что оставлено на фураж, свиноферма должна немедленно сдать. Председатель колхоза и Хмуров воспротивились, обратились за помощью к Зорину. Секретарь понимал, чем грозит изъятие фуражного зерна — от бескормицы вновь начнется падеж, ферма, начавшая было давать прибыль, захиреет, да и у энтузиастов после этого руки опустятся.

Поехал он в обком партии. А там его встретили вопросом:

— Вы что, товарищ секретарь райкома, не понимаете, что борьба за хлеб есть борьба за социализм?

После такой лозунговой установки вроде бы и возражать-то было неловко. И все-таки он пытался объяснить, что животноводство — это тоже борьба за социализм.

И тогда ему с холодной улыбкой объяснили:

— После строгого выговора следует лишь исключение из партии.

Да, вкатили ему строгаца в учетную карточку в прошлом году.

Теперь вот свиноферма, а там, глядишь, и персональное дело...

Не вступил Зорин в конфликт с областным начальством. Уехал. Всю обратную дорогу мысленно страстный монолог произносил. В защиту фермы... да не фермы, а разумного, хозяйского подхода к делу. Но только кто его слышал, монолог-то этот?!

Хорошо еще, главаря поймали. Точнее — Бог сам явился. Был он ранен в ногу, понял, что нелегко ему будет в таком состоянии скрываться, — сдался. Хоть одна гора с плеч, а то и это лыко ему в строку бы поставили. Беспорядки не в чьем-нибудь районе — в его!

Захотелось увидеть Надю, ясное ее лицо. Думалось, они вместе обязательно придумают нечто такое, что разом разрубит узел, который так крепко завязала жизнь. Надя, только она, поможет укрепиться его духу, поверить в правоту своих поступков, своей жизни, наконец.

Наплевав на все условности, не заезжая в райком, он направился в Подбужье. Прямо в больницу. Решил, что пожалуется на боли в оперированном боку.

В больничном дворе встретил нянечку, знакомую с той поры, как лежал здесь. Спросил у нее — не уехала ли на вызов Надежда Сергеевна, здесь ли? Нянечка посмотрела на Зорина с недоумением, сказала почему-то почти шепотом:

— Так как же... товарищ секретарь... уволилась ведь Ланина. Где-то родственники у нее отыскались, вызвали ее к себе. За два дня, голубушка, все и оформила.

Дальше Зорин уже ничего не слышал, еле дошел до машины. А усевшись за руль, никак не мог сообразить, что же надо делать, чтобы поехала она, машина-то.

Когда он окажется «в форме», его пригласят в дом — на встречу с неизвестной дочерью. И вновь ему придется всматриваться в свое прошлое. Спрашивать себя, отвечать себе, взвешивать все, что было. И решать новую задачу — как увязать прошлое с открывшимся ему настоящим! И главное — уяснить, что несет оно ему, это настоящее? Прощение или вечный укор?!



Черкез-Али

Ваш возраст

А сделали вы больше, чем могли,
Победе все отдали без остатка.
Старухой стала верная солдатка,
Ваш возраст —
Юность вечная земли.

Ваш возраст неизменен, как гранит,
Нет, как весной маки полевые,
Что тянут к небу факелы живые.
А по утрам роса на них звенит.
Светла роса, да только солона,
Особенно, я знаю, в День Победы,
Когда подходят к обелискам деда
И повторяют ваши имена
Для внуков —
Ваших внуков и своих,
Пусть даже вы не все отцам отдали.

Стоит солдат
На грустном пьедестале,
Не в силах отлучиться ни на миг
С поста любви и горя всей земли.
Он охраняет мир своей планеты.
Он здесь стоит, и там стоит, и где-то
От Родины единственной вдали.
И не стареет.

Сколько звезд и трав
Погасли и пожухли...
Он бессменен,
Как небеса над ним, он неизменен.
Он встал навеки, смертью смерть поправ.

Спросите, как зовут его.
В ответ
Услышите вы тысячи фамилий —
Мы помним всех!
Вы голову сложили
За то, чтоб светлым был наш белый свет.

Ну, а траншеи заросли давно,
И бомбы, и снаряды заржавели,
Что слишком точно поражали цели,
Но отступить вам не было дано.

И шли вперед вы, падали, но шли,
Плечом к плечу, судьба к судьбе,
Все вместе,
Оставшись молодыми, словно песни.
Ваш возраст —
Юность вечная земли.

Будь честен

Будь честен всюду и во всем,
Пойми, что истинное счастье
Не испугается ненастья,
А только закалится в нем.

Будь честен, что бы ни стряслось,
Ступай туда, где ты нужнее,
Лишь так ты сможешь стать сильнее,
Чем подлость, трусость, зависть, ложь.

Будь честен — пусть тебе сулят
За отступленье что угодно.
Бесчестным быть порой удобно,
Но честь дороже во сто крат.

Будь честен, чтоб взойти на пик
Своей судьбы хватило силы,
Чтобы улыбка осветила
Твое лицо в последний миг.

Когда до победы осталась неделя

Памяти павших солдат полка Усеина Сулейманова

Когда до победы осталась неделя,
В атаку повел лейтенант батальон.
Снаряды рвались,
Пули густо летели,
Огнем оцетинился мощный заслон.

И около миной поваленной ели
Прервался отважного воина путь.
Когда до победы осталась неделя,
Упал командир,
Трижды раненный в грудь,
И, это увидя, враги осмелели,
Пошли в контратаку тяжелой волной.
Когда до победы осталась неделя,
Два юных солдата прикрыли собой
В бою лейтенанта.

И точно по цели
Стреляли вчерашние призывники.
Когда до победы осталась неделя,
От мира они были так далеки,
Как в самом начале войны, заалели
На них гимнастерки от ран пулевых.
Когда до победы осталась неделя,
Они погибали у елей чужих.

Но в самую гущу свинцовой метели
Повел подполковник на помощь солдат.
Когда до победы осталась неделя,
Упал подполковник. Подернулся взгляд
Смертельной истомой.

Хоть цепи редели,
Но наши дошли! Рукопашным стал бой!
Когда до победы осталась неделя,
Бойцы заслонили Европу собой.

Хусанов, Каримов, Сундатов, шинели
Не сняв, спят в объятиях вечной весны...
Когда до победы осталась неделя...
На краешке самой последней войны...

Настал День Победы!
Смеялись мы, пели от счастья.
Тот день высшей стал из наград.
Когда до него остается неделя,
О павших полка ветераны грустят.

Кизил

В рижском парке осеннем я встретил тебя
Среди желтого моря продрогших ветвей
Сотен разных деревьев...
А в небе, трубя,
Журавли плыли к родине дальней твоей.

Как ты здесь оказался, дружище кизил?
Видно, семя твое буйный ветер занес
В прибалтийские дали.
И вот ты пророс,
Под землю тяжелые корни пустил,
Над землею могучую крону вознес.

Молодец!
Я тебя потрепал по плечу.
Как обычно, под осень надел ты парчу
В Риге,
Где наши парни — герои войны
Сорок лет о тебе видят светлые сны.

Ты пришел к ним сюда...
Верно, климат иной
Ты сумел пересилить тяжелым трудом.
Я на память возьму твой листок ледяной

И, на сердце согрев
Им украшу свой дом.

До свидания, милый...
Весенней порой
Золотистыми серьгами ты обожжешь
Проходящую мимо тебя молодежь,
Станешь снова пригож,
Станешь снова хорош
И березку своею сестрой назовешь...

Ручей детства

Памяти сестры

Мой старинный товарищ
Веселый ручей,
Мы с сестренкой когда-то дружили с тобою,
Ты нас гладил своею волною рябою,
Улыбался наивности детских речей.

Ты поил нас,
И капельки влаги твоей
В нашей крови остались крупинками детства,
Что в морозных ночах помогали согреться,
Ну а в зной защищали от жестких лучей.

Вновь пришел я к тебе...
Сколько минуло лет...
Ты такой же, как был,
Я гляжу в твои струи.
Прежде времени стал я, наверное, сед,
Оттого что не в книжках читал про войну я.

И довольно об этом...
Горстями я пью
Твою воду родную. Тяжелые птицы
Надо мной пролетают. Волна серебрится.
Я волной твоей чистой сестренку свою
Поминаю сегодня...

Ты помнишь, ручей,
Блеск ее слишком рано погасших очей?
Все ты помнишь,
Я знаю — ты тот же, что был,
Даже песни хрустальной своей не забыл.

Я у ног своих детские вижу следы
Твоих новых друзей,
Что пришли после нас...
Я не ведаю горше и слаще воды,
Я сестренку свою поминаю сейчас.

Перевод с крымско-татарского Диомида Костюрина.



Василий Ларцев

Вершины

Не потому ли нас влекут вершины
И звездное мерцание снегов,
Что воздух там холодный — синий-синий
И величав полет седых орлов?

Прозрачны горы в царственной короне.
И лечит сердце ледяной озон.
А наравне со мной — как на ладони —
Зубцы хребтов и в дымке горизонт.

Да нужно нам идти все время в гору
И штурмовать заоблачную высь.
В своих мечтаньях — это так бесспорно —
Нам высекать живительную мысль.

И чем трудней гранитные ступени,
Идешь к вершине, тяжело дыша.
Суровый ветер кажется весенним,
И по весеннему поет душа.

А если вдруг ударит подлый приступ.
Накроет вдруг лавиной снеговой,
Я и тогда поверю — трудный выступ
Прекраснее дороги столбовой!

* * *

Так уж в это утро повелось —
Мы идем, тропы не разбирая,
Беззаботно мы идем, не зная,
День закончим вместе или врозь...

До чего же зимний день хорош,
До макушки снегом запорошен!
Чем-то неминуемо хорошим
Завершится этой ветки дрожь...

Упадет пронзительный снежок
И щеки коснется, как ожог.

Обожжет румянцем наши щеки,
Мы тропе доверились сполна —
В час какой и в край какой далекий
Приведет, беспечная, она?..

Снова на Иссык-Куле

И вот мы увиделись вновь,
И нет расставаний отныне,
И в сердце проснулась любовь
К твоей убегающей сини.

Мне мил здесь любой уголок.
Белеет вдали санаторий.
Садов светозарный поток
Стремится к подножью предгорий.

Где встали толпой тополя,
Не молкнет полдневная птица...

И солнцем пропахли поля,
И силой налита пшеница.

Суровая россыпь камней,
Молчанье хранящие склепы,
Преданья промчавшихся дней,
Далекого прошлого слепки.

Я знаю, в далеких краях
Заветною станут мечтою
И крик фазана в тугаях,
И чайка над синей волною.

Каблучки

Каблучков знакомый стук
За окном по тротуару
Сладким медленным ударом
Отдается в сердце вдруг.

Может, вправду это ты?..
Нет, я знаю, ты далеко.
Где-то вьется светлый локон
В вихре дел и суеты.

...Стук прошел — и был таков.
Дальний город светом залит.
Ах, кому теперь сигналит
Стук весенних каблучков?

Там, у северной реки,
Ты проходишь в светлой дымке,
И за тыщи верст слышны мне
Твои легкие шаги.

Сыновьям

Ковром покрылась
Томная земля,
И плохо спится
В птичьих перелеты.
Ну где вы задержались,
Сыновья?
У нас уже открыт
Сезон охоты.
Не рад ни обновленью,
Ни весне,
Без вас
Мир стал безрадостен
И тесен.

Все реже
Приезжаете ко мне —
Как видно,
Стал я вам неинтересен.
Конечно,
Я теперь уже не тот,
Меня гнетут
И старость,
И усталость.
Но, как и прежде,
Птичий перелет
Зовет
В рассвета утреннюю алость.

Последний ветеран

Кто им будет? Генерал седой,
Что сержантом воевал под Клином,
Или новобранец рядовой,
Потерявший ногу под Берлином?

Или в шрамах огненных танкист,
Все еще подтянутый и бравый,
Попадавший в «клещи» и «тиски»,
Награжденный орденами Славы?

Может, это будет «сын полка» —
Развеселый Коля или Мишка,
Дважды приводивший языка
И войну закончивший
мальчишкой?

Или начинающий поэт,
Что теперь достиг великой славы?
А тогда... Кровавый свет ракет,
И смертельный бой у переправы...

Может быть, наш ротный —
капитан, —
И судья, и мудрый покровитель...
Кто ты? Где ты? Добрый ветеран,
Ветеран последний —
долгожитель?..



Михаил Кагарлицкий

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В АВГУСТЕ

РАССКАЗ

Привокзальная площадь жила пестрой будничной жизнью. Перемещения людей, машин, чемоданов, тюков и сеток казались бесконечными. И что только не несли встречающие, провожающие и уезжающие. Но особенно богат и разнообразен был наплыв чемоданов. Черные и коричневые, белые и синие, отечественные и иностранные, новенькие и видевшие виды, с одной ручкой и с двумя, с карманчиками и без, со змейками и с замками. Подобное великолепие трудно было представить даже хорошо подготовленному человеку. Марине стало стыдно за свой неуклюжий, невзрачный чемодан с облезлой, залатанной кожей и захотелось его куда-нибудь спрятать, прикрыть, оттолкнуть, но она продолжала стоять. Делать ей было нечего и идти было некуда.

Стоящий на одном месте человек в этом море движения невольно привлекает внимание, и Марина стала ощущать различные взгляды. Недоумевающие, оценивающие, прикидывающие. А вот этот взгляд ей показался опасным. Два парня стояли невдалеке около небольшого белого автомобиля и внимательно смотрели на нее. Оба были коротко пострижены, в белых стандартных маечках, под рукавами которых угадывались жесткие, упругие мускулы.

«Прицеливаются», — поняла Марина.

Один из парней что-то сказал другому, улыбнулся и не спеша, уверенно направился к ней.

Надо было что-то делать. Марина торопливо оглядела проходящих мимо мужчин. Этого не стоит. Этот не лучше. Этот и не остановится. Ага, вот то, что надо. Она мысленно окрестила его «неряхой». Поношенный пиджак, серые мятые брюки и смешные тупоносые ботинки.

Марина вцепилась правой рукой в пиджак Неряхи и спросила:

— Вы не скажете, как попасть на Центральную улицу?

Неряха встряхнул головой, привел в движение свою необъятную шевелюру, и близору прищурился.

— Понятия не имею.

— Послушайте, — не отпускала Неряху Марина, волоча за собой громыхающий чемодан. — Возьмите человека под свою защиту.

— А что, пристают? — Неряха полез в карман, вынул плоский зеленый футляр и, достав очки, надел их на свой длинный нос.

— Нет. Но собираются.

— Тогда прошу! — Неряха взял ее под руку и подхватил чемодан.

Марина оглянулась. Парень, остановившись на полпути, зевнул, сплюнул и вернулся к машине. Охота не удалась.

— Сейчас подойдем к милиционеру и спросим, где Центральная? — предложил Неряха.

— Давайте не будем, пожалуйста, — скороговоркой выпалила Марина.

— Так куда?

Марина пожала плечами.

— В гостиницу...

— Москва. Август. Гостиница. — Неряха рассмеялся и покачал головой. — Вы, случайно, не с луны свалились?

— Нет, — ответила Марина, — я из Калининграда.

— А вообще-то вы бывали в Москве? — спросил Неряха, когда они вышли из метро.

— Да. Один раз. На экскурсии.

— Тоже дело. — Неряха что-то прикинул про себя и улыбнулся. — Столько времени вместе, а не представились. Тоша. Антон Евгеньевич.

— Марина. Очень приятно.

— Прекрасно. Я не спрашиваю, Марина, голодны ли вы? Просто время ужина угрожающе надвигается. Идемте ко мне.

— А вы живете один? — осторожно поинтересовалась Марина.

— Вдвоем с Муратовым. А впрочем, какое это имеет значение?

Дом был старый, кирпичный. И подъезд отдавал старостью и пугал своими размерами и далеко уходящим вверх сводом. А рядом с почтовыми ящиками стояла кадка с пальмой.

— Здорово, — прошептала Марина.

Они поднялись на второй этаж.

Неряха открыл ключом обитую дерматином дверь. Марина поймала себя на мысли, что продолжает называть мужчину Неряхой. Нет, надо привыкать к имени. Антон Евгеньевич. Ан-тон Ев-гень-е-вич. Интересно, почему — Тоша? Тоша...

Тоша внес в коридор чемодан и включил свет. Марина несмело зашла вслед за ним в квартиру.

— Чудеса! — взмахнул руками Тоша. — Вот что значит плохо видеть при естественном освещении. Совсем еще ребенок.

— Я не ребенок, — возразила Марина. — У меня каникулы.

— Ладно, ребенок, — скомандовал Тоша, — мой руки и марш на кухню! Будем делать ужин.

Ужин получился из двух ломтиков черного хлеба, довольно черствого, которые были украшены лепестками плавленого сыра. Зато кофе Тоша умел варить почти профессионально.

«Сколько ему лет? — думала Марина. — Тридцать? Тридцать пять? Сорок? Трудно понять за густой шевелюрой черных лохматых волос, за тонкими дужками очков, за бледными впалыми щеками. Только на кухне у них грязновато».

И еще подумала Марина, что Тошу можно не опасаться, он хороший и добрый. А вот как себя поведет неизвестный ей Муратов?

— Значит, ты приехала наобум, — помешивал ложечкой в чашке Тоша. — А родители знают, где находится их ребенок?

— Отца у меня нет, — сказала Марина. — А мать...

— Я так больше не могу! — Марина вытащила из шкафа чемодан и, раскрыв его, положила на стол. — Я уеду.

— Куда? — раздраженно спросила мать. — На что, дура?!

— Есть! — бросила Марина, укладывая на дно чемодана свои нехитрые пожитки.

— У тебя есть деньги? — удивилась мать. — Где?

— А что? Дать тебе на гуляночку?

— Дура. Боже мой, какая дура! — заголосила мать. — Куда тебя несет? До первого мужика?

— А не твое дело! — отрезала Марина.

— А я-то думала, ты будешь другой, счастливой, — вздохнула мать и, обхватив руками голову, заплакала. — Девочка моя, девочка...

— Мне надо уехать, мама, — сказала Марина, — хотя бы на время.

— Куда?!

— В Москву, — ответила Марина. — Я купила билет.

— А мать... она знает.

Тоша покрутил головой.

— Я привык верить детям. Заночуешь у меня. А там что-нибудь придумаем.

Он встал, сгреб в одну кучу тарелки и чашки и положил их в раковину. Пояснил: — Нерационально заниматься ими поодиночке. Я жду, когда соберется достаточное количество.

— Спасибо, — легко поднялась со стула Марина. — Пожалуй, я пойду.

— Ну, знаешь, — возмутился Тоша. — Это уже неприлично. Пойдем покажу тебе апартаменты.

«А что делать? — подумала Марина. — Пойдем».

«Апартаменты» представляли собой две смежные комнаты, заставленные тумбочками, шкафами, книжными полками, стульями. Все это покоилось под солидным слоем пыли, словно хозяева квартиры находились уже около года в зарубежной командировке. Марину поразило, что на стенах висели большие овальные зеркала, отражавшие буквально каждый уголок комнаты.

— Какая странная кровать, — сказала Марина, — без спинок и такая широкая...

— Это тахта — объяснил Тоша, — зато в другой комнате у меня настоящая, железная. Со свалки притащил.

Марина провела ладонью по книжному шкафу и чихнула от взметнувшейся в воздух пыли.

— У вас здесь когда-нибудь убирают? — скептически поинтересовалась она.

Тоша виновато развел руками.

— С вами все ясно, — констатировала Марина. — А как же Муратов?

— Муратов абсолютно безалаберное создание.

— Тем более, — вздохнула Марина. — Где у вас ведро и тряпки?

— А знаешь, ребенок, — сказал Тоша, когда пол был вымыт и последний стул очищен от пыли, — что-то в этом есть. Некий запах свежести.

— Он будет каждый день, — отметила Марина, — если не лениться.

— Не то. Ты не представляешь, как для меня это важно...

Он прошелся по комнате легкой, танцующей походкой.

— Само ощущение...

«Станный тип, — подумала Марина, — но на чокнутого не похож».

И тут она поняла, какое несоответствие мучило ее все время, пока она возилась с уборкой. В квартире не было телевизора! Марина тут же вознамерилась спросить об этом, но зазвонила крайняя дверца серванта. Тоша открыл дверцу и вынул из нее телефонную трубку.

— Да! — сказал он. — Хорошо. Несомненно буду.

И трубка снова спряталась в сервант.

— У вас телефон в серванте? — удивилась Марина.

— Конечно. По крайней мере я знаю, где он находится. А то раньше приходилось искать по всей комнате.

— А телевизор у вас тоже спрятан? — спросила Марина.

— Знаешь, — полез правой рукой в свою шевелюру Тоша, и его пальцы заблудились в густых кучерявых джунглях, — с телевизором пришлось расстаться. Мне предложили полное собрание Диккенса... Да и Муратов телевизор не воспринимает.

— Станные люди! — сказала Марина. — Моя мать может продать последнюю книгу, но телевизор — это свято!

— А у нас даже программы телевизионной нет, — грустно сообщил Тоша.

— И вообще, вы очень запущенные, — подытожила Марина и зевнула.

— Ребенок, а ведь тебе пора спать, — догадался Тоша. Он убрал с тахты связку книг и, вытащив из-под стола огромный синий баул, достал из него подушку, простыню и покрывало.

— У тебя есть во что переодеться?

— Да, — Марина потянулась к своему чемодану.

— Отлично.

Тоша еще немного помедлил, потоптался и направился к двери.

— Я буду спать в той комнате. У нас внутренние двери не имеют замков... А впрочем, какое это имеет значение?

Он тряхнул головой и закрыл дверь.

У Марины была хорошая пижама. Правда, она была мужской и, как говорится, на вырост, но в ней было тепло и уютно. Марина свернулась калачиком на тахте.

«Вот так, — подумала она, — милая ситуация. Мама была права: до первого мужика».

Ее рассмешила эта мысль. Марина закрыла глаза и заснула.

Проснулась Марина утром, и разбудил ее разговор в коридоре.

— Я не спрашиваю, где вы шлялись всю ночь, — доносился голос Тоши. — Я учтив и деликатен. Но согласитесь, друже, во всем должны быть свои рамки. Тем более, я не один. Что может подумать о вас наша новая знакомая?

В ответ раздраженно фыркнули. Дверь открылась, и в комнату в сопровождении Тоши вошел большой серый кот. Он заметил завернувшуюся в покрывало Марину и презрительно-вызывающе посмотрел на нее.

— Я так и думал, что мы тебя разбудили, — вздохнул Тоша. — Знакомьтесь: Муратов! — Марина!

Кот подошел совсем близко к тахте и, хмыкнув, еще раз тщательно осмотрел Марину.

— Очень рада! — наклонила голову Марина. — Хотя не в обычаях джентльменов рассматривать не совсем одетую даму.

— Понятно. — Тоша попятился к двери. — Завтрак уже готов. Переодевайтесь.

— Я не буду переодеваться, — сказала Марина. — Пусть он выйдет.

— Муратов, — попросил Тоша.

Кот, презрительно фыркнув, удалился на балкон.

— Муратов — легендарное существо, — помешивая чай, шепотом рассказывал Тоша. — Когда я поселился в этой квартире, он был здесь полноправным хозяином. И прежние жильцы утверждали то же самое. Может быть, это Вечный Кот!

Марина хихикнула.

— Я серьезно, — продолжал Тоша. — Пусть он капризен, ворчлив, но зато как умен и мудр. Я не удивлюсь, если однажды он мимоходом бросит мне какую-нибудь фразу. И на него никогда не лают собаки.

— А почему его зовут Муратовым? — спросила Марина. — После того мультфильма?

— А как же его называть иначе? — удивился Тоша. — Так его называли всегда.

Словно догадываясь, о ком идет речь, на кухню прошествовал кот. Он забрался на свободную табуретку и вызидающе посмотрел на Тошу.

— Молока сегодня не будет, — как бы извиняясь, сказал Тоша. — Но Муратов не откажется и от чая.

— Мы будем дружить, киса? — Марина погладила кота по спине. Кот вздрогнул от подобной фамильярности, но решил не выказывать степени своего недовольства.

Вслед за звонком в комнату вальяжно вошел моложавый мужчина с гримасой превосходства на лице. У Марины даже на какое-то мгновение мелькнула мысль, что это превратившийся в человека кот Муратов. Но Тоша развеял ее мистические заблуждения.

— Владимир Василенко, журналист, — представил он вошедшего. — Марина.

— У тебя девочка? — заинтересовался журналист, брезгливо присев на край стула. — Это что-то новенькое.

Он смерил Марину мимолетным равнодушным взглядом и изрек:

— Не в моем вкусе.

— Владимир — весьма известный журналист, — пояснил Тоша, — его статьи тебе наверняка попадались в молодежных газетах и журналах.

— Мы не выписываем газет, — сказала Марина. — У нас телевизор.

— Хорошо, — улыбнулся журналист. — Репризно. Стоит запомнить.

Он немного поерзал на краешке стула и посмотрел на Тошу.

— Я тороплюсь. Чаю не надо. Разговоров тоже. Ты сделал материал?

— Еще на той неделе, — обрадовался Тоша, — надо покопаться, найти.

— Найди побыстрее, — попросил журналист.

Тоша прошел в соседнюю комнату и стал разбирать бумаги на заваленном журналами письменном столе.

Журналист взглянул на Марину.

— Девочка, а ты совершеннолетняя? — спросил он. — А то там совсем другая статья.

— Мне шестнадцать, — ответила Марина. — но я не читала ваши статьи.

— Да нет, — улыбнулся журналист, — я имел в виду статью в Уголовном кодексе.

Тоша принес несколько исписанных листков. Журналист торопливо просмотрел их, оценивающе взвесил на ладони.

— Две бумажки, — сказал он. — Больше не могу. Надо еще обработать, отпечатать, редакторская правка... Да и гонорар у них не очень...

— Конечно, конечно, — согласился Тоша.

Журналист вынул бумажник, достал двадцать рублей и положил их на тумбочку.
— Кути! — усмехнулся он. — Если что наклюнется — звякну.
— Хорошо, — улынулся Тоша, провозжая журналиста.
— Мне он не нравится, — сказала Марина, вытирая тряпкой пол, на котором темнели следы недавнего гостя.

— Мне тоже, — признался Тоша.
— Но вы ему отдали свою статью. Ее напечатают под его именем?
— Зато у меня есть деньги, — Тоша постучал по табуретке. — Можно будет купить колбасу или торт, а может быть даже и то и другое.

— Послушайте, а чем вы все-таки занимаетесь? — спросила Марина.
— Ты знаешь, — сказал он, присаживаясь рядом с ней на корточках, — я об этом никогда не задумывался.

— Но где-то же вы работаете?
— Состою на государственной службе! — поднял указательный палец Тоша. — Правда, я давно забыл, как называется моя должность и кто меня туда устроил. Работа хорошая: через день я гуляю по определенному маршруту и наблюдаю за фонарями. И если какой-то не горит, я записываю номер и сообщая в одно весьма симпатичное учреждение.

— Здорово! — воскликнула Марина. — А вы не шутите?
— Но зато зарплата почти символическая, — успокоил ее Тоша, — хватает только на три похода по букинистическим, а когда там что-нибудь попадает, то только на один.

— А остальное?
— Пописываю статьи, помогаю с сюжетами, кое-что советую... Нечто вроде репетитора для творческих личностей. Когда-то я был режиссером, — Тоша вздохнул, — но поставленный мной фильм не увидел экрана. «В нем были допущены определенные искажения наших реальных достижений...» А сейчас этот фильм обвинили бы в беззубости...

— И вы все время так перебиваетесь? — удивилась Марина.
— Понимаешь, не очень удобно брать у людей деньги, особенно за советы, но они сами дают... И если задуматься, в этой проблеме присутствуют определенные моральные сложности...

— А обратно в кино? — Марина мечтательно зажмурилась.
— Ты знаешь, я много подрастерял — жизнь не стоит на месте. Там другие... молодые, красивые, сильные и, наверно, гораздо лучше меня.

— Да, — сказала Марина, — как грустно.
— Ничего, — улынулся Тоша, — скоро придет Варвара и что-нибудь споет, может быть даже и веселенькое.

— Какая Варвара?
— Варвара Глотова.
— Сама Варвара Глотова? — удивилась Марина.
— Сама, — вздохнул Тоша. — Ведь я тоже, некоторым образом, причастен к ее созданию. Ну не смотри так, я не в этом смысле. У девушки был голос. Очень сильный голос. Оставалось сделать ей имя, научить двигаться по сцене, создать облик певицы. Мне пришлось здорово поработать с ней. Но результаты, результаты...

— Результаты в каждом киоске, — сказала Марина, — на нее молятся.

— И ты?
— Я — нет. Не люблю то, что нравится всем.
— Не вставай в позу. Варвара трудяга. Придет — сама увидишь.
— Посмотрим, — пообещала Марина.

...Варвара Глотова была пунктуальна. Грациозно сбросив свой плащ, она чмокнула Тошу в щеку.

— Привет, Евгений! Живешь-поживаешь?
— Относительно, Варя, — улынулся Тоша. — Ты не привела к моему подъезду своих девочек?

— Я вышла через черный ход. Девочкам не удалось сориентироваться. А это кто?
— Это моя.

— Да? — удивилась Варвара. — А я не знала, что у тебя есть дети.
— Знаешь, — признался Тоша, — я сам об этом никогда не догадывался.

Варвара легко, по-кошачьи, прошла по комнате, посмотрела на себя в зеркала, вздохнула.

— Давай работать! — предложила она.
— Давай! — улынулся Тоша. — Начнем с общего впечатления. Варя, твоя программа — отдельные номера. Где более эффектные, где менее. Но Театра нет. Ты пытаешься провести композиционную линию — не удается...

— А что делать, Евгенийч?

— Трудно сказать. Возьмем твой стержень — «Монолог актрисы кукольного театра». «Слова и жесты — все известно, но тренируюсь дотемна ползти, стоять, бежать на месте: была б макушка не видна...» Песня хорошая, и это гвоздь, на котором должна держаться картина. Знаешь, меня всегда поражали куклы-марионетки. Как они опутаны нитями, и каждая ниточка что-то в себе несет. Жест, движение, взгляд. Малейший срыв — и кукла безжизненно замирает. А если присмотреться... Как часто мы зависим от случайностей, совпадений, действий совершенно неизвестных нам людей, чужих слов, слухов, сплетен, неписанных правил, обрушивающихся на нас гигантским водопадом нитей, и мы живем, подчиняясь им, часто не понимая — почему? Но вдруг какая-то нить обрывается, слетает, выскальзывает из предназначенной ей ячейки, а человек, не ведая того, продолжает играть в этом вечном спектакле. И вот тогда он совершает непонятные, на первый взгляд, безумные поступки, он открывает в себе удивительный дар риска и талант правды, он поражает окружающих своей необузданной откровенностью, и в этом его прелесть. Он всесилен, пока уверенная рука режиссера — судьбы не исправит порвавшуюся нить. Марионетки, марионетки...

— Кажется, я понимаю тебя, — прошептала Варвара. — Я подумаю.

Марина вышла на кухню и через десять минут вернулась с чаем.

— Спой для нас свою последнюю, — попросил Тоша, — а потом займемся техникой.

— Просто так? — спросила Варвара.

— Просто.

Варвара опустила на тахту, откинула копну черных, блестящих волос.

Ласточки летом беспечны,
Но наступает вечер,
Падают на асфальты
Черненькие тела.
Что нам до них, до милых,
Веруя в справедливость,
Мы подбираем утром
То, что звало вчера...

— Мелодия пойдет, — заметил Тоша, — а текст не годится. Кто автор? Олег? Со-звонимся, я ему кое-что подскажу.

— А мне понравилось, — сказала Марина.

Варвара была у них до обеда. И Марина удивилась, каким жестким, требовательным, временами упрямым становился Тоша. Они действительно работали, и работали тяжело.

— Вот так, — сказал Тоша, когда ушла Варвара. — А на следующей неделе обещал заглянуть Баринов.

— Как? — изумилась Марина. — Август Баринов?

— Август, — подтвердил Тоша. — Правда, с рождения его звали Алексеем, но посуди сама, какое это имя — Алексей. Ты послушай, как звучит: А — лек — сей. Лек — явно выпадает. А сей? Сей певец? Пришлось придумать — Август. А фамилия подходящая: Ба-ри-нов! Звучит, приманивает! Август Баринов. С этого мы с ним и начали. Помнится: скромный и застенчивый юноша. Вначале краснел от букетов. Когда это было?..

— И он действительно к вам придет?

— Обязательно. У него что-то там не ладится с концовками. И это уже стали замечать.

— Антон Евгеньевич, миленький, — взмолилась Марина, — а можно, я у вас еще немного поживу?

— Поживи, — согласился Тоша.

Марина жила уже вторую неделю у Тоши и Муратова. Она привыкла к многочисленным знакомым и приятелям, заглядывающим в эту захлавленную, несмотря на все ее старания, квартиру. К знаменитым случайностям и к случайным знаменитостям, как любил говорить Тоша. Она привыкла ко многому, но никак не могла привыкнуть к некоторым странностям Тошиного характера. Очень часто Тоша «выключался». Он мог забыть, кто он, куда идет, зачем идет, наблюдая за привлечшим его внимание человеком. Мог часами сидеть на балконе, разглядывая находившихся во дворе соседей, мог с открытым ртом стоять на улице, а затем тут же несколько раз повторить поразивший его жест случайного прохожего. Сам Тоша эти странности обосновывал довольно фундаментально.

«Знаешь, ребенок, — говорил он, — величайшее дело в нашем умудренном мире — наличие случайностей. Мне всегда везло на необычное. Надо уметь всматриваться. Сколько жестов, взглядов, ухмылок, движений таит в себе человечество. Недавно сказано: «Так сыграть может только непрофессионал!» Понимаешь: сыграть — не играя. И я «отлавливаю» все новое, необычное, интересное. «Отлавливаю», запоминаю и предлагаю друзьям. Иной раз одного движения губ, поворота головы, взмаха рук достаточно, чтобы сделать образ, показать характер. Детали — важнейшая вещь!»

Марина принимала Тошины оправдания, но ей было все-таки обидно при мысли, что человек, идущий рядом, через секунду может забыть о ее существовании, «отлавливая» гримасу какой-нибудь зевающей старушки.

А иной раз Марине казалось все происходящее сном — откроет она глаза, и не будет этой странной квартиры, не будет Тоши и Муратова, а за дверью раздастся всхлипывающий, полупьяный голос матери, и радио возгласит со стены: «Сегодня в Калининграде ожидается ясная, безоблачная...»

Но нет, она жила в Москве, она гладила Тоше рубашку и брюки, уже к ней, а не к нему, приходил по утрам, за своей порцией молока, самодовольный Муратов, и ее уже знали в соседнем магазине, где один из молодых продавцов, Санек, не раз предлагал ей «составить вечер». И даже фонари на Тошином участке подмигивали ей как старой знакомой.

Нельзя сказать, чтобы Тоша вел упорядоченный образ жизни. Он не пропадал по ночам, как Муратов, но днем был непредсказуем. На телефонные звонки Марина отвечала: «Он будет через полчаса». «Позвоните часа через четыре». И в трубке понимающе благодарили. Судя по Тошиным ботинкам, которые Марина тщательно отмывала, он ухитрялся находить самые грязные дороги столицы. Может быть, именно в этом у него было так много общего с Муратовым? Но зато Тоша мог попасть на любой спектакль. Его все знали и снисходительно прислушивались к его замечаниям. Марина умело напращивалась на спектакли, о которых с благоговейными нотками в голосе рассказывала ее бывшая учительница литературы. Спектакли были так себе.

А сегодня Марину разбудил Муратов. Он теребил ее за плечо лапой до тех пор, пока она не проснулась.

— Ты совсем обнаглел, Муратище! — возмутилась Марина, но кот уже бодро побежал на кухню. Марина потянулась, застегнула верхнюю пуговицу пижамы и опустила ноги в большие шлепанцы. За дверью, что-то насвистывая, стучал на пишущей машинке Тоша.

— За столько лет, — громко сказала Марина, — с вашими-то способностями можно было научить кота самому открывать холодильник.

— Проснулся, ребенок? — спросил Тоша, не прекращая стука.

— С добрым утром, Антон Евгеньевич! — Марина поклонилась закрытой двери и пошла на кухню.

Тоша появился на кухне, когда Муратов слизывал последние капли молока с блюдечка.

— Здравствуйте, люди! — сказал он. — Мари, ты не могла бы сегодня на обед сообразить нечто выдающееся?

— Ожидаются гости? Варвара, Баринов или Федор Лутковский?

— Нет, Рина, — улыбнулся Тоша, — из зарубежного турне вчера возвратилась моя давняя знакомая. Ее имя тебе ничего не скажет, а инструмент, коим она владеет, показывают сейчас лишь в музеях да в передаче «Забывать звуки», но она, — его лицо просветлело и он встряхнул головой, — обещала быть!

— Исполним! — ответила Марина.

В магазине, около прилавка, скучал Санек.

— Привет отвергающим! — кивнул он Марине. — Только один вечерок?

— Меняй курс! — усмехнулась Марина. — Нет ли у тебя чего-нибудь этакого?

— Валютой располагаете? — поинтересовался Санек. — Две бумажки.

— Вполне.

Санек исчез в подсобке и вынес оттуда аккуратный сверток.

— Икра, — прошептал он. — И, как понимаешь, не баклажанная. Заграничный товар.

— Работникам торговли пламенный! — попрощалась Марина и побежала в хлебный. До часа надо было еще все приготовить, убрать в квартире и одеть попримечнее Тошу.

Надежда Алексеевна была изысканно красива. Темное, полупрозрачное платье с матовыми просветами на плечах и спине, тонкое, продолговатое лицо, большие голубые глаза — весь облик этой женщины настолько гармонировал с ее движениями, голосом, словами, что казалось, все в ней было идеально, с особой осторожностью, подобрано, а затем подогнано и отшлифовано.

А как она держала ложку и вилку, как легко и бесшумно пользовалась ножиком. Марина не отрываясь смотрела на нее. Муратов, с несвойственной ему прытью, мяукал и изгибался у ее ног, и только Тоша был по обыкновению безалаберным и рассеянным, хотя и его, заметно было, коснулась тень Прекрасной Дамы.

— Все то же, то же, то же, — улыbnулась кончиками губ Надежда Алексеевна. — Милый, добрый Антоша. В Канаде я видела негров, и их смоляные прически-шары на помнили мне о тебе. У тебя в родословной не было негров?

— Нет. У меня дед был евреем, — улыbnулся Тоша.

— Это даже лучше, — невпопад сказала Марина, и все рассмеялись.

— Фатум, — задумалась Надежда, — когда я начинала, ты был знаменит...

— А когда ты знаменита, я неизвестен, — в тон ей продолжил Тоша.

— Ты сам виноват. Надо было стремиться к стабильности, думать о будущем. Зачем ты тогда ушел из театра? Красивый жест, не более. А неудача с фильмом — трагедия всемирного масштаба? Антоша, на земле ежедневно происходят тысячи подобных трагедий, но люди продолжают работать и добиваться своего. Ты оказался слишком слабым. Продавцом иллюзий. И продавал ты их по большей части самому себе...

— Мы с тобой уже не раз говорили об этом.

Они помолчали. Марина принесла открытую баночку икры.

— Угощайтесь! Заграничный товар.

— Спасибо! — Надежда Алексеевна посмотрела на Тошу. — Помнишь? Ты пригласил меня домой, а на столе лежали ломтики хлеба и блюдечко черной икры, и я сказала: «Икру следует подавать по-другому!» Ты всегда был дилетантом. Даже в этом...

— Послушай, ребенок... — прошептал Тоша, — а тебе не жаль?..

У Марины покраснели щеки. Так он называл раньше только ее, Марину. Значит, это имя принадлежало еще кому-то. Ей!

Она заставила себя промолчать, сжала пальцы в кулак, ногти правой руки до боли впились в ладошку. Марина встала и, пнув ногой недоумевающего Муратова, быстро вышла из комнаты.

— О чем ты говоришь? Не стоит... — донесся бархатный голос Надежды Алексеевны. — А то твой приемщик начинает меня ревновать.

— Ах, вы так?! — прошептала сквозь слезы Марина. — Вы так?

Она выскочила из квартиры, с силой хлопнув дверь. Сбежав по ступенькам, Марина остановилась и насухо вытерла слезы.

Около магазина Санек мыл машину.

— Возьмешь? — спросила Марина, открывая дверцу и усаживаясь на переднее сиденье.

— Всегда готов! — удивленно сказал Санек. — Есть возможность попасть в изысканное общество. Избранный круг у меня дома!

— Тогда поедем! — приказала Марина.

— Видишь ли, — произнес Санек, — я живу здесь.

И он кивнул на соседний дом.

— И ты через улицу на машине? — усмехнулась Марина.

— Во-первых, авто всегда перед глазами, так спокойнее, — рассудил Санек, — а во-вторых, — престиж. Должность обязывает.

— Bravo! — похвалила Марина.

В комнате было полутемно, мягко светили бра, из колонок неслась музыка. Марина полулежала на мягком диване, а рядом с ней пристроился Санек. В углу шепталась какая-то пара. Остальные танцевали. Здесь верховодила Томка, крупная, дородная, кажется, студентка. Сейчас она прижимала к себе долговязого, усатого Вадика, пытаясь дотянуться макушкой до его подбородка. Вадик танцевал расслабленно, нехотя.

— Ладненькая, — шептал Санек Марине, — ну давай еще одну рюмашку. Не стесняйся. Какая у тебя красивая ножка. Дай-ка мне свои губки.

— Отстань, — отмахнулась Марина. У нее шумело в голове.

— Потерпи, — просил Санек, — еще полчаса, и мы будем одни. И все будет ладно. Пригуби!

Он протянул бокал с какой-то жидкостью.

— Расслабляет...

Марина попробовала и чуть не выплюнула напиток, оказавшийся на вкус приторно-сладким.

— Как хочешь, — усмехнулся Санек. — Не настаиваю — демократия!

Писк звонка показался неправдоподобно жалким.

— Это еще кто? — встрепенулась Томка. — У нас полный комплект.

— Побачим, — Санек нехотя поднялся и вышел в коридор.

— Вот, гражданин требует, — сказал он, пропуская в комнату Тошу.

— Марина, пойдём домой, — попросил Тоша.

Марина привстала и с недоумением посмотрела на него.

— Зачем? — выдавила она. — Вы мне кто? Идите к ней.

— Марина, пойдём, — повторил Тоша. — Ты не понимаешь, что делаешь!

— А вам какое дело? — Марина покачнулась. — Вы что, моя мама?

В углу захихикали.

— Я отвечаю за тебя, — серьёзно сказал Тоша.

— Перед кем это? — поинтересовались из угла.

— Перед самим собой, — сказал Тоша. — И без тебя я отсюда не уйду.

— Слушай ты, — встал перед Тошей Санек. — Наигрался с девочкой, хватит.

Как Тоша ударил, никто не заметил.

— А-а! — закричал Санек, отлетая к стене. — Бьют!

Вадик взял со стола бутылку и двинулся на Тошу.

— Замри! — крикнула Томка. — Срок захотел? Все замрите. Санек, — она смерила глазами Тошу. — Позвони в милицию и сообщи, что у нас возник хулиган, дебоширит. Пусть придут и заберут.

— Марина, — сказал Тоша, — я тебя жду.

И он вышел.

Марина встала и медленно пошла к двери.

— Уходишь? — бросил ей вслед Санек. — Ну и катись! На улицу выйду, пальцем поману — любая пойдёт. Почистице тебя...

Марина вышла из квартиры. Голова кружилась. Она, с трудом опираясь о стену подъезда, спустилась по лестнице. На лестничной площадке ждал Тоша.

— Вот я, — прошептала Марина, — возьмите меня.

— Какой ты все-таки глупый ребенок, — сказал Тоша, подхватывая ее.

Очнулась Марина рано утром. Она лежала на тахте, одетая. Голова ныла. Неужели у нее даже не хватило сил переодеться? Марина начала вспоминать события вчерашнего вечера, и ей стало не по себе.

«Ну и ну, — подумала она, — дожила».

Она встала и на цыпочках подошла к двери. Прислушалась. Приоткрыла дверь. Тоша спал. Марина опустилась на пол, легла, прижалась к дорожке и поднесла голову под раскрытую Тошину ладонь. Его пальцы невесомо лежали на ее волосах. Марине захотелось чуть приподнять голову — тогда бы рука скользнула по затылку и как бы погладдила ее.

Из дверного проема за ее действиями с интересом наблюдал Муратов. Такого он еще не видел.

Марина вздохнула, осторожно отползла назад и встала. Она по-тошински встряхнула головой и отступила к двери.

«Я люблю его! — испугалась Марина. — Я его люблю».

После вчерашних событий (пинок ногой) злопамятный Муратов объявил Марине бойкот. По вопросам утреннего кормления он обратился к Тоше.

— Даже коты, и те важничают, — осторожно заметила Марина.

— Будешь чай? — спросил Тоша. Спросил как ни в чем не бывало.

— Буду. — Марина присела на табуретку. Как все-таки трудно чувствовать себя виноватой, когда тебя не бьют, не ругают, а просто предлагают сесть и позавтракать. «Я заслужила хорошую оплеуху, — подумала Марина, — даже две».

Тоша отправился в очередной набег на букинистические магазины, а значит, ждать его можно было часа через два или вечером — это зависело от того, на какую именно книгу он наткнется. Муратов спал на балконе, и даже во сне от него исходили волны презрения по отношению к Марине. Марина взяла сетку и пошла в магазин.

— Привет! — беззлобно сказал Санек. — Шоколадное масло поступило. Тебе отвесить? Будет чем кормить твоего шизика.

Марина отвернулась.

— Ну что ты? — Санек наклонился через прилавок. — Твой мужик ничего. Классно мне врезал. Тут такое дело...

Он оглянулся и продолжил шепотом:

— Старушечки тобой интересовались, активистки. По какому праву живешь? Прописана ли? И так далее... Оформляйся. Могут быть неприятности.

— Дай масла триста граммов, — попросила Марина.

Вернувшись, она вытащила из серванта телефон, узнала по справочному код Калининграда и позвонила домой. Телефон был у соседки.

— Алло! — прозвучал ее зычный голос.

— Это я, Марина! Людмила Ивановна, позовите маму, пожалуйста!

- Мариночка! — обрадовалась соседка. — Откуда ты? Куда ты запропала?
— Потом, Людмила Ивановна, потом. Я скоро приеду. Позовите маму.
— Сейчас, Мариночка, сейчас.

Было слышно, как трубку опустили на стол, и голос соседки, уменьшенный вдвое, кому-то сказал:

— Ее блудливая доченька звонит. Сами понимаете: яблоко от яблони...

Наконец трубку взяла мать.

— Алло, Марина.

— Мама, я в Москве. Ты получила мое письмо?

— Да. Но я ничего не поняла. Где ты остановилась?

— У одного хорошего человека. Ты его не знаешь.

— Ты с ним живешь? — на ужасающе высокой ноте спросила мать.

— Нет! — закричала Марина. — Когда я приеду, принесу тебе справку!

И она бросила трубку.

— Надо уезжать, — прошептала Марина. — Надо уезжать...

Когда Тоша вернулся, держа в руках кипу стянутых бечевкой журналов, Марина встретила его у порога бодрая и веселая.

— У нас праздник? — предположил Тоша.

— Отчасти, — сказала Марина. — Проводы. Мне пора домой.

— Так сразу? — удивился Тоша.

— Да, — подтвердила Марина. — Я звонила маме. Она сердится.

— Ну что ж, — рассудил Тоша. — Будем провожать.

Марина виновато улыбнулась.

— У нас кончились деньги. И мои, и ваши.

Тоша обвел взглядом книжную полку и вытащил из нее несколько книг.

— Я скоро, — сказал он.

— Вот и все, — сказала Марина появившемуся откуда-то Муратову. — Все, кошке. Можно тебя погладить?

Муратов подошел к ней и подставил спину.

— Ты знаешь, почему я люблю вокзалы? — говорил Тоша, и Маринин чемодан подпрыгивал в его руке. — На вокзалах поведение людей всегда неожиданно, даже для них самих. Нечто вроде экстремальной ситуации. Сколько чудесных поз, взглядов, пробуждающихся чувств... Какая игра! Один миг встреч и расставаний чего стоит. Иной раз такое уловишь — мороз по коже. И знаешь, на каждом вокзале по-разному: железнодорожные, речные, авто, авиа... Как славно, что у города обилие вокзалов.

— Мы познакомились на вокзале, — напомнила Марина.

— Правильно. Я искал там что-то новое, но ничего не было.

— Кроме меня?

— Кроме тебя, — согласился Тоша.

Он оглянулся и стал судорожно ощупывать свои карманы.

— Знаешь, я, кажется, потерял билет.

— Он у меня, — успокоила Марина. — Мужчинам деньги и документы нельзя доверять.

Вагон они нашли сразу. До отправления оставалось совсем немного. Толстая, но проворная проводница уверенно выставила его:

— Скоро двинем, не прыгать же тебе на ходу. А за дочку не бойся, довезем в целости и сохранности.

Марина стояла в коридоре, прижавшись лицом к вагонному окну. Она пыталась открыть его, но не могла. Окно было заперто или забито.

Тоша топтался на платформе и рассеянно смотрел на нее, на линзах его очков играли солнечные зайчики. На мгновение Марине показалось, что он все понял. Он обо всем знает: и как она его любит, и что она без него жить не может, и что она к нему обязательно придет через год, через месяц, через...

Но Тоша вдруг улыбнулся, поймав какой-то новый для себя жест, и стал машинально повторять его, стараясь удержать в памяти.

А поезд качнулся и пошел, пошел...



Александр Пукемов

ТРЕБУЮТСЯ ПОДВИЖНИКИ!

Подвижники и бюрократы... Для одних смысл жизни в поиске настоящего дела, для других — в поиске способов отгородиться от настоящего дела, ответственности за него. Количественное соотношение тех и других обществу далеко безразлично. Особенно если речь идет о здравоохранении. Скольких драматических коллизий можно было бы здесь избежать, если бы подвижников было больше! Но вот один вопрос не дает мне покоя: почему их больше в книгах и реже можно встретить в жизни?

Удобных дорог для подвижников и раньше не было. Но, может, сегодня, в условиях перестройки, что-то изменится? И как изменить ситуацию, как сдвинуть тот балласт в сфере здравоохранения, что накопился за годы застоя?

— Не совсем согласен с критикой, которая сегодня все чаще звучит в адрес медицины.— Мой собеседник — профессиональный врач — во время разговора энергично жестикулировал, словно обращаясь к многочисленной аудитории.— Вспомните недавнюю программу «Здоровье». Показывают знаменитейшую Боткинскую больницу в Москве. Неисправная сантехника, проржавевшие трубы, другие безобразия. Но я же там практику проходил и знаю: почти вся она напичкана самым современным оборудованием. Ведь что опасно: у пациентов после таких передач утверждается недоверие к нам, к нашей работе. Если, мол, даже в лучших клиниках работают в таких условиях, чего вообще ждать от нашей медицины.

Разговор происходил в районной поликлинике Ташкента. Самое что ни на есть затрепезное помещение, пропитанное насквозь медицинскими запахами. Здесь врач, выпускник прославленного Первого московского медицинского института им. Сеченова, продолжая дело своих наставников, ученых с мировым именем, проводил уникальные работы, поднимал на ноги больных с дикими болями в позвоночнике, закоренелых радикулитчиков, страдающих остеохондрозом, отчаявшихся где-либо в другом месте получить квалифицированную помощь.

Не берусь обвинять его в предвзятом отношении к критике, неверной оценке проблемы. Ведь и ему было на что жаловаться. Совсем недавно переменял место работы, столкнувшись с явным непониманием со стороны коллег. На новом месте особых условий ему никто не создал, трудился с утра до вечера как рядовой хирург за 130 рублей в месяц. И совершенно бескорыстно пользовал пациентов, прослышавших о его таланте. Молва разносила: молодой еще совсем, а опыт чувствуется, может, не расспрашивая, сказать, где и что болит. Диагноз ставит безошибочно. А руками действует четко, уверенно, ни одного лишнего движения.

К нему всегда много людей, всегда кто-то пробивается. Одна больная рассказывала, как пришла в высокую медицинскую инстанцию, а там сделали страшные глаза:

— Вы хотите попасть на прием к Свердлову? Зачем вам с ним связываться? Ведь его уколы — совершенно непроверенная форма лечения. Вы даже не представляете, какую угрозу для здоровья несет этот метод...

А то распухались слухи, будто бы молодой врач использует специальные гормональные препараты, дающие лишь кратковременный эффект, а потом состояние здоровья резко ухудшается.

Что на это ответить? Проверил: лекозим — дорогостоящий зарубежный препарат, которого практически нет в аптеках. К гормональным лекарствам никакого отношения не имеет, является вытяжкой из плодов экзотического дынного дерева — папайи.

Спрашивается, зачем слухи распускать, да еще гормональные препараты припутывать, которые, кстати, при правильной дозировке и умелом использовании, тоже неоценимую помощь человеку оказывают.

Запретили Свердлову выписывать рецепты на лекозим. А чего добились, ведь Свердлов — один из немногих, кто с этим препаратом работает. Пусть лучше лежит в аптечном сейфе, лишь бы строптивца проучить. Да и выговор заодно — не выписывая того, что не положено...

Давайте откровенно скажем: не метод виноват, которым Аркадий Александрович Свердлов лечит. А то, что лекарства этого ничтожно мало. Отсюда и осложнения со страждущими лечиться. Зачем же нам врать-то друг другу, исповедуя принципы гласности?

С другой стороны, постараемся понять и врача. Он искренне недоумевает, зачем же месяц держать человека на бюллетене с радикулитом, если двумя уколами за два дня можно его поставить на ноги, а затем продолжать лечение, когда он уже ходит на работу.

Эту сторону экономики, наверное, тоже надо взять во внимание и прибростить, во сколько нам обходятся за год больничные листы радикулитчиков. Может, на самом деле «дешевле» поставить вопрос о дополнительных поставках дорогостоящего препарата и помочь молодому медику в борьбе с распространенным недугом?

В том-то и дело, что молодой. Был бы в возрасте, академиком бы... Наверняка срабатывает и механизм зависти. Видят, получается здорово, а самим рисковать не хочется. Дешевле охать, намекнуть на опасность метода.

Вот насчет опасности они правы. Каждый день врач рискует. Уколы в область позвоночника не всякому можно доверить. Точность работы здесь вымеряется интуицией, опытом, глубочайшими знаниями топографической анатомии. Нельзя ошибиться даже на миллиметр. Малейшая ошибка, и, представляю, сколько поводов для злорадства, и хуже — для сведения счетов, появится у недругов «белой вороны». Называя так своего героя, я имею в виду не только его, а всех, кого стая метит чужаком, не признает своим.

Аркадий Александрович заметил в разговоре, что почти все его педагоги — видные ученые, основатели новых способов лечения, и, как правило, все они прошли через сложные периоды непризнания. Были в свое время среди «белых ворон» и хирург Елизаров, и офтальмолог Федоров. А сколько и сегодня в непризнанных пребывает врачей, за которых больные голосуют длинными очередями на прием, благодарными письмами в газеты...

А ведь ни зарплата, ни их служебное положение от этого нисколько не меняются.

Мы можем сколько угодно говорить о плохом материально-техническом снабжении медицинских учреждений, о низком качестве ремонта больничных учреждений, можем сетовать на небольшую зарплату эскулапов. Но все это будет неполной правдой, если мы не примем в расчет того, как сегодня поощряется честное отношение к медицинским проблемам, как оценивается подвижность — явление в медицине столь же редкое, как и в других сферах деятельности.

Подвижки от медицины трудятся не за персональные надбавки к зарплате, они не претендуют на особые моральные и материальные поощрения. Единственное, чего они хотят, — чтобы им не мешали работать.

Казалось бы, такая задачка — самая простая, и ответ не надо искать в конце учебника. Но это лишь на первый взгляд. Вот пример. Больной в одном из районов Ташкентской области после травмы не получил на месте квалифицированной медицинской помощи. Поехал в Ташкент, где обратился за помощью в клинику. Там без труда диагностировали начавшуюся гангрену руки. Тут же сделали операцию, в результате чего больной получил инвалидность. «Добрые люди» надумили пострадавшего подать в суд на медиков. А так как инвалидность наступила вследствие операции, во всем оказались виноваты хирурги, пожелавшие спасти жизнь больному. Этот судебный процесс осветила и газета, не разобравшаяся в деле. Получилось, что врачей заклеямили и средствами печати.

Медики пересмотра дела не требовали, не писали жалобы на газету. Им было не до того. На очереди — десятки, сотни других пациентов, а вяжешься в такой спор, уже не до работы. Один из пострадавших в этой истории, профессор Ш., откровенно признался:

— Недавно привезли к нам в клинику восьмидесятилетнюю бабулю. Готовьте, говорю, к операции. А мои молодые коллеги переминаются с ноги на ногу, глаза прячут. Потом высказались. Мол, операция, конечно, простая, риск невелик, но вдруг с этой бабушкой что-нибудь случится? Может сердце отказать или просто возрастные изменения скажутся — опять суд и статья в газете? Что я им мог ответить? Это ведь самое страшное, когда рука у хирурга дрожит и он не уверен в исходе операции.

Растолкуйте теперь, как мне после такой газетной заметки убедить своих молодых коллег, что рисковать-то все равно надо и оказывать помощь необходимо любому

больному, а отгораживаться ведомственными инструкциями — бездушно и негуманно. Знаете, что они мне на это ответят? Кстати, уже отвечали. «Напишите письменное распоряжение на проведение операции, что риск берете на себя...»

Печатное слово «сработало».

Памятью о силе слова, прозвучавшего со страницы газеты, в герои, в сонм подвижников рвутся разные люди. С жаром мне доказывали друзья, что объявился у нас в городе чудо-лекарь, который совершает чудеса с помощью массажа и иголок. Поднимает хворых на ноги, исцеляет безнадежных, и все это абсолютно бескорыстно. Взглясы проверить, насчет бескорыстия явно загнули. Были и червонцы за визит, и суммы побольше. Но какая в том беда, ведь патент дает право на платное лечение? И имею ли я в таком случае моральное право обвинять человека в чем-то противозаконном? Конечно, не имею. Но подвижником его назвать тоже не могу. Не хочу бросать тень на профессиональную репутацию. В обстановке дрызг и интриг чего только ему не приписывали: и неправильное лечение со смертельными исходами, и ошибки в диагнозах. Симптоматично то, что все эти обвинения появились как раз в тот момент, когда врач выступил с критикой своих коллег и требованием создать ему условия для работы. Искал в этом деле поддержки у печатных органов.

Наверное, можно журналиста обвинить в том, что испугался влезать в такую историю. Но дело в другом. В наветы его недругов сразу не поверил. Но услышал слова коллег, искренне уважающих этого врача:

«Как специалист он очень неплохой. И вот обращаемся мы к нему с просьбой проконсультировать пациента с заболеванием, в котором он лучше нас разбирается. А в ответ слышим: «Ваш больной, вы и занимайтесь. Мне за него все равно деньги не платят».

Вот такое отношение — «бесплатно ничего делать не буду» — заставило посмотреть на эту историю под другим углом зрения.

Ах, если бы все было так просто, на одном полюсе врачи-бессребреники, на другом — хапуги и мздоимцы.

Смею вас уверить, что и подвижничество, и честное отношение к медицине иные находчивые администраторы лечебных учреждений превращают в весьма доходный товар. Всех пациентов с катарактами, грыжами, ишиасами, инфарктами, язвами и простыми гастритами они делят на выгодных и невыгодных, нужных и ненужных.

Невыгодные и ненужные — в общую длинную очередь. А те, кто чем-то может помочь, — милости просим. Разумеется, бесплатно, к врачу-подвижнику с заднего крыльца. Простак видит больного, и плевать ему на должностные регалии пациента, его вес в деловом мире, для него важно облегчить страдания, поставить правильный диагноз и найти единственно верный путь к излечению. «Белая ворона» свято следует клятве Гиппократова. Иное дело его руководитель. Порадев нужному человеку, он выбивает нужный цветной кафель для ремонта, финские обои, устраивает сына в вуз. Да мало ли чего еще можно добиться в обмен на такой «товар», как здоровье. Ну, например, замалчивание тревожного положения в здравоохранении, как это было совсем недавно, в период застоя, славословие в адрес тех, кто все может, даже предоставить отдельную палату в больнице, поместив какую-нибудь старушку или инвалида в коридор.

Стыдно признаться, молчали о взятках, протекционизме, делали вид, что и детишки у нас самые здоровые в мире, и роддома у нас открываются самые современные в день по штуке. А еще чуток поднапряжемся, и рак победим. Вот только проведем тотальную диспансеризацию, все болезни через профилактику в полон возьмем. А уж что касается СПИДа, то он к нам вообще никак не относится. Это болячки загнивающего Запада.

Коснулось. И на многое еще открылись глаза в эти трудные годы. Оказалось, все не так просто. Вскрыть негативные явления, ткнуть в них пальцем — еще не значит решить проблему.

Что нас делает циниками?

Пожилой врач, всю жизнь добросовестно лечивший людей за зарплату, как-то пожаловался:

— Очень трудно стало работать. Предлагают деньги, богатые подарки. Я отказываюсь, а потом — разговоры, мол, не такой он и хороший специалист, не уверен в себе, если за лечение не берет.

Так кто же кого развращает денежной подачкой — мы врачей или врачи нас?

Задал как-то этот вопрос одному профессору-медику. Он страшно покраснел, начал растерянно протирать очки. Понял я, что допустил беспактность. Вопрос этот оскорбителен для честного врача. И в последнее время его столько раз обсуждали, что вроде все поняли, как это плохо брать «в лапу» и давать.

Но здесь хотелось бы сосредоточиться не на негативной стороне проблемы, а прежде всего рассмотреть условия, ликвидирующие нравственные перекосы, формирующие среду для работы на совесть. Казалось бы, парадоксальная ситуация: требует-

ся создать возможности для благотворного труда подвижников, и в то же время вся суть их деятельности — в борьбе со сложными жизненными обстоятельствами, утверждение важных нравственных начал через эту борьбу. Но в том-то и дело — должна быть борьба, а не донкихотство, преодоление реальных профессиональных трудностей, а не бюрократических рогаток. Жизненные силы должны расходоваться на трудную, пусть малооплачиваемую работу, а не на хождение по многочисленным административным инстанциям, чтобы добыть справку с гербовой печатью, удостоверяющую, что податель сей бумаги является подвижником, а не верблюдом. Энергию бесконечных хождений по инстанциям «белая ворона» тратит на получение разрешения лечить методом иглоукалывания, хотя он и кончил курсы, и имеет диплом врача. Просто дело в том, что кто-то наверху все еще мается вопросом: а может, лучше этих иглоукалывателей «не пущать», записать их в одну компанию с экстрасенсами, и вся недолга.

Попытки отвергнуть, запретить современные методы лечения толкают многих больных в руки доморощенных шарлатанов, лекарей без дипломов, знатоков восточных магий. «Лечатся» по медицинскому справочнику, журналу «Здоровье», по советам знатоков без дипломов.

И как трудно в таких условиях доказать настоящему врачу, что он не из прохиндейской когорты. Просто «белая ворона» не хочет махать крыльями, имитируя полет. Ей нужно реальное движение, освоение действительно новых методов.

По скольким инстанциям прошел и еще собирается пройти скромный врач из Ургенча Рузметбай Раджапов! И все-то было хорошо, пока занимался своим делом, профилактикой и лечением инфекционных заболеваний в центральной районной больнице. Не было возражений, когда он начал специализироваться как физиотерапевт. Учитывая профессиональный уровень, медику присвоили высшую категорию.

Но вот заинтересовала Рузметбая методика лечебного голодания, разработанная московскими специалистами. Списался и лично познакомился с энтузиастами нового метода, известным профессором Юрием Сергеевичем Николаевым. Прочел массу специальной литературы. Особое внимание обратил на хорошие результаты экспериментального лечения с помощью РДТ (разгрузочно-диетической терапии) во Всесоюзном институте пульмонологии и Всесоюзном институте питания. Взял на заметку особенности лечения, учитывающие нервно-психологическое состояние пациента.

Подхода с кондачка, «рекламных трюков» здесь и близко не было. Сначала новую методику опробовал на себе. В результате избавился от тяжелейшего почечного недуга. Строго руководствуясь научными рекомендациями, первых больных по методу РДТ лечил в одном из отделений железнодорожной больницы станции Ургенч. Сколько насмешек и скептических ухмылок пришлось снести. Мол, таблетки, уколы — это понятно, а вот так, добровольно, целыми днями ни крошки хлеба, ни ложки борща, с таким лечением недолго и ноги протянуть.

Старался меньше говорить. Что толку убеждать словами. Результаты сами за себя должны сказать.

Но если бы только насмешки, их можно перетерпеть. Хуже то, что где-то в медицинских кругах сложилось «мнение». И начали энтузиаста со всех сторон «обкладывать» комиссиями, проверками. Ах, как хотелось ревностным служакам найти хоть какой-нибудь криминал. Но ведь сами же недавно награждали его почетными грамотами, присвоили почетное звание Отличника здравоохранения.

Так вот в одночасье мнение не изменишь. Длительная осада нужна. Можно, например, во время аттестации, проведенной внезапно, как контрольная ревизия, снять высшую категорию. А после требовать запрета на крамольное лечение. Мол, это серьезно угрожает жизни больных. Ученый медицинский совет Минздрава Узбекской ССР, рассмотрев этот вопрос, рекомендовал Хорезмскому облздравотделу открыть палату для изучения лечебного метода РДТ. Но рекомендация так и осталась как благое пожелание на бумаге.

Раджапов до сих пор недоумевает, за что это немилость такая. Лечит простых рабочих, скромных служащих, потерявших здоровье в железнодорожных стрессах и в путевых неурядицах. Щедро консультирует пациентов из других городов, прослышавших о его успехах в лечении голоданием.

Разумеется, метод необычный и содержит в себе немало спорных моментов, как и все новое. Так что же, выходит, гораздо удобнее, не рискуя, откреститься от него и так проучить новатора, чтобы другим неповадно было?

Тернистый путь бюрократических преподобных в медицине сполна испытал на себе кандидат биологических наук Каххор Ходжиматович Ходжиматов. Материал о нем в свое время публиковался в «Правде Востока». Ученый из Института ботаники при Академии наук Узбекской ССР на основе народных методов лечения, изучив древние трактаты Авиценны, нашел состав трав, способствующий эффективному лечению вирусного гепатита. Под различными предложениями его работа тормозилась.

Случай этот особенно показательный. Кто не знает, какая у нас тяжелая обстановка с заболеваемостью желтухой среди детей. От ученого требовали выделить активное вещество, на основе которого можно изготовить лекарство. Он пытался спорить.

— Скорее всего, нет там этого единственного активного вещества. Считаю, что на организм действует весь сбор трав в комплексе.

Но вот вызвали Ходжиматова в высшие партийные инстанции. Там внимательно выслушали и сказали: «Очень хорошо». На следующий день — звонок из высших медицинских инстанций — приглашают на прием.

— Чем можем помочь, Каххор Ходжиматович? Где там ваши чудесные травы?

— Да помилуйте,— отвечает тот, — вы же сами говорили, надо из них активное вещество выделить. А я этого не могу.

— И не надо,— говорят, — мы вам поможем ваше изобретение зарегистрировать и опробовать как фитотерапию, лечение травами. Не беспокойтесь, примем самые активные меры, ускорим испытания. Новинку запатентуем, позаботимся, чтобы этим травяным сбором уже в ближайшее время начали лечить.

Как видим, ларчик просто открывался: стоило появиться руководящему мнению, как все сомнения отпали и дело сдвинулось с мертвой точки. Не по этой ли причине даже по вопросам коммунального хозяйства, бытового обслуживания, саночистки люди не стесняются обращаться как можно выше, осаждают кабинеты с солидными табличками и привратниками у входа, понимая, что на другом уровне они результата не добьются.

А ведь те, что рангом пониже, как раз и обязаны эти вопросы решать — взять на себя ответственность. А этого, без команды сверху, современный бюрократ пуще всего боится. И не потому, что он такой плохой. Дело еще и в профессиональной ограниченности. Он ведь больше по административной части.

Мы часто пишем про бюрократическую цепочку. Но разве не может быть другой цепочки, по которой легко входят в жизнь новый метод, интересное изобретение, элементарная попытка внедрить то, что в других известных клиниках уже всюду используется. Для этого порой требуется лишь росчерк пера на краешке официальной бумаги. Но подписать-то должен человек заинтересованный, болеющий за дело, сродни тем подвижникам, что стоят у операционного стола, ведут прием в сельской поликлинике.

Но вот незадача. Кто же из настоящих профессионалов пойдет в администраторы? Ведь, судя по нашим газетам и журналам, на руководителях сферы здравоохранения просто каинова печать бюрократизма. Обложались бумагами и циркулярами, за чернильной печатью человека не видят. Да и проработав несколько лет на канцелярской должности, они, по общераспространенному мнению, теряют квалификацию как профессиональные врачи.

Что же происходит? Кому нужна должность, кабинет, персональная машина — направо, у кого иные заботы — в другую сторону. А кто будет помогать подвижникам? Чтобы жить их интересами, надо постоянно читать новинки медицинской литературы, следить за публикациями в зарубежных журналах. Одного вузовского багажа двадцати-тридцатилетней давности сегодня крайне мало, в мире столько изменений, тем более в науке, и подвижник, чаще всего, — профессионал высочайшего класса, который очень быстро воспринимает их и берет в свой арсенал и акупунктуру и иридодиагностику, и мануальную терапию, и гомеопатические средства.

Есть определенная закономерность в рождении важных научных открытий и изобретений. Они появляются там, где есть питательная среда для подвижников, где квалифицированным специалистам созданы действительно благоприятные условия для работы.

Внимательное отношение к пациентам, чистота, порядок — это визитная карточка Ташкентского филиала Всесоюзного научного центра хирургии Академии медицинских наук СССР. Одним из лучших специалистов, выполняющих сложнейшие операции, считается здесь академик Васит Вахидов. Но особой оценки он заслуживает как руководитель, сумевший заинтересовать людей общей работой, создавший условия для раскрытия профессиональных способностей. Здесь ведется целенаправленная, планомерная подготовка медицинских кадров. Защищено девять докторских и тридцать восемь кандидатских диссертаций. Здесь не затрут талант, быстро пресекут интригу, направленную против способного коллеги.

В. Вахидов никогда не довольствуется достигнутым. По его инициативе и при непосредственном участии организована служба специализированной сосудистой хирургии, центр микрохирургии. В республиканском центре кардиохирургии под его руководством выполняются операции на открытом сердце с использованием гипотермии и искусственного кровообращения.

Скольким молодым энтузиастам дал путевку в жизнь этот подвижник научного поиска! Ученый никогда не позволит себе оспаривать новый метод, пока сам его не изучил, не даст огульно критиковать коллег за новое в работе.

Другой пример. Единственное открытие в республике в сфере медицины в этом году было зарегистрировано в экспериментальной биофизической лаборатории ТашМИ, руководимой академиком Камилджаном Ахмеджановичем Зуфаровым. В лаборатории создана такая атмосфера, в которой не срабатывают ни родственные связи, ни попытки завоевать расположение начальства мелкими услугами. Есть один способ выдвинуться — проявить себя в научной работе, доказать на деле, чего ты стоишь. Еще в студенчестве занимались здесь вечерами, пренебрегая веселыми вечеринками и другими развлечениями, Валерий Гонтмахер и Акрам Юлдашев. Камилджан Ахмеджанович приметил их. Предложил интересную тему: как грудное молоко усваивается детским организмом. Начался интересный поиск, вознаградивший исследователей неожиданными открытиями. В противоречии со всеми старыми схемами, белки молока были обнаружены в крови грудного ребенка. Это значило: усвоение питательных веществ у новорожденных идет по иным принципам, совсем не так, как у взрослого человека. Дальше следовали ошеломляющие выводы о системе особой связи, передаче информации через грудное молоко от матери к ребенку, о создании с его помощью иммунной системы, действующей на протяжении всей жизни. Как и в любом научном открытии, конечные выводы предвидеть трудно. Это означает новый подход к вопросам искусственного вскармливания, учета новых факторов при изготовлении питательных смесей.

Говоря об этом открытии, хочу сделать акцент скорее не на научной, а на его нравственной стороне. Не секрет, порой выходят научные труды, регистрируются изобретения, где фамилию руководителя приписывают для того лишь, чтобы не портить с ним отношений или в расчете на какие-то иные блага.

Зуфаров в этой работе был равноправным участником, так же спорил, так же сомневался. В лаборатории действует жесткое правило: в научных спорах ученые звания не признаются. Право на истину может быть и за лаборантом, если он сможет доказать и экспериментально подтвердить свой вывод.

Был случай. Работу Зуфарова как научного руководителя решили проверить. Вызвало сомнение обилие кандидатских диссертаций, защищенных под его руководством. Тогда Камилджан Ахмеджанович потребовал провести для него своеобразный экзамен.

— Пусть,— попросил он,— снимут с полки любую кандидатскую и прочитают из нее абзац. А я отвечу, кто автор и в чем суть проблемы, которую он поднял. Пояснения буду давать во всех деталях.

Надо ли говорить, что в ответах было показано не только знание темы, но и более глубинное понимание ее.

Работу руководителя, административную, общественную деятельность и вчера, и сегодня он использует для того, чтобы помочь начинающим коллегам, чтобы сформировать научную школу в республике, отличающуюся оригинальностью разработок в медицине, коллективным подходом к решению сложнейших проблем.

Попробуй оторви его от учеников, закрой в отдельном шикарном кабинете от посторонних звонков, от лабораторных поисков, людских проблем. И одинаково тоскливо станет и ему, и всем членам коллектива. Привыкли они заходить к Камилджану Ахмеджановичу запросто и тут же на месте решать набелевшие вопросы.

Были ситуации, когда независимость суждений, самостоятельность характера Зуфарова воспринимались вышестоящими как строптивость, неуважение к должности. Пробовали передвигать по служебной лестнице, чтобы на виду не был. Принять более строгие меры мешало его репутация, авторитет и, главное, общественное мнение, с которым хочешь — не хочешь, а считаться надо. Общественное мнение же о Зуфарове довольно устойчиво: руководитель, который не любит выпячиваться, дает дорогу ученикам, заботится об их росте, не ищет в чужих успехах личной выгоды для себя.

Как же сделать, чтобы руководители такого типа стали главенствовать во всех сферах здравоохранения? Чтобы преобладал не чиновничий, бюрократический опыт, а истинные знания, помноженные на инициативу и желание принести пользу делу?

Перекрыть лазейки для карьеристов и конъюнктурщиков уже сегодня помогают демократические преобразования, происходящие в нашем обществе. Стремление путем выборов, коллективного голосования решить, кто будет определять политику в сфере здравоохранения, несомненно, даст свои плоды. Положительную роль сыграют и отчеты о перестройке, на которых партийные вожаки и коммунисты-руководители держат ответ, как они организуют и налаживают работу в свете требований дня. Во время таких отчетов, опять же на демократической основе, принимаются решения, прямо затрагивающие вопросы руководства.

Разумеется, это одна лишь часть проблемы. Высокопрофессиональные хирурги, терапевты, окулисты, стоматологи, избранные на руководящие должности путем демократических выборов, облеченные доверием народа,— люди, несомненно, хорошие, но чаще всего узкие специалисты, и вряд ли они смогут быстро разобраться в организационных вопросах. Пройдет немного времени, и они будут рваться туда, где лучше получается: к операционному столу, в лабораторию, больничные палаты.

Совсем недавно встретил своего давнего знакомого врача — психотерапевта Геннадия Давыдова. Медицину выбрал по призванию. Профессия в семье наследственная. Но вот поручили ему административные, хозяйственные вопросы в поликлинике. Несколько месяцев он добросовестно тащил тяжелый воз, но в конце года «забастовал»: «Вы меня временно назначили, ищите замену».

Так что же, в подобном и других случаях оказывать волевой нажим, увещевать или взывать к долгу? Но какой в этом прок, если специалист будет в дальнейшем трудиться без желаний и, главное, нельзя полностью рассчитывать на компетентность его решений.

Нам не хватает подвижников, энтузиастов и одновременно высокопрофессиональных специалистов именно в организационной сфере здравоохранения.

Руководствуясь профессиональным долгом и навыками организаторской работы, они не будут ждать, пока на других этажах административной лестницы произойдут существенные перемены, пока руководство не изменит мнение по важному для них вопросу. Они стыдятся своей профессиональной беспомощности перед длинными очередями в районной поликлинике, стыдятся, что не могут обеспечить качественного обслуживания каждого больного.

Энтузиасты организационной сферы здравоохранения могли бы помочь одиночкам-подвижникам с внедрением прогрессивных форм организации труда в медицине, о которых говорится в Основных направлениях развития охраны здоровья населения и перестройки здравоохранения. Это внедрение бригадных форм организации и оплаты труда медицинского персонала, расширение зон обслуживания, совмещение профессий, применение средств малой механизации, привлечение к практической работе студентов медицинских институтов и учащихся средних медицинских учебных заведений.

Они многое могут сделать, эти люди, но у нас их нет, по крайней мере, чрезвычайно мало. Профессиональные кадры организаторов здравоохранения — будущих главврачей, заведующих поликлиниками, руководителей медсанчастей в медицинских вузах республики не готовят.

В Москве, Ленинграде за это дело взялись. Не дорого ли нам обойдется промедление? Ставка на энтузиазм должна подкрепляться и деловыми расчетами. Не по причине ли скудости профессиональных знаний в организационной сфере здравоохранения, некомпетентности, отсутствия инициативы была забракована как не соответствующая действительному положению дел республиканская комплексная программа «Здоровье»? Не по этой ли причине у нас до сих пор в упадке охрана материнства и детства? Одни узкие специалисты подробно расскажут, как будущей матери вести себя в предродовой период, какими лекарствами пользоваться без ущерба для своего здоровья. А другие, педиатры, только руками всплеснут: «Вы же о матери заботитесь, а о ребенке забыли. Ему эти препараты во вред».

И у кого голова должна болеть, чтобы специалистов двух профессий состыковать? Предвижу, что завтра-послезавтра именно среди организаторов здравоохранения появятся свои подвижники, которые взломают лед профессионального холода к этому важнейшему роду деятельности. Думаю, им будет под силу изменить удручающе тяжелую ситуацию с нянечками и сиделками. Определить путем опроса общественного мнения уровень работы участковых врачей, вернуть нам семейных докторов.

Совсем недавно нас призывали радоваться великолепной статистике, согласно которой на каждую душу приходится больше всего врачей, койко-мест, санаториев и курортов.

В поликлиниках, где вся мебель стонала и трещала, где облупившиеся стены мрачным цветом напоминали казарму, бодрящие плакаты уверяли тех, кто уже не один час сидел с картонным номерком в очереди к терапевту, что у нас с заботой о здоровье все в полном порядке. А человеку не нужно плакатное счастье. Ему нужна конкретная забота, конкретная помощь. И тут за организаторами здравоохранения решающее слово.

Они многого смогут добиться. Но вот как бы не потянула назад одна из самых больных проблем — недостаточная материально-техническая обеспеченность сферы здравоохранения. Ведь мы привыкли на ней экономить. В итоге главврач, завполиклиникой и сейчас превращаются порой в снабженцев, выбивающих деньги на ремонт, проталкивающих заказы на оборудование. И это, конечно, не способствует росту престижа их деятельности. А главное, замкнувшись на хозяйственных хлопотах, руководители не имеют уже ни сил, ни времени на что-либо более важное, существенное.

Но и здесь, заметим, проблема на точке замерзания. Основными направлениями развития охраны здоровья населения и перестройки здравоохранения предусмотрены солидные капитальные вложения в различные сферы здравоохранения, создание крупных научных лечебных центров. Какой эффект они могут дать, можно проследить на примере лишь одного республиканского антиожогового центра. Использование современного оборудования, новейших медицинских достижений позволило группе вра-

чей-энтузиастов провести уникальные операции по использованию донорской селенки с целью остановить развитие сепсиса после тяжелых ожогов.

Однако энтузиазма в медицине сегодня мало. Он должен базироваться на хорошей научной основе. В здравоохранение властно вторгаются методы математического моделирования. В медицине используются знания кибернетики, современной физики. И уж как не похож лекарь-подвижник начала века на современного врача. Вспомним врачей-исследователей, делавших опыты на себе, чтобы выяснить действие коварного вируса на организм. Вспомним Антона Павловича Чехова. Смертельно больной чахоткой, он все же отправился на Сахалин, чтобы предать гласности данные о росте заболеваний, об ужасающем положении жителей края и тех, кто томится на каторге. А как не поклониться многим безвестным земским врачам, отправлявшимся в самые глухие уголки страны с единственной целью — помочь простым людям в профилактике заболеваний и лечить их, чего бы это ни стоило. Может, когда прошло так много времени, необходимость в подвижниках отпала и мы вполне можем обойтись без них?

В том-то и дело, что нет. Чем меньше этих самоотверженных людей в белых халатах, тем ниже опускается средний уровень медицинского обслуживания. Не случайно на протяжении веков в медицине, наряду с профессиональными знаниями, формировались нравственные нормы, идеалы бескорыстного служения благородному делу. Без них работа становится ремеслом, формальным исполнением обязанностей, когда за историей болезни не видят самого больного.

Подвижники, соль нашей земли, были и будут во все времена. Передо мной старый архивный снимок. Год 1920. Февральская поэмка. У санитарного поезда собрались люди в стареньких пальто, плащах, а то и просто в пиджаках. Старомодные пенсне, бородки клинышками — приметы интеллигентов старой формации. Но они, приняв сердцем идеалы революции, решили служить ей верой и правдой. И вот через несколько минут по перронному гудку отправятся в далекий Туркестанский край, чтобы по декрету Ленина начать большую работу по развитию здравоохранения в отсталой окраине бывшей Российской империи. История сохранила имена наших первых подвижников в медицине. Это профессора П. П. Ситковский, К. Г. Хрицов, А. Н. Крюков, Е. М. Шляхтин, И. П. Рождественский, М. А. Захарченко, В. В. Василевский, Н. Н. Маркелов, доктора Г. А. Ильин, М. В. Мухина, С. Э. Циммерман и другие. Они не делили работу на чисто медицинскую и общественную. Вели занятия в вузах, организовывали новые здравпункты, выбивали для них оборудование, лекарства. И еще выкраивали время (словно в сутках было не двадцать четыре часа, а двадцать восемь), чтобы принять больных, досконально разобраться в причинах эпидемий, рискуя здоровьем, делать анализы, до боли в глазах изучать в лаборатории гистологические срезы тканей.

Их самоотверженная работа всколыхнула большие людские массы. Сколько учеников сумели воспитать эти люди, сколько сердец зажгли своим энтузиазмом! И ведь были важные конкретные результаты. Локализованы и ликвидированы опасные инфекционные болезни, косившие тысячи людей. Грамотные профилактические мероприятия сыграли добрую роль в охране материнства и детства. Это поистине золотой опыт, который еще ждет своих настоящих исследователей.

Наверное, можно было бы, рассказав о плееде бескорыстных врачей-подвижников двадцатых годов, поставить точку.

Но вот вспомнился недавний разговор на эту тему с человеком молодым, но считающим, что знает не газетную, не книжную, а настоящую правду жизни.

— Подвижники, где вы их увидели? — усмехнулся он. — Да они сразу после революции почти и кончились. А тех, кто чудом сохранился, в тридцать седьмом во врагов народа записали. Да и война потом свое взяла. А сейчас хорошо лечат только за деньги или по знакомству.

И, право, не понимаю, зачем возрождать тип подвижника. У нас ведь он всегда был в какой-то степени великомучеником. Да если бы только сам мучился. А то ведь жена, дети страдают. Объясните, кому это нужно? Сейчас время удобных людей, а не этих отживающих чудаков.

И верно, как бы удобно, благополучно жилось в мире полного единомыслия, когда никто не «против» и все «за». Обидно признать, что нет у нас до сих пор совершенного, отлаженного механизма правовой защиты борца за истину, практически стремящегося осуществить перестройку не в абстрактном вселенском масштабе, а на своем конкретном участке, в сельской поликлинике, заводском здравпункте, современной клинике.

Эти люди не дают делу заснуть и не дают спокойно жить тем, кто хочет взять «литерный билет» до пенсии со старым багажом знаний. А может, кому-то приятнее думать, спокойнее жить с уверенностью, что «все берут», что честных не бывает, что лучше не будет и настоящие врачи давно перевелись. Это, наверное, как-то оправдывает личную боязнь высказать свое мнение.

Подвижничество — антитеза духовной нищете, и, может, поэтому его не прощают. В то же время это и шанс на то, что и в другой душе пробьется росток настоящего отношения к профессии, которое не приемлет ни малейшей фальши.



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

ПОЭЗИЯ ЛИНИИ И ЦВЕТА

Далеко не всегда художник, достигший зрелого возраста, умеет сохранить свежесть, непосредственность мировосприятия, остаться верным тем принципам и особенностям творчества, которые были характерны для него в молодости. Это возможно лишь в том случае, если в человеке не утрачиваются вера в себя и преданность искусству как главному делу своей жизни.

Именно эти качества отличают творчество художницы Изольды Константиновны Гартван, родившейся далеко от Узбекистана, но уже более 40 лет живущей в Ташкенте. Судьба не была к ней слишком благосклонна, и на протяжении долгих лет ей пришлось преодолевать немалые трудности. Выпускница ВХУТЕИНа, она с ранних лет своей творческой биографии работала как художник по тканям. Специфика этого вида искусства позже проявится в работах И. Гартван особой, насыщенной и напряженной цветовой гармонией, а иногда, если это необходимо, и дисгармонией. В портретах, сюжетных композициях и натюрмортах декоративные, цветовые контрасты станут определять психологическую значимость художественного образа.

Вскоре после окончания института художница начинает работать на Трехгорной мануфактуре. Изольда Константиновна вспоминает, какую радость испытывала она, создавая эскизы росписи тканей, как гордилась удачными решениями.

А потом была война и высылка из Москвы всех граждан немецкой национальности. Так И. К. Гартван с маленькой дочерью оказалась в Казахстане, в условиях, исключавших не только занятия искусством, но и даже возможность думать об этом. Но она сумела и тогда остаться художником. Эти трудные годы закалили ее, научили быть особенно благодарной людям, которые, невзирая ни на что, делали добро, помогали сохранить веру в жизнь.

Именно благодаря таким людям, которых оказалось совсем немало, И. К. Гартван в 1947 году начинает работать художником по тканям на Ташкентском текстильном комбинате. Руководство комбината поверило в талант одаренного человека и сделало все возможное и невозможное для того, чтобы получить разрешение на ее переезд в Ташкент.

К тому времени Изольда Константиновна была уже зрелым человеком, и потому неудивительно, что вскоре она начала работать так интенсивно, как никогда прежде. Орнаменты для тканей перестают быть главным содержанием ее искусства. С начала 50-х годов появляется большое количество акварелей, гуашей, рисунков, в которых ощущаются меткость взгляда, проникновение в специфику жизни и быта жителя Средней Азии, образ которого из экзотического постепенно превращается в прочувствованный и понятный.

Небольшие зарисовки из серии «По городам Средней Азии» художница делает на протяжении многих лет. Создавая портреты-эскизы народных мастеров — вышивальщиц, гончаров, пекарей, художница не претендует на раскрытие психологической глубины образов. Ее скорее привлекает общее состояние момента, декоративная выразительность аксессуаров, цветовая ритмика.

С начала 60-х годов И. К. Гартван много путешествует. И, конечно, в результате поездок появляются новые серии рисунков, акварелей и гуашей, составляющих серии «По Прибалтике», «По Северу» и другие. И хотя все они отличаются друг от друга внутренним состоянием, впечатлением, производимым на зрителя, безусловно, эти листы узнаваемы как произведения одного художника, тактичного и доброжелательного к людям, стремящегося увидеть все окружающее собственным особенным взглядом.

Видимо, этот все преломляющий взгляд определяет и своеобразие портретов И. К. Гартван — жанра, с которым связаны ее нынешние достижения в искусстве. Иной раз они достаточно сложны для восприятия, как бы нарочито противостоят банальности и стереотипу. Как правило, художница обращается к портретированию людей незаурядных, обладающих отчетливо выраженными проявлениями характера.

«Нина Павловна», «Портрет Нели», серия портретов коллег-художников — «Е. Мельникова», «Т. Мухамедова», «Э. Исхакова», «В. А. Фадеева» и др., созданные в разные годы, при всех различиях трактовки, имеют и безусловную общность отношения автора к людям.

Так, в персонажах не всегда абсолютно очевидно внешнее портретное сходство. Да это для художницы и не главное. Суть задачи заключается в раскрытии сложного внутреннего мира, или даже скорее состояния, выражении характерной для данного человека внутренней конфликтности.

Именно это делает образ узнаваемым и создает ощущение его напряженности, специфической драматичности,— почти всегда проглядывает второй план, в котором угадывается личность самой художницы.

Особую группу работ, созданных в последние годы, составляет серия исторических портретов. Впрочем, к некоторым из них такое определение может быть применено весьма условно, так как они возникли стихийно, без наличия какого-то бы ни было иконографического материала. Портреты «Жозеф Фуше», «Паганини» и некоторые другие — скорее обобщенные образы, вариации на тему, связанные не только и не столько с конкретными личностями, а прежде всего с олицетворенными в них понятиями — искусство, политика — и воплощенные в демонических и безраздельно преданных избранному пути людях.

Совсем иным настроением пронизаны многочисленные натюрморты, выполненные, чаще всего, в технике акварели. Мягкие по рисунку, они лиричны, прозрачны.

Своеобразное художественное видение отличает серию жанровых композиций «Поцелуй», «Развлечение» и др., в которых угадывается интерес художницы к традициям лубка, народного искусства,— тактично поданный юмор, порой с оттенком легкой сатиры, особый строй изобразительного языка.

Творчество И. К. Гартван очень самобытно. Можно, конечно, обнаружить в ее работах и влияние традиций русской иконописи, сказавшееся в лаконичности художественных образов и композиционных решений, и оригинальное преломление экспрессионистского метода, проявляющегося в трагическом звучании отдельных произведений. Но эти тенденции растворены в «лица необщем выраженьи» самой художницы.

Одной из самых заметных работ недавнего времени стал графический лист, созданный под впечатлением романа Ч. Айтматова «Плаха». Многозначный и противоречивый образ Авдия Калистратова послужил отправной точкой для создания произведения, в котором И. К. Гартван попыталась раскрыть свою меру потрясения жестокостью и сложностью сегодняшнего мира. Это не иллюстрация, а скорее размышление на тему, связанную с вечными, неисчерпаемыми вопросами бытия человечества.

Многие работы И. К. Гартван ассоциируются со стихами. И это не случайно. Она любит поэзию глубоко и самозабвенно, возгорается от каждой емкой строки, выразительной метафоры. Ее привлекает не лирика в чистом виде, а воплощенные в образах переживания, выражающие неординарное отношение человека к миру.

Небольшие по размеру, ее графические листы, гуаши и акварели, на первый взгляд, можно определить как произведения камерные. Но при внимательном рассмотрении проступает их глубинный смысл, понимание того, сколь серьезно и самобытно мыслит художник, стремясь приблизиться к философии художественного образа. Кстати, это никогда не становится самоцелью, оставаясь выражением внутренней потребности души.

Изольда Константиновна человек скромный. Ни в жизни, ни в творчестве она ни в коей мере не претендует на решение глобальных проблем. Но именно эта манера человеческого такта, симпатии к своим моделям и наделяет значительностью ее произведения и глубиной содержания их образы.

И. БУЛКИНА.



Хамид Исмаилов

НА КРЫЛЬЯХ КРИКА СВОЕГО...

ВОЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ О МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ УЗБЕКИСТАНА

Сентябрь, благодатный месяц, приносит на улицы Ташкента род дионисийского праздника: под звуки карнаев и сурнаев пекутся лепешки, варится плов, идет бойкая торговля сладостями. И среди этого пиршества, на пустыре, где раньше стоял шапито, между двумя высокими парами столбов натянута уходящая ввысь канат. А по нему, вдруг появляясь из-за голов людей, стоящих плотной толпой, раскачивая свой длинный равновесный шест, поднимается по тросу статный мужчина в золотканом халате. Стучат барабаны, и под их тревожную дробь над этими же головами восходит вверх совсем еще крохотный мальчишка, лет, может быть, пяти. Его ручки упираются в пояс мастера, а взгляд как бы прикован к своим красным носкам, семенящим в такт тревожной дробы.

Оба поднимаются вверх, барабаны стихают, и человек в еще более богатом халате кричит им снизу: «Абдулла, эй Абдулла!» «Лаббай!» — отвечает Абдулла. «Какое искусство вы нам покажете?» — «Послужу собравшимся». «Как же?» — спрашивает ведущий. «Взбегу к флагу Узбекистана!»

И опять под дразнящую дробь барабанов он стремительно уносится к флагу республики. Мальчишка остается один, и тогда ведущий кричит ему: «Шамшаджан, о Шамшаджан!» И не успевает он задать полагающийся вопрос, как мальчишка оттуда, с тридцатиметровой высоты, изо всех сил и совсем невпопад кричит своим тоненьким ангельским голосочком: «Чтобы служить своим братьям и сестрам!..» И его голос летит над людьми, и кажется, что на его крыльях он сделает свой первый шаг по этой тонкой, как волосок, линии, уводящей туда, где, полыхая в сини, плещется алый флаг...

Если непременно следовало бы сравнивать молодую узбекскую поэзию с чем-нибудь, то я бы сравнил ее с этим сентябрьским мальчишкой-канатоходцем. И даже допуская, что поэзию можно сравнивать с чем угодно:

добычей руды, сбором хлопка, молитвой, массовым внушением и т. д. и т. п. — попытаемся остаться «на высоте» этого сравнения, с тем, чтобы последовательно, как по канату, пройти тот путь, который прошла поэзия «восьмидесятых», чтобы прикоснуться к земле, откуда она начала восхождение, ощутить шаг того, идущего впереди, услышать в пронзительном голосе это: «Послужу собравшимся!» — и с высоты этого крика увидеть как бездну, так и ту единственную, шириной в четверть стопы, дорогу, влекущую вперед...

С легкой руки поэта литературная критика последних двадцати лет упорно ожидает прихода гения. Это ожидание порой становится ее навязчивым состоянием. Стареют суперновые сравнения, становясь салонными и энциклопедийными экспонатами, приходят и уходят Рубцовы, Высоцкие, Вацетисы, а критика в заранее установленном пункте Б все ожидает путника, вышедшего из пункта А. Уже, казалось бы, расчислено все, трудом огромной армии рецензентов, редакторов, критиков и литературоведов почти создан и негласно утвержден примерный устав поэтического творчества, который многими издательствами тиражирован до типового, а блудный сын в какой-то недосягаемой яви, как мальчишка на высоком канате поверх нас, крепко стоящих на земле, никак не хочет уподобляться гению. Там ли мы его ждем? Его ли ждем?

Или это род игры, который предлагает Мухаммад Солих, может быть, самый непредсказуемый из этих «восьмидесятников» Узбекистана.

Я обманул тебя. Эти цветы не пахнут,
Не трудись дышать ими.
И еще раз обманул —
Не тебе эти цветы.
И еще раз обману —
Нет никаких цветов в руках у меня.
Но и тебя, но и тебя ведь нет,
Так чего же я себя-то обманываю!¹

¹ Здесь и далее переводы с узбекского осуществлены автором статьи.

Зачем сегодня нужна поэзия? Зачем ходить по канату, если можно пройти тот же самый путь по земле или, в конце концов, по веревке, раскатанной по асфальту? И почему именно на поэзию мы возложили долг искупления за сегодняшнее состояние нашего духа?

Я думаю о том, как бы встретила критика сегодня Маяковского и каким бы он был — сегодняшний Маяковский. Появился он в Узбекистане, как это случилось в стихотворении Усмана Азимова «Разговор с Маяковским», то наверняка усилиями многочисленных литературных попечителей, стоящих у литературно-издательского конвейера, ему быстро был бы придан надлежащий потребительский вид. Ведь непременно нашелся бы рецензент, увидевший в «Юбилейном» оживление призраков, в «Облаке в штанах» — крайнюю степень эгоцентризма, модернизма и штанизма, а в «Бане» — голое посягательство на наши нравы.

Трудно пришлось бы Маяковскому, совсем как в его собственной жизни. Иное дело, как бы он себя теперь повел по У. Азимову:

Поэт уже не слышал моих слов,
Был пикой в небо взор его вонзенным.
(С телеги солнца, сеном нагруженной,
свисало равнодушие ослов).
— Постой, — сказал поэт,
— Постой, арба,
Я объявляю выговор светилу
за этот принцип «чтобы всем хватило»,
которым движет не борьба — гурьба!

Не этот ли ход арбы, постепенно подменивший «место поэта в рабочем строю» на «место под солнцем», которое всем светит равномерно, ничего не требуя взамен, заставляет теперь при ясном свете дня проглядывать в очевидных вещах их поржавевшую первозданность?

Критика теперь формирует поэзию, почти как пример превращает старика в юношу, и не потому ли возрастной ценз поэтов, печатающихся в «Юности», достиг почти предъюбилейного?

Поэзия — это нетрудное дело,
Достаточно рифмы «лесть» и «лесть».

Но есть ведь и то, что взрывает тело
незарифмованным «совесть» и «месть».

Так пишет самый молодой из поколения, Хуршид Даврон. Как возможна поэзия? — опять задумываемся мы. Как оправдание ожиданий или же как оправдание самой жизни?

Каждый следующий шаг по канату есть продолжение шагов предыдущих, и если ты пошел по этому волосяному пути, то остановка твоя равносильна падению... Мальчишка наверху теперь уже не оправдывает, а как бы отрицает наше наземное существование...

Собираясь в путь, в великий путь,
те, глядящие из-за пестрых шторок
в сотнях окон, милые слова
оставляю всем я, словно шорох,
мне не нужный на моем пути.
Не по мне герань и ароматы...
Речь, как хлеб,
и острая, как меч,
и, как яд, мгновенная, нужна ты!

Это — Шавкат Рахман, самый «упрямый»,

как он часто пишет, из этого поколения поэтов Узбекистана. Он первым променял исповедь на проповедь, возвращая поэтическому сознанию статус создания, завершая тем самым цикл движения, начатый в шестидесятых годах Рауфом Парфом:

Труден, труден стихотворный путь,
По строке идя канатоходцем,
Дух поэта будет, будет петь,
если шест над бездной не свихнется.

Будет петь о том, как высоки
небеса над ним, а шум не слышен.
Но когда б он думал средь строки
о паденье,
в путь едва ли б вышел.

Так возможна ли поэзия, когда волосяная линия каната не делится на две параллельные, по одной из которых мог бы пройти тот, кто проведет мальчишку за руку наверх?

Более чем где-либо, в Узбекистане представленные поэты-«восьмидесятники» сформировались как единое поколение, как некая «поэтическая команда». Это не пресловутая «обойма» произвольно набранных фамилий, но чрезвычайно интересное явление, порожденное симптоматичными сторонами духовной жизни Узбекистана последних лет.

Поколение «восьмидесятников» складывалось как поэтическая команда в силу прежде всего обстоятельств социокультурного порядка, затем — специфических обстоятельств литературного процесса, и, наконец, этому же способствовали особенности творчества каждого из названных поэтов. Разумеется, все это говорит с достаточной долей условности, ведь именно в поэзии эти границы между жизнью, литературой и сердцем поэта, казалось бы, должны сметаться: «Это было с страной, иль с другими, или в сердце было моем?»

Но когда жизнь дает иные образцы «жизни»?

Вот образцы существованья, Вертер.
Нет ни одной причины умереть,
но миллион причин к продленью жизни.
Мы с этой жизнью переплетены,
и если отвернет она лицо,
то мы повиснем на ее закорках.
Вот образцы существованья, Вертер,
Ваш век своих предателей, воров
на первый столб, на виселицу вешал.
Но это ведь дикарство, это зверство.
А вот у нас безворье. На Доску
Почета мы вывешиваем, Вертер.
Вот образцы существованья, верьте.
Теперь любой себе расчислил цену,
теперь любой хранит зеницей ока
свой беспримерно вызревший зрачок.

Мухаммад Солих сожалеет, что не смог показать Вертеру всех образцов существованья, процветающих на Урде и Хадре², но именно в этом его дополнили друзья по цеху. Едва ли хватило бы его одного, чтобы показать и десятую долю этих «образцов жизни», вызревшей к восьмидесятым годам.

...Мальчишка шел наверх, поддерживаемый равномерным стуком барабанов, и этот монотонный стук выбивался из нашей толпы и ассоциировался с некоей Инструкцией, требующей всеобщего прочтения:

² Районы в Ташкенте.

«Прежде чем всходить на канат, видимо, полезно вспомнить очевиднейшие правила как его установки, так и хождения по нему. Ясно, что канат, как целая система опорных столбов, перетяжек, самого каната, устанавливается на твердой почве. Разумеется, все составляющие этой системы должны быть надежны, прочны, крепки. Очевидно также, что всей этой системе надлежит быть строго ориентированной в пространстве, и «верх» ее есть верх, «низ» — низ, а не наоборот.

Далее, поднимаются и ходят по канату люди, специально к тому подготовленные, причем и им не рекомендуется при подъеме ни останавливаться, ни перепрыгивать на несколько шагов вперед. Человек, никогда не ходивший по канату и доставленный, скажем, подъемником наверх, видимо будет принужден или свалиться вниз, или при особых mesmerических способностях создавать иллюзию хождения или даже полета, дабы оправдать свое пребывание наверху».

Мальчишка шел наверх, уже не оглядываясь назад, туда, где устроитель в златотканом халате, прервав свою связь с восходящими, ходил по кругу и собирал со зрителей «кто сколько может»... Касалось ли это мальчишки?

Касалось ли это молодой узбекской поэзии? Давайте говорить лишь о том, что не могло ее не касаться, ее, как наиболее чувствительной ветви узбекской литературы.

Безудержная девальвация слова, воздушные замки, достойные королевства кривых зеркал, феодализм духа и вассалитет чиновничества, все это не только проникло в литературу, но во многом и формировалось, культивировалось ею. Вспоминаются слова Даниила Гранина, сказанные им на VIII съезде писателей страны, о разведчике, пришедшем из разведки и доложившем о ста вражеских танках. «Нет, — говорит ему руководство, — не сто, а двадцать пять». Не сбивай, дескать, морально-политического состояния. Названное им «литературными приписками», это явление запечатлело себя на скрижалях литературно-художественных журналов прошлого десятилетия и в Узбекистане. Не относя этого обвинения ко всей литературе, надо заметить, что именно обличение в массе такого явления объединило начинавших по-разному, вплоть до художественного взаимопризнания, поэтов. Максимализм правдоискательства присутствует в той или иной форме и в стихах каждого из них, и в афористически резких строках Шавката Рахмана:

Да, на этих просторах надо пахать,
до тех пор, пока ложь с наших рож не стечет,
до тех пор, пока горним законам под стать
виноватую голову
меч отсечет!

И во вселенских инвективах Усмана Азимова:

Даже в небо брошу нож,
если солнце стоит грош.
Если солнце стоит грош,
то не возвратится нож.
Если ж небом я гоним, —
что за дело нам двоим,
ну и разобьется нож
над кремнистым лбом моим...

И в рефлексиях Мухаммада Солиха:

Рука, нависающая с воздуха,
все тяжелеет, тяжелеет,
как яблоко ко сроку наливаясь.
Но,
это не яблоко размером с кулак,
это кулак, размером с яблоко.

Поэзия в лице этого поколения как бы наложила на себя аскезу за грех непомерно-го суесловия и празднословия, обильно представленного в «среднестатистической» поэзии, если ее можно так назвать, предыдущего десятилетия. Разумеется, в образцах этой «среднестатистической» версификации не было наверняка ни одной неверной мысли, ни одного неверного призыва, но ведь давно открыто уже не литераторами, что избыток информации — есть смерть эмоции.

Инфляция слова — хлеба насущного поэзии, не могла не вызвать поэтического противодействия, выразившегося прежде всего в поисках тех пластов языка, которые менее всего были затронуты червоточиною ложного пафоса. В узбекский стих 80-х годов вошла корявая речь городов и кишлаков, вошла обыденность, кашляющая от гербицидов:

Выросшая почти на хлопковом поле

Гульнар —
та певшая девочка из параллельного класса,
всем говорила, что будет певицей. Так ведь?
Умер отец. И снова на поле ушла она,
чтобы хлопковое поле — жизнь свою —
мерить не глазом,
а потом, замешанным на каких-то горьких
мечтаньях...
Так-то!

«Белое золото, создаваемое золотыми руками» не создается этой весьма поэтической фразой. В каждой коробочке хлопка труд и трудные, как в стихотворении Хуршида Даврана, судьбы несбывшихся, быть может, певцов и академиков. Ведь это не судьба одной только этой «девочки Гульнар из параллельного класса», а судьбы сотен и сотен детей из кишлаков Узбекистана, которые с самых начальных классов проходят уроки родного языка, математики, природоведения на хлопковых полях.

А ведь:

«...Увы,
Но песня не звучит,
когда ты надвое согнулся...» —

как сказал в эпиграфе к своему же стихотворению Шавкат Рахман. И стихотворение о том же тяжелом, как целая жизнь, хлопке:

Я заклинал,
как шаман и кликуша,
глядя на кустик, торчащий, как прут:
«Ради ушедших и ради грядущих
вырасти,
дерево-лилипут...»

...Ведь, над тобою сгибая спину
или не высказав, что на душе,
сто поколений, может быть, сгнуло,
или не выпрямит спину уже.

Вот такую цену задает «белому золоту» поэзия этого поколения. Резкая прозаизация языка поэзии, и не только в ее речевом аспекте, и не только в выборе тем и сюжетов, но прежде всего в самом взгляде на поэзию и ее предмет, — стало заметно отличать это поколение. И опять, в этой прозаизации языка поэзии не последнюю роль сыграл

социокультурный момент. Уроки правды беспощадны, как сверкающая полоса между светом и мраком. Так сверкает трос, и мальчишка, идущий вверх, вдруг попадает в круг солнца и сливается с ним.

Июльский воздух опалает дух.
Обилье блеска —
просто невозможно,
ладонями не прикрывая глаз,
глядеть на воду, на песок, на скалы.
Зато холодный мрак в густой тени
таинственно укрыл
и незаметно
подробности и мелкие детали,
которые мерцали на свету.
И, сравнивая перепады жизни,
ты попадаешь сам под свет и мрак,
где жажда жизни не дает покоя,
а тайна смерти
сковывает душу.

Эта антологическая оппозиционность, заданная их русскоязычным сверстником Сабитом Мадалиевым, может быть поверена каждым из поколения «восемидесятников». Непримируемость черного и белого, правды и лжи требует обнажения, поэтической графики, публицистики.

Расширение тематического ряда «новой волны», выход ее на открыто социальные публицистические выступления сопровождался противоположной на первый взгляд тенденцией самоуглубления поэзии, усиления в ней субъективного начала и в отдельных образцах, особенно Мухаммада Солиха, — ее некоторой герметизации. Но это противоположение диалектично по своей природе. Усердно изгоняемое сначала из жизни, а потом и из поэзии под видом борьбы за коллективизм, индивидуальное начало отомстило нам явлением, которое в самом общем виде называется бесхозяйственностью. Вместе с субъективностью поэзии была изгнана и персонифицированная ответственность за слово, и поэзия в своих «среднестатистических» образцах стала приобретать вид «коллективистской анонимности» и безликости — неоченимых качеств для серийного издательского производства. Душа поэта — не этикетка, наклеенная сверху на бутылочки с названием «что такое хорошо» и «что такое плохо», но, скорее, та лакмусовая бумажка, погруженная в это самое «хорошо и плохо», бумажка, иногда краснеющая от раствора, в котором она пребывает. Усману Азимову она однажды показалась даже червонцами, и он, застигший себя на этом, не скрылся в недра анонимности «злого» или всеобщего:

Я песню забыл. Надрывается ветер.
Строфы пустые уносит ли к крышам?
Как я просил: «Подожди до рассвета...»
Только мальчишка, не слушаясь, вышел.

На улице холодно было. Но замок
мой согревался от воя камня.
Пасьянс из банкнот обводивший глазами,
я выменял жизнь вот на это и вымер...

... И все-таки больно. Ведь этот мальчишка —
сам я, оставивший мне мое тело.
Теплое тело осталось под крышей,
ну а душа — под метель улетела.

Я, полюбивший шик, современность,
я позабыл свои строфы о плаче.

Он же оставил меня словно полость,
совесть и правда — мальчишка кишланный,

Чтобы однажды, на том что ли свете,
там, у развилки и ада и рая,
выйти, как могут забытые дети,
грешником вечным меня избирая.

Поэзия поверяет все прежде всего на себе самой и то, что называется «человеческим фактором», — это ее полигон испытаний. Героизм и подлость, предательство и самоотречение живут в глубоком нутре человека, порою и не зная себе названия, живут за стеной чужих и ничейных слов, и распознать их в себе, быть может, значительно важнее, нежели обличать или восторгаться ими анонимно и вне себя. По меньшей мере, это не раздваивает мораль на «для себя» и «для других».

Социокультурные извращения, вызвавшие к жизни целое поколение своих обвинителей, разумеется, не были фрагментарны, они невидимыми и тщательно скрываемыми корнями переплетались там, внизу, куда бы мог посмотреть мальчик с высоты своего незамутненного взгляда.

Эти извращения, долгие годы, казалось бы, предметом иных разбирательств, не только стали предметом литературы в силу своей нравственной, или скорее безнравственной, природы, но и породили новую молодую поэзию — художественность отрицания, ставшую своего рода типологической метой этого поколения в литературном процессе.

При всей универсальности нашего сквозного сравнения, я бы не осмелился распространить его и на литературный процесс в целом только в силу того, что тогда по канату пришлось бы идти с лицом, обращенным назад. Самое странное в том, что и канат с его канатоходцами, может быть, давно уже установлен на другом месте, однако неприкосновенность той самой «пуповой» точки отсчета блюдет земными устроителями литературы свято. Разрыв слова и дела, о котором мы говорили, имеет ведь и другую, не менее опасную сторону, когда жизнь и ее дела говорят на ином, новом языке, а слова, слова, слова остаются все теми же, как недвижимо камень Каабы. Должно быть очевидным, что новое мышление невозможно без нового языка, а кто более близок к языку, как не поэзия?

Синдром феодально-байского отношения к литературе, с превращением ее в собственную неприкосновенную делянку, где насажена картошка ли, хлопок, — главное, — снимать харадж, сопровождал узбекское «окололитературоведение» на протяжении десятилетий. Не потому ли, законсервированное в жесть двадцати-или тридцатилетней давности оценок, оно стало покрываться ржавчиной и своим набуханием представлять даже опасность. Эта опасность — далеко не метафора, она — родительница того самого «все хорошо, прекрасная маркиза», исподволь отравлявшая дух и тело нашего социального организма.

Проблема языка — это та болевая точка молодой узбекской поэзии, на которой сходятся, подобно пучку оголенных нервов, все проблемы сегодняшней, вчерашней и завтрашней культурной жизни Узбекистана.

Или это тот самый единственный канат, по которому всходит наш мальчишка. Наряду с указанной проблемой, девальвацией слова, проблема языка имеет еще один идеологический аспект, а именно — ту нить Мнемозины, которая называется культурой, и отношение к ней равносильно отношению канатоходца к своему канату. Здесь на пути к высоте противопоставлены шарахания и неоправданные прыжки, здесь каждый шаг вытекает из предыдущего и влечет за собой последующий.

Нет, не произвольна связь нынешней молодой узбекской поэзии с молодой поэзией двадцатых годов, если в воздухе опять носятся осужденные Лениным пролеткультовские идеи, ведь и тогда и сейчас молодая поэзия противостояла политической истерии тех «культурологов», которые громили некоторых пребывавших в ином миру поэтов лишь за то, что те при жизни, сотни лет тому назад, в конечном итоге, не были... «марксистами». Но кто, как не Маркс, научил человечество видеть историю как историю, а не истерию, кто подвергал все сомнению, критиковал всякую мало-мальскую догму и сверх представление о допустимости вечных, нетленных, абсолютных истин, кроме истины самой человеческой общественной жизни?

Мы теперь знаем, что манкуртизм по отношению к прошлому — есть отражение манкуртизма по отношению к будущему. Не об этом ли этот отрывок из стихотворения Шавката Рахмана «В автобусе»:

Автобус изнутри
корчму напоминает,
юнцами року в такт в корчме жуетса жвачка,
и, улучив момент, девицу зажимают,
и тискают ей грудь, и пользуются качкой.
И душу воротит от анекдотов сальных,—
вот их порыв души, вот путь, прямой и чистый.
Не спросит же никто, за что Индиру Ганди
в оптический прицел ввели сепаратисты?!

Скажите, в дне каком
вот эти обитают,
куда и с кем они, соединившись, едут?!
Они ли этот край своей землей считают,
они ли силой плеч с землей разделят беды?!

Дает плоды лишь то, что имеет корни. Вот какую правду отстаивает поколение поэтов-«восьмидесятников».

Поиск своих глубинных корней при резкой модернизации структуры и ткани самого стиха можно сравнить с верблюжьей колючкой, да, да, того самого растения, которое шаром катится по пустыне, но которое выживает, лишь протягивая свои корни на многометровую глубину. И в этом молодая поэзия, которую легко, даже на фоне предыдущего поколения, обвинить в нетрадиционности, прорывается куда как глубже, чем доступно корням, лежащим на самой поверхности, на том самом верхнем, «культурном» слое почвы, который виден и невооруженным глазом. Это прорыв к архаике узбекской поэзии, к незамутненному фольклорному мышлению, варварской раскрепощенности рунических надписей, к тому становящемуся, что не приобрело при жизни этикетных, обрядных форм.

И опять аналогия заставляет нас вспомнить как узбекскую поэзию двадцатых годов с ее теоретическими изысканиями по древне-

тюркской литературе, так и, с другой стороны, молодую русскую поэзию наших лет с ее тягой в допушкинскую пору формирования русского стихосложения.

Вот маленький отрывок из «Даров истины» Ахмада Югнаки — древнетюркского поэта XII века:

Когда сведет душа
в самой себе две вещи —
то скроет мужу путь, что был доселе вещим:
одно — когда тот муж болтает понапрасну,
другое — если он то лжет, а то клеветет.

И два других отрывка, первый из Рауфа Парфи:

Отчего? К чему ты говоришь так много?
Ведь это и не нужно. Ведь это и напрасно.
Совсем-совсем не нужно. И ты ведь не обман.
И твой язык по форме — как тот листок
зеленый.

Не дерево же ты, довольно, замолчи.

Второй «Заявление» Усмана Азимова, оборванное в его последней книге «Урок» на второй строчке:

Только людям не лгите.
Ничего мне не надо, ...

И еще — стихотворение Мухаммада Солиха «Мера»:

У Клеветы огромная пасть. Приблизительно
она равна наверно уху Сплетни.

Если пользоваться литературоведческими терминами Востока, то «лафз» (форма выражения) здесь иной, а «маъно» (смысл, содержание) почти то же. Остается сожалеть не по поводу традиционности поэзии, а скорее по поводу неизменности, устойчивости «маъно» Болтовни, Лжи, Клеветы, Сплетни при совершенно иных формах жизни «лафз».

Художественность отрицания, определившая место этой «команды» в литературном процессе, на своем метауровне выступила, как было показано выше, в форме отрицания самого типа литературного мышления. Симбиоз этого мышления как нельзя лучше соответствовал застою и его же воспроизводил. Не имея мало-мальского противостояния в «синхронике», этот симбиоз заполучил оппозицию в «диахронике», и если продолжать сосюровские противоположения, то его «язык» перестал быть «речью», превратившись в непререкаемый догмат. Вот почему следующим, вторым уровнем художественности отрицания стал язык художественного воспроизведения, язык, понятый и в широком и в узком смысле. Как следует из изложенного ранее, этот процесс шел по нескольким направляющим, и он еще далеко не завершен, но суть его большей частью свелась к поиску не языка, но речи, гибкой, обнаженной, сиюминутно-реагирующей. При большой доле публицистичности, ее не следует синонимизировать с последней, но лучше запомнить, как в стихотворении Мухаммада Солиха «Зимняя ветка»: «Безлистая Голая Горькая. Чем еще выразить одиночество ветки? Чего тебе еще нужно? Ты сам попробуй потерять что эта ветка потеряла... Но ты упрямо обнажаешь слово, упрямо обнажаешь

эту ветку: И вот она в конце концов — и слова «одинок» сиротливой, и даже слова «призрачная» тоще, секущий прут — свистит на голом древе.

И, наконец, еще одним уровнем порожденной этим поколением художественности отрицания стал структурно-семантический уровень художественного произведения, его композиционная, образная, словесная составляющие. Но этот уровень интересно соотносить с третьей из главных причин рождения поэтической команды «восьмидесятников», особенностями поэтики каждого из этих молодых узбекских поэтов, сложивших в некую своеобразную «Хамсу» или «Пятерицу» духовное наследие гениального Навои.

...Пять лет было мальчику, прошедшему этот долгий путь наверх. Теперь, стоя там, в крестовине двух жердей, он смотрел вместе со всеми на грациозный шаг своего предшественника, теперь, оставшийся вне внимания всех, он по-мальчишески порывался ступить на этот канат, до которого он столько добирался, но его ножки, обутые в красные носки, как бы обжигались от первого шага, и он опять подбирал их к крестовине, продолжая с восхищением смотреть на стремительный шаг к флагу Абдуллы. Знал ли мальчишка, что со смятения начинается всякий путь, узнает ли когда он строчки, написанные пять сотен лет назад великим Навои в «Смятении праведных» — первом шаге его грандиозной «Пятерицы»:

Между приходом и исходом миг вплетен,
и, между тем, был этим разум мой смятен.

Рауф Парфи старше поколения на десятилетие. Он был послом, зачастую непонимаемым, западной поэзии в узбекском стихосложении и реставратором классических древностей поэзии Востока.

Смятение оправдывает его шаги. То смятение, когда вдруг понимаешь, что тебе «никогда, никогда не узнать, чего же хочет плачущая птица за стеклами окна». Эти стекла — мета раннего творчества Парфи. Снег бьется в эти окна, птица плачет, стекает дождь. Эта прозрачная граница между двумя мирами, внутренним и внешним, — та хрупкая плоскость, на которую ложатся изображения с обеих сторон. Парфи понимает, что неравноценность напора на эту плоскость разбивает стекло, его инструмент — это взгляд, проникающий в оба мира и соединяющий их, и вот «дождь, идущий за окном, дорогой взглядом стекает на белый лист бумаги», или наоборот, глаза, на которые наброшены сети ресниц, как «сквозь решетки тюрьмы смотрят в бесконечные и свободные небеса. На солнце смотрят!» Естественно, что взгляд может задерживаться то по ту сторону, то по эту, где его ждут обвинения в то в риторике, то в герметичности, но изображение на стыке двух сред, снимающее оппозицию «внешнее — внутреннее», «земля — небо», «тело — дух», освоено Парфи в различных вариантах: «по волнам рек написана газель», «сквозь толщу вод просвечивает камень», «кровь рек, текущая в карту».

Но вот в стихотворении «Памяти Айбека» луна, плывущая по глади родника и вдруг занесенная лавиной, кажется теперь навеки погребенной. Но взгляд, обращенный в не-

беса, находит ее плывущей там, в вековой выси. В ее собственной яви, которая, между тем, есть отраженная явь жизни человеческой. (Ойбек на узбекском производное от «ой» — луна). Следующий за сборниками «Изображение» и «Эхо» сборник Парфи называется «Память». Здесь эта граница, бывшая холодным и хрупким стеклом, вдруг превращается в трепещущую, «прекрасную, цветастую бабочку», смятенно пляшущую как Великое Сожаление любви двоих, разошедшихся по две стороны этой ожившей границы. Смятение этой бабочки — в том пространстве памяти между «ты уходишь, говоря прощай» и «остаюсь я, сам себя ища». Диссонанс разведенных миров заставляет творить поэта то в пространстве последней песни Виктора Хары, то романс-воспоминания о матери, но свести эти миры — это все равно что «разжечь полуживой костер, сложив с дровами свои руки». И тогда преодолевается и это смятение. Вот они теперь, два мира, соединенные тобой, когда:

...колючей проволокою терний
я в череде тебя оставлю.
И взор расплавою предвечерним
нахлынуть на тебя заставлю,
в слезах моих ты будешь плавать...

«Глаза» — называется следующий сборник Парфи, и «в небесах этих глаз» равны и Гамлет, и фиалка, тьма внутри и вовне, миг и Ван-Гог, словом, теперь, как сказал поэт, «читай весь смысл в моих глазах».

... Было видно, как мальчишка разыгрывает в себе целое представление, впитывая каждый шаг пляшущего Абдуллы. В этот миг он был похож на Фархада, следящего за мастерскими действиями Карена:

Скажи, зачем мне прятать ремесло,
пока его песком не занесло?!
И он гранит, что с черным сердцем схож,
стал прорезать, как масло режет нож.
(«Фархад и Ширин», Навои)

И в это мгновение имя мальчишки было — Усман Азимов. И не только внешние аксессуары — нож и гранит (хотя и это противопоставление, имеющее более распространенную форму — «нашла коса на камень», — одна из типологических маркировок творчества Усмана) — выдавали его, но и эта жажда представления, зрелища.

Ташкентский регион — исторически место пересечения многих путей, идущих отовсюду, и не он ли взрастил творческую отзывчивость Парфи и назначил ему сферу притязаний: «я — мир». Усман — байсунец, он из края, где горы и реки рождают бахши — народных сказителей, где исторически сильна общинность, которая не только в поэтических турнирах или козлодраниях, собирающих многие кишлаки, но и в самом характере живущих здесь людей. Не потому ли вся поэзия Усмана происходит в бесконечном и неисчерпаемом промежутке между «я» и «ты». Она внутренне и органически драматична. Смятение порождает действие, а всякое действие есть драма, разыгрываемая им совместно с противодействием. Вот главный формообразующий принцип поэзии Усмана.

Он театрален во всем, и это его органика. Каждое его стихотворение — это действие,

внутренне диалогичное, монологи невозможны в его творчестве. Весьма примечательно, что единственный монолог, написанный им,— это «Монолог суфлера», то есть монолог, несущий противоречие в самом себе.

Усман диалогичен во всем, у него даже параллельные линии существуют лишь затем, чтобы между ними возникло общение, отсутствие которого делает их существование трагедией. Каждое стихотворение поэта — это общение, это акт коммуникации. В этом общении нет дискриминаций, это общение пантеистично. Его лирический герой обращается на равных к богу, к ружью, Самарканду, степи, трамваю или к птице. Их равенство обуславливает их свободную взаимопревращаемость.

О травы, не по вам ли мои скучают ноги,
О горы, ваша гордость, как пик кардиограммы.

Ягненок где-то плачет и бродит одиноко,
или же это горечь пошла одна горами...

Самое страшное для Усмана — остаться неслышанным или непонятым, нет наказания ему страшнее одиночества. «Человека надо понять» — говорит поэт. Он ищет ответного понимания. Но его отсутствие столь же трагично, как и отсутствие самого общения. Драматичность противопоставления «я» и «ты» рождает нравственный накал стихотворений поэта, в которых господствуют «лед» и «пламень», белое и черное.

Именно он ввел в современную узбекскую поэзию форпост нравственных испытаний — армейскую жизнь.

Он ввел в современную узбекскую поэзию еще одну лабораторию нравственных поисков — театральную жизнь, где «слова печатаются не на бумагу, а печатаются в души». В этом желании немедленного отклика, первом условии живого общения (не так ли импровизируют бахши, глядящие на своих зрителей), корни диалогичности и театральности поэзии Усмана Азимова.

Ему не нужно играть никого, ему не нужно перевоплощаться. Если он хочет что-либо познать, он обращается напрямую. В этом смысле он традиционен, как традиционны бахши, поэтому он любит развернутые формы, а в последнее время и непосредственно обратился к созданию большого цикла «Бахшиена», широко используя в нем фольклорное начало.

Пространство между «я» и «ты» вмещает все богатство межчеловеческих отношений: вражду и ненависть, дружбу и любовь. Преодоление этого пространства подобно тому, как Фархад прорубает скалы для прокладки живительного канала, у устья которого его ждет встреча с Ширин.

Такова традиция любовной лирики Усмана, творящейся на пределе разрыва, разлуки. «Меж правдой и ложью скитаясь, я плакал, дрожал, восторгался... С твоими глазами считаясь, я сам от себя отказался...»

Внутренне присущая поэту работа «на сопротивлении материала» рождает темперамент и накал, сила которых и сводит извечные противостояния. Это искра между полюсами, и не потому ли любим Усманом образ огня, возникающего как корона, как венец:

Меня так сотворили:
и ствол мой коряв,
невзрачно мое цветенье,
если плод мой и тронут, то только дыряв
от армады термитов, ищущих тени.
Так прощайте! Теперь мой исход предрешен,
соплеменникам трогаю влажные ветки,
И вязанкою дров, всех сомнений лишен,
становлюсь я огнем. Ухожу навеки.

... Если следовать водами Аму-дарьи, то из Сурхана можно попасть в Хорезм, благодатный оазис среди раскаленных песков, в «малую», но великую родину Мухаммада Солиха. Если земля предков накладывает отпечаток на творчество, то надо сказать, что эта древняя земля — все равно что мираж в бесконечных песках, но мираж, сотворенный человеческими руками. Поле Солиха простирается между «я» и «я», и там, где у Парфи располагалось стекло, а у Усмана — его многоликий собеседник, у Солиха стоит зеркало. Оно стоит лишь поначалу, а потом падает:

Падает зеркало. Вещи
в нем отражаются в спешке...
Кувиркнувшись последний раз,
в потолок усталился
осколок от битья.
И пустой, он глядит,
как глаз,
глаз покойника из небытия.

Зеркало, отражавшее поэта как весь мир («я поставил себя напротив себя») и разбитое вдребезги, несет в каждом из своих осколков потенциальную реальность цельности. «Обрывки жестов, глаз увядших стебли, осколки лиц, и среди них застывший муж с обрезком языка, и в этом заколдованном пространстве, в этом доме увидел я портрет...»

Каждый из осколков укрупняется Солихом и получает статус мира, статус творения, что бы он ни отражал. Это отражение он изучает с дотошностью демиурга, разглядывая его со всех возможных сторон, в поле его зрения может оказаться прощание в прихожей или пустой карман, какое-нибудь из слов или смерть. Зеркало переводит объем в плоскость и позволяет препарировать отраженное до его обнаженной сути, и в этом препарировании Солих чем-то напоминает своего великого земляка, поэта Нишоти, жившего в XVIII веке и написавшего поэму «Краса и Сердце», в которой он разъял свое собственное «я» на пятьдесят с лишним составляющих свойств, и мир отношений их описал в пятнадцати тысячах строках, преодолев границу между микро-и макрокосмосом.

Но ведь и у зеркала есть мнимое пространство, есть то Зеркальце, которое свободно обживает Солих, где он «начинает свою вторую жизнь». Он часто мистифицирует читателя, оказываясь то в том мнимом, то в этом реальном пространстве («если ждете, то ждите меня только в том, неожиданном месте»), он свободно меняет их местами, событие, начинавшееся здесь, заканчивается там, и наоборот. Нет, это не мистика — Зазеркалье, у него множество форм: сон и явь, логика и металогика, слово и значение, время и вечность, жизнь и смерть.

Выворот ситуации дает возможность празднику поздравить людей, а снегу идти с

земли и покрывать головы. Иногда Солих может спрятаться в промежутке между этими пространствами, «как гость, оставшийся за занавесом памяти». Он может взять любой из осколков и, сделав его миром, соотнести его с реальным и соизмерить их. «Создайте памятник дороге, а потом ноге... ноге, торчащей из дороги, той жилистой, что лезет из-под джинсов... Потом сойдите со своих машин, сойдите со своих велосипедов и поклонитесь до земли ноге, той человеческой ноге последней...»

Он комбинирует осколки, складывает их в ряды, собирает из них целые мозаичные панно. Он также комбинирует осколки зеркала и то, что они отражают, имена и значения, которые могут существовать совсем раздельно, разъято из-за того, что зеркало разбито, а прообраз жив. Здесь тема бродит в поисках формы, разлука разыскивает человека, в которого хочет вселиться, счастье, мерцающее в зеркале, ищет себе название.

Стоя там, где ему не может быть хуже, чем есть, точно так же, как и не лучше, Солих одной рукой развоплощает косное и другой воплощает призрачное. Идет человек и натывается на дверь, поставленную им, и останавливается. «Чего ты уставился на эти ворота?... Ах, да...» Человек уходит. Но остановившуюся радость, застывшие думы и изваяния намерений не сдвинуть теперь ни на шаг...

Отсюда парадоксальность ситуаций, отсюда, через их изнанку,— тот абсурд, что творится наяву. Руки, прущие из всех пор дехканина, метонимично заменяют его всего, и если он сеет на колхозном поле хлопок, то у себя во дворе он вынужден сажать руки, руки...

В мнимом пространстве длится или укорачивается мнимое время, во всяком случае, оно обращается, и Солих часто поворачивает его вспять, «к наименее красивой смерти — лета», туда, где вечность ребенка равна вечности мудрого Яссави, где не разбито зеркало луны и сознания, где небо хранит свою луну, как последнюю таньгу на свой черный день...

«Сотый или тысячный Меджнун, еще один поэт», но ведь Лейли одна, она одна у каждого из этих Меджнунов.

«Спалит весь мир один мой вздох, став бедствием неудержимым, когда в душе моей Меджнун не погнушается огнем» — сказал Навои, и разве не Лейли увидел Солих в той туче, которая показалась ему женщиной, некогда любимой. «И если туча — именно та женщина, и если именно на ту похожа, то стало быть луна, лежащая у ног ее луна, — то зеркало, что выброшено ею, той женщиной отброшенное зеркало...»

Цельная в своей призрачной яви, не она ли вернула ему явь, из которой он мог произнести как оправдание или обличение:

За дух, разбитый вдребезги, не брызгай
тем раздраженьем, метаями в меня.
Ведь слово Дух не я своим капризом
Платону над пещерою вменял!

...В это мгновение, как тень из платоновской пещеры, упала с высоты тень иная, тень мальчика, идущего по канату, и с ней сорвался шепот, ищущий, как Меджнун

свою Лейли, ту половинку отражения, которая как эхо дает звуку воплотиться в слово «Счастье» или в:

Иду по канату. Как радостно жить!
Зажмурю глаза от слепого восторга —
Не там судный мост, и не тем ему быть,
Он здесь, на канате, как жизнь, да и только!..
А там, под канатом, притихший, заметь,
Единственный зритель — сообщница, смерть.

... В «Семи страничках» — четвертой поэме «Хамсы» Навои — рассказывается о том, как царь Бахрам, получив от художника Мани портрет красавицы Диларам, влюбляется в нее, ищет и находит красавицу. Но потом пустячная обида во время конной охоты заставляет его бросить в степи Диларам и долго мучиться затем в ее поисках. Дабы хоть как-то скрасить свое одинокое существование, царь строит семь разноцветных дворцов и в каждом из них выслушивает по одной сказке от семи царевен, странниц, и каждая из сказок все более усугубляет его горе. Последняя и вовсе оказывается сказкой о Диларам, в которой горестные воспоминания переплетаются с жизнью, а жизнь рождает новые воспоминания...

Воспоминание, художник, семь цветов радуги, лошадь, сказка, голубые купола дворцов — но ведь это самые любимые и самые частые образы стихотворений Хуршида Даврана. Они легки и неуловимы, как ветер, они светлы и прозрачны, как детство, они вмещают в себя весь мир, как память. «Голос детства» назвал свою последнюю книгу Хуршид, и мало что так искренно могло бы выразить суть его творчества. Ему и название нашпал сам голос детства, естественный и истинный, чистый и высокий.

Дитя, что вышло из ворот зимы,
увидело пробившийся подснежник,
и сердце, полное еще блаженной тьмы,
качнулось тенью осторожной, нежной,
как бы пытаясь осознать росток
как то, что белым, белым светом скрыто,
Он смотрит, словно луч, наискосок, —
он — тот, отвергший свою тьму, мыслитель.

Детство у Хуршида — категория и мировоззренческая, и эстетическая, детство у Хуршида — категория универсальная. Детство позволяет ему понимать язык птиц без перевода. «Я обратился этой ночью в дерево», — говорит ребенок, и мы ждем, как он расскажет нам свой сон, сон дерева в лунную ночь. Детство — это «птицы, понастроившие в сердце гнезда и улетевшие». Эти гнезда не сквозят пустотой, в них теплится воспоминание.

В это воспоминание вмещаются и тысячелетия жизни Самарканда, родины Хуршида, и глаза Томирис, и голоса войны, и песня матери над колыбелькой.

Воспоминания, как и детство, несут в себе тот порядок, тот рисунок жизни, который продиктован деревьями в саду или цветами в восточной миниатюре, Хуршид гармоничен и живописен по своей природе, его гармония — это чистота линий и цвета. Но это и застывший сад...

Ночные сады похожи на снимки,
где все черно-бело, контрастно и четко.
Ах, ночью они — словно память в решетке.
Но днем я меняюсь свободой с ними.

Ночные сады на снимки похожи,
Там черные точки порошит ветрами:
Чем дальше глядишь, тем длиннее и память,
морозом бегущая долго по коже...

Детство и память — это и нравственные категории Хуршида. Сегодняшний день — это воспоминание для дня завтрашнего, и если «я жалел своего отца, когда голос его дрожал и слезы накатывались на глаза, читающие мне «Кунтугмыша», теперь, когда я читаю тебе, и голос дрожит, и руки, и слезы... и ты пожалей меня, сын мой...» Правда мира — это детство, и когда в Бейруте разрывается бомба и падает мальчик, «бегу, бегу и думаю со страхом, бегу и думаю: «Не мой ли это мальчик?»

И вдруг, как в «Семи странницах», в ее последней сказке, я ощутил, что и воспоминания, и мифы Хуршида, это не только рассказанное и запечатленное, это творящееся и продолжающееся, это живущее и длящееся, и если поэт идет по кишлакам и городам в рубище старьевщика и, заглядывая в каждый дом, каждую калитку, спрашивает: «Есть слова? Ищу слова», — и если то девочка с сорока косичками, а то ветхая старушка выносят ему, может быть, последнее, он, кричащий уже на всю округу: «Прошу слова!» — не тот ли мальчик, который шел по канату на крыльях своего голоса, голоса детства?!

... И вот когда мальчик безоглядно пошел вперед и вверх, кто-то внизу прошептал:

Дуо айлабон сурди доно макол,
К-эй шавкатинга фалак поймол.

Это уже потом перевелось как:

Изрек молитвой он такое слово,
Что небо пало перед этой славой.

А в ту минуту, услышав слова Навои из его «Вала Искандера», последней поэмы «Пятерицы», я был сокрушен их высшим соответствием крику мальчишки, и еще что-то из услышанного, как заноза в сознании, заставляло снова и снова возвращаться к этим словам. Может быть, я искал произшедшего их человека и подбирал ему имя: Мухаммад Рахман, Мирза Кенджабаев, Юлдаш Эшбеков или, может быть, Кутлибек Рахимбаев? Их много, молодых узбекских поэтов, наследников великого Мир-Алишера, каждый — как ветвь на древе его поэзии, и каждый из них мог произнести бы эти слова из «Хамсы», глядя с нами ввысь, но ведь эти слова именно из «Хамсы», из «Вала Искандера», эти слова... и, мысленно повторяя их, я произнес: Шавкат, да, это Шавкат Рахман.

Он родом из Ферганской долины, из древнего города Оша, завершающего нашу циклическую линию, проведенную вокруг Ташкента. Этот древний край был спасен от многих опустошительных нашествий, как валом Искандера — высокими горами, защищавшими благодатную землю долины от холодных ветров. И не потому ли в поэзии Шавката горы — символ того высокого и несуетного, что прежде всего защищает, противостоят не менее страшным нашествиям бездуховности, лжи и зла. И миссия поэта, в представлении его, подобна «горам, взявшим на плечи всю тяжесть небес».

Когда-то, а ведь это было десяток лет назад, Шавкат начинал с «высокой и сосре-

доточенной поэзии вершин», мудрой и отстраненной, с бесконечными горизонтами и голубым, как дыхание, небом. Но и он познал сошествие на «круги ада», где «на сердце гвоздятся удары» того вечного Сатаны, принимающего вид то клеветника, то предателя, то манкурта. «Окаменеть. Уж лучше камнем быть» — мог повторить Шавкат за великим Микельанджело, за великим Сфинксом или за великими горами. Но не в камне ли рождается цветок и не в горе ли закипает вулкан?! И на тех кругах, «где, сам того не ведая, вдруг превращается в удар!», этот переводчик газелей и касид Лорки, этот задумчивый мальчик, «забравший немного страданий у города и утренним поездом в даль уезжающий», взорвался временем:

Время не спит, воинственно зрея,
не ищет оно ни окошка, ни дверцы,
а вдруг разрывает кровавое сердце.

Не этот ли взрыв вселил в Искандера ойкуменическую идею, не он ли «своей десницей кровавой» подвинул пророка глаголом жечь сердца людей? Но не в песках, в их бесконечной рассыпчатости, а в горах был этот голос поэту, воскликнувший, что «столь великий край, о как нуждается в своих великих людях!» «Но ведь земной цветок мечтаний вянет в двух лапах грязных низменных страстей. Собрать ли девяносто девять тысяч стенований предков в тот единый голос и испустить тот стон, который небо может разорвать?!»

Горы пришли в движение, их кремень выскел искры из слов, а в основании гранитных пород проснулись солдаты, воины, они раскрыли свои беспощадные глаза на всем протяжении от Азии и до Европы, как бы говоря:

Мертвые глаз не имеют? Вранье
тех, кто людское и предал и продал.
Каркает черное воронье
по-над живым и над мертвым народом.
Нет же! Глаза, что глубже звезд,
не уничтожит змея или птица.
И вечно рука, что потянется вскользь
прикрыть те глаза,
их огнем опалится!

Эта обнажившаяся совесть, убитая, но не мертвая, стала, может быть, самым величественным героем поэзии Шавката, а «поэзия — это разве не перевод слова «геройство»? «Поэзия Шавката обнажилась, как обнажается огненная проповедь, как обнажается кричащий голос, как обнажается рука Искандера, оставляющая землю... «Как поздно осознал тебя я, Родина, и если разобьется вдруг звезда, как я стерплю все то, что так угроблено, как в твоих недрах мне лежать тогда?!»

... И вдруг из-под самых небес низринул голос мальчишки, идущего к флагу, и все взоры обратились туда, откуда только что несло это пронзительное «Чтобы послужить собравшимся!» Мальчишка уже не шел, он летел на крыльях крика своего, казалось, оставляя нам обрывок жгучей песни:

Знаете,
в это мгновение всю душу
жжет, как бикфордовый шнур, канат.
Лечу я, лечу, словно крик из удушья,
лечу, словно птица из пламени, над...



ПОДПРОСТРАНСТВО БЕЗ УНИКАЛЬНОСТИ

Абдухаки Фазылов. Судьбы вертящееся колесо. Фантастические повести и рассказы, Ташкент. Издательство «Еш гвардия», 1987 г.

Нет, не радуют многотысячную армию любителей фантастики издательства республики! Чрезвычайно редко выходят на русском языке книги в заветной серии «Приключения. Фантастика». Тем острее ожидание каждой из них. А если на обложке уже знакомое имя и первая встреча с начинающим фантастом запомнилась, то новую книгу открываешь с чувством нетерпеливого любопытства и надежды.

Научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, писатель Абдухаки Фазылов вышел к читателю со второй книгой фантастики. В ней, кроме уже публиковавшихся рассказов, представлены две новые повести: «Уникальное подпространство» и «Судьбы вертящееся колесо» — разные по содержанию, по стилю, по художественному исполнению.

О рассказах много говорить не надо. Три из них, включенные в книгу, еще раз подчеркнули сильные стороны фантастики А. Фазылова: историзм и социальность («Восточное вращение»), выверенность научных посылок («Лавина»), достоверность детали, рождающая «эффект присутствия» («Мираж»). Замечательно еще и то, что, хотя большую часть своих сюжетов писатель строит на восточном материале, все его произведения проникнуты подлинным интернационализмом. Фазылов верен науке, а мысль научная — интернациональна по своей природе.

А что же новые повести?

«Главное — ясно, с чем надо бороться», — такова заключительная фраза «Уникального подпространства». Сочувственно принимаемая замысел этой — увы! — не уникальной повести, скажу, что зря писатель прибережет столь ясные слова для финала. Они могли бы прозвучать в любой части произведения, в котором все однозначно и все понятно с первых же страниц.

В определении жанра повести отсутствует столь существенное для А. Фазылова уточнение «научная». Что ж, жанр ненаучной фантастики подарил миру не одно прекрасное произведение. Как говорится, не все, что не наука, — плохо, любовь, например, тоже — не наука. Естественно, встречи с пред-

ставителями преисподней и путешествия в их владения не вписываются в рамки научности. Позволю себе уточнить: «Уникальное подпространство» — скорее памфлет, обличающий властолюбцев и приспособленцев от науки, памфлет с элементами фантастики, что не такая уж и новость. Вспомним «Город Желтого Дьявола» А. М. Горького.

А. Фазылов рисует душную атмосферу одного из академических научных институтов, вымышленного, конечно, НИИ катализа. Дутые авторитеты, цепкие прохиндеи, закосневшие прагматики, хилые душой исполнители чужой воли, подхалимы всех мастей — вот пышный букет на синтетическом древе органической химии, среди ядовитых испарений которого трудно, почти невозможно дышать и самостоятельно мыслить.

На чересчур талантливо и самостоятельноного тут всегда найдутся и узды, и шоры, а при необходимости — и острые шпоры. Само явление высвечено и обозначено писателем достаточно точно и выпукло.

Странно только, почему так долго идет к прозрению герой повести.

«... Меня почему-то начали оттирать от науки. Вначале незаметно, исподтишка, потом все откровеннее, но при этом юридически почти безукоризненно... Неудачи в химии я со временем преодолел, но неприятности продолжали прогрессировать самостоятельно, с прежним успехом. Под различными благоприятными предложениями мне отказали в штатных единицах, оборудовании, в рабочих площадях, вообще в любом начинании... Я метался, как раненый зверь, ничего не понимая в происходящем. Хорошо, что пришли на помощь умные люди... Они и растолковали мне, что к чему».

В этом, чуть сокращенном мною абзаце, достаточно четко обрисована ситуация, в которую попал герой. Жаль, что скупая информация не содержит и намек на художественность, — нельзя ведь считать творческой находкой метафору «метался, как раненый зверь». Но, так или иначе, нам дали понять, что условия для работы героя сложились невыносимые. Что же предпринимает он? Да ничего! Решает, что благоразумнее поменять место работы, уйти. Но куда? «Конечно, в вуз. Сейчас все «неудачники» в науке, такие, как ты, бегут именно туда». Так бы оно и вышло, и получил бы вуз еще одного случайного педагога, кабы... И тут мы встречаемся... с нечистой силой. Синий чертик — шайтан, нарисованный кем-то на странице солидного периодического

научного издания, оживает, чтобы на время стать союзником молодому ученому в борьбе с околонуучной мафией, с ее подлостью и корыстью, с остерегающим равнодушием людей удачливых, с угодливой трусостью теряющих себя «неудачников». Пусть прием не нов, но он давал писателю возможность создать едкую и острую фантазмагорию, тем паче, что под его прицел попали явления и факты до мерзости реальные, причем не только в недавнюю эпоху застоя.

И все-таки вместо громового залпа прозвучал бутафорский хлопок.

Почему? Ведь автор точно выписывает узнаваемые фигуры: властолюбивого и беспринципного директора НИИ Алима Акрамовича, его «правую руку», изворотливого зама Расула Сагдуллаевича, расчетливого завлаба Бузрукходжу Саидходжаевича, члена совета, обладателя «бархатного голоса», льющего патоку славословия, Моисея Львовича и прочая, и прочая, — ту обильную пену на живительной струе науки, которая несет с собой всю околонуучную грязь и псевдонаучный мусор.

Неудача постигла автора потому, что ему не хватило веры в собственные силы. Подчеркиваю, я говорю об авторе, — не о герое. Герой — вообще не борец, даже в союзе с шайтаном он не поднимается выше принципа «посмотрим, что из этого выйдет». Во всех обстоятельствах он остается за кулисами действий.

А автор? Коль так беспомощен герой повести, значит, должен звать гневный смех писателя. Но А. Фазылов осторожен. Написанное кажется ему достаточно смелым. Видимо, сказался фактор времени, ведь повесть писалась еще в доперестроечный период. Судя по почерку, писалась быстро и сбивчиво, с огромным желанием выговориться, поведать миру о гнетущих проявлениях несправедливости, обмана и подлости под прикрытием прекрасных лозунгов о прогрессе общества. Тема горькая и острая, проблема гжучая. Но не сумел А. Фазылов найти художественных решений, адекватных значению темы.

Растущая гласность последних лет сменила и ракурс, и масштабы, по которым мы сверяем успехи и неудачи художника. Тут-то и оказалось, что злодеи Фазылова мелки, а «сатанинский» смех автора — не более чем отдаленные отголоски чужого грома.

Фантасту А. Фазылову не хватает... фантазии. Даже при описании ада он местами избобретателен и остроумен, но не более. И здесь — масса нереализованных возможностей, хотя бы в идее ДЗД — департамента земных дел. Что это такое? Зеркальное отражение — бюрократический собор, так похожий на наши земные ведомственные институты. Куда сильнее прозвучал бы обличающий смех, если бы бюрократы были — адскими, их выдумки — сатанинскими, испытания — дьявольскими, бессмыслицы — чертовски абсурдными!

Ей-богу (или черт побери!), муки грешников в модернизированном аду А. Фазылова не вызывают ни содрогания, ни мысли о справедливом возмездии. Порой они просто наивно невинны, как, например, наказание бывших леваков-шоферов томительным ожиданием рейсовых автобусов.

Писатель, видимо, чувствует непрочность своих построений, нелепость союза с нечистой силой в борьбе с реальным земным злом и к концу повести приходит к банальнойшему выводу: «причина всех зол кроется здесь, на Земле, — в нас самих».

По замыслу автора, земной НИИ катализирует и осовремененная преисподняя и есть уникальное подпространство в обширных пределах нашего общественного бытия. Однако описанный НИИ — явление отнюдь не уникальное, не случайно недавно приняты решения о коренной перестройке деятельности научных организаций. И адскому подпространству как раз не хватает уникальности, которая заставила бы поверить в его реальность, четче и выпуклей обрисовала бы темные фигуры, высветила теневые стороны нашей жизни. Увы, удар пришелся мимо цели.

Столь же категорично берусь утверждать, что небольшая — чуть более сорока страниц — повесть «Судьбы вертящегося колеса» — это несомненный успех писателя, шаг вперед в осмыслении нашей действительности.

Здесь интерес читателя поддерживают точность детали, разнообразие и органичность научных посылок, широкая эрудиция и высокая культура, обогащающие сюжет, эмоциональная и раскованная манера письма, ранее для автора не характерная. Но главное, что делает повесть яркой и необходимой, это обращение к жгучей теме исторической памяти.

... В одном из секторов Галактики колонистами с Земли заселена планета. Пестрый состав переселенцев, практически неограниченные ресурсы энергии на планете, колоссальное расстояние до метрополии, интересы отдельных групп, вставших у власти, — все это привело к провозглашению независимости планеты и ее полной изоляции — с помощью мощных физических полей — от Земли. Материальную изоляцию подкрепила изоляция духовная. Власть решила уничтожить все, что напоминает жителям о жизни их соплеменников на Земле. Под рукой оказалась и скороспелая «теория мира», достаточно убедительная для обывателя: «... любые разногласия, распри и возможные войны на планете могут возникнуть только как естественное следствие различия в традициях народов, исторически сложившихся претензий их друг к другу и, наконец, их национального самосознания, опять же связанного с осознанием своей истории».

В жертву «теории мира» были принесены не только история, но и практически вся культура, ибо она не может существовать вне истории.

Без диких оргий и криков, в тишине и спокойствии был осуществлен жуткий акт вандализма: люди потеряли прошлое...

Народ без истории. Может ли он существовать и полноценно развиваться? Нет, решительно отвечает писатель. Высокоразвитое технократическое общество начинает ощущать острый духовный голод.

«... Там, в прошлом, остались невообразимые беды и глубочайшие трагедии, счастливейшая и несчастливейшая любовь. Неопишуемые страдания и возвышенный триумф людей, целых народов... Только они, они все

вместе, могли быть тем пьедесталом, без которого немислим дальнейший духовный рост. Сейчас человек искал этот фундамент. Он искал свою историю».

Цивилизация или деградирует, или движется вперед, вглубь, восстанавливая истину.

На планете образуется Центр по восстановлению истории.

Увлекательно описывает А. Фазылов работу двух различных групп Центра, противоборство не просто научных методик, но крупных личностей и разных интересов.

Там, где на первый план выступают личные амбиции, теряется научная объективность, а следом закономерно идут подлость и предательство. Представитель этой линии, сподобный ученый, математик и кибернетик Грегор терпит научное фиаско и личный крах не только в силу черт своего характера, но и из-за глубокого неверия в силу мысли и в прошлом, и в настоящем.

Вдохновенная и мощная человеческая мысль должна оставить свой физический след в материале, с которым работал художник,— эта научная гипотеза талантливых ученых Гесэра и Сурхана, своеобразный гимн Человеку разумному. Именно она позволяет восстановить подлинный ход истории по двум десяткам картин, чудом уцелевших от уничтожения. Безусловной находкой является реализованная в повести мысль писателя о том, что сюжет картины, собственно изображение, даже самое гениальное, беднее чувств и мыслей настоящего художника. Вера в человека — вот что движет учеными, обеспечивает восстановление исторической памяти.

Но есть люди, облеченные властью, которым правда истории невыгодна и страшна. «Это они быстро смекнули, что после полного уничтожения истории народы превратятся в скопище духовно нищих, безвольных людей без прошлого, без традиций. Они увидели в этом соблазнительную возможность формирования из однородной, податливой пластичной массы типовых, легко управляемых производительных сил... Они всячески устрашали людей ужасами войн, в которых якобы повинно только знание истории. Сейчас-то люди понимают, что на Земле войны скорее всего объясняются иными, более убедительными теориями...»

Ради своих целей люди эти готовы пойти и идут на прямые преступления. Они уничтожают последние свидетельства далекой и близкой истории. Но победа остается за честными и свободными людьми, выполняющими волю народа. Победа придет в трудной борьбе.

Не эти ли борения мы видим сейчас в сложных процессах перестройки нашего общества, где в вихреверчении дум и действий сплелись сложные проблемы, обусловленные пренебрежением к урокам истории?

Художественные несовершенства есть и в этой повести. Иногда писатель сбивается на скороговорку, идет на поводу у упрощенной схемы. Но они преодолеваются движением раскрепощенной мысли, подкрепленной чистотой и открытостью чувства,— всем тем, за что мы и любим фантастику.

К. АКСЕНОВ.

ТАКАЯ ПРОСТАЯ, ТАКАЯ НЕОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Олег Сидельников. Мгновения долгой жизни. Записки очень старой женщины и другие материалы. Издательство имени Гафура Гуляма. Ташкент. 1987.

Неумолимое время все дальше уносит в прошлое события семнадцатого года, когда прогромычала над Россией очистительная гроза революции, разрушив насквозь прогнившую самодержавную государственную машину и открыв эру народовластия. Но и сегодня, спустя семь десятилетий, нам дороги все свидетельства очевидцев той героической революционной эпохи. Они необходимы историкам, читателям, всем нам. Там, у истоков, ищем мы ответы на многие вопросы, которые задают обществу сегодняшние наши дела, когда ветер обновления сдувает пыль с фолиантов, рушит догмы и стереотипы. И потому с неподдельным интересом начинаешь знакомство с новой книгой ташкентского прозаика Олега Сидельникова «Мгновения долгой жизни».

Книга не имеет привычного жанрового определения, подзаголовок ее гласит: «Записки очень старой женщины и другие материалы». В аннотации она названа романтизированными мемуарами. А сам автор в предисловии уведомляет, что его произведение представляет собой беллетризованную биографию простой русской женщины Анны Петровны Кленовой, которая «не совершала героических поступков, и память о ней не занесена на скрижали истории». Что ж, сохранить для нас и наших потомков светлый образ женщины, которая прожила жизнь долгую, трудную, внеся свою несомненную лепту в нашу Историю,— цель действительно благородная. Невольно вспоминаются хрестоматийные строки Ф. Тютчева: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые!» А Анна Петровна Кленова была не только свидетелем роковых мгновений эпохи, но и участником.

Детство и молодость Кленовой прошли в рабочей окраине Санкт-Петербурга — на Выборгской стороне. Отец ее был литейщиком, отличался добротой и простодушием. Поверив сладким посулам провокатора попа Гапона, отправился, взяв с собой сына и дочь, с демонстрацией обманутой к Зимнему дворцу, к царю-батюшке. В «кровавое воскресенье» 9 января лишилась девочка и брата, и отца. Семья осталась без кормильца.

Пришлось двенадцатилетней Анне искать работу. Повезло ей — обучилась мастерить дамские шляпки, стала относительно неплохо зарабатывать. Однажды Анна и ее младшая сестренка спасли от жандармов революционера Ивана Климова, который стал другом семьи, а затем и мужем сестры. Довелось Анне и в Ницце побывать наперсницей графской дочери. Участвовала она в демонстрации протеста против расстрела рабочих на Ленских приисках. Когда началась мировая война, записалась Анна Петровна на курсы сестер милосердия, была

на фронте, участвовала в боях, затем работала в Петроградском госпитале. На глазах Анны Петровны проходили все знаменательные вехи бурного семнадцатого года — и февральские события, и приезд В. И. Ленина в Петроград, и октябрьское вооруженное восстание пролетариата. Ее воспоминания хронологически завершаются днями установления Советской власти в столице, однако отдельные экскурсы приводят и в далекое прошлое, и в наши дни. Ткань повествования с большей или меньшей степенью целесообразности рассеяна тремя крупными вставками-новеллами — это, надо полагать, те самые «другие материалы», о которых читателя уведомлял подзаголовок книги.

В первой новелле речь идет о необыкновенных былинных приключениях и путешествиях прапрадеда героини богатыря Савелия Бунтарева, который жил в годы правления Павла I и Александра I.

Вторая новелла повествует о невероятных, в духе Жюль Верна и Майн Рида, приключениях Антона Кленова — будущего супруга Анны Петровны. В каких только экзотических переделках не довелось ему побывать! В детстве прорезался у паренька великолепный голос, с девяти лет началась его артистическая карьера. Юношей сбежал он из России на английском корабле в дальние края. В Тихом океане во время тайфуна корабль потерпел крушение, все погибли, кроме Антона. Спас парня пиратский корабль «Фортуна». Пираты в конце концов были схвачены английскими военными моряками, всех их ожидало возмездие. Но и тут улыбнулась удача Кленову — его выручает соотечественник.

В третьей вставной новелле читатель знакомится с письмами большевика Ивана Климова жене. В них описаны перипетии работы большевистских агитаторов на Волге в канун Октябрьской революции.

Диапазон повествования в книге Олега Сидельникова обширен и многогранен, места действия меняются с кинематографической быстротой. Здесь много трагичного, но немало и юмора, который обычно присущ произведениям О. Сидельникова. Встречаются любопытные малоизвестные исторические факты и детали. Однако же, когда книга прочитана, возникает и непроизвольное, порою весьма сильное чувство неудовлетворенности. Почему?

Думается, что главная причина все-таки в неопределенности жанра, который был избран автором. Сей гибрид, к сожалению, не на всех страницах книги «Мгновения долгой жизни» дал жизнестойкие плоды. Органического сращения мемуарного материала с беллетристической манерой изложения добиться повсеместно не удалось. Ведь читатель в зависимости от жанра, заявленного автором, воспринимает текст по-разному, восприятие перестраивается. Если это мемуары, то приводимые факты, какими бы удивительными они ни казались, сомнению не подвергаются — что ж, мол, не доверять, в жизни всякое бывает. Факты можно комментировать и анализировать, но нельзя игнорировать. А вот вымысел, если только автор задался целью создать реалистическое произведение, должен быть облачен в форму художественного правдо-

подобия. Перефразируя известную латинскую поговорку, можно утверждать: что позволено факту, не позволено вымыслу. Именно поэтому приключения Антона Кленова пробуждают сомнения: а не разыгрывает ли читателя автор, а не мистификация ли весь этот букет приключений?

Источником сомнений становится очень часто и диалог, к которому автор прибегает со щедростью романиста. Многочисленные разговоры, вполне естественные и живые в романе или рассказе, порою неуместны в документированном повествовании. Стоило ли так часто диалогическую форму использовать для описания событий, о которых героиня вспоминает спустя шесть или семь десятилетий, воспроизводя беседы с дотошной подробностью? Могла ли, например, Анна Петровна во всех деталях, оттенках и подробностях сохранить в памяти и описать такой вот разговор со своей подругой по изготовлению шляпок:

«Толкую Марусе:

— Сама же рассказывала о жизни Варвары Алексеевны. Хуже каторги. Мы с тобою хоть бедные, но честные.

— А я не желаю всю жизнь шляпки для других мадам шить. Сама желаю в шляпках щеголять!

— Погоди, Марусенька, потерпи маленько. Видишь ведь, революционеры жизнью своих не жалеют, чтобы народу было хорошо.

— А что толку?.. Не вышло у них ничего.

— Выйдет еще.

— Когда это будет! А молодость моя проходит... А тут один гвардейский офицер, полковник, к Варваре Алексеевне в гости ходит. Богатый. И не старый еще. Предлагает мне квартиру-боньерку...

— Бомбоньерку,— поправляю.— И надо «квартира» говорить».

И так далее, еще на полстраницы... Или вот еще. Анна Петровна рассказывает о приезде с фронта своего будущего супруга Антона Кленова и жителя Туркестанского края Джуманияза. После долгих мытарств Джуманияз Иргашев стал денщиком некоего шального подполковника, графа Воронцова. Так вот, излагая Анне Петровне обстоятельства знакомства с этим офицером, Джуманияз ухитряется повторить вслед за графом цитату из стихотворения А. Блока «Россия, нищая Россия».

Остановится тут читатель, засомневается: неужели Джуманияз, слабо знающий русский язык, смог выучить наизусть это четверостишие? И неужели Анна Петровна смогла спустя много лет воспроизвести во всех подробностях и этот рассказ, и эти стихи? Подобных эпизодов, которые то и дело пробуждают недоверие к повествованию, в книге многовато. Избранную автором беллетристическую форму, быть может, стоило бы как-то подкрепить и обогатить.

Опыт создания развернутой художественной биографии рядовой труженицы любопытен. Каждый человек, проживший достойно долгую трудовую жизнь,— это своеобразная вселенная. И даже если дела и свершения этого человека не были замечены музой истории Клио, для современника его жизнь всегда поучительна.

А. СЕДОВА.



Я. Толчан

БЕЗ ПРИКРАС

Сначала скажу коротко о том, как начался мой путь в кинематограф, который и вывел меня, коренного москвича, на пути-дороги в сказочные в то далекое время края родной земли.

Демобилизованный в 1920 году из Аэрофотограммшколы ВВС, я был основательно обучен воздушному и наземному фотографированию. Тогда и возникла еще до конца не определившаяся близость к будущей профессии: при обучении в авиашколе воздушные маршруты снимались на широкую фотопленку специальными французскими аппаратами, в которых был механизм для прерывистого продвижения пленки — словно покадровая съемка мультфильма.

Профессия фотографа была тогда довольно редкой, и все же, несмотря на имевшуюся постоянно работу, и особенно интересные съемки спектаклей в театрах Вахтангова и Мейерхольда, неизменным оставалось влечение к профессии кинематографиста. Когда в 1923 году открылся Госкинотехникум, я немедленно поступил туда учиться.

Оказалось, что мои знания фотопроцессов и опыт обращения с аппаратурой и пленкой были настолько близки к основам профессии кинооператора, что вскоре я уже объяснял студентам и даже некоторым преподавателям конструктивные особенности единственного в техникуме аппарата, порядок зарядки и управления.

Было яростное желание снимать, но где достать аппарат? На всю страну было их тогда, может быть, всего несколько десятков, немецких и французских конструкций.

Я не верю в приметы, но есть одно слово «кисмет» (по-арабски — судьба), которое сопровождает меня всю жизнь, вспоминается в радостные, поддерживает в трудные минуты.

Как не довериться волшебному слову. Случайно узнал от старшего брата, актера театра Вахтангова, что его друг, отчаянный фотолюбитель, вернулся из командировки в Швецию и привез удивительную новинку — маленький любительский киноаппаратик марки «СЭТ», изготовленный по патенту французского изобретателя и автора первых киносюжетиков Луи Люмьеры какой-то шведской фирмой. Это было чудо: вместо рукоятки для вращения механизма аппарата, стоящего на громоздком штативе, — сильная патефонная пружина. Съемка с рук, быстрота передвижения и смены любых точек — какая свобода для оператора! А главное, что заряжается он не узкой, а стандартной пленкой — можно снимать кинохронику. Вместимость кассетки всего пять метров, но и этот недостаток можно преодолеть быстрой перезарядкой аппарата. На первой же пробе «Обучение будущих актеров верховой езде» я «создал» эффектный кадр. Лежа под барьером, снял прыжок через себя всадника — на экране конь «прыгал» в зрительный зал.

О Дзиге Вертове, руководителе отдела кинохроники студии «Культкино», я знал от его брата, как и я, курсанта военной школы. По его совету, вооружившись своим аппаратиком, я и направился на улицу Горького (тогда Тверскую) в студию. В подвале перед монтажной я увидел Вертова в окружении группы операторов около стоявшего на здоровенном штативе странного вида аппарата Патэ по прозванию «верблюд».

Заявляю Вертову прямо — хочу у вас работать.

— Очерь рад, но нет аппаратов, все пять на съемках.

— А у меня есть.

— Принесите.

— Да вот он! — и вынул из футляра моего «маленького».

Бурное оживление и смех. А когда «СЭТ» звонко затрещал в моих руках, кто-то уже презрительно окрестил меня «оператором с будильником». Я разозлился: «Готов дублировать любой сюжет».

— Завтра приезд из Ленинграда академиков. Снимайте на пару с Ваней Беляковым.

На платформе вокзала Ваню с его «верблюдом» сразу затолкали, а я проскочил к вагону, снял выход старцев и проход их во двор к машинам. И снова, как при съемке верховой езды, эффектный заключительный кадр — когда милиционер зазевался, глядя на академиков, я мгновенно вскарабкался на высокие вокзальные ворота и снял оттуда проезд всей кавалькады.

Снято отлично, с экономией до метра пленки — все вошло в очерк. Это была победа!

Вертов был в восторге. Он сразу оценил преимущества съемки хроникальных сюжетов ручной камерой и стал поручать мне в основном спортивные темы, постоянно напоминая о самом важном — крупных планах, отражающих душевное состояние участников событий. Опыт убедил

меня, что те хроникальные очерки полноценны, в которых, по определению Вертова, «без актерских прикрас» показано состояние человека, отражена «правда жизни». Кинохроникеру нужна мгновенная реакция, быстрые ноги и острый глаз — тогда все это у меня было.

И вновь — кismet! Срочная съемка в Средней Азии. Нужно успеть сделать ответственный репортаж — киноочерк о праздновании пятилетия Казахстана. Свободных операторов нет, все в разъездах, и Вертов доверяет мне ехать в далекий край с дряхлым французским аппаратом «Эклер» и коробкой пленки. Конечно, со мной для крупных планов и на аварийный случай малыш «СЭТ».

Тогда уже само путешествие было для меня, коренного москвича, немалым событием — поезд тащился почти пять суток, ехали с «небольшим» беспокойством — обстрелом ночью басмачами. Но какое значение могли иметь любые трудности перед предстоящей съемкой неповторимого события — празднования годовщины молодой Казахской республики в ее тогдашней столице Кызыл-Орде, на берегу широкой мутной Сырдарьи.

После холодной и дождливой Москвы совершенно неожиданным показался глинобитный одноэтажный городишко, испепеленный нещадным солнцем. Да и номер гостиницы, точнее, угол в юрте, не сулил особого комфорта. В первый же вечер, пока я, накрывшись кошмой, заряжал кассету пленкой, меня едва не съели блохи. Но все это с лихвой окупалось радушием хозяев и яркими впечатлениями от новизны окружающей жизни. Для работы мне был даже предоставлен единственный в городе автомобиль «Пежо». Перевязанный во всех направлениях проволокой и веревками, он все же двигался, правда, в горку — при поддержке зрителей.

Оставалось еще два дня до праздников, и я стал снимать жизнь города. Какой подъем бурлил вокруг! Кипела стройка. Примечательно, что первыми объектами были школа и больница. Караванами телег, запряженных лошаадьми, верблюдами, быками и ослами — всеми видами парнокопытных рогатых и безрогих «двигателей» степного транспорта, с шумом, криками и песнями возили кирпич и доски. Под ногами и колесами шныряла неугомонная малышня. Звуковому кино предстояло родиться еще не скоро, и теперь, вспоминая, я искренне жалею, что не было возможности записать потрясающую симфонию звуков, разносившихся над широкой Сырдарьей.

Вокруг раскинулся целый городок войлочных палаток. На торжества за сотни верст съехались чабаны, гуртоправы, охотники, акыны на любых четвероногих, которых только можно оседлать. Да еще к хвостам верблюдов и лошадей привязаны полудикие охотничьи собаки. На подставках, притороченных к седлам, застыли грозные беркуты. Все это галдит, визжит, брыкается и кусается. Щедрое солнце, песни, улыбки, смех — народный праздник!

И вот в наступившей тишине оркестр играет «Интернационал». Начинается демонстрация. Во главе колонны самый организованный и большой отряд — пионеры с транспарантом, на котором по-казахски и русски написано «За рабочее дело смена смене идет».

На другой день все оказываются на самом большом в мире, созданном самой природой, стадионе — овальной ровной долине с беговой дорожкой в пять верст. В скачках на девять кругов участвуют мальчишки 14—15 лет. Здесь свои удивительные правила: на финишной прямой родственники наездника бросаются помогать измученным лошадям, подхватывают их за что попало: уздечку, хвост, седло. Вся эта галдящая орава с лошаадьми, которые на весу, только по воздуху перебирают ногами, проносится к финишу в туче пыли. Победителя торжественно снимают с лошади и награждают призом. Герой едва стоит на ногах — велико стремление к победе у мальчишки, который выдержал почти шестьдесят километров отчаянной скачки.

Теперь начинается главное состязание — «копкары», объясняют мне, по-русски — «козлодрание». Мне довелось тогда, после московских стадионов, снимать в степи этот удивительный вид спортивной борьбы. В ней участвуют две команды. На середине поля выезжают седой судья — аскал с тушей козла, лежащего поперек седла. Команды построены, туша козла летит на землю, и начинается игра — не игра, а схватка за добычу. Внезапно стоявший в стороне всадник, подскочив к месту схватки, поднял коня на дыбы и буквально врубился в толпу игроков. Прошли какие-то мгновенья, и я вижу, как он уже вырвался из круга преследователей и мчится к своему флагу, стоящему у края долины. Козел у него — он крепко прижат к лошади коленом. Всадник словно припаян к седлу — невозможно вырвать у него добычу. Конец бешеной скачки у флага, трофей брошен на землю. Здесь ждет победителя и приз — большой семейный самовар.

Такой спорт мог родиться только на степных просторах у народа, выросшего в седле.

После жаркой и пыльной Кызыл-Орды два дня передышки, и снова в путь, теперь не так далеко: снять очерк о праздновании пятилетия в уже посыпанной снежком области Мари. Тогда и столица Марийской АССР, ныне благоустроенный город Йошкар-Ола, назывался Краснококшайском, а до революции — Царевококшайском: городишко на притоке Волги, реке Кокшаге.

В день торжества все жители города и окрестных деревень — на митинге. Площадь заполнена празднично разодетым народом. Сохранился снимок — группа ярко одетых женщин в холщовых, расшитых богатым национальным орнаментом кофтах и юбках, оригинальной формы головных уборах, в тяжелых ожерельях из серебряных монет. Это активистки, представительницы дальних сел. Они выступают с речами на марийском языке, стоя у своего знамени темно-вишневого бархата, на котором вышито: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Крестьянка, иди под знамя Коммунистической партии!»

Снятые спортивные сюжеты и очерки о пятилетии Казахстана и области Мари создали во мне уверенность, что я в какой-то степени овладел съемочной техникой, а у Вертова — убеждение, что преподанные им основы работы хроникера мною освоены хорошо. Вероятно, мне удалось достаточно полно и убедительно отразить то, что на короткие мгновения возникало передо мной на съемке, в визире аппарата.

Новый большой фильм Вертова первоначально назывался «Пробег киноглаза сквозь СССР по цепи Госторговского аппарата». Создавался он по заказу Госторга Наркомата внешней торговли как некий рекламный фильм об экспорте. Возникла увлекательная перспектива: используя многочисленные филиалы и фактории Госторга, показать обширную географию страны, жизнь и быт народов далеких окраин нашего многонационального государства.

С радостью я узнал, что на мою долю выпала экспедиция в Узбекистан, на сказочный для меня Восток.

Основным заданием было снять очерк о каракулеводстве и заготовке шкурок.

Перед отъездом, на последней беседе, были составлены конспективные записи, которые сохранились на пожелтевших блокнотных листах. Вот одна из схем, относящихся к каракулеводству и быту:

«ПРИРОДА
СТАДО
пастух — ОВЦА — сторожа, собаки
инструменты, приемы — ШКУРА — инструменты, приемы

СОЛКА ОТДЕЛКА

ВЫВОЗ
ДЕНЬГИ
магазин — ГОСТОРГ — базар
из каракуля — ВЕЩИ — купленные на базаре
музыка, мелодии, слова — СТАРЫЙ БЫТ — жизнь города, поселка,
ночные моменты, природа
старый быт, свадьба,
праздник, похороны — НОВЫЙ БЫТ — свадьба, праздник, похороны,
снятие чадры».

Ташкент — отправная точка нашей экспедиции. Ночью разбудили стрельба и конский топот. Вскоре все затихло. Такого, да чтобы в центральном городе, — я не слышал с семнадцатого года.

Утром решил пойти и выяснить, что случилось. Представьте себе столь колоритное зрелище: на середине слияния двух широких дорог, ведущих к центру города, стоит венский стул, на котором восседает, нога на ногу, девица. Рядом, опираясь на саблю, — высокий стройный красавец милиционер. Через плечо у него винтовка, в руке хлыст. Разговорились. По чертам лица и акценту ясно, что он не местный житель. Действительно, он оказался словоохотливым грузином из Тбилиси. Его жгучие взгляды на сидящую рядом даму навели на мысль, что это не только служебный пост, но и сердечная встреча. Его обязанность — регулировать движение на главной магистрали, ведущей к центру города. Неторопливо движутся повозки, арбы на громадных колесах, всадники. Но его главная забота — следить за гуманным отношением всадников к своим «младшим братьям»: сгонять с ишака второго, с коня третьего наездника. И еще — поддать лишнему на память хлыстом, если только это не старый человек. Своей властью, да еще в присутствии дамы, кабальеро пользуется с явным удовольствием.

Расправившись с очередным седоком, он объясняет, что случилось ночью: «Приезжают, понимаешь, днем в город. Под большим халатом хоть пулемет спрятать можно. Ночью грабили, стреляли, ускакали». Все очень просто и убедительно.

Вскоре я увидел одного, возможно, такого деятеля. Вроде ничего особенного — обросший щетиной угрюмый всадник лет тридцати в затрепанном грязном халате. Окинул меня быстрым взглядом и отвернулся. Но конь! Такой красоты я еще в жизни не видел: золотисто-рыжий, высокий, стройный. «Арабской породы», — восторженно шепчет милиционер. И как ухожен! В отличие от оборванца всадника, на нем дорогой текинский ковер, сбруя блистает серебром, усеяна бирюзой. Видно, заметил всадник наши восхищенные взгляды, тронул коня не то поводом, не то стремелем. Как на показ загарцевал конь. Что же это значит: оборванец на таком богато обряженном коне? А это уж как водится — всего ему дороже его гордость и друг, быстرونогий красивый конь.

А для себя ему ничего не надо. Вот он и надевает для виду рваный халат, а добра-то у такого джигита хватает.

...Ни дня задержки — вертовская схема гонит вперед. После, казалось, бесконечного пути от Москвы, до Самарканда, можно сказать, рукой подать. Передо мной чудеса восточной архитектуры — минареты на площади Регистана. Нужно снять общий вид города. Но куда? Оказывается, внутри башни есть ход наверх. Это был единственный случай, когда я снимался в кино. Установив на штативе большой аппарат в направлении верха башни, я показал моему спутнику, в данном случае мой ассистенту оператора, как снять «ценный» документальный кадр. Конечно, опять выручил мой маленький дружок «СЭТ». Винтовой лаз так тесен, что пришлось аппаратик и сумку с кассетками туго пристегнуть ремнями с боков. И полез. Сколько же ног стерли за века края каждой ступеньки и довели их до зеркального блеска! Уже с полдороги стало трудно дышать. Когда же увижу небо? Из последних сил выползаю наверх. Скорей отстегнуть ремни, отдышаться. С башни виден весь город, мечети, улицы. Вижу, как ассистент крутит ручку аппарата. Памятный кадр снят. За минаретом внизу кишит кишмишный базар. Странное впечатление производят с высоты белые чалмы с черной тюбетейкой в середине — словно издалека смотрит глаз с темным зрачком. Снимаю экономно. Позволяю себе отснять панорамы на всех семи кассетах — второй уж раз на эдакое «скалолазанье» меня ничто не заманит. Спустился и поснимал внизу архитектурные детали, удивительного рисунка изразцы. Вот где нужна была цветная пленка, которую изобрели спустя десятилетия. В стене у минарета узкий проход в медресе — религиозное училище. Велика мудрость учеников пророка — поперек прохода на высоте груди висит тяжелая цепь. Как говорится, веришь не веришь, а придется входя наклониться, отвесить святому месту низкий поклон.

...Дальше гонит вертовская схема. Старая Бухара. Двухэтажная старая гостиница с плоской крышей. Напротив мечеть с ослепительно сверкающим на солнце синим куполом. Рядом с ней чайхана. Слева, на небольшой площади, аккуратно обложенный большими каменными плитами бассейн-хауз. Но он не для купания, а снабжения района водой. Ее черпают в бурдюки и разносят на спине здоровенные водоносы. Конечно, такой способ водоснабжения может быть опасным для здоровья, но многочисленные чайханы с непрерывно кипящими громадными самоварами безопасно утоляют жажду прохожих. Никто не спешит, и я не торопясь набираю кадры для короткого показа быта города.

Дневная жара сменяется вечерней прохладой, и недолгие сумерки переходят в холодную ночь.

Тогда я впервые испытал волшебное, как сказки Шехерезады, прикосновение к Востоку. Сидю, подобрав по-турецки ноги, на плоской крыше гостиницы у самого края. Голубой свет луны сквозь редко бегущие облака словно колышет синий купол мечети. Прямо подо мной чайхана. На широких помостах, покрытых коврами, немногие посетители тихо беседуют, держа пиалу в растопыренных пальцах. Наверное, не принято пить чай до дна — выплеснули остатки, а хозяин тут же подносит свежий в большущем чайнике.

Мною овладевает никогда не испытанное чувство душевного покоя. Его не нарушила и музыка. В сторонке на небольшом помосте три музыканта. Меланхоличную мелодию флейты сопровождают приглушенным шелестом затейливых ритмов бубнов. Меня окружает блаженная радость созерцания волшебной ночи — лунный свет, сияние голубого купола мечети и эти непривычные звуки. Кажется, они идут откуда-то снизу, из глубины, подсвеченные колдовским желто-красным отражением от ламп и ковров. Колышутся звуки — голос сказочной птицы Феникс, слушая которую, все забываете.

Бубны и флейта смолкли. Мимолетное видение распалось. Уже поздно, в чайхане тушат свет. Тишина. Да простят мне Вертов, дирекция, бухгалтерия — придумал съемку еще на день, без которой можно бы и обойтись. Но впереди предстоит еще одна волшебная ночь.

...Теперь пора уже в самую глушь — центр одного из каракулеводческих районов — Карши, заключительный этап нашей экспедиции. Железнодорожный путь до городишка не доходит. Под вечер выезжаем из обшарпанного тряского вагона у маленькой станции. Какое величие — нас, нескольких пассажиров, ждут, словно восточных владык, запряженные парами вороных коней чернолаковые полукареты с хрустальными фонарями. Мой спутник быстро договорился с мрачным, злодейского облика горбатым владельцем экипажа, и я уже устремился грузить аппаратуру. Но отъезд не состоялся — скоро ночь, ехать в одиночку нельзя. Басмачи. На рассвете отправимся в путь караваном вместе со всеми.

Утром добираемся до полуразвалившейся глинобитной крепости, окружающей городишко. Явились к начальнику Чрезвычайной комиссии. Коротко обсудили условия, определили места съемок. Под конец разговора мне было выдано под расписку оружие — здоровенная пушка — крупнокалиберный браунинг с двумя патронами и деликатным предупреждением — носить незаметно. Если увидят, могут зарезать. Кто увидит, не сказали, но и так было ясно, что здесь найдутся желающие вооружиться и поразбойничать.

Жить нам предстояло в фактории Госторга, здании необычной архитектуры: двухэтажный квадратный дом с узенькими маленькими окошками на первом этаже и круговой галереей на уровне второго. Дом более походил на некое укрепление, чем на представительство торговой фирмы. Выяснилось, что и галерея не для прогулок в часы вечерней прохлады, а для стражников, которые всю ночь обходят здание кругом.

Вот и базар. Главная его часть находится в стороне, откуда доносятся овечьи и ягнячьи голоса. На большой площади расположились дехкане, приехавшие из кишлаков со своим товаром: несколько овец, курдючных ягнят и транспортное средство — ишак. Бойко идет торг, итог которого заканчивается поблизости, у канавки, по которой бежит вода. В нее стекает кровь от уложенных рядком ягнят с перерезанным горлом. Умелые мастера быстро и ловко их разделывают. Такое несложно, но и тоскливо снимать. Шкурки тут же отправляют в мастерские для дальнейшей обработки. К сожалению, этот процесс происходит в закрытом помещении, и снимать там невозможно. Заглянув в грязный сарай, я убедился, что и жалеть не о чем — производство ведется на уровне средневековья. Зато снял несколько колоритных сцен во время торговых сделок.

Промотавшись полдня на солнцепеке с аппаратами и дополнительной нагрузкой — оружием, засунутым мною в глубокий карман брюк, я решил, понимая его бесполезность в этой толчее, с ним расстаться. Браунинг был не только непривычной помехой, но, главное, на каждом шагу напоминал о себе, стучая по коленке. Не носить же мне халат, под которым, как говорил милиционер в Ташкенте, можно и пулемет пронести. Сдав оружие, договорился о том, что при выезде за пределы крепости в близлежащие кишлаки меня (видимость заботы о моей безопасности) будет сопровождать вооруженный всадник. Им оказался симпатичный милиционер с трофейной австрийской винтовкой времен первой империалистической войны. Это меня устраивало.

Нашу охрану, к ее полному удовольствию, я усадил рядом со спутником, который возил в экипаже аппаратуру, а сам овладел конем. Признаться, с детства, со времен жизни в деревне, я сохранил любовь и уважение к этим трудягам. А ночное! Навсегда запомнились теплые ночи у костра, когда слушал сквозь дрему деревенские побасенки и тихое похрустывание травы под зубами наших лошадей.

От базара — центра каждого восточного городка — во все стороны расползлись кривые улочки, откуда доносятся стук и звон. Это работают в своих лавчонках ремесленники: медники, кузнецы, гончары, плотники. А вот и нужные мне по плану фильма кустари — шьют из каракулевых шкурок шапки, даже халаты, куртки из овчины. Съемка основного задания завершается выездом в долину, где пасутся отары овец под охраной громадных, куцых, с обрезанными ушами псов.

Теперь можно на прощание день-другой поохотиться за кадрами типа «бюст», крупными,

сверхкрупными, на великолепной массовке — базаре в центре города. Здесь он особенный: на юге — граница с Афганистаном и Индией, и сюда забредает самый разный народ. Вот проходит величественный седобородый брамин. Расступается народ перед прокаженным с колокольчиком, у которого сквозь прогнившую щеку видна челюсть. Группой держатся одетые во все черное смуглые рослые афганцы. Торгуют всем — от баранов до флакона духов и кучки разложенных на какой-то тряпице пуговиц. Видно, старика, хозяина этих сокровищ, привлекает не заработок, а участие в общественной жизни — базарной суете. В сторонке несколько женщин, закутанных в чадру, продают искусно вышитые тубетейки. Слышен голос здешнего «радио»: из края в край базара расхаживает седобородый горластый аксакал, сообщая о всяких событиях и торговых новостях. И всюду плотные кольца зевак вокруг азартных игроков, выкликающих ставки на бойцовых канареек, перепелок, петухов. Рядом светло-палевой масти немислимого роста бойцовый верблюд. Хотя такие животные не отличаются изяществом форм, но этим величественным красавцем с копной стоящих дыбом на голове волос можно восхищаться. К сожалению, для него не оказалось противника. А то был бы снят великолепный спортивный сюжет.

В стороне от площади — удивительный кинотеатр. На огороженной площадке одна из стен полуразрушенной мечети выделена и служит экраном. Проходя мимо, я обратил внимание, что вся его нижняя часть исцарапана горизонтальными штрихами, и решил, что это работа мальчишек. Лишь вечером выяснилось их подлинное происхождение. Против экрана, на поставленные в несколько рядов широкие скамьи, подобрав по-восточному ноги, уселись зрители. Сзади, за оградой, — новоязы для всадников, приехавших из кишлаков.

Демонстрировался американский фильм с участием знаменитого «железного ковбоя» Вильяма Харта. Пока герой беседовал со своей возлюбленной, все с интересом следили за развитием событий. Когда же «железный ковбой» после короткой перестрелки подхватил свою возлюбленную в седло, зрители не выдержали — с десяток наиболее впечатлительных молодых бросились к экрану и с воплями стали подгонять нагайками коня героя, стегая экран. Да, велика сила прямого воздействия кино на зрителя, могущая вызвать подобный взрыв!

Снимал много, с восторгом и упоением. Но вот настал обычный роковой для оператора момент — кончилось скромное количество пленки, отпущенной на экспедицию. К счастью, оказалось, что снятого материала для режиссера вполне достаточно. Особенно был рад Вертов обилию крупных планов, схваченных моим маленьким «СЭТом». Эти кадры вошли в большой фильм «Шестая часть мира», составив его каракулевый эпизод.

1958 год. Стремительное время через тридцать три года переносит меня снова в Ташкент, но уже не за те долгие дни в трясуемом вагоне, а за три часа, бережно, по воздуху.

Ташкент, который был в моей памяти пыльным и одноэтажным, теперь — многоэтажный ухоженный город.

Приехал я сюда не на съемку фильма, а на удивительную встречу кинематографистов — первый кинофестиваль стран Азии и Африки, проходивший с 20 августа по 2 сентября 1958 года. Предложение провести его в Ташкенте возникло годом раньше в КНР после с успехом прошедшего в Пекине кинофестиваля 14 стран Азии. Тогда же было предложено расширить круг участников и направить приглашение кинематографистам 25 стран Африки.

Фестиваль был не только организованным впервые смотром незнакомого нам искусства, но и праздник, веселые дружественные встречи.

Открытием был ряд короткометражных фильмов о природе, жизни, быте Судана, Эфиопии, Туниса, Вьетнама, а фильм из Ганы так и назывался «Свободу для Ганы». И вновь вспышка воспоминаний — фильм из Пакистана назывался коротко: «Кисмет». Ночью ярко вспомнился 1933 год, те его мгновения, когда я, не только кинооператор китобойной флотилии «Алеут», но и матрос китобойца «Энтузиаст», в свирепом десятибалльном шторме в Тихом океане, исхлестанный дождем и ветром, неся четырехчасовую ночную вахту, шептал для бодрости: «Кисмет! Кисмет! Кисмет!» А здесь, в Ташкенте, с утра солнце, жаркий день, фильмы, дискуссии.

Хорошо были приняты и наши фильмы: «Путевка Ленина» режиссера Латифа Файзиева, «Думы о счастье» сценариста и режиссера А. И. Медведкина (Казахстан), «Наш милый доктор» Шакена Айманова и «Авиценна» Камила Ярматова (Узбекистан), «Высокая должность» Бориса Кимягарова (Таджикистан). И еще вне конкурса принятый с восторгом фильм Сергея Юткевича «Отелло» с очаровательной Дездемоной — Ириной Скобцевой.

На одном из концертов для широкого круга зрителей режиссер Иван Пырьев представлял знаменитого певца Поля Робсона. А какое великолепное застолье у живописной съедобной горы даров солнечной земли — дынь, винограда и словно разрисованных художником необыкновенной красоты огромных яблок. За столом против меня сидел негр, музыкант и композитор из Судана. Когда я, развеселившись (было на столе и вино), стал вилкой по хрустальному графину выбивать ритм какой-то песенки, он «сверкнув очами», принял мой вызов и, вскочив, выдал лихой танец.

И еще одно, может быть, за давностью лет неточное воспоминание. Пускай меня тогда поправит кто-либо из старых жителей Ташкента. Мы, помнится, стояли ночью около оперного театра, задрав головы кверху, и наблюдали, как по темно-синему бархату усеянного звездами неба огненными стежками скользило чудо — пронеслся космический спутник Земли.



Константин Курносенков

ДАВНЕЕ И НЕДАВНЕЕ

ТЭРРА ИНКОГНИТА

Московский университет.

В кабинете — Щуровский, профессор, президент Общества любителей естествознания, этнографии и археологии.

— Радостная весть, Григорий Ефимович, — говорит вошедший в кабинет ученый секретарь общества Зенгер.

Письмо из дальнего Ташкента гласило, что Туркестанское генерал-губернаторство с готовностью примет на службу рекомендуемого обществом ученого для изучения края.

Через час в кабинете Щуровского сидел Алексей Павлович Федченко, которого общество избрало главой Туркестанской экспедиции. Это был молодой ученый, недавно окончивший отделение естественных наук физико-математического факультета Московского университета. С первых шагов своей научной деятельности он увлекся зоологией, а еще антропологией, географией и геологией. Своими оригинальными исследованиями сразу обратил на себя внимание.

— Итак, в путь-дорогу, Алексей Павлович! — одобрительно сказал профессор, завершая беседу, в которой уточнялась программа предстоящих работ Туркестанской научной экспедиции.

20 октября 1868 года Федченко выехал из Москвы в Туркестан. С ним в эту дальнюю дорогу отправилась и его супруга, Ольга Александровна.

Алексей Павлович познакомился с Ольгой Александровной, дочерью профессора Московского университета Армфельда, в 1862 году. Пятью годами позже они обвенчались. Их соединила не только большая взаимная любовь, но и глубокие общие научные интересы. Талантливая женщина получила образование в Николаевском институте, увлекалась ботаникой, прекрасно рисовала. Алексей Павлович и Ольга Александровна сотрудничали в Обществе любителей естествознания, вместе проводили ботанические и энтомологические исследования в Подмосковье, вместе занимались переводами трудов немецких натуралистов. Они и внешне были под стать друг другу — оба высокие, ладные, интересные.

— Вот и Кашгарские ворота! — возница указал рукой вдаль.

В скором времени экипаж, запряженный тройкой быстроногих коней, катил по широкой немощенной Московской улице, к центру нового Ташкента, где находилась почтовая станция. Это было 14 декабря 1868 года. В повозке, на перекладных, от Москвы до Ташкента путешественники добирались пятьдесят шесть дней.

Генерал-губернатор Кауфман был в отъезде, и в его резиденции гостей принял правитель канцелярии Гейнс.

— Мы хотим просить вас, — сказал он, обращаясь к Федченко, — прежде всего заняться изучением Зарафшанского округа, недавно вошедшего в состав губернаторства.

Приезд русских ученых в Самарканд, центр Зарафшанского округа, вызвал всеобщий интерес и оживление.

В Самарканде, его окрестностях, в горах Зарафшана они провели восемь месяцев. В Москву возвратились в октябре 1869 года.

Годичное заседание Общества любителей естествознания. В зале — ученые, студенты. На кафедре — Алексей Павлович Федченко. Он живо рассказывает о пройденных экспедициями дорогах, о жизни народов Туркестана, о природных богатствах долины Зарафшана и возможностях их практического использования для развития экономики края.

Научная экспедиция Федченко внесла крупный вклад в изучение Туркестана. Об этом говорили ученые, обсуждая итоги работ в Зарафшанской долине. Совет Общества любителей естествознания присуждает Алексею Павловичу Федченко высшую награду — премию имени Щуровского. Ему преподносят микроскоп. Ольге Александровне за сбор туркестанского гербария и альбом рисунков вручается золотая медаль, а препаратору Ивану Ивановичу Скорнякову — серебряная.

...И снова далекая дорога в Туркестан. Только теперь они ехали не в мокрую и зябкую зиму. В мае 1870 года стояли погожие дни.

Как и в их первое туркестанское путешествие, идет обстоятельное исследование природы, хозяйства, этнографии Зарафшанской долины. По оврингам, нависшим над глубоки-

ми и темными теснинами, ученые пробираются к истокам Зарафшана, до ледников, рождающих эту быструю и обильноводную реку, орошающую обширнейший оазис Средней Азии. В октябре супруги Федченко возвращаются в Ташкент и остаются здесь до весны 1871 года.

Небольшой ташкентский кабинет Алексея Павловича заполнен коллекциями, книгами, рукописями. Многие часы ученый проводит за микроскопом, продолжая изучать паразитов человека и животных, встречающихся в Туркестанском крае. Еще в Самарканде он начал заниматься биологией и анатомией ришты, от которой тяжко страдало население Туркестана. Исследуя ришту, он установил, что этот страшный паразит поселяется под кожей человека из-за употребления стоячей воды хаузов. Алексей Павлович пишет новые труды, обобщающие исследования, проводимые Туркестанской научной экспедицией. На страницах «Туркестанских ведомостей» печатаются его заметки и статьи о путешествиях в верхний Зарафшан, о поездке в горные бекства Магиан и Фараб, где до него не побывал ни один исследователь.

В Ташкенте стараниями местных ученых при активном участии супругов Федченко создается Туркестанский отдел Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В общественной библиотеке Владиславлева Алексей Павлович выступает с лекциями. Он говорит о борьбе с риштой, о необходимости распространения знаний среди народа, ставит вопрос об издании русско-узбекского словаря, о публикации в газете, выходящей на узбекском языке, переводных статей и сочинений о Средней Азии.

Близился к концу апрель 1871 года. Алексей Павлович и Ольга Александровна отправляются в Кызылкумы. Палящий зной, ни деревца, ни жилища окрест. Остатки оросительных каналов указывают на то, что здесь когда-то жили люди. В пустыне путешественники пробыли тридцать дней и за это время прошли семьсот километров. Нанесли на карты дороги и колодцы, привезли ценный гербарий пустынных растений, большую коллекцию насекомых.

Недолгая передышка в Ташкенте. И опять дорога, на этот раз в Кокандское ханство. Прекрасные сады долины сменяют предгорья, а там все выше устремляются по небесью горные вершины Туркестанского хребта.

Позади остается кишлак Ворух. Люди, кони с поклажей поднимаются по северному склону Туркестанского хребта. Труден подъем на перевал Джиптык, крут и опасен спуск с него.

И вновь дорога петляет в ущелье. То нарастает, то ослабевает шум горного потока. Но вот ущелье замкнулось. Его перегородил ледяной обрыв.

— Да это же конец ледника, его язык! — восклицает Федченко.

Вместе со спутниками поднимается он на ледник.

Ручьи, сбегаящие с горных склонов, трещины затрудняют движение. Еще одно усилие, еще один подъем, и взорам представился весь ледник. Он простирался на десятки километров вверх, вдали над ним возвышались вечноснежные вершины гор.

Ледник этот был неизвестен европейским географам. Его и высочайшую вершину над глетчером Алексей Павлович назвал именем Щуровского, выдающегося русского геолога и своего учителя. Ледник давал начало Джиптыксу, одному из истоков Исфары, которая несет воду пашням и садам Ферганской долины.

Тем же путем экспедиция возвращается в Ворух, двигается на восток по предгорьям Алайского хребта. Путники посещают Сох, Шахимардан, Вуадиль, Учкурган, а потом пересекают Алайский хребет.

Изумленный величественной панорамой, открывшейся с гребня перевала Тенгизбай, Алексей Павлович какое-то время стоит недвижно. Впереди лежала зеленая долина Алая, а на противоположной стороне ее возвышался вытянувшийся с запада на восток огромный горный хребет, покрытый вечными снегами. Он не значился до того на картах мира — Федченко наименовал его Заалайским.

Алексей Павлович хотел пройти к восточной оконечности Алайской долины, а уже там, где сближаются Алайский и Заалайский хребты, взойти на перевал Кызыларт в Заалайском хребте и через него проникнуть на Памир. Но токсаба, начальник местной крепости, воспротивился намерению ученого и, сославшись на опасность пути, не пустил экспедицию дальше. Федченко со своим отрядом остановился у преддверия загадочной страны гор.

Алексей Павлович мечтал позже вернуться сюда, чтобы продолжить прерванный путь на Памир, увидеть страну заоблачных гор. Но мечта эта не сбылась.

Смелый и отважный путешественник, замечательный ученый погиб в Альпах во время восхождения на один из ледников Монблана. Это случилось 3 сентября 1873 года. Алексею Павловичу было двадцать девять лет. На руках Ольги Александровны остался восьмимесячный сын Борис.

Прошли годы. Как и отец, Борис окончил естественное отделение Московского университета. Алексей Павлович занимался главным образом энтомологией, а сын избрал областью своей научной деятельности ботанику, как и мать. Вместе с ней он продолжал исследование природы Средней Азии, начатое отцом.

...Солнце уже стояло высоко над морем, когда пароход, вышедший накануне из Баку, бросил якорь у красноводской пристани.

С чемоданами и коробками в руках, обмениваясь короткими репликами, на берег сходили пассажиры. Последними покидают пароход высокая солидная дама лет пятидесяти и молодой человек, рослый, крупный, некоторыми чертами лица похожий на свою спутницу.

— Неприютная сторона! — говорит он.

— Да-а-а, — согласилась спутница, окидывая взглядом небольшой городок, расположенный на прибрежной террасе Каспия. — Жарко, как в пустыне.

Вот и городской сад у вокзала. Он возник недавно. Мал он, скуден его наряд. Но и этот зеленый кусочек радует людей, ибо возвращен он на трудной земле, поливается привозной пресной водой, какой пользуется здесь вся растительность Красноводска и все население.

Дама и молодой человек срезают веточки с деревьев и кустарников, собирают травы, бережно кладут их в гербарные папки. На этикетках появляется надпись: «Красноводск, городской сад. 1 июля 1897 года».

К прежним экспонатам туркестанской ботанической коллекции прибавляются новые. Как только поезд останавливается у станции, дама и молодой человек спешат выйти из вагона. Поезд стоит минуты, и за это время надобно успеть осмотреть растительность возле станции и взять какие-то веточки и травы для своего гербария.

Вскоре пассажирам поезда стали известны имена собирателей трав. Это были Ольга Александровна Федченко, ботаник, путешественница, и ее сын, начинающий молодой ученый, тоже ботаник и географ, Борис Алексеевич Федченко.

В Самарканде путешественники делают кратковременную остановку. И — снова в путь. Железная дорога еще не дошла до самого Ташкента. Строится. На почтовых собираются до столицы Туркестанского края.

Обогнув Константиновский сквер, экипаж покатила по Куйлюкскому тракту к Салару, где тогда устраивались конные торги. В Елизаветинском переулке, близ крепостного холма Минг-урык, у небольшого дома с парадным экипаж остановился. Это был дом Хомутовых, старых и добрых приятелей Ольги Александровны.

С улицы послышались голоса. Кто-то еще приехал к Хомутовым.

— Да это же наш Василий Федорович Ошанин! — восклицает Ольга Александровна, взглянув в окно. — Легко на помине...

Как водится при встречах друзей после долгой разлуки, начались воспоминания. Говорили о Всероссийской политехнической выставке 1872 года в Москве. В Кремлевском саду для Туркестанского отдела построили павильон в восточном стиле. Все здесь было в новинку, вызывало любопытство: шкурки зверей и птиц, рыбы в спирту, насекомые на булавках, гербарии среднеазиатских растений. И далее — горные породы и окаменелости, изделия ремесленников и предметы этнографии, древние монеты и лекарства, употребляемые в народной медицине... Все это собрали супруги Федченко за время своего трехлетнего путешествия по Туркестану. Туркестанский отдел выставки как бы открывал страну, которая до экспедиции Федченко науке была мало известна, а ее южные горные области вообще оставались «тэра инкогнита». И сейчас, в кругу друзей, Ольга Александровна рассказывала, с какими трудностями все это собиралось и перевозилось.

Екатерина Львовна Хомутова и Василий Федорович Ошанин рассказывают о живом интересе, с каким ташкентцы читают «Путешествия в Туркестан А. П. Федченко». Екатерина Львовна достает из шкафа один за другим пять томов «Путешествия», которые вместе с приложениями вышли после смерти Алексея Павловича. Готовила их к изданию Ольга Александровна, проиллюстрировав собственными рисунками. Друзья восхищаются ими.

В этот первый после смерти Алексея Павловича приезд в Туркестан, в 1897 году, Ольга Александровна вместе с сыном исследует растительный мир Западного Тянь-Шаня. В горах Чимгана ее покоряют своей красотой

высокие, стройные эремурусы с пышными бело-розовыми соцветиями, напоминающие свечу каштана. Путешественники шагают вверх по долине реки Пскем, взбираются на хребет Алатау.

В 1901 году Ольга Александровна с сыном снова в Туркестане. Держат путь на Памир, но уже не той дорогой, какой пытался тридцать лет назад проникнуть туда Алексей Павлович Федченко.

К этому времени уже не одна экспедиция русских ученых побывала на Памире. И путь сюда был хорошо известен. Он, как и встарь, начинался от Оша, пролегал через Гульчу, перевал Кызыларт в Заалайском хребте, и далее вел на самые высокие этажи Памира.

Над ними — то бездонное синее небо, то бегущие облака и грозовые тучи. Громоздается хребты в одеянии снегов и ледников. Кругом серые скалистые склоны, их надо облазить, чтобы разузнать, что за деревья, кустарники и травы там растут.

Путешественники караванным путем прошли весь Памир, побывали в укреплении Хорог, при слиянии реки Гунт с Пянджем, у самой границы с Афганистаном.

В 1903 году вышел фундаментальный труд Ольги Александровны «Флора Памира», где были описаны 485 видов растений. Вскоре автора этой книги избрали членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

...Вслед за железной дорогой, соединившей Каспийское море с Ташкентом и Андижаном, прокладывалась дорога Ташкент — Оренбург. В 1906 году она связала Петербург с Туркестаном.

Поезд постукивает по рельсам. Он отправился из Петрограда вечером двадцать шестого марта 1915 года. В международном вагоне — Ольга Александровна, с ней — сын и невестка Анастасия Парфентьевна. В Ташкент поезд пришел рано утром первого апреля, на шестые сутки.

Обед и короткий отдых в доме старых друзей Хомутовых. И — опять дорога.

В сумерках добрались до опытной станции в Голодной степи. Когда экипаж по тополевой аллее подкатил к длинному дому с террасой, навстречу вышел худощавый человек в очках, с бородкой клинышком.

— Добро пожаловать! — сказал он, пожмая руки гостям.

Это был Михаил Михайлович Бушуев, заведующий голодностепской опытной сельскохозяйственной станцией. После окончания Московского сельскохозяйственного института в 1905 году он приехал в Голодную степь, возглавил опытную станцию, незадолго до этого основанную.

В кабинете Бушуева, на письменном столе, — журналы с закладками, значит, уже читанные и изученные хозяином.

— Самый свежий, мартовский, номер «Туркестанского сельского хозяйства», — Михаил Михайлович протягивает Ольге Александровне журнал, поясняя: — Он выходит уже девять лет, начиная с 1906 года. Печатается в Ташкенте.

— Кто же его редактор?

— Рихард Рихардович Шредер.

— Это имя мне хорошо знакомо. Он заведует Туркестанской сельскохозяйственной станцией?

— Так точно.

В журналах, которые успела просмотреть Ольга Александровна, она заметила статьи, написанные Бушуевым.

Раскрыв папку, Михаил Михайлович показал гостю рукописи только что написанных статей, предназначенных для публикации в журнале.

— Вот статья моего заместителя Курбатова. Она о системе пропашного земледелия на солончаках. В Голодную степь Николай Иванович приехал вслед за мной, в 1909 году, после окончания Московского сельскохозяйственного института, да так и привязался, подобно мне, всей душой к нашему опытному полю. А вот статья о первых отечественных сортах хлопчатника, выводимых станцией. Она принадлежит перу Гавриила Семеновича Зайцева. Он у нас возглавляет отдел селекции. Курбатов также питомец Московского сельскохозяйственного института.

Все новое и полезное, чего достигают ученые станции, становится достоянием практики. И не только через печатное слово. На территории опытного поля создано образцово-показательное дехканское хозяйство. Едут сюда из разных мест Голодной степи дехкане, чтобы научиться выращивать высокие урожаи хлопка. Едут поучиться культуре животноводства и садоводства. При станции открыт прокатный пункт, где дехкане могут получить европейский плуг, ядовую сеялку, кукурузную молотилку, приобрести сортовые семена.

Неделю провела Ольга Александровна в Голодной степи. Ее радовала каждая добрая перемена в облике пустыни. Еще совсем недавно здесь был только один крохотный канал, орошавший сьрдарьинской водой краешек пустынной земли, а теперь в глубь ее протянулся сорокакилометровый магистральный канал, по которому из Сьрдарьи течет пятьдесят кубических метров воды в секунду.

Проезжая в прошлые годы через Голодную степь в Самаркнад, Ольга Александровна лишь мельком знакоилась с флорой степи. Теперь была возможность подробно изучить голодностепскую растительность, чему способствовало и само весеннее время, когда Голодная степь становится зеленой и привлекательной.

В горах близ Джизака и Тамерлановых ворот путешественники тоже пополнили свои ботанические коллекции.

— Посмотри, Боря, какое сокровище! — позвала Ольга Александровна сына, увидев незнакомый вид тюльпана. — Этот тюльпан я посажу у себя в Ольгине. Надо выкопать луковицу...

Колеса тарантаса простучали по зарафшанскому мосту. Кони с трудом тянули повозку в гору. Вскоре с высоты холмов Афрасиаба обозначились минареты и купола Самарканда.

В городе гид — Ольга Александровна. Здесь каждая улица и даже тупичок хорошо знакомы ей с давних дней. Помнятся каждая мечеть и медресе, их резные кирпичики и плитки, узоры майолик и мозаики. Все это она видела и зарисовала в свои первые приезды сюда. Было это ох как давно — сорок пять лет назад. А сейчас видится и смотрится по-другому. И Ольга Александровна достает альбом для зарисовок. Художник остается художником. И ботаник — ботаником...

И на прогулке в губернаторском парке

Ольга Александровна всецело поглощена делом. Рядом с записями о посещениях некрополя Шахи-зинда и места раскопок обсерватории Улугбека в ее дневнике появляются названия растений, которые она увидела в этом парке: японская айва, сосны с длинными иглами, желтые махровые розы, плющ в плодах, лиана, туя, пихта...

Это было шестое и теперь уже последнее путешествие Ольги Александровны в Туркестан.

Борис Алексеевич с женой возвращаются в Петроград, а Ольга Александровна — в Ольгино, что близ Москвы, под Можайском. Здесь имение Ольги Александровны с акклиматизационным садом. Она поселилась в нем еще в 1895 году. Каких растений тут только нет! Привезенные из Крыма и Кавказа, с Южного Урала... Многие перекочевали сюда из Средней Азии. Ей особенно приятно видеть у себя дома любимцев — ирисы, тюльпаны и вот эти чудесные эремурусы, которые стали темой одной из ее лучших монографий.

Четверть века посвятила Ольга Александровна своему саду, а когда почувствовала, что силы ее убывают, передала его Академии наук, а сама переехала к сыну в Петроград. Вместе с Борисом Алексеевичем трудится в Ботаническом саду Академии наук.

Утром 27 апреля 1921 года она, как обычно, пришла в свой кабинет, читала, писала, обсуждала с сыном его новую научную работу... И ни она сама, ни кто-либо из находящихся рядом не мог и подумать, что идут последние часы ее жизни. Она умерла в одночасье — не страдая, не мучаясь, даже не чувствуя приближения своего конца.

На ее письменном столе остались недописанные страницы, книги с закладками, гербарные папки с растениями, которые она привезла из своего последнего путешествия в Туркестан.

ВЕРШИНЫ КОРЖЕНЕВСКОГО

Вот так начиналась его жизнь.

Родился в фольварке Завережье, близ города Невеля. Его отец — литовец, мать — полька. В Костроме окончил реальное училище. Мечтал получить университетское образование. Но это не сбылось. Тяжко занемог отец. Пошатнулось материальное положение семьи. Надо было менять замысленные планы.

В 1899 году он становится слушателем Киевского военного училища. Через два года заканчивает его по первому разряду.

Молодой офицер получает право выбрать место своей будущей военной службы, такое, какое он пожелает, вплоть до столичных полков. Но он далек от соблазна остаться в столице. Его давно манит Ош.

Начальник училища генерал Шуваев удивлен:

— Что сулит вам Ош? Далекий, глухой, за тридевять земель, уголок... В столичном полку при ваших способностях вы быстро составите себе карьеру.

— Я много думал о своем месте в жизни, — ответил Корженевский. — Оно в науке, на нехоженых тропах, там, где высятся таинственные горы, тянутся длиннейшие хребты... Хочу стать путешественником, исследователем гор.

— Почему же стремитесь именно в Ош?

— Он ближе к Памиру. Там поднебесные горы, гигантские ледники. Они ведь почти не изучены. Мечтаю своими исследованиями расширить знания об этой горной стране, добытые знаменитыми путешественниками Федченко, Мушкетовым, Северцовым.

Длина дорога в Ош — через Каспий, Красноводск, Андижан.

Не оставляли думы о загадках и тайнах края. Читал, делал выписки из книг, изучал маршруты, пройденные в горах Памиро-Алая путешественниками.

Его заинтересовывает Филипп Сергеевич Ефремов. Человек даровитый и драматической судьбы, смелый первопроходец. Его взяли в плен кочевники в оренбургских степях, а потом в Бухаре продали в рабство. Ефремов тайком бежит. Изменив обличье, странствует под видом купца. Дороги приводят его в Ош. Перевалами Алайского хребта — Чигирчик и Терекдаван — спускается в долину Алая. Караванным путем следует в Кашгарию и Каракорум. Живет мечтой увидеть Индию, теперь уже не такую далекую. Возвратившись в Россию, Ефремов пишет книгу «Десятилетнее странствие (1774—1782)». Она выходит в Петербурге в 1786 году. Рассказывает об увиденном в Бухарии, Хиве, Персии и Индии.

Стояли прохладные и ветреные дни, какие бывают в предгорьях в начале осени, когда прапорщик Корженевский в 1901 году прибыл в Ош.

Стремит свои воды Акбура. На берегах ее — город. Старинный, многовековой.

Крепостное укрепление. Штаб 10-го Туркестанского стрелкового батальона. В нем предстоит Корженевскому проходить военную службу. Поднимешь глаза — горы до облаков. Памир совсем близко.

Горы есть горы. Они не прощают опрометчивого шага. Надобно изучить и продумать все до мельчайших деталей.

На письменном столе Корженевского книги, карты, схемы, рисунки, фотографии. И все о Памире. Гипсотермометр для измерения атмосферного давления и горных высот. Рядышком бинокль, фотоаппарат. Он встречается со старожилками, разыскивает тех, кто ходил высоко в горы, знает тропы и тропинки. Расспрашивает, какие там текут реки, откуда вытекают, какие растут в горах деревья и травы, какие водятся животные, гнездятся птицы.

Возле штаба батальона уже спозаранку оживление.

Отряд Корженевского отправляется в дорогу. Среди провожающих — полковник Сергей Андреевич Топорнин, командир ошского гарнизона, начальник Корженевского. Его дочь Евгения. Недавняя гимназистка, теперь учительница. Она невеста Корженевского. Предстоит свадьба, но это состоится позднее.

Приспели минуты расставания — рукопожатия, объятия. Скрылся из виду город. Было десятое июня девятисот третьего года.

Впереди — на коне Мирзамат, ошский житель, бывалый и умелый караванщик, знаток здешних дорог. Следом, покачиваясь в седле, Корженевский. За ним, тоже на коне, — Семен Сазонов, солдат местного гарнизона, добрый советчик и помощник Николая Леопольдовича.

Позади остаются пространные безлюдные

пустыни Восточного Памира. Держат путь в Вахан. Посещают Шугнан. Конечный пункт — пост Памирский.

Три летних месяца 1903 года участники экспедиции провели в дороге, одолев в общей сложности тысячу пятьсот километров. То был первый памирский поход Корженевского. Он во многом явился рекогносцировочным.

Двадцатичетырехлетний Корженевский въявь увидел Памир, и это позволило молодому ученому обогатить конкретикой планы будущих гляциологических исследований высокогорья.

Летом девятисот четвертого года он направляется на хребет Петра I, к ледникам Мушкетова и Федченко. Годом позже совершает экспедицию в Алайскую долину через новый перевал Кальтабоз.

В девятьсот шестом Николай Леопольдович сдает конкурсные вступительные экзамены в Военно-интендантскую академию в Петербурге. В упорных занятиях проходит три года. Следует практика на кожевенных заводах Казани, на суконных и ткацких предприятиях Лодзи. С дипломом инженера-технолога в 1910-м возвращается в Туркестан. В Скобелев¹ дислоцируется 2-я Туркестанская стрелковая бригада. В штабе ее он продолжает военную службу.

И по-прежнему его влекут горы. В первое же лето, после возвращения в Скобелев, отправляется к ледникам Федченко и Мушкетова. В 1912-м продолжает изучение Алайской долины, посещает озеро Искандеркуль. Через год он снова в Алайской долине, на берегах реки Муксу, поднимается к ледникам Мушкетова и Федченко.

Мировая война прерывает его путешествия. Вплоть до семнадцатого года он на Западном фронте, бригадный интендант 1-го Туркестанского корпуса. Конец марта 1917 года. В чине полковника возвращается домой, в Скобелев.

Свершилась Октябрьская революция. Корженевский в рядах Красной Армии воюет за Советскую власть в Ферганской долине. Его отмечает Михаил Васильевич Фрунзе. Николай Леопольдович назначается начальником снабжения Туркестанского фронта.

Этот поезд ждали долго. Из Москвы он вышел 19 февраля 1920 года, но только спустя пятьдесят два дня прибыл в Ташкент. Самим пассажирам приходилось ремонтировать разрушенные пути, пилить дрова для паровоза.

Над перроном несутся приветственные клики. В многоголосый хор их вливается музыка военного оркестра. С фиалками и сиренью к вагону устремляются ташкентцы. Приехавших встречают представители власти, интеллигенция города.

В Ташкент приехали сорок три профессора и сорок три преподавателя. Питерцы и москвичи. Приехали с семьями. Привезли с собой учебные программы, конспекты лекций. И множество книг. Они в чемоданах, в связках. Их будут читать, по ним станут учиться первые студенты первого в Туркестане университета.

По декрету Совета Народных Комиссаров

¹ Скобелев — старое название города Ферганы.

РСФСР, подписанному Владимиром Ильичем Лениным, создается первое на Советском Востоке высшее учебное заведение.

Корженевский — один из организаторов географического факультета. Избирается профессором по кафедре географии Туркестана. Глубокие знания, эрудиция, великолепные ораторские способности делали лекции профессора Корженевского событием. Слушать приходили студенты с разных факультетов, преподаватели. Если не оказывалось свободных мест, стояли вдоль стен, а то и в дверях.

Он еще военный человек. Делит время между военной службой и работой в университете. В 1928 году его демобилизуют из Красной Армии, и он посвящает себя всецело педагогической и научно-исследовательской деятельности.

С наступлением лета — у студентов каникулы, а у Николая Леопольдовича продолжение трудового года.

Он в походе, на коне, в горах. И, конечно же, на тропах и тропинках Памира. Исследует Сарезское озеро. Изучает ледники верховьев Муксу. Посещает долину реки Танымас и Танымасский ледник. В 1937 году поднимается к истокам реки Сох, ее ледникам. Стесняет дыхание. Горные громады одеты в снега. Они отчетливо видны в бинокль. Корженевский наносит на карту новые вершины, открывает новые ледники, делает фотографии.

На этот раз Николай Леопольдович почувствовал, что силы у него основательно поубавились. И сердце, и ноги уже не те, что так долго и верно служили ему на горных дорогах. Путешествие к ледниковым вершинам Соха стало в биографии исследователя последней большой экспедицией. Ему уже шел пятьдесят девятый год.

Нет-нет да Николай Леопольдович навещает Ош. Его он любил, ведь с ним связаны его молодость, начало научной деятельности, долгие памирские странствия и радостные открытия. Он приезжал сюда со студентами географфака на практические занятия, ходил с ними в горы, вспоминал время былое и прекрасное.

Много лет я был знаком с Владимиром Иосифовичем Рацеком. В молодости жили в Ташкенте рядом. Он на Первомайской улице, я за углом — на Куйлюкской.

Протекли годы. Рацек — известный альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, кандидат географических наук. Почетный член Географического общества СССР.

В послевоенные годы мы часто встречались в редакции газеты «Комсомолец Узбекистана», потом в Радиокomitee, где я вел отдел науки.

В 1979 году научная общественность Узбекистана отмечала 100-летие со дня рождения Николая Леопольдовича Корженевского. Я попросил Владимира Иосифовича поделиться воспоминаниями. Вот его рассказ, прозвучавший в эфире:

— Первая моя встреча с ним случилась в майские дни 1937 года. Я был в командировке в городе Ош. Вместе с работниками местного комитета физкультуры и спорта отправился в верховья Акбуры. Туда, где эта река, протекающая через город Ош, прорывает гряду невысоких лёссовых холмов, так называемых адыров.

Это — один из наиболее интересных угол-

ков ошских окрестностей. Ущелье непроходимо, имеет вид узкой щели, с отвесными известняковыми и сланцевыми обрывами. С высоты я увидел на противоположном берегу бурной Акбуры группу людей. Немного думая, по стальному тросу, натянутому через реку для измерения расходов воды, я перебрался к ним. Молодежь рукоплесканиями и шумными возгласами приветствовала мой достаточно безрассудный поступок. Это была группа студентов третьего курса географического факультета Ташкентского государственного университета во главе с профессором Николаем Леопольдовичем Корженевским. С ними я и провел остаток дня, слушая удивительные рассказы ученого, а через два-три дня мы вместе возвращались в Ташкент. В поезде Николай Леопольдович много говорил о природе Ферганской долины.

Рацек вспоминал:

— Новая встреча с Корженевским состоялась в Ташкенте в начале 1944 года. За год до этого мы произвели топографическую съемку восточной части Центрального Тянь-Шаня. Были определены географические координаты и высота вершины, оказавшейся самой высокой вершиной Тянь-Шаня — 7439 метров — и названной по моему предложению пиком Победы. Корженевский входил в состав экспертной комиссии по этому нашумевшему тогда географическому открытию.

С тех пор мне уже довольно часто приходилось встречаться с Николаем Леопольдовичем в стенах университета, на заседаниях Географического общества Узбекистана и у него дома. Последний раз с ним я виделся незадолго до его кончины. Он вернулся из больницы и был, как всегда, настроен оптимистически, интересовался Памиром, ледником Федченко, где в тот год мне пришлось быть.

Как-то летом восьмидесятого года зашел я к Рацеку домой. Он жил близ ЦУМа, на улице, прежде называвшейся улицей Двенадцати тополей.

Хозяин подходит к шкафу, стоящему в кабинете. В руках у него толстая, альбомного вида, тетрадь в матерчатом переплете.

— Это подарок вдовы знаменитого путешественника, Евгении Сергеевны Корженевской, — сообщил с гордостью.

Я увидел полевой дневник Николая Леопольдовича. Ученый вел его во время своих путешествий на протяжении десяти лет, начиная с первого своего путешествия на Памир в девятьсот третьем году.

Рацек листает дневник, останавливается на отдельных местах, читает вслух, комментирует. Лаконичны и деловиты, а порой образны и поэтичны дневниковые записи.

Строки из дневниковой записи, датированной 10 августа 1910 года:

«На заднем плане ледника оказались мощные снежные горы и среди них особенно громадный, куполообразный пик, который я хотел бы назвать пиком Евгении, в честь моего друга (речь идет о жене Корженевского. — К. К.), которому так много обязан по своим поездкам.

Высота этого пика вряд ли меньше 25 тысяч футов...»

Мой собеседник на карте Средней Азии показывает Памир.

— Вот хребет Академии наук. Он открыт Корженевским в 1927 году. В северной

оконечности его, над истоками ледника Мушкетова,— горная вершина. Это и есть пик Евгении Корженевской. Его высота — 7105 метров. Он четвертый по высоте «семи-тысячник» нашей страны. В той же северо-западной части Памира, в двенадцати километрах от пика Корженевской,— пик Коммунизма. Это самая высокая вершина Памира. И не только Памира — всех гор страны. Его высота — 7495 метров. Он высотный полюс нашей страны.

Рацек сосредоточенно глядит на памирский дневник Корженевского.

— Удивительный дневник. Сколько в нем любопытных наблюдений, интересного фактического материала. Драгоценен он и тем, что дает представление о методе исследований ученого. Надо уберечь его от забвения. Издать с комментариями к дневниковым записям, с рисунками, фотографиями Памира, сделанными Корженевским.

В доме Рацека давно не слышно голоса хозяина. Не слышно уже восемь лет. Его сердце остановилось внезапно. Случилось это осенью 1980 года.

Стою у знакомого книжного шкафа.

Золотая медаль имени П. П. Семенова. Награда Географического общества СССР. Вручена Рацеку за открытие пика Победы. Еще и еще высокие и почетные награды. Они за открытие ледников, перевалов, вершин.

Я вижу книги, написанные Рацеком: «Ледяное сердце Памира», «Пять величайших вершин СССР», «Н. Л. Корженевский»... Книги, принадлежащие перу Корженевского. Их много. Одна из них — «Каталог ледников Средней Азии». В нем названо 1236 ледников Тянь-Шаня и Памиро-Алая, дана характеристика их. Еще одна книга — «Геоморфология и оледенение Памиро-Алая». Это сборник избранных трудов Корженевского. В нем помещены работы: «Истоки реки Танымас», «Муксу и ее ледники», «Исфайрамсай», «О морфологии и гипсометрии хребта Академии наук СССР». Сборник выпущен ташкентским издательством «Фан». Составитель его — Рацек. Эта работа стала последней в жизни Владимира Иосифовича, талантливый исследователь и пропагандист альпинизма и географии. Он считал себя учеником Корженевского.

Мечтал об издании его памирского дневника, но не успел этого осуществить. Как и прежде, он хранится в книжном шкафу Рацека. Кто мог бы взяться за издание его? Думается, инициатива в этом должна принадлежать географическому факультету Ташкентского государственного университета.

Через доли и горы, кручи и перевалы, хребты и вершины пролегли дороги Корженевского. Они были трудными и опасными. И не только потому, что проходили по неизведанным ущельям и теснинам, загадочным подъемам и спускам. Многие экспедиции проводились в те времена, когда в горах укрывались басмачи и устраивали вооруженные набеги на мирные кишлаки.

Пешком и на коне он совершил восемнадцать экспедиций. Прошел и проехал тридцать пять тысяч километров. Пятьдесят семь лет отдал изучению Памира. Многие сделал для исследования неизвестных доселе мест Средней Азии, ее природы. Гляциолог и физико-географ Корженевский открыл и изучил сви-

ше семидесяти ледников и ряд горных вершин Памира и Тянь-Шаня.

Заглянем в статью Николая Леопольдовича, в одну из многих, где он говорит об итогах своих исследований. Хотя бы вот в эту — «Покорение ледников», опубликованную в «Правде Востока» 29 сентября 1934 года.

Резюме статьи:

«По развитию области оледенения и по количеству ледников Средняя Азия занимает одно из первых мест на земном шаре. Если еще совсем недавно в глазах многих исследователей возможность обширного оледенения в этой области нашей страны как-то плохо вязалась с ее общеизвестной сухостью, то теперь в результате систематических исследований выявилась картина совершенно исключительного оледенения в горных областях Средней Азии».

Изучение глетчеров открыло закономерности жизнедеятельности ледников, вооружило науку и практику знаниями процессов накопления снега в фирновой зоне, сказать проще, в верхней части ледников, откуда начинаются реки. Ледники питают множество рек, в том числе Амударью и Сырдарью. Надо иметь представление о запасах векового льда и снега в горах, о возможных ресурсах воды, какими располагает природа и мы. Исследования Николая Леопольдовича Корженевского служат делу охраны и рационального использования водных богатств края.

Тридцать с лишним лет Николай Леопольдович возглавлял кафедру физической географии Ташкентского государственного университета.

Степень доктора географических наук ему присуждена похвально — без защиты диссертации. Он был членом-корреспондентом Академии наук Узбекистана, почетным членом Географического общества СССР и почетным председателем его Узбекстанского филиала. Он создал школу молодых советских географов Средней Азии, воспитанию которых уделял много времени. Его именем на карте обозначена вершина в Заалайском хребте, в его честь названы один ледник на Памиро-Алае и два в Тянь-Шане. Он был лидером и энтузиастом в науке. Подвижнический труд большого ученого отмечен двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Жизнь клонилась к закату, но Николай Леопольдович не оставлял деятельной работы. Он — научный консультант Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института Госкомгидромета.

Близился Международный геофизический год. Корженевский участвует в разработке программы комплексных исследований на леднике Федченко. В 1957 году сюда отправляется экспедиция. В ее составе — советские, польские, китайские и немецкие ученые. Самому Николаю Леопольдовичу силы уже не позволили подняться на ледник.

Экспедиция скрупулезно и всесторонне исследовала глетчер. К прежним сведениям добавились новые. Вот характеристика ледника с учетом их: длина 77 километров, ширина от 1700 до 3100 метров, толщина льда местами до одного километра, в леднике аккумуляровано 130 кубических километров льда.

Ледник Федченко — крупнейший в мире горно-долинный глетчер. Рождает быстрые и многоводные реки Памира.

Имя блистательного исследователя памирских высот Николая Леопольдовича нашло достойное отражение на скрижалях истории науки.

Николай Леопольдович жил в Ташкенте на Куйлюкской улице (теперь Куйбышева), в доме № 27, а наша семья — рядом.

Он всегда был доступен для людей.

Я не пользовался излишне этим обстоятельством, так же как и привилегией соседа, но когда дела журналистские вызвали необходимость свидания с ним, я шел к нему с открытой душой, уверенный в том, что он примет и состоится интересное интервью. Николай Леопольдович отлично фотографировал, рисовал. Сколько я перевидал у него уникальных фотографий, рисунков, сделанных им на Памире!

Случалось так, что утрами, в одни и те же минуты, мы выходили из своих калиток на улицу и часть пути на службу совершали вместе. С нами бывала Евгения Сергеевна. Я благоговейно смотрел на нее, замечательную русскую женщину, жену и верную спутницу суровой и беспокойной жизни Николая Леопольдовича. Она вместе с ним поднималась на высоты Памира и Альп. Ее голову уже покрывали седины, но она не оставляла работы. Как и в далекой молодости, когда учительствовал в Оше и Фергане, теперь учила детей немецкому и французскому языкам в ташкентской школе № 50.

Горько отозвалось в сердцах известие о кончине Николая Леопольдовича. Он умер 31 октября 1958 года. В университете на гражданскую панихиду собралось множество людей. Профессора, преподаватели, студенты. Пришли бывшие ученики Николая Леопольдовича, ставшие докторами и кандидатами наук, лауреатами премий республики и страны. В лице Корженевского наука потеряла ученого-географа и гляциолога с мировым именем, превосходного педагога, популяризатора и пропагандиста научных знаний.

Евгения Сергеевна пережила мужа на одиннадцать лет. Умерла 5 февраля 1969 года. Ей было восемьдесят семь.

В Ташкенте, на старом русском кладбище, за одной железной оградой, под одним гранитным надгробием покоится прах Николая Леопольдовича и Евгении Сергеевны Корженевских. Их схоронили рядом. Как завещали они.

ГОРОД ВЕЛИКОГО ЗВЕЗДОЧЕТА

В самом конце старого Самарканда, за сверкающими глазурью мавзолеями Шахизинда, на быстром арыке Абимашат, расположился завод, построенный еще в начале восьмидесятых годов прошлого века.

Как и встарь, здесь выделывают кожу. Раньше завод назывался «Ташсам», а теперь носит имя Юлдаша Ахунбабаева. Конечно же, за советское время он очень изменился. Появились новые обширные корпуса, оборудованные современными машинами, завод широко раздвинул свои границы.

В первые годы после революции, когда мой отец был директором «Ташсама», вся наша семья жила при заводе. И теперь, бывая

в Самарканде, я каждый раз иду на старый завод, знакомый и близкий с далеких детских лет.

Как и тогда, стоит на горке, под большой орешинной, дорогой сердцу отчий дом.

Многое вспоминается в эти минуты.

Мальчишками я и мои братья по узенькой и крутой тропинке забирались на давно заброшенное древнее самаркандское городище Афрасиаб запускать воздушный змей, сотворенный собственными руками из старых газет и камышовых планок. И до чего же было интересно следить за длинным матерчатым хвостом змея, когда он, влекомый ветром, поднимался в небо!

Потом мы шли дальше, и там, у подножия Чупанатинских высот, на склоне горки, называвшейся в старину Кухак, наблюдали за людьми, которые зачем-то старательно копали землю, просматривая каждый ее комочек.

С первой встречи нам здесь очень понравился приветливый человек, который, как думалось, был главным распорядителем раскопок. На вид ему было лет под пятьдесят, а может, чуть больше. Невысокий, коренастый, черноробордый. Голову покрывала фуражка цвета хаки. Как я узнал позднее, это был Вяткин, самаркандский археолог и ориенталист, раскопавший на холме Кухак остатки астрономической обсерватории Улугбека.

Василий Лаврентьевич Вяткин родился в 1869 году в Семиречье, там окончил станичную школу. Учился в Ташкентской учительской семинарии, а по окончании ее был направлен в Самарканд на педагогическую работу. В старом городе, в одной из русско-узбекных школ, он преподавал математику и другие предметы.

Как-то Гавриил Николаевич Усов, начальник поземельно-податного отдела Самаркандского областного правления, сказал молодому учителю:

— Вы прекрасно знаете восточные языки, займитесь краеведением!..

Усов переводит его к себе в областное правление. Там, помимо своих прямых служебных обязанностей, Вяткин занимается краеведением, в частности, переводит на русский язык исторические сочинения и документы.

Василия Лаврентьевича заинтересовала судьба самаркандской обсерватории Улугбека, исчезнувшей с лица земли несколько столетий тому назад.

В руки попал вакуфный документ, относящийся к XVII веку. Он содержал описание дарованного дервишской обители земельного участка к северо-востоку от Афрасиаба, на южном склоне возвышенности Чупаната. Читая этот документ, Василий Лаврентьевич встретил в нем знакомые географические названия.

— Тал-и-расад... Так ведь такое же название и сейчас носит холм на южном склоне возвышенности Чупаната, — рассуждал Вяткин. — Не тот ли это холм, на котором некогда стояла обсерватория?! Не случайно ведь он назван «Тал-и-расад» — «Холм обсерватории». Как и тогда, течет, огибая этот холм, арык Абирахмат, упоминаемый в вакуфе. Наконец, Накши-джахан, местность, упоминаемая в вакуфе, называется так и ныне.

Мракобесы могли завалить щебнем, камнями, землей остатки разрушенной ими

обсерватории, но какие-то следы не могли не остаться!

В 1908 году Вяткин начал раскопки на холме Кухак.

Первая раскопная рекогносцировка привела к замечательному открытию.

В траншее, откопанной на вершине скалистого холма, оказалась довольно хорошо сохранившаяся часть астрономического инструмента. В глубь уходили две параллельные дуги. Они были сложены из обожженного кирпича, облицованы алебастром, покрыты мраморными плитами, на которых медные риски обозначали градусные деления дуги. Расстояние между рисками составляло 70,2 сантиметра, что соответствовало одному градусу. Это были остатки подземной части главного измерительного прибора обсерватории.

В 1915 году над траншеей для сохранения уцелевшей части инструмента обсерватории возвели полуцилиндрический кирпичный свод.

В отчете Василия Лаврентьевича Вяткина о раскопках обсерватории Улугбека говорится:

«Приведенные выше данные, кажется, не оставляют никакого сомнения в том, что сооружение в траншее представляет собою не что иное, как часть гигантского квадранта, половина которого помещалась ниже уровня горизонта, а другая половина должна была возвышаться над ним».

По длине градусных делений, сохранившихся на мраморных дугах уцелевшей подземной части квадранта, Вяткин вычислил радиус окружности этих дуг — 40,2 метра и длину последних — 63 метра.

Когда-то астроном Али Кушчи сравнил высоту самаркандского квадранта с константинопольским храмом Аяя София. Если вспомнить, что его высота около 50 метров, то это сопоставление было не только картинным, оно почти соответствовало истинным величинам.

К 2500-летию Самарканда на холме Кухак открылся музей Улугбека.

В экспозиции — разноцветные глазурованные кирпичики, фрагменты мозаик, обнаруженные на раскопках обсерватории. Макет обсерватории Улугбека. Он воссоздает облик ее по сохранившимся остаткам, описаниям. Цифры комментируют: круглое трехэтажное здание обсерватории имело в диаметре более 46 метров, высота его превышала 30 метров. Громадный угломерный инструмент — квадрант, установленный в меридиане и помещавшийся внутри здания и частью под ним, служил для измерения высоты небесных светил над горизонтом и угловых расстояний между ними.

Улугбек был выдающимся астрономом и математиком. Построенная им в 1428—1429 годах самаркандская обсерватория была по размеру своего измерительного инструмента самой крупной в мире. Здесь трудились талантливые ученые.

«Новые астрономические таблицы» или «Зидж Улугбек» — под такими названиями известен главный труд самаркандской обсерватории, вобравший в себя наблюдения и опыт многих лет. Он содержит изложение теоретических основ астрономии и каталог положений 1018 звезд, определенных с поразительной даже для нашего времени

точностью, притом невооруженным глазом, без применения оптических приборов, которых тогда еще не было.

Таблицы самаркандской обсерватории на протяжении столетий использовались при решении различных астрономических задач, для измерения времени, ориентировки на суше и на море.

Давлят Шах, современник Улугбека, писал о нем:

«В геометрии он был подобен Евклиду, а в астрономии — Птолемею».

Алишер Навои про Улугбека сказал:

«Султан Улугбек, потомок хана Тимура, был царем, подобного которому мир еще не знал. Все его сородичи ушли в небытие. Кто о них вспоминает в наше время? Но он, Улугбек, протянул руку наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось ниже. До конца света люди всех времен будут списывать законы и правила с его законов».

Трагична судьба Улугбека.

...В то осеннее утро из ворот дворца Коксарай верхом, в сопровождении нескольких нукеров, выехал человек. Несмотря на скромную одежду всадника, прохожие, встречавшиеся на пути, узнавали в нем бывшего государя Мавераннахра Улугбека, свергнутого с престола собственным сыном и его кликой. Изгнанником Улугбек направлялся в далекую Мекку, к святым местам, в хадж.

В селении под Самаркандом Улугбек заночевал. Скрипнула дверь, вошел дюжий мюрид. Это был Аббас, суфийский фанатик, негодяй, хорошо известный Улугбеку.

Ученого вытолкали во двор и связали. С хладнокровием палача Аббас вытащил меч и отсек Улугбеку голову. Это случилось 27 октября 1449 года.

Улугбек стал жертвой заговора темных сил реакции. Во главе его стояли старший сын, наследник государя Абдуллатиф и муфтий ходжа Ахрар, мистик, глава грозного суфийского дервишского ордена «Накшбандий». Судьба Улугбека была решена на тайном священном совете. За отступничество от ислама его приговорили к смерти. Под этим приговором приложили свои печати представители высшего мусульманского духовенства.

Просвещенное царствование Улугбека сменялось властью фанатиков ислама. Все, что не отвечало догмам ислама, объявлялось веротступничеством. Преступивший коран зачисляется в кяфиры — неверные, и подлежал наказанию.

Астрономы, поэты, музыканты, зодчие покидают Самарканд, еще недавно считавшийся центром большой науки и культуры, а теперь превратившийся в оплот фанатизма и реакции.

Али Кушчи решается оставить родной город, с которым его связывали долгие годы радостного и плодотворного сотрудничества с Улугбеком и другими самаркандскими астрономами. Местные власти мешают ему осуществить это намерение. Абдуррахман Джами и Мир Алишер Навои, жившие в Герате, бывшем тогда столицей всего огромного Тимуридского государства, начинают хлопотать о выдаче Кушчи разрешения на выезд из Самарканда.

Лишь через двадцать лет после смерти Улугбека, осенью 1469 года, Али Кушчи покинул Самарканд, провожаемый верными уче-

никами. Ему было уже шестьдесят семь лет. Присоединившись к каравану, уходившему из Самарканды, Али Кушчи верхом на коне отправился в далекий путь. Никто не знал, что в его хурджуне среди дорожных вещей лежали рукописи, которые были дорожкой золота, алмазов и жемчугов. То был звездный каталог Улугбека, предисловие к нему, написанное Улугбеком, и другие труды самаркандских астрономов.

В Стамбуле Али Кушчи становится мудар-рисом высшей школы при храме Айя София. В копиях и на разных языках «Зидж Улугбек» разошелся отсюда по странам Ближнего Востока, попал в Индию, в Западную Европу. Труды Улугбека и его школы возвысили значение и авторитет самаркандских ученых, обогатили мировую астрономическую науку наблюдениями высокой точности.

...С горки Кухак видны силуэты мечети Биби-ханым, за ней вырисовываются минареты Регистана. И вот я на самой знаменитой площади города. И здесь, как и там, на Афрасиабе, пахло очень знакомым, близким.

Я вспомнил Регистан, каким видел его в двадцатые годы. Нас, мальчишек, по утрам возили на линейке с «Ташсама» в новый город, в школу. Она находилась на левой стороне красивого Абрамовского бульвара. Кончались школьные уроки. Мы, доехав до Регистана, говорили кучеру, что дальше будем добираться пешком, надолго останавливались в самом Регистане, людном, шумном средоточии торговых лавок, мастерских ремесленников.

Под высокими стрельчатыми порталами медресе летали и щebetали легокрылые стрижи и ласточки. Мы украдкой поднимались на минареты медресе Улугбека и Ширдор. Чтобы добраться до самого верха минарета, надобно было долго подниматься по узеньким ступенькам винтовой лестницы, расположенной внутри башни.

Регистан — чудо человеческих рук и разума.

Вот медресе Улугбека с узорными навершиями минаретов. Оно строилось в 1417—1420 годах по указанию того, чье имя оно носит. В медресе — высшем духовном учебном заведении — преподавались и некоторые светские науки: математика и астрономия, философия и литература. По тому времени это был своего рода университет. Студенты слушали здесь лекции Улугбека по математике, а его друг и единомышленник по научной деятельности Казизаде-Руми преподавал астрономию. Жили учащиеся в том же медресе, в кельях — худжрах.

Спустя двести лет, в 1619—1636 годах, напротив медресе Улугбека было построено медресе Ширдор, представляющее собой архитектурную копию медресе Улугбека. В 1646—1660 годах поднялось медресе Тиллякари, замкнувшее Регистан с третьей стороны — северной. Образовался величественный архитектурный ансамбль.

Глядеть на творения Регистана — истинное наслаждение. Они поражали нас мальчишеское воображение своей грандиозностью, гармонией, пышностью. И всякий раз мы удивлялись: какие же изумительные руки были у этих безвестных зодчих, живших в такие далекие от нас века!

Но вот осенью 1918 года давно стоявший с наклоном угловой северо-восточный минарет медресе Улугбека начал снова крениться наружу. Минарет отклонился своей верхней частью от нормального положения уже на 1,8 метра! Вот-вот могла рухнуть громадина тридцатидвухметровой высоты.

Заволновался весь Самарканд. Как спасти эту красоту, как предупредить падение высокого минарета, украшенного дивными изразцами?

Накренившийся минарет посередине ствола опоясали дощатым корсетом. Стальные тросы, обхватившие его, протянули к деревянным якорям, вкопанным в землю на некотором расстоянии от основания башни.

Долгие дни проводит на Регистане Михаил Евгеньевич Массон, молодой археолог, ставший потом видным ученым, доктором наук, академиком. Заложив у медресе Улугбека свыше двадцати шурфов и один — у Ширдора, он исследует фундаменты и состояние нижних частей кирпичных кладок, изучает позднейшие наслоения на Регистане.

Михаил Федорович Мауер, областной архитектор, продолжает трудиться над проектом выпрямления минарета, делает множество тончайших расчетов. Со своими проектными разработками едет в Москву, к Владимиру Григорьевичу Шухову, знаменитому инженеру и ученому, автору уникальной мачты для радиостанции имени Коминтерна на Шаболовке. Шухов и Мауер совершенствуют проект выпрямления северо-восточного минарета медресе Улугбека. В осуществлении его участвуют специалисты Самарканды, Ташкента, Москвы. Московский завод «Мосмет» изготавливает металлическую конструкцию, которая должна быть подведена в основание минарета, чтобы убрать поврежденную часть фундамента и заменить ее новой бетонной кладкой.

В 1932 году состоялось выпрямление «падающего минарета», как прозвали его самаркандцы. Я видел, как это делалось.

С помощью арматуры огромный ствол минарета целиком отделяется от фундамента и закрепляется на раме с шатунами. Потом удаляется вся поврежденная нижняя кирпичная часть ствола и заменяется капитальной железобетонной кладкой.

Осторожно, с продолжительными паузами, делаются повороты винта арматуры. Все замерли. И вот башня, медленно качнувшись в обратном направлении, становится прямо на новое основание! Люди ликуют. Спадают двадцать четыре стальных троса, много лет удерживавшие минарет от падения.

Долго гремят аплодисменты. Ведь ученые сотворили чудо, спасли от неминуемой, казалось бы, гибели, один из величайших шедевров старинного зодчества.

У самого минарета стоял Мауер. Голова его заметно побелела. Ему в то время было уже шестьдесят шесть лет. Он держал в руках мундштук с давно погасшей папиросой и не сводил глаз с минарета.

Я подошел к Михаилу Федоровичу, когда Регистан уже опустел, и спросил его о том, что он пережил в эти мгновения.

Он поднял глаза и сказал:

— Это были самые тревожные минуты в моей жизни. И самые счастливые!..

Евгений Березиков

ПЕЩЕРА ТИМУРА

Тимур, известный европейцам под именем Тамерлана, родился 19 апреля 1336 года в селении Ходжа-ильгар близ города Шахрисабза в семье небогатого бека Тарагая из тюркоризованного племени Барласов. На страницах истории он занимает место рядом с такими завоевателями, как Александр Македонский, Ганнибал, Чингиз-хан...

О Тимуре писали много — его современники, затем ученые и литераторы. В течение долгих лет рядом с грозным правителем находился летописец Мирза Шарафиддин Али Язди. Он оставил потомкам большой многоплановый труд, рассказывающий о Тамерлане как государственном деятеле и человеке, о его походах. Интересное жизнеописание Тимура принадлежит перу испанца Рюи Гонсалеса де Клавихо, ходившего в 1403—1407 годах с посольством в Самарканд ко двору Тимура. Труд этот называется «Жизнь и деяния великого Тамерлана, с описанием земель под его владением и господством, написанные Рюи Гонсалесом де Клавихо, камером великого и могущественного государя дона Генриха Третьего, этого имени короля Кастилии и Леона, вместе с записками о том, что случилось во время посольства, которое от этого короля совершил он к этому государю, назвавшемуся нынче Тамурбеком, года от Рождества Христова 1405».

Не прошли мимо личности Тамерлана и литераторы. В XVII веке английский драматург Кристофер Мальро написал пьесу «Тамерлан Великий». Она почти три столетия не сходит со сцены Лондонского Королевского театра и пользуется неизменным успехом. Особое место среди летописцев жизни Тимура занимает писатель Сергей Бородин, создавший роман «Звезды над Самаркандом». Это произведение получило широкую известность во многих странах мира.

Однако, несмотря на такое обилие литературы, многие стороны жизни Тимура остаются еще не освещенными, скрытыми пологом тайны. Одна из них связана с пещерой в западных отрогах Памира. Об этой пещере — наш рассказ. Но предварительно напомним читателям некоторые факты из жизни завоевателя.

Одним из самых ярких, запоминающихся произведений о Тамерлане, а точнее — рассказывающем о его жестокости как завоевателя, является картина русского художника Верещагина «Апофеоз войны». Живописцу в наиболее емкой форме удалось на небольшом полотне показать, как страшна война, как она губительна, как она античеловечна. За грудой черепов — а их на картине тысяча, а может быть, и больше — трагичность судеб людей и невольный вопрос: «А какое право имел завоеватель на уничтожение себе же подобных?»

Война и смерть — вечные темы искусства. Как хотелось бы, чтобы никогда и никто, ни писатель, ни художник, не имел бы возможности изображать с натуры войну — чудовищное изобретение человека.

Тамерлан оставил нам не только воспоминания об ужасах войны, завоеванных странах и покоренных городах, но и целый ряд изумительных по красоте и неповторимых по архитектуре дворцов в городах Самарканде, Шахрисабзе, по всему Туркестану. Он оставил также ряд письменных памятников, которые еще и по сегодняшней день удивляют нас. Среди них особое место занимает так называемое «Уложение Тимура» — объемный документ о государственном устройстве. В этом документе Тимур попытался обобщить мысли о том, каким должно быть управление державой от верха до самого низа, заложил основы учения о государственном устройстве. Большой интерес для историка представляет и военное искусство Тамерлана, прошедшего из всей своей сознательной жизни почти тридцать лет в походах. В них он находился по два-три года вместе со всем двором, с женами, с детьми. На родину возвращался лишь на несколько месяцев.

Тамерлан, ведя бесперывные войны, сокрушил двадцать шесть больших и малых стран. Он победил Золотую Орду, взял Хорезм и Багдад, покорил Сирию, завоевал Индию, где уничтожил более ста тысяч воинов и жителей этой страны. Индия нужна была ему для того, чтобы, разграбив ее сокровища, приготовиться к еще более сокрушительным походам.

Тамерлан, видимо, хорошо знал правила римского полководца Юлия Цезаря. На сокровища, награбленные в Индии, он смог вновь хорошо вооружить свое войско, выплатить ему вперед жалование. В это время армия Тамерлана состояла почти из трехсоттысячной конницы, имела двадцатитысячный отряд воинов на верблюдах, особый отряд на боевых слонах.

Следующая война — с турецким султаном Баязетом. В битве с ним была выставлена четырехсоттысячная армия. Вот как военные специалисты описывали бой: «Поутру, полагают, в пятницу

восемнадцатого июня тысяча четыреста второго года Тамерлан вышел из лагеря и построил свои войска в боевом порядке. Боевой порядок его войск состоял из правого и левого крыла с их авангардами и центром. Впереди были поставлены тридцать два слона в несколько рядов, на них посажены стрелки и метатели грегорианского огня. Позади центра был расположен резерв, составленный из сорока полков отборнейших войск, над которыми начальствовал сам Тамерлан». Из истории известно, что Тамерлан разбил Баязета, захватил его самого в плен и в течение нескольких лет возил бывшего властителя в железной клетке, показывая его для устрашения других народов. Этот эпизод запечатлен на живописном полотне, находящемся в ГДР в галерее Целлендорф города Потсдама. Художник изобразил Тамерлана сидящим на троне, а у его ног стоит железная клетка. В ней бывший турецкий султан Баязет, который когда-то был грозой для многих европейских стран, наводил ужас на целые народы. Баязет в бой на Тамерлана в тот день вывел почти четырехсоттысячную армию и, несмотря на это, проиграл. Потерпел поражение, хотя сражение разворачивалось на его родной земле, в Анатолии.

После того как Тамерлан разбил Баязета и захватил его несметные богатства, он решил осуществить давнюю мечту — пойти войной на Китай. Семидесятилетний Тамерлан торопился, он знал, что жить ему осталось не так уж долго. Эта война занимала его мысли еще до похода в Индию, и он несколько лет исподволь готовился к ней. Тамерлан считал, что для похода на Китай ему будет достаточно двухсот тысяч отборного войска — конницы и пехоты. Правое крыло войска было расположено на зиму в Ташкенте и Сайраме, левое — в Яссах. Сам же Тамерлан с оставшимися войсками предполагал провести зиму в Отраре и его окрестностях. По расчетам, которые сделал по картам Тамерлан, его войску предстояло пройти путь в три тысячи пятьсот верст. Путь — неблизкий. Для двухсоттысячной армии и обозов нужно было взять достаточно провианта, фуража. Поэтому за армией Тамерлана двигалась целая армия возчиков с различными грузами. Тамерлан был многоопытный полководец, не раз водивший войска в походы, и его заботы не ограничились только запасами продовольствия на ближайший срок, а, как свидетельствуют историки, завоеватель думал и о завтрашнем дне, поэтому приказал, чтобы за армией еще следовало несколько тысяч повозок с зерном, предназначенным для посева в удобных на пути местах, чтобы при возвращении было чем накормить войско. Кроме того, за армией вели и тысячи жеребых верблюдиц, чтобы их молоко также могло послужить пищей. Ни Шарафиддин Али Язди, ни другие историки не могли объяснить той торопливости, с которой Тамерлан готовился к походу на Китай. У него были какие-то свои расчеты. О них до нас не дошло никаких сведений. Известно лишь, что Тамерлан, развернув свое боевое знамя, выехал из Самарканда 8 января 1405 года и, несмотря на суровую зиму, продолжал путь безостановочно, располагаясь для ночлега среди степи, в шатре, обнесенном камышовыми загородками. В окрестностях города Зеркина он перешел по льду через Сырдарью. Зима была так холодна, что, по уверению Шарафиддина Али Язди, лед был в том месте толщиной от двух до трех локтей, этот лед всюду выдерживал пешие и конное войско. Местами на пути лежал снег глубиной в две пики. От холодов и буранов погибло много людей и лошадей. Двадцать седьмого февраля Тамерлан прибыл в город Отрар (располагался на территории нынешней Киргизии) и стал готовиться к броску на Китай. Этому броску не суждено было состояться — Тамерлан заболел и первого апреля 1405 года умер. Родственники и военачальники властелина повернули войска назад.

Полководческое мастерство Тимура после его смерти повсеместно стало изучаться. В 1875 году в Петербурге был издан труд «О военном искусстве и завоеваниях монголо-татар и среднеазиатских народов при Чингиз-хане и Тамерлане, сочинение М. И. Иванова, генерального штаба генерал-лейтенанта». Труд это основательный, в нем почти триста страниц, прилагаются карты и чертежи, которые показывают, как выстраивал свои войска Тамерлан. Глядя на чертежи, поражаешься, что этот полководец, судя по сохранившимся сведениям, не имел какого-то систематического образования. Видимо, природа дала ему большой талант, умение собирать вокруг себя непобедимую силу.

Сведения о завоеванных странах, городах, уделах, которые Тамерлан раздал своим приближенным, дошли до нас в исторических памятниках, книгах, его боевые действия — в чертежах. Но в нашем повествовании не об этом речь. Нас занимает один из загадочных и интересных объектов — пещера в отрогах Памира. Располагается она среди каньонов близ кишлака Ташкурган на территории нынешнего Яккабагского района в Кашкадарье.

Прежде чем рассказать об удивительной пещере, необходимо поведать легенду о рождении Тимура. Она гласит, что эмир Шахрисабза Бекбува как-то вечером пригласил к себе астролога и спросил: «Скажи мне, ученый гадатель, кто заберет из моих рук власть над этим краем?» И ученый астролог, которого Бекбува специально выписал из Персии, погадав вечером по звездам, сказал: «О повелитель! Ты погибнешь от руки сильного воина по имени Тимур». Тогда правитель спросил: «Где сейчас живет тот воин, от руки которого мне суждено погибнуть?» На это звездочет ответил: «Этот воин еще не родился, он появится на свет только через два месяца. Мать ребенка живет в кишлаке Ильгар вблизи столицы твоего бекства». Правитель решил погубить еще не родившегося младенца. В кишлак послали солдат, чтобы захватить беременную женщину и уничтожить во чреве того, от чьей руки беку на роду было написано погибнуть.

Разговор правителя с астрологом подслушала служанка. Она приходилась подругой детства матери Тимура. Служанка оседлала скакуна и кратчайшим путем добралась до дома Тарагая, рассказала об угрозе. Тогда хозяин дома направился навстречу воинам бека, а свою жену в сопровождении служанки и двух слуг, одним из которых был богатырь Хаккул, отправил в дальний путь.

После нескольких часов быстрой езды беременная женщина почувствовала себя плохо, стала умолять батыра Хаккула остановиться. Но тот об этом и слушать не хотел, так как боялся, что их могут настигнуть преследователи. То ли от быстрой езды, то ли от волнения у молодой женщины начались преждевременные роды. Тогда батыр Хаккул решил остановить свой маленький караван. Недалеке путники увидели мерцающий огонек. Это оказался одинокий домик хлебопашца. Здесь и нашли приют беглецы. Вскоре молодая женщина разродилась. На свет появился мальчик. Ему

дали имя Тимур. А место рождения назвали Чиракчи, то есть «Светильник». В наши дни Чиракчи — небольшой город, центр одноименного района.

Хлебопашец, приютивший у себя ночных путников, увидев мальчика, сказал: «Этому младенцу суждено вырасти в большого воина и стать покорителем многих земель. Хотя я, как хлебопашец, кормилец людей, и не хотел бы, чтобы велись войны, но так распорядилась судьба, и от нее никуда не уйти». Прав оказался звездочет, предсказывая беку, что родится такой воин, который победит его. Прав оказался и хлебопашец. Но Тамерлану к своей славе еще предстояло идти через многие преграды, бороться за свою жизнь, за место среди сильных мира сего.

На следующий день, как повествует легенда, роженица, чтобы спасти младенца от грозившей ему беды, вместе со спутниками на каюке, бревенчатом плоту, спустилась вниз по реке Кашкадарье до самого города Карши. Там она нашла приют у местного правителя и прожила вместе с Тимуром целых три года. Потом она вернулась в родные края. Но правитель Шахрисабза Бекбува не забыл о предсказании звездочета. Он старался любыми средствами сжить со света Тимура.

Мальчик рос бойким, очень любил играть со сверстниками в военные игры, а уже с десяти лет стал ходить в походы со своим отцом, султаном Тарагаем. Джигитовке, владению копьем, саблей обучил подростка палван Хаккул. Мальчик был старательным, выносливым, мог целые сутки обходиться без пищи, долго не покидал седла, не уступал взрослым в дальних переходах и в боевых вылазках.

Когда мальчику исполнилось двенадцать лет, состоялась его встреча с эмиром Шахрисабза. Последний у себя во дворце специально устроил состязание борцов. По обычаю они проводились при дворе в дни больших праздников. Народ на такие состязания стекался отовсюду, победитель получал почетный титул и награду.

Вначале проходили состязания джигитов младших возрастов. В этих схватках всех борцов обычно побеждал сын бека Шахрисабза Хусейн. Он был физически развитым, крепким и выносливым. В те годы правители старались с малых лет готовить сыновей к нелегкой жизни, потому что быть правителем значило постоянно доказывать не только свой ум и образование, но и свое право на власть. Когда желающих бороться с Хусейном не нашлось, на схватку с ним вызвался выйти Тимур, хотя был он на два года младше соперника.

За борьбой двух царевичей — наследника престола шахрисабзского бека и сына султана Тарагая — с особым волнением наблюдали все присутствовавшие на спортивном празднике. Тимур вел поединок с ожесточенностью и вышел из него победителем. За это он должен был получить почетное звание батыра, а в награду — шкуру леопарда. Но эмир Бекбува, разгневанный исходом борьбы, велел воинам схватить и казнить Тимура. Юного батыра связали и подвели к трону. Однако народ начал возмущенно кричать: «Несправедливо! Победителя не судят!» Эмиру ничего не оставалось делать, как отпустить Тимура.

Но не таков он был, чтобы просто так отпустить смельчача. По приказу правителя Шахрисабза Тимур переломали ноги, чтобы он никогда больше не смог выходить на единоборство. С тех пор и стал Тимур хромать на правую ногу. Позднее, когда он стал властелином мира, в Европе прозвали его Тамерланом — от тюркского «Темирленг», то есть «Железный Хромец».

После того как Тимур остался хромым, рассказывает легенда, он не ушел в себя, не испугался. Юноша еще больше окреп физически и духовно, стал с завидным упорством заниматься самообразованием, упражняться в джигитовке, тренировать тело для будущих походов и битв. К шестнадцати годам равных Тимур по силе молодцов не было во всей округе.

Однажды Тимур вместе с отцом, собрав большую дружину, направился к эмиру Шахрисабза, напал на его дворец. И в этом бою, как и предсказал звездочет, от руки Тимура погиб Бекбува. Но в той же битве Тимур потерял и своего отца — султана Тарагая.

Победитель не стал казнить сына шахрисабзского бека Хусейна, а решил приобрести его дружбу. В знак ее дал он Хусейну клятву, закрепив последнюю кровными узами, — взял в жены сестру сына бека — Ульджай Туркан-ага. Шахрисабзом вместе стали править новый бек Хусейн и молодой султан Тимур. За короткое время они значительно укрепили город, собрали сильное войско, подчинили своей власти всю округу.

В то время в Самарканде правил потомок Чингиз-хана Казанган-хан. Он, видя, что в Шахрисабзе к власти пришли два молодых сильных правителя, решил сделать их своими сторонниками, пообещав им власть во всех уделах, прилегающих к Шахрисабзу.

Казангану не суждено было долго быть у власти — его разгромил еще один потомок Чингиз-хана — хан Туглук-Тимур. Ему не понравились два молодых правителя из Шахрисабза. Новый властитель Самарканда отдает письменный приказ своему сыну Келлес-хану захватить и умертвить Тимура. Но, верные последнему, воины перехватывают гонца с этим приказом. Так Тимур становится известно о нависшей над ним угрозе. С верными друзьями он уходит в горы. В пути их с большим войском настигает Келлес-хан и разбивает небольшой отряд беглецов.

Остатки отряда Тимур приводит к своему старому учителю — палвану Хаккулу. Тот, выслушав рассказ молодого султана, говорит: «Сынок, я думаю, сейчас тебе не время выступать против Келлес-хана. Ты еще не обрел силу, за тобой еще не пошел народ. Считаю, что тебе нужно стать крепким, сильным, неуязвимым. Тогда ты покоришь Самарканд. Сейчас тебе нужно собрать хорошую дружину, подготовить ее к битвам, научить воинов мастерски владеть оружием, сражаться в горах и степи, у городских стен...»

Тимур же спрашивает учителя: «Где мне готовить воинов? Ведь об этом сразу узнает вся округа, тут же донесут правителю Самарканда, а он, конечно, поспешит с нами расправиться».

На это Хаккул-палван замечает: «Я знаю в горах древнюю пещеру. В ней можно разместить целый отряд».

Тимур внял совету. Через пять дней пути вместе с отрядом юношей из окрестностей Шахрисабза он уже был в горах на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Здесь в одном из каньонов Тимур нашел пещеру, указанную Хаккул-палваном.

Местность оказалась удивительной. Она словно специально была предназначена для того, чтобы в тайне готовиться к будущим битвам. Горы отгораживали этот район от всего мира, пути в

который через тайные перевалы знали лишь местные дехкане. Да и ближайшее от пещеры поселение было на расстоянии в целых три дневных перехода.

Пещера, находившаяся на развилке многокилометрового каньона, расположилась тоже очень удобно. Сама она не была на виду, а из нее вся местность просматривалась далеко вокруг. Внутри пещеры легко смог укрыться большой отряд. Она для него становилась и надежной крепостью, и удобным домом. В отдаленных каменных пустах, где температура воздуха оказалась довольно низкой, возможно было долго хранить продукты.

Вход в пещеру имел двенадцать метров в высоту и до пятнадцати метров в ширину. Вошедший внутрь через несколько шагов попадал в большой зал. Затем пещера уводила по переходам еще в несколько залов. Здесь было удобно не только жить, но и вести в любую погоду обучение воинов. Да, лучшего места для лагеря невозможно было вообразить.

Конюшню Тимур наметил построить неподалеку от входа в подземелье. Стены конюшни можно было сложить из грубо отесанных горных камней. Это делало постройку совершенно незаметной со стороны.

Тимуру было всего двадцать три года. Но он уже умел серьезно оценивать положение дел. Молодой предводитель небольшого войска, придя к пещере, осмотрев ее, остался доволен советом Хаккул-палвана.

Тимур, приняв окончательное решение, разослал своих воинов по окрестностям, чтобы они подобрали в дружину молодежь. Через два месяца в пещере собралось уже почти полторы тысячи юношей. Это были сильные мужественные молодые люди. Их разбили на отряды и группы. Учили джигитовке, владению копьем, метанию каменных снарядов.

Из конца в конец каньона протянули волосяные веревки. По ним юноши стремительно спускались с гор, внезапно обрушиваясь на воображаемого врага. Это был, можно сказать, прообраз современных десантных войск. До Тимура в мировой практике подобного воинского подразделения, где солдат обучали и скачкам на лошади, и владению самым разным оружием, и бою в горах, не было. Кроме того, воины тренировались в плавании, преодолении бурных потоков. Люди подготовились к битвам и психологически.

Почти год стоял Тимур лагерем в районе пещеры. Молодой предводитель присмотрелся к людям, выявил среди них способных управлять другими, а из них выделил будущих командиров войска. И, что очень важно, всю подготовку ему удалось провести скрытно, вдали от любопытных глаз.

В 1363 году Тимур подошел к Самарканду. Силы противника превосходили наступающее войско. Но Тимур был уверен, что он преодолеет врага. Так и произошло. Воинское искусство и мужество маленького отряда обеспечили успех. Тимур стал правителем Самарканда.

Можно только дивиться отваге и уму Тимура, располагавшего полторатысячным отрядом, но не побоявшегося выступить против двадцатитысячной армии потомков Чингиз-хана. В их распоряжении было еще восемьдесят тысяч воинов, находящихся в крепостях между реками Амударья и Сырдарья. От сражения к сражению укрепляя свою армию, Тимур сокрушил противника и стал повелителем всего Мавераннахра.

Это произойдет позже, а после победы в битве за Самарканд, свидетельствуют историки, Тимур собрал вокруг себя воинов и обнаружил, что все полторы тысячи человек вышли из сражений живыми. Из этих испытанных бойцов он назначил сто для начальствования десятками, сто — сотнями, сто — тысячами. Еще тринадцать человек Тимур назначил на более высокие должности. Избранные им предводители, без сомнения, способствовали введению в войсках дисциплины, боевых порядков, которым Тимур обучил их далеко в горах, в пещере — месте подготовки костяка будущей армии.

Сама жизнь Тимура не загадка, она ясна нам почти до предела. Но не совсем понятны мотивы, которые толкали его на ужасающие побоища. Ушли из жизни многие тираны, ушел и Тимур, но осталась немая свидетельница начала его кровавого пути — пещера. Немая ли?

Пещера находится на территории современного Яккабагского района, в ста двадцати километрах от поселка Яккабаг. Путь к ней труден — через горный перевал, по бездорожью. Но сюда проложена туристская тропа, при желании пещеру можно увидеть. Она привлекает многих любителей странствий и походов своей необычностью, связанным с ней преданием. В пещере почти ничего не изменилось, все, как во времена Тамерлана. Остались ступеньки, по которым человек взбирался к пещере, тот же вход в нее. В годы басмачества в подземелье скрывались отряды местных грабителей. Но после того как была окончательно установлена Советская власть, в пещеру, кроме туристов, никто не входил.

Пещера находится в заброшенном состоянии, ее по-настоящему не изучила ни одна экспедиция. Я думаю, что впереди большая работа по постижению тайн пещеры. Помогут в этом короткие записки бека, назначенного в 1910 году эмиром Бухары Абдуллахадом правителем Шахрисабза.

В то время в пещере еще были целы сооружения, не дошедшие до нас. Поэтому сохранившиеся дневниковые записки бека — Мирзы Салимбака — имеют, несомненно, историческую ценность. Вот отрывок из этих записей: «После обеда и отдыха мы, двадцать человек, пошли осматривать крепость Тимура. Мы поднялись вверх примерно на сорок-пятьдесят шагов. Там стояли остатки больших ворот, через которые мы вошли в крепость. На расстоянии около ста шагов находилось закрытое сверху помещение наподобие конюшни. Все оно было вырублено в горе. Разрез помещения равнялся тридцати кят¹. По обе стороны были сложены из обтесанного камня стены. Между ними были вытесанные из мрамора столбики, некоторые из них стояли еще на месте, а прочие отломаны или полусломаны. Высота помещения была такова, что если всадник держал в руке меч, то не доставал им до потолка. Все помещение было отстроено из горной породы. Осмотрев место, мы вышли и оказались у больших ворот наподобие городских. Но створок на месте не было, а следы их были еле заметны».

¹ Кят — мера длины, равная примерно 80—90 сантиметрам.

Если Салимбек в то время, почти восемьдесят лет тому назад, кое-что застал, как говорится, живьем — и ворота, и крепость, то до наших дней из того, что видел он, ничего уже не дошло. Осталась сама пещера, не тронут временем вход, ступеньки, вырубленные в камне для подъема в пещеру. Сохранились полностью помещение конюшни, ее стены. Но от мраморных столбов-подпорок и следа нет. Запись бека, доносящая до нас описание пещеры почти в том первоизданном виде, в каком она была после того, как здесь потрудились воины Тимура, видимо, последнее документальное свидетельство очевидца.

Салимбек писал, что когда группа вошла в ворота, то обнаружила лестницу из камня. Ворота этих сейчас нет, но лестница из камня пока цела, и по ней можно подняться в пещеру. Далее бек сообщал, что когда он поднялся вверх по ступенькам, то увидел престол и несколько широких суф из обточенных камней.

Дневного света, когдаходишь в пещеру, хватает всего на двадцать — тридцать шагов. В одной из стен можно заметить выемку. Видимо, об этой нише и писал Мирза Салимбек как о месте, где стоял трон. Но автор записок не отмечал, что это трон Тимура. Об этом свидетельствует лишь предание.

Но проследим далее за путешествием Мирзы Салимбека: «Отсюда мы двинулись в глубь пещеры. Высота потолка равнялась высоте первой конюшни. Верхний разрез помещения равнялся примерно двадцати кьятам. Верх — закрытый, крыша и окружность кажутся высокой горой. Внутренние стены были сплошь покрыты рельефными изображениями».

До нас, конечно, эти рельефные изображения полностью не дошли, остались лишь смутные контуры, которые предстоит исследовать, для этого нужна специальная аппаратура. По-видимому, понадобятся мощные электронагреватели, чтобы высушить стену, затем снять наслоения, и лишь потом можно будет увидеть, что же там было изображено.

Мирза Салимбек повествует далее: «В обеих стенах были вырублены большие и малые ниши. Большая часть ниш была с каменными решетками. В разных местах стояли выточенные из камня шандалы. Кое-где лежали сделанные из камня ручные мельницы. Некоторые люди, живущие в степи, пастухи, видимо, приходили сюда, чтобы стащить их с места и разбить, но не смогли этого сделать до конца. Засветив факелы, взяв с собой хлеб, мясо, воду и другую провизию, мы прошли примерно двести шагов и оказались на просторном месте с проходами, похожими на купола ювелирных мастерских в Бухаре. Посреди стоял большой стол из белого мрамора с яхонтовым оттенком».

Об этом столе сейчас и помина нет. Я ничего подобного там не нашел. Здесь валялись лишь какие-то обломки скальных пород, явно отвалившиеся от стен пещеры.

Но вернемся снова к рассказу Мирзы Салимбека: «В этом зале мы просидели приблизительно полчаса и осмотрели все. Отсюда хотели направиться дальше вперед, но дорога туда постепенно сужалась».

На этом заканчиваются записи Мирзы Салимбека, достаточно полно повествующие о следах работы в пещере Тимура. Я продолжил путь дальше, туда, куда Салимбек не пошел. Пещера местами действительно сужалась по ширине до двух — трех метров, затем через двадцать — сорок шагов снова расширялась, переходила в небольшой зал, размером примерно пятьдесят на сорок метров. Дальше опять следовал узкий коридор шириной шесть, восемь, местами десять метров. И затем я выходил снова в зал. В одном из них, в нише, я заметил большое углубление с водой. Дальше я идти не решился — вокруг было сумрачно, холодно, все навевало страх. Дальше того водоема, который я видел, никто за последние годы в пещеру не углублялся. Об этом свидетельствуют жители кишлака Ташкурган, находящегося в двадцати километрах от пещеры Тамерлана.

Думается, что разгадка тайны пещеры впереди. Эту тайну она может раскрыть любому, кто отважится прийти сюда, пройти по подземным лабиринтам, а значит, и по лабиринтам истории.

Зиновий Рыбак

Выборы бригадира

Как гром среди ясного неба, как снег в июле, нагрянуло это кошмарное известие: выборы! Выборы бригадира. До сих пор много лет сидел на бригадном престоле, и все его просьбы, советы, пожелания выполнялись подчиненными, как приказы командира. А если кто-то смел ослушаться, на того обрушивалась всей тяжестью своей неограниченной бригадирской властью. Опорой Бригадира был учетчик, которого все так и звали — Помощник. Другого имени у него не было, и он этим гордился несказанно. Даже своей жене он велел называть себя Помощником во всех случаях их семейной жизни. Помощник был правой рукой, глазами и ушами Бригадира. Малейшие отклонения от нормы в настроении рядовых членов бригады тотчас доносились руководителю. Но это была не простая информация к размышлению, а руководство к действию. За много лет Бригадир ни разу не повысил голоса в разговоре с рядовыми, ибо считал это снижением авторитета руководителя, проявлением его немощи. Спокойно, уверенно и неизменно он задавал вопрос тем, кто пытался хоть чуть-чуть нарушить незыблемость его пьедестала: «Неужели вам надоело работать в моей передовой бригаде?»

Иногда, очень редко, он получал утвердительный ответ на свой излюбленный вопрос. Но не сокрушался, ибо выручало старое, как мир, утешительное изречение: «Всем не угодишь».

И бригада работала, даже преуспевала. Бывали и премии, и знамена, и вымпелы. Но бывали и крутые моменты. До выполнения плана, скажем, оставались считанные проценты, а на поле — последние коробочки. Тут выручал Помощник. Съездит, бывало, на заготпункт (конечно, не с пустыми руками) — и, глядишь, цифирка округляется — 100. И еще кое-что в этом роде бывало.

На полевом стане, в комнате, где находились Бригадир и Помощник, никогда не было недостатка в необходимом: сигареты закеанские, коньяки закавказские, шашлыки зааминские. Изредка, когда Бригадира беспокоили рядовые, он с улыбкой приглашал их в свою штабквартиру и потчевал. Это считалось особой честью.

Так и жили. Но вот в одном из апрелей подул ветер — довольно резкий, как показалось Бригадиру. И начал этот ветер набирать силу. С каждым месяцем, днем. И такое странное дело получалось — во все уголки начал этот ветер проникать. Уже два года бригада не выполняет план, и визиты Помощника на заготпункт остаются безрезультатными.

— Почему? — строго спросил Бригадир.

— Другая погода, — переминаясь с ноги на ногу, отвечивал Помощник, — старые рычаги не действуют, заржавели.

— Ладно, переждем маленько, — утешал его Бригадир, приглашая к дастархану, на котором стояли две касы самой обыкновенной общебригадной шурпы. Скромно стало в штаб-квартире Бригадира, неуютно. Словно насмехаясь, укоризненно смотрели оголенные стены, которые в прошлые времена завешивались хоть и не ручной работы, но все же не последнего сорта фабричными коврами.

И вот теперь, как снег на голову, как гром среди ясного неба, — известие об этих самых выборах. Но Бригадир был не из тех, кто опускал руки под ударами судьбы. Не из тех. Пригласил Помощника. Усадил. Начался вечер вопросов и ответов.

— Сколько в бригаде людского состава?

Помощник:

— Без вас и меня — девятнадцать.

Бригадир:

— Настроение?

Помощник:

— Ниже среднего.

Бригадир:

— Сколько недовольных?

Помощник (считая по пальцам):

— Активных пятеро.

И тут начинается глубокий анализ обстановки. Разбор каждой фамилии нелояльных, дифференцированный подход.

— Начинаем подготовку к выборам, — официально заявляет Бригадир своему Помощнику. — Значит так: двух лидеров немедленно надо представить к премии, нерадивого механизатора — сегодня же сфотографировать на Доску почета, а вот остальных двух (на лице Бригадира появилась презрительная гримаса), остальных двух, — повторил он, — изо-ли-ро-вать. Ведь наша бригада многолюдная, а в других так не хватает рабочих рук. Надо же не только о себе заботу проявлять, обо всем хозяйстве думать следует. Что у нас тогда получится?

— Полная гарантия!

— А если механизатора второй кандидатурой выдвинут? — тревожно спросил Бригадир. — Теперь это модно.

— Разрешите предложить план дальнейших действий, — встав по стойке «мирно», выпалил Помощник.

— Разрешаю.

И здесь наступила сказочная развязка. Нежданно-негаданно во время разговора появился руководитель хозяйства. Взаимные возгласы, приветствия, традиционные вопросы. А затем:

— Я к тебе не случайно, — по-деловому произнес руководитель хозяйства. Он испытующим взглядом окинул Помощника.

— Человек надежный, — аттестовал его бригадир.

— Так вот, — продолжал глава хозяйства, — хватит тебе бригадирствовать. Достаточно!

Мелкая дрожь пробежала по телу Бригадира.

— За что же так? — взмолился он, опускаясь на подставленный Помощником табурет. — Сколько лет служил...

— А теперь — все, — бодрым тоном сказал руководитель. — Я нуждаюсь в помощи. Предлагаю тебе быть моим заместителем...

Помощник уверенным движением поправил табурет под Бригадиром.

Аллергия

Что такое аллергия? Аллергия — это когда что-то не идет. Все идет, а вот что-то одно не идет. Скажем, питается человек по всему комплексу, здоровье свое в форме держит, и вдруг одну-единственную горсть клубники откусывает и — уже не человек он, а мартеновская печь: весь горит, доведен до белого каления. Значит, в этом человеке отсутствует пункт по приему клубники, вот организм и сигнализирует: клубнику, дескать, категорически отвергаю. Это по части еды.

Есть аллергия по части питья. Скажем, все человек пьет, все, что льется-переливается, всякую жидкость, значит. И вдруг... Мой один товарищ — да не так чтобы товарищ, а просто, можно сказать, знакомый — так он пил и пшеничную, и анисовую, и столичную, и сибирскую, и всякие прочие водки — и ничего. А тут попалась ему «Посольская», да не в счет зарплаты там или премии, а так, безвозмездно — кто-то на каких-то на радостях угостил. И что вы думаете? Выпил он стакан, второй, а когда пятый пропустил, его еле отходили. И до сих пор не установлено, отчего такое стряслось. Одни говорят — аллергия. Другие — водка-то «Посольская», по спецназначению, а данный человек никакого отношения к дипломатической службе не имеет. Большинство же все-таки, в том числе один академик, к аллергии склоняются.

А то еще есть аллергия по части обоняния. Живет себе человек, полной грудью дышит, грудную клетку, стало быть, развивает. «Обожаю запах сирени», — говорит один. «Вдыхаю розы аромат», — поет другой. А вот один мой знакомый, даже можно сказать — товарищ, а еще вернее — друг, идет как-то мне навстречу по

улице мрачный-мрачный. «В чем дело?» — спрашиваю. Блеснул он свирепым взглядом: «Крышка мне, бесповоротная...» Слово за слово. Выясняется — критическая ситуация: у моего друга страшная форма аллергии. Рассказывает: жена всячески там парфюмерию обожает — «Белая (предположим) акация», «Ландыш (например) серебристый», «Жди (если из-под прилавка) меня» и прочее. Все это он тоже обожал, до поры. И вот собирались они как-то с супругой на какое-то мероприятие, она всю над собой подготовительную работу провела и... начала духами обрабатываться. «Это что?» — с удивлением спросил друг. «Духи французские... — Восемьдесят рублей флакон...» — «Восемьдесят? Так это ж моя зарплата!» — с трудом вымолвил друг и дальше ничего не помнил, сознание потерял. Аллергия, должно быть.

Поведав эти неприятные истории, я должен вас обрадовать: наша медицина начала фронтальную атаку на аллергию по всем линиям, и говорят, что кое-где даже успехи намечаются.

Но все вышеперечисленные варианты — это, можно сказать, семечки, пустяки. Вот у меня — страшно рассказывать. Не родился, видимо, еще человек, который мог бы принести мне спасение. Роковая у меня аллергия. Роковая. Слушайте. Начну по порядку. Сразу скажу: сплю я сном океанских глубин. И такие вещи мне снятся: то меня шеф наш с какими-то победами поздравляет, то я у кассы себе пачками денюгу отсчитываю, то будто бы жена моя в длительную командировку уезжает, а то уличные автоматы за монету не воду наливают, а... Просыпаюсь — жить хочется! Жена уже завтрак приготовила. С аппетитом у меня нормально, посуду мыть не надо. После завтрака выхожу на улицу и попадаю в объятия родного города. Все радуется, вдохновляет. Даже вывески: «Чебуречная», «Закусочная», «Ресторан» восхищают. Все призывает к активной жизни. И вдруг... Ноги подкашиваются, голова кружится, к горлу комок подступает. Это я прочел вывеску на здании, где помещается мое родное учреждение, то есть — страшно вымолвить! — р а б о т а. Одно это слово приводит меня в душевный и физический трепет, словно я съел ведро клубники, выпил две «Посольские» или вылил на себя весь флакон французских духов. Господи, как богат наш язык, сколько в нем прекрасных слов! И зачем это слово люди придумали — работа? Кое-как я преодолеваю ступени, поднимаюсь в комнату, где за столами уже сидят все мои сослуживцы. Занимаю пустое место. И мутит меня, мутит... Открываю-закрываю ящик стола, открываю-закрываю и снова открываю. И все не решаюсь вынуть оттуда папки. Поглядываю на часы, что висят передо мной, — громадные, независимые. И стрелки двигаются на них ужасно медленно. Зайдешь в ресторан, там тоже часы на стене имеются, но ходят они почему-то быстро, не успеешь рюмку-другую пропустить, а уже смотришь: час прошел. А здесь...

Так вот. Хочешь не хочешь, а ящик выдвигать придется. Достаяю папку — она пухлая, как подушка. Открываю — руки трясутся, в глазах — рябь. И я принимаю оптимальное решение: одну за другой передаю бумаги соседу. Сразу на душе легче становится. Так еще жить можно, думаю. Но это благополучие длится недолго. Подносят сверху свежие жалобы, приказы, директивы... Окинешь их взглядом по диагонали, сунешь в папку, опустишь в ящик, отдышишься малость и... ждешь. А чего ждать? Перекура. «Ребята, перекур!» — раздается призывный голос. Выходим в курилку. Накурено — друг друга не видеть, замзава от зава не отличишь. А дышать — легче. Жить можно. В особенности некурящим. Курящий, тот затянулся, вдохнул в себя порцию яда, и снова на рабочем месте. А мы, некурящие, — нет! Мы должны потолковать, все вопросы обсудить — от соответствия занимаемой должности новой секретарши начальника до угрозы ядерной войны. А тогда уж не спеша расходимся и, напрягая все силы, садимся на закрепленные за каждым места.

Хуже всего, когда на документе начертано: «Решить лично!» Я понимаю так: если написано «решить лично» — значит, я имею право решить лично. Но не зря же направо и налево от меня столько рабочих единиц разместили. Я передаю документ соседу справа.

Трудно. Невыносимо. Сон одолевает. С ненавистью я поглядываю на эти ужасные часы. И уже близок к клинической смерти, как вдруг... Сосед слева сует журналчик с кроссвордом, умоляет разгадать одно слово. Начинается на «а», кончается на «я», восемь букв. Боже мой, так это же то, чем я страдаю восемь часов в сутки, — «аллергия». Сосед слева доволен.

Наступает момент, когда кажется, что сейчас рухну замертво у своего рабочего стола, последние силы покидают, — как приходит благословенное время, обеденный перерыв. Бодрым шагом иду в столовую, какой-то невиданный энтузиазм охватывает меня, когда выбираю первое, второе и третье. Сажусь за стол. Я — человек, я — личность, полная сил и энергии. Но время мчится кавалерийским галопом, не успеешь проглотить компот и улыбнуться поварихе, как зал уже опустел, и я снова должен...

Сверхчеловеческих сил требует вторая половина рабочего дня: ведь усталость накапливается с утра. Снова — папка, бумаги. Начинается приступ классической аллергии. Пульс мерцательный, тяжелая одышка, руки и ноги холодеют. Все. Конец. И только одно-единственное слово приходит, как спасательный круг: «завтра». Какое слово! Я решительно открываю ящик стола, бросаю туда папку, закрываю ящик на ключ. До завтра!

И все же... я почти теряю сознание. Хотел уже просить соседа вызвать «Скорую», но озаряет мысль: «сегодня зарплата!» И вновь я человек. Спринтерски подхожу к заветному окошку, отсчитываю зарплату, затем сами понимаете, премиальные. Снова я — в объятиях родного города. По дороге захожу за «Посольской», без очереди, как ветеран труда, беру колбасу и все такое прочее. Хочется жить и чувствовать!

Вы думаете, что я не обращался к врачам? Как же, многократно. Медицина, как известно, не оставляет человека в беде. Она и меня всячески поддерживает. То больничный лист выдадут, то в профилакторий направят, а однажды в такую больницу поместили, где я ни одного больного не видел. Плавательный бассейн, теннисный корт, бильярдная... А посему нет у меня ни малейших оснований жаловаться на нашу родную медицину. Прошу эти слова считать моим официальным заявлением.

А теперь я хочу с вами посоветоваться. Как мне дальше быть? Вчера, как обычно, выдвинул ящик рабочего стола, вынул оттуда бумаги. Слышу — кто-то громко называет мою фамилию. «К шефу!» Вот так. Что это? Конец карьеры? Увольнение по собственному? Встал я кое-как, больше мертвый, чем живой, пересек комнату — и в приемную. А ведь известно, что начальство любит, чтобы подчиненные всегда выглядели, как в выходной. Секретарша, как назойливых мух, отгоняла всех посетителей, а передо мной распахнула дверь шефа. Он вышел из-за стола, прошел мне навстречу, пожал руку, усадил, сел со мной рядом. Как во сне.

— Рад видеть вас. Наслышан, — сказал он таким тоном, вроде сватает мою единственную дочь. — Пришло время потолковать.

Я огляделся по сторонам — в кабинете никого. Значит, это он все мне говорит?

— Не буду вас долго задерживать, — промолвил учтиво шеф. — Суть дела такова. Всему нашему учреждению известен стиль вашей работы. Это — новаторство высшей пробы. Ни одного мелкого дела вы лично не решили. Ни одной мелкой инициативы вы лично не подбросили. Во всех ваших действиях — масштаб и глобальность. Я чувствую, что в вашей голове зреют уникальные идеи. — Шеф взял меня за плечи, потрепал малость по-братски и закончил: — Я давно к вам присматриваюсь. Меня переводят, как говорится на ступеньку выше. И вместо себя у меня другой кандидатуры нет. Вот ваше законное место. — Он указал на руководящее кресло.



Жорж Сименон

Перевод с французского Н. Брандис и А. Тетеревниковой

МЭГРЭ У ФЛАМАНДЦЕВ

Рисунки В. Будаева

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Анна Питерс

Когда Мэгрэ сошел с поезда на вокзале в Живе, первой, кого он увидел, была стоявшая напротив его вагона Анна Питерс.

Можно было подумать, что она точно рассчитала, в каком месте он должен выйти на перрон. При этом лицо ее не выражало ни радости, ни удивления. Она была такой, какой он видел ее в Париже, такой, какой она выглядела, по-видимому, всегда. На ней был темно-серый костюм, черные туфли, а на голове такая неинтересная шляпка, что, как Мэгрэ потом ни пытался, он не мог вспомнить ни ее цвета, ни формы.

— Я была уверена, что вы приедете, господин комиссар.

Была она уверена в себе или в нем? При встрече с ним она не улыбнулась и сразу спросила:

— У вас есть еще багаж?

Нет! У Мэгрэ был только чемодан на грубой кожи, довольно увесистый, но он нес его сам.

На этой станции из поезда вышли только пассажиры третьего класса, которые уже успели разойтись.

— Я сначала хотела приготовить для вас комнату в нашем доме, но, подумав, решила, что разумнее будет, если вы остановитесь в гостинице. Тогда я заказала для вас лучший номер в отеле «Мёза».

Мегрэ, тяжело ступая, тащил чемодан. Он рассматривал все вокруг: дома, людей, а особенно свою спутницу.

— Что это за шум? — спросил он, услышав какой-то гул и не понимая, в чем дело.

— Это Мёза вышла из берегов, и вода бьет о пилоны моста. Вот уже три недели, как навигация прервана...

Они прошли через переулок, и перед ним внезапно возникла река, широкая, с неясно очерченными берегами. Вода, местами коричневая, широко разлилась по лугам. Вдалеке виднелся затопленный сарай.

Не менее сотни баржей, буксиров, катеров стояли вплотную друг к другу, образуя плотную стену.

— А вот и ваш отель... Он не слишком комфортабельный... Может быть, хотите зайти к себе в номер и принять ванну?

Мегрэ не мог определить, какое она на него произвела впечатление. Никогда еще ни одна женщина не вызывала в нем столько любопытства, как эта. Она была спокойна, не улыбалась, не пыталась казаться привлекательной и только изредка прикладывала к носу платок.

Ей было, вероятно, лет двадцать пять-тридцать. Выше среднего роста, крепко сложенная, костистая, совершенно лишенная грации.

Одежда мешанки, удивительно неприхотливая. Манера держаться — спокойная, почти изысканная. Это она принимала его в своем городе. Она была у себя дома. Она все предусмотрела.

— Я не вижу необходимости сейчас брать ванну.

— Тогда не угодно ли вам будет пройти прямо к нам? Отдайте ваш чемодан посыльному. Гарсон! Отнесите этот чемодан в третий номер... Мсье скоро придет.

А Мегрэ, наблюдая за ней краем глаза, подумал:

«Должно быть, я выгляжу идиотом!»

Ведь он отнюдь не походил на мальчика. И если она совсем не казалась хрупкой, то он был по крайней мере вдвое шире ее, а его толстое пальто придавало ему такой вид, словно он был высечен из камня.

— Вы не очень устали?

— Да я совсем не устал!

— В таком случае, я могу уже по пути дать вам первые показания.

Первые показания! Он получил их от нее еще в Париже! Однажды, явившись к себе в кабинет, он застал незнакомку, ожидавшую его уже два или три часа; служителю не удалось ее выдворить.

— Это дело сугубо личное, — заявила она, когда Мегрэ стал задавать ей вопросы в присутствии двух инспекторов.

А когда они оказались с глазу на глаз, она протянула ему письмо. Мегрэ узнал почерк одного родственника его жены, который жил в Нанси.

«Мой дорогой Мегрэ!

Ко мне обратился мой шурин, который знает мадемуазель Анну Питерс уже лет десять. Это очень серьезная девушка. Она сама поведала тебе о своих горестях. Сделай для нее, что сможешь».

— Вы живете в Нанси?

— Нет, в Живе!

— Однако ж, это письмо...

— Я специально заехала в Нанси перед тем, как отправиться в Париж. Я знала, что мой родственник знаком с каким-то важным лицом в полиции...

Это была необычная просительница. Она не опускала глаз, держалась совсем не робко. Говорила отчужденно и смотрела прямо перед собой, словно требовала то, что ей полагалось по праву.

— Если вы не согласитесь заняться нашим делом, мои родители и я, мы погибли, и это будет самая ужасная судебная ошибка...

Слушая ее рассказ, Мегрэ делал заметки. Это была довольно путаная семейная история.

Семья Питерсов держала бакалейную лавку на бельгийской границе. Трое детей... Анна, помогавшая родителям торговать... Мария — учительница и Жозеф — студент, изучавший право в Нанси...

У одной местной девушки родился ребенок от Жозефа... Ребенку уже три года... И вот эта девушка вдруг исчезает. Питерсов обвиняют в том, что они либо убили ее, либо куда-то упрятали...

Мегрэ не следовало вмешиваться в это дело. Им уже занимался его коллега из Нанси. Комиссар дал ему телеграмму и получил категорический ответ:

«Вина Питерсов бесспорна точка ближайшее время арест».

Это решило дело. Мегрэ приехал в Живе не по служебным делам, без официального поручения. И уже на вокзале попал под опеку этой Анны, которая не давала ему возможности даже оглядеться вокруг.

Течение было бурное. Вода била шумными волнами о каждую опору моста и гнала по реке целые деревья.

Ветер, прорвавшийся в долину Мёзы, дул против течения, поднимал воду, создавая настоящие волны, как на море.

Было три часа дня. Чувствовалось, что скоро стемнеет.

По почти пустынным улицам гулял ветер. Редкие прохожие шагали быстро, и не одна только Анна прикладывала к носу платок.

— Взгляните на этот переулочек, налево...

Девушка на минуту остановилась и спокойным жестом указала на второй дом от угла. Бедный дом, всего лишь в два этажа. Сквозь одно из окон виднелся слабый свет.

— Вот здесь она живет!

— Кто?

— Жермена Пьетбёф... Девушка, которая...

— Та, у которой от вашего брата ребенок?

— Если это его ребенок! Это совсем еще не доказано... Посмотрите!..

На пороге стояла какая-то пара: девушка с непокрытой головой, наверное, работница с завода, и обнимавший ее мужчина. Он стоял спиной к переулочку.

— Это она?

— Да нет же, ведь она исчезла... Но эта одного с ней поля ягода... Вам понятно? Ей удалось убедить брата...

— Ребенок на него не похож?

— Ребенок похож на свою мать, — сухо заметила она. — Пойдемте. Люди здесь следят из-за занавесок...

— У нее есть семья?

— Отец ночной сторож на заводе, и брат Жерар...

В памяти комиссара с тех пор запечатлелся маленький домик, и в особенности освещенное тусклой лампой окно.

— Вам не приходилось бывать в Живе?

— Проезжал однажды, но не останавливался.

Бесконечная, очень широкая набережная с квадратным причалом для баржей. Несколько складов. Низкое здание, над которым развевается флаг.

— Это французская таможня... Наш дом подалее, возле бельгийской...

Всплески волн были столь яростны, что баржи ударялись одна о другую. Распряженные лошади пощипывали редкую травку.

— Вы видите свет?... Это уже наш дом...

Таможенник молча посмотрел на них. В группе стоявших тут же речников послышалась фламандская речь.

— Что они говорят?

Она ответила не сразу, впервые отвернувшись от него.

— Говорят, что правды никогда не узнают.

И она зашагала быстро, согнувшись, чтобы противостоять напору ветра.

Это уже был не город. Это была область пароходов, таможни, грузов. То здесь то там горели, раскачиваясь на ветру, фонари. На одной из баржей хлопало развешанное белье. На берегу играли ребятишки.

— Ваш коллега явился к нам еще вчера и сообщил по поручению следователя, что мы не имеем права никуда уезжать... Вот уже четвертый раз у нас производят обыск, искали даже в цистерне...

Они уже подошли близко. Дом фламандцев был отчетливо виден. Довольно большое здание на берегу реки, в том месте, где стояло особенно много судов. Поблизости ни одного дома. Только в ста метрах отсюда контора бельгийской таможни, рядом с которой возвышался трехцветный столб.

— Угодно вам будет войти?

Зазвенел колокольчик. И с самого порога их окутало теплом спокойной домашней атмосферы, где царил запах корицы и молотого кофе. Пахло также бензином и можжевелевой водкой.

За выкрашенным в темно-коричневый цвет деревянным прилавком стояла седая женщина в черной блузке и говорила с фламандкой, державшей на руках ребенка.

— Пройдите, пожалуйста, сюда, господин комиссар.

Мегрэ успел заметить полки, тесно заставленные товарами. Он обратил внимание на бутылки с водкой, которые стояли в конце прилавка, там, где он был обит оцинкованным железом.

Они прошли через другую застекленную дверь, на которой висела портьера, потом пересекли кухню. У самого очага в плетеном кресле сидел старик.

— Вот сюда...

Еще коридор, здесь уже прохладнее. Еще одна дверь. Мегрэ не ожидал, что в этом доме могла быть такая комната. Это была одновременно и гостиная и столовая. Мегрэ увидел рояль, футляр для скрипки, натертый паркет, комфортабельную мебель, репродукции картин на стенах.

— Дайте мне ваше пальто...

Анна повесила пальто Мегрэ в коридоре и вернулась в комнату.

Стол уже был накрыт: скатерть в крупную клетку, серебряные приборы, чашки из тонкого фарфора.

— Вы не откажетесь что-нибудь выпить?

В белой шелковой блузке она имела вполне домашний вид.

И формы у нее были довольно округлые. Почему же, в таком случае, она не казалась женственной? Трудно было представить ее в кого-то влюбленной, еще труднее вообразить, что кто-то влюблен в нее.

Анна принесла кипящий кофейник, налила три чашки. Потом снова исчезла и появилась с рисовым пудингом.

— Садитесь, господин комиссар... Моя мать сейчас придет.

— Это вы играете на рояле?

— И я, и сестра... Но у нее меньше свободного времени, чем у меня... По вечерам она проверяет тетради учеников.

— А кто играет на скрипке?

— Мой брат...

— Его сейчас нет в Живе?

— Он скоро должен быть... Я предупредила его о вашем приезде.

Она нарезала пудинг и, не спрашивая разрешения, положила кусок на тарелку гостя. Вошла мадам Питерс. Скрепив руки на животе, она приветствовала Мегрэ робкой улыбкой, полной меланхолии и покорности.

— Анна сказала мне, что вы любезно согласились...

Она больше походила на фламандку, чем ее дочь, и даже сохранила легкий акцент. Черты лица были тонкие, а белые волосы придавали ей известное благородство. Она села на кончик стула, словно привыкла, что ее в любую минуту могут потревожить.

— Вы, должно быть, проголодались после путешествия... А я совсем потеряла аппетит с тех пор...

Мегрэ подумал о старике, оставшемся в кухне. Почему он не пришел, чтобы вместе со всеми отведать пудинга? Как раз в эту минуту мадам Питерс сказала дочери:

— Отнеси отцу пудинга...

А потом добавила, обращаясь к Мегрэ:

— Он почти не встает со своего кресла... И едва сознает, что происходит вокруг...

Здесь ничто не напоминало о драме. Напротив, казалось, что извне могли происходить самые ужасные события, не нарушая спокойствия дома, где было так чисто и тихо, что слышалось гудение огня в печи.

Мегрэ, кладя в рот куски пудинга, задавал вопросы:

— В какой точно день это произошло?

— Третьего января... в среду...

— Сегодня у нас двадцатое...

— Да, но нас не сразу стали обвинять...

— А эта девушка... Как ее зовут?

— Жермена Пьедбёф... Она явилась около восьми вечера... Вошла в лавку, где ее встретила моя мать....

— А что она хотела?

Мадам Питерс сделала вид, что смахнула слезу.

— Как всегда... Жаловалась, что Жозеф к ней не приходит, не дает о себе знать...

А ведь он так много работает!.. Уверю вас, он заслуживает уважения за то, что не бросает занятий, несмотря ни на что...

— И долго она здесь оставалась?

— Минут пять... Мне пришлось попросить, чтобы она не кричала... Могли услышать речники... Тут вышла Анна и сказала, что ей лучше будет, если она уйдет...

— И она ушла?

— Анна вывела ее на улицу... А я пошла в кухню и убрала со стола...

— С тех пор вы ее не видели?

— Ни разу!

— И никто из местных жителей ее не встречал?

— Все говорят, что нет!

— Она не грозилась покончить с собой?

— Нет! Такие женщины с собой не кончают... Еще немножко кофе?.. Кусочек пудинга?.. Это Анна испекла...

Новая черточка прибавилась к облику Анны в глазах Мегрэ. А она невозмутимо

сидела на своем стуле и наблюдала за комиссаром, словно они поменялись ролями, словно она служила в Париже, в полиции, а он был членом семьи фламандцев.

— Вы помните, что делали в тот вечер?

На этот вопрос, грустно улынувшись, ответила Анна.

— Нас столько раз спрашивали об этом, что пришлось вспомнить малейшие детали. Возвратившись, я поднялась в свою комнату за шерстью и собралась вязать. Когда я спустилась вниз, моя сестра сидела за роялем в этой комнате. К нам только что пришла Маргарита...

— Маргарита?

— Да, наша родственница... Дочь доктора Ван де Веерта... Они живут в Живе... Скажу вам сразу, потому что вы это все равно узнаете... Это невеста Жозефа...

В лавке зазвенел звонок, и мадам Питерс поднялась, вздыхая. Слышно было, как она довольно весело разговаривает по-фламандски с посетительницей.

— Это больше всего огорчает мою мать... Давно было решено, что Жозеф и Маргарита поженятся... Они обручились уже в шестнадцать лет... Но Жозефу нужно было закончить образование... И вот появляется этот ребенок...

— И, несмотря на это, они собирались пожениться?

— Нет! Только Маргарита ни за кого другого не хотела выходить замуж... Они по-прежнему любили друг друга.

— Жермена Пьедбёф это знала?

— Да! И она решила женить его на себе! Моему брату, чтобы не поднимать шума, пришлось обещать ей... Свадьба должна была состояться после экзаменов.

— Я вас спрашивал, как вы провели вечер третьего...

— Да... Так я уже сказала, что, спустившись вниз, застала в этой комнате мою сестру и Маргариту... До половины одиннадцатого играли на рояле... Мой отец, как обычно, в девять часов лег спать... А я с сестрой проводила Маргариту до моста...

— И вы никого не встретили?

— Никого. Было холодно... Мы вернулись домой... А на следующий день начались разговоры об исчезновении Жермены Пьедбёф... И только через два дня нам предъявили обвинение, потому что кто-то видел, как она вошла в нашу лавку... Сначала нас вызвал комиссар полиции, потом ваш коллега из Нанси... Видимо, мсье Пьедбёф подал жалобу... Обшарили дом, погреб, сараи, все... Даже перекопали землю в саду.

— Ваш брат не был третьего числа в Живе?

— Нет! Он приезжает только по субботам на мотоцикле... Изредка бывает и в другой день недели... Весь город ополчился против нас, потому что мы фламандцы и у нас есть деньги...

Отенок гордости прозвучал в ее голосе.

— Вы не представляете, чего только о нас не говорят!

В лавке снова зазвенел звонок, потом послышался молодой голос:

— Это я!.. Не беспокойтесь!..

Раздались торопливые шаги, и в столовой появилась очень женственная фигурка. Она направилась в глубь комнаты, но, увидев Мегрэ, остановилась.

— Ах! Простите... я не знала...

— Комиссар Мегрэ, он приехал помочь нам... Моя кузина Маргарита...

Маленькая ручка в перчатке очутилась в огромной руке Мегрэ...

— Анна сказала мне, что вы согласились...

Лицо ее было скорее очень тонкое, чем красивое. Его окаймляли мелкие завитки белокурых волос.

— Говорят, вы играете на рояле?

— Да... Люблю музыку... Особенно, когда мне грустно.

Ее улыбка напоминала улыбку хорошеньких девушек на рекламных календарях. Надутые губки, глаза с поволокой, чуть склоненная набок головка.

— Мария еще не приходила?

— Нет, видимо, поезд опять опаздывает.

Хрупкий стул затрещал, когда Мегрэ попытался скрестить ноги.

— В котором часу вы пришли сюда третьего числа?

— В половине девятого... А может быть, немного раньше... Мы рано обедаем...

У отца собрались друзья для игры в бридж.

— Была такая же погода, как сегодня?

— Шел дождь... Он шел всю неделю...

— Мёза уже разлилась?

— Половодье едва лишь начиналось... Но плотины прорвало только пятого или шестого... Еще ходили караваны баржей...

— Кусочек пудинга, господин комиссар?.. Не хотите?.. Тогда, может быть, сигару?..

Анна протянула коробку с бельгийскими сигарами и пробормотала, словно извинясь:

— Это не контрабанда... Одна сторона нашего дома в Бельгии, другая — во Франции...

— В общем, ваш брат, во всяком случае, совершенно непричастен к делу, раз он был тогда в Реймсе...

Анна с раздражением в голосе возразила:

— Как бы не так! Один пьяница утверждает, что видел, как мотоцикл брата проехал по набережной... Он рассказал об этом спустя две недели... Как будто он мог вспомнить!.. Это дело рук Жерара, брата Жермены Пьедбёф... Ему делать нечего... Вот он и проводит время в поисках свидетелей... Подумайте, они хотят предъявить гражданский иск и потребовать триста тысяч франков.

— Где ребенок?

Раздался звонок, и мадам Питерс бросилась в лавку. Анна убрала пудинг в буфет, поставила кофейник на печку.

— У них.

А из лавки слышался голос речника, покупавшего можжевелевую водку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Полярная звезда»

Маргарита Ван де Веерт лихорадочно рылась в своей сумке, торопясь что-то показать.

— Ты еще не получила «Эхо Живе»?

И она протянула Анне вырезку из газеты. Анна передала бумажку Мегрэ.

— Кто тебя надоумил это сделать?

— Сама сообразила.

В газете было напечатано объявление:

«Просьба к мотоциклисту, который проезжал третьего января вечером по дороге вдоль Мёзы, дать о себе знать. Возможно хорошее вознаграждение. Обращаться в лавку Питерсов».

— Я не осмелилась дать свой адрес, но...

Мегрэ показалось, что Анна слегка раздраженно смотрела на свою кузину; она прошептала:

— Это идея... Но только никто не придет...

А Маргарита-то ждала поздравлений.

— А почему бы ему не прийти? — спросила она. — Ведь это был не Жозеф, и у него нет причин...

Через открытую дверь из кухни доносился шум закипающего чайника воды. Мадам Питерс накрывала на стол к обеду. С порога лавки раздался голоса, и обе девушки вдруг стали прислушиваться.

— Входите, прошу вас... Правда, мне нечего вам сказать, но...

— Жозеф! — вскочила Маргарита.

В ее голосе чувствовалась не просто любовь, а страстное обожание.

Теперь голос доносился уже из кухни.

— Здравствуй, мать...

И другой голос, более официальный:

— Простите меня, мадам, но мне нужно кое-что проверить, и я воспользовался приездом вашего сына...

Наконец оба мужчины показались в дверях столовой. Жозеф Питерс едва заметно нахмурился и произнес с преувеличенной нежностью.

— Здравствуй, Маргарита!

Она взяла его руку в свои.

— Не слишком устал, Жозеф? Настроение хорошее?

Анна же, более спокойная, обратилась к спутнику брата, указывая ему на Мегрэ:

— Комиссар Мегрэ, которого вы должны знать...

— Инспектор Машер... — представился тот, протягивая руку. — Это правда, что вы...

Инспектор был круглолицым человеком, жизнерадостным на вид. Но невозможно было разговаривать таким образом, стоя между дверью и накрытым столом.

— Хоть я сюда и приехал, — буркнул Мегрэ, — действуйте так, словно меня здесь нет.

Кто-то коснулся его руки.

— Мой брат Жозеф... Комиссар Мегрэ...

И Жозеф протянул длинную костлявую холодную руку. Он был на полголовы выше

Мегрэ, хотя рост комиссара достигал ста восьмидесяти сантиметров. Но при этом Жозеф был такой тонкий, что, несмотря на его двадцать пять лет, казалось, будто он все еще растет.

Нос со сжатыми ноздрями. Синева вокруг усталых глаз. Светлые, коротко подстриженные волосы. По-видимому, у него было плохое зрение: он беспрестанно моргал, отворачиваясь от лампы.

— Рад вас видеть, господин комиссар... Я немного смущен...

Жозеф не был элегантен. Он снял забрызганный грязью плащ, надетый поверх плохо сшитого серого костюма.

— Я встретил его возле моста, — сказал инспектор Машер, — и попросил подвезти меня сюда на мотоцикле.

Затем он повернулся к Анне. Теперь он обращался только к ней, как если бы она была настоящей хозяйкой дома. Не видно было ни мадам Питерс, ни ее мужа, неподвижно сидевшего в своем плетеном кресле на кухне.

— Думаю, что у вас легко взобраться на крышу.

Присутствующие вопросительно посмотрели друг на друга.

— Можно через слуховое окно чердака, — заметила Анна. — Вы хотите?..

— Да, я хотел бы поглядеть, что там наверху...

Для Мегрэ представился случай осмотреть дом. Натертая лестница так блестела, что приходилось следить, как бы не поскользнуться.

На площадку второго этажа выходили двери трех спален. Жозеф и Маргарита остались внизу. Анна шла впереди, и комиссар заметил, что она слегка покачивала бедрами.

— Мне нужно будет с вами поговорить, — шепнул инспектор.

— Сейчас.

И они поднялись на третий этаж. С одной стороны была мансарда, переделанная в комнату, никем не занятую, с другой — обширный чердак с ничем не закрытыми балками, где громоздились ящики и мешки с товарами. Чтобы добраться до слухового окна, инспектору пришлось влезть на два ящика.

— У вас есть чем осветить?

— Есть электрический фонарик...

Мегрэ не полез на крышу, но посмотрел в слуховое окно. Порывами налетал шквальный ветер. Слышался рокот Мёзы, и смутно виднелись ее бурные волны.

Слева, у карниза, стоял цинковый бак емкостью не менее двух кубометров, к которому, не колеблясь, и направился полицейский. Бак, по-видимому, был предназначен для сбора дождевой воды.

Машер наклонился, потом, явно разочарованный, выпрямился, еще несколько минут походил по крыше и снова наклонился, чтобы что-то поднять.

Анна молча стояла в темноте позади Мегрэ. Показались ноги инспектора, потом туловище, наконец, голова.

— О тайнике я подумал сегодня днем, узнав, что на крыше собирают в бак дождевую воду... Но трупа там нет...

— А что это вы подобрали?

— Носовой платок... Женский носовой платок...

Он развернул его, осветил своим фонарем, напрасно стараясь обнаружить инициалы. Носовой платок, очень грязный, видимо, долгое время лежал здесь под дождем.

— К этому мы вернемся позднее, — вздохнул инспектор, направляясь к двери.

* * *

Когда они снова очутились в столовой, то увидели, что Жозеф Питерс сидит на табурете возле рояля и читает объявление. Маргарита стояла возле него, и ее шляпа с широкими полями, пальто, украшенное мелкими воланами, еще больше подчеркивали ее воздушность.

— Не зайдете ли вы ко мне сегодня вечером в гостиницу? — обратился Мегрэ к Жозефу.

— В какую?

— В гостиницу «Мёза»! — вмешалась Анна. — Вы нас уже покидаете, господин комиссар? А я хотела, чтобы вы с нами пообедали, но...

Мегрэ уже проходил через кухню. Мадам Питерс с удивлением посмотрела на него.

— Вы уже уходите?

А у старика были совсем пустые глаза. Он курил пенковую трубку и ни о чем не думал. Он даже не кивнул комиссару.

На улице дул ветер, шумели высокие волны на Мёзе, сталкивались пришвартованные рядом баржи.

— Вы думаете, Питерсы невиновны? — спросил инспектор Машер.

— Я еще ничего не знаю. Есть у вас табак?

— Только местный... Знаете, о вас много говорят в Нанси... И меня беспокоит, что... Потому, что эти Питерсы...

Мегрэ остановился перед баржами и окинул их взглядом. Благодаря полководью, прервавшему навигацию, Живе стал похож на большой порт.

— Нужно будет купить фуражку! — буркнул комиссар, которому все время приходилось придерживать свою шляпу.

— Что они вам, собственно, рассказывали? Конечно, уверяли в своей невинности.

Из-за шума ветра приходилось говорить громко. Живе в пятистах метрах отсюда казался скопищем огней. Дом фламандцев вырисовывался на облачном небе, на его окна ложились желтоватые отсветы от неярких фонарей.

— Откуда они родом?

— С севера Бельгии... Папаша Питерс родился где-то близ Лимбурга, на голландской границе... Он на двадцать лет старше жены, и, значит, ему теперь где-то около восьмидесяти... Он всю жизнь занимался плетением корзин... Еще несколько лет назад он держал мастерскую с четырьмя рабочими позади дома... Но теперь он совсем впал в детство...

— Они богаты?

— Говорят... Дом принадлежит им... Они даже давали деньги займы бедным речникам, которые хотели завести свою баржу... Видите ли, комиссар, у этих людей совсем иная психология, непохожая на нашу... У мадам Питерс сотни тысяч франков, но это не мешает ей, как говорят, наливать рюмочки клиентам... Зато сын скоро будет адвокатом... Старшую дочь выучили играть на рояле... Другая служит учительницей в большом монастыре в Намюре... А это лучше, чем быть учительницей в обычной школе... Это вроде лица...

Машер указал на баржи:

— Половина людей на этих баржах — фламандцы... Люди, которые не любят менять свою привычку... Другие ходят во французские бистро возле моста, пьют там вино и аперитивы... фламандцы же любят свою можжевелевую водку, говорят на своем языке и так далее... Каждое судно закупает провизию на неделю, а то и больше. Я уже не говорю о контрабанде!.. Для этого их лавка стоит на хорошем месте.

— Они мыслят совсем не так, как мы... Для фламандских речников это не бистро... Для них это лавка, хотя там им и наливают вино у стойки... Даже женщины, когда приходят за провизией, тоже выпивают рюмку... Кажется, это и есть главный доход Питерсов.

— А Пьедбёфы?

— Это бедные люди... Отец — сторож на заводе. Дочь служила машинисткой в той же фирме... И сын там служит...

— Серьезный парень?

— Этого сказать нельзя... Он не слишком себя утруждает... Предпочитает играть на бильярде в кафе возле мэрии... Красивый парень, и он это знает...

— А дочь?

— Жермена?... У нее были любовники... Знаете, комиссар, это одна из тех девушек, которых встречаешь по вечерам в темных уголках с мужчиной... Однако же ребенок точно от Жозефа Питерса... Я его видел... Он на него похож... Во всяком случае, нельзя отрицать тот факт, что третьего января, вскоре после восьми часов вечера, Жермена вошла в дом Питерсов и с тех пор ее никто больше не видел.

То, что говорил инспектор Машер, казалось вполне убедительным.

— Я все осмотрел... Даже сделал с помощью топографа детальную съемку местности... Я упустил только одно: не осмотрел крышу... Обычно не подозревают, что можно упрятать труп на крыше... Вот я и решил сегодня туда залезть... Но нашел только платок, ничего другого...

— А Мёза?

— Вот, вот! Сейчас я вам и об этом скажу... Вы ведь знаете, что почти всех утопленников находят у плотин... Отсюда до Намюра их целых восемь. Но два дня спустя после преступления вода в реке так поднялась, что прорвало плотины. Так бывает каждую зиму... Выходит, труп Жермены Пьедбёф мог доплыть до Голландии, а то и попасть в море.

— Мне сказали, что Жозефа Питерса не было в Живе в тот вечер, когда...

— Я знаю! Они так утверждают... Однако же один свидетель видел мотоцикл, похожий на его... Жозеф Питерс клянется, что это был не он...

— У него нет алиби?

— И да, и нет... Я специально вернулся в Нанси... Он снимает меблированную комнату, куда может пройти так, что квартирная хозяйка не увидит... А кроме того, он посещает кафе и бары, где каждую ночь собираются студенты... Никто не может точно вспомнить, что третьего или четвертого января он провел ночь в одном из этих баров.

— А Жермена Пьедбёф не могла покончить с собой?

— Она не из таких... Кроме того, говорят, что она обожала своего сына...

— Возможно, она оказалась жертвой другого преступления?

На этот раз Машер промолчал и устремил взгляд на суда, скопившиеся в нескольких метрах от берега.

— Я об этом думал... И узнал все о каждом из речников... Большинство из них люди серьезные, живут на борту вместе с женами и детьми. Не по душе мне только «Полярная звезда»... Последнее судно, если смотреть вверх по течению... Самое грязное... Кажется, оно вот-вот пойдет ко дну.

— Что это за судно?

— Баржа одного бельгийца из Тийера, что возле Льежа... Эта старая скотина дважды привлекался к суду за преступления против нравственности... Баржа совсем заброшена, за ней не следят... Компании отказываются ее страховать... Но почему она вас интересует?

Теперь они шли по направлению к мосту. По мере их приближения к городу свет фонарей становился ярче и они лучше освещали дорогу. Стали попадаться быстро, где назойливо звучали музыкальные автоматы.

— Я велел следить за этим речником... Хотя свидетельские показания насчет мотоцикла...

— В какой гостинице вы остановились?

— В вокзальной.

Мегрэ протянул инспектору руку:

— Мы увидимся, старина... Конечно, продолжать расследование будете вы... Ведь я здесь только в качестве любителя...

— А что мне делать? Если не найдут тело, не будет никаких доказательств... А если труп бросили в реку, то его уже никогда не найти...

Мегрэ рассеянно пожал ему руку, так как они уже были возле моста, повернул к гостинице «Мёза».

* * *

За обедом Мегрэ пометил в своей записной книжке:
МНЕНИЯ О ПИТЕРСАХ.

Машер: Они считают себя выше владельцев бистро.

Содержатель гостиницы: Эти люди считают себя крупными буржуа. Разве я могу думать о том, чтобы мой сын стал адвокатом?

Один речник: Фламандцы — они все такие.

Другой речник: Они держатся друг за друга, как масоны.

Было любопытно смотреть в сторону фламандцев из города, со стороны моста, образующего центральную точку Живе. Это был французский город. Маленькие улочки. Кафе, набитые любителями бильярда или домино. Запах анисовых аперитивов и всеобщая непринужденность в обращении.

Затем шла река. Здание таможни. И, наконец, совсем на краю, на границе с полями, дом фламандцев: бакалейная лавка, набитая товарами; маленькая стойка для любителей можжевелевой водки; кухня и старик, впавший в детство, сидящий в своем плетеном кресле, придвинутом к печке; столовая, она же гостиная, а в ней рояль, скрипка, удобные стулья; домашний пудинг; Анна и Маргарита; клетчатая скатерть; Жозеф — длинный, тощий и болезненный, приезжающий на мотоцикле и окруженный всеобщим обожанием.

В гостинице «Мёза» обычно останавливались коммерсанты. Хозяин всех их знал. У них были постоянные места в ресторане.

Около девяти часов Жозеф Питерс нашел Мегрэ в ресторане и сообщил:

— Есть новости!

Так как любопытные стали смотреть в их сторону, Мегрэ предпочел увести молодого человека в свой номер.

— Что случилось?

— Вы в курсе дела насчет объявления? Так вот, объявился один мотоциклист... Хозяин гаража из Динана, который проезжал в тот вечер, около половины девятого, мимо нашего дома...

Мегрэ сел на край кровати, предоставив единственное кресло своему посетителю.

— Вы в самом деле любите Маргариту?

— Да... То есть...

— То есть?

— Это моя кузина! Я собирался взять ее в жены... Это было решено уже давно...

— Но, несмотря на это, у вас ребенок от Жермены Пьедбёф.

Молчание. Потом едва слышное:

— Да...

- Вы ее любили?
- Не знаю.
- Вы могли бы на ней жениться?
- Не знаю...

При ярком свете Мегрэ отчетливо видел его усталые глаза, утомленное лицо. А Жозеф Питерс не осмеливался посмотреть на комиссара.

- Как же это случилось?
- Мы встречались, Жермена и я...
- А Маргарита?
- Нет! Это совсем другое...

- И что же дальше?
- Она мне объявила, что у нее будет ребенок... Я не знал, что делать...
- Это ваша мать вам...

— Мать и сестры... Они мне доказали, что я у нее не первый, что у Жермены уже были...

- Приключения?

Окно выходило на реку как раз в том месте, где волны били об опоры моста. И здесь не прекращался шум, бесперывный, могучий...

- Вы любите Маргариту?
- Молодой человек поднялся встревоженно, беспокояно.

- Что вы этим хотите сказать?
- Вы любите Маргариту или Жермену?
- Я... То есть...

На лбу у него выступили капли пота.

— Что я могу знать?.. Моя мать уже договорилась для меня об адвокатском кабинете в Реймсе...

- Для вас и Маргариты?
- Не знаю... С другой я познакомился в танцевальном зале...
- С Жерменой?
- Да, в танцевальном зале, куда мне запрещали ходить... Я проводил ее домой...

По дороге...

- А Маргарита?
- Это совсем не то... Я...
- Вы не уезжали из Нанси в ночь с третьего на четвертое?

Мегрэ знал уже достаточно. Он уже составил себе представление о пришедшем: слабохарактерный молодой человек, честолюбие которого подогревалось восхищением сестер и кузины.

- Что вы делаете с того времени?

— Готовлюсь к экзамену... Это последний... Анна телеграфировала мне, что я должен приехать и встретиться с вами... Разве...

- Нет! Вы мне больше не нужны! Можете возвращаться в Нанси!

Лицо, которое навсегда сохранится в памяти Мегрэ: большие светлые глаза, от волнения и усталости окаймленные красным ободком. Слишком прямо скроенный пиджак. Брюки с карманами на коленях...

В этом же костюме, надев только плащ, Жозеф Питерс вернется в Нанси на своем мотоцикле, не превышая указанной скорости...

Маленькая комната, снятая у какой-нибудь старой нуждающейся дамы... Занятия, которые он, должно быть, никогда не пропускает... Кафе в полдень... Бильярд вечером...

- Если вы мне понадобится, я дам вам знать.

И Мегрэ, оставшись один, остановился у окна, подставив лицо ветру, дующему с долины. Он глядел, как Мёза несется к равнине, и различал вдали тусклый огонек: дом фламандцев.

Во мраке неясно виднелось скопление судов, мачт, труб, надстроек. Среди которых была и «Полярная звезда».

Мегрэ набил трубку и вышел, подняв воротник пальто. А ветер был такой сильный, что комиссар с трудом ему противостоял.

Акушерка

Как обычно, Мегрэ уже был на ногах в восемь утра. Засунув руки в карманы пальто, с трубкой в зубах, он долго стоял перед мостом, то любуясь бешено несущейся рекой, то поглядывая на прохожих.

Ветер дул с той же силой, что и накануне. Было гораздо холоднее, чем в Париже.

Здесь чувствовалась близость границы. Мегрэ почувствовал это особенно остро, когда вошел в бистро на набережной, чтобы выпить грогу. Французское бистро. Разноцветные аперитивы: целая гамма цветов. Светлые стены, украшенные зеркалами. И люди, стоя глотающие свою утреннюю рюмку белого вина.

Вокруг хозяев двух буксиров собралось с десяток речников. Говорили о том, возможно сейчас ли спуститься вниз по реке.

— Под мостом у Динана не пройти. А даже если удастся, то придется брать по пятнадцать франков за тонну... Это слишком дорого... Никто не будет платить, лучше подождут.

И все поглядели на вошедшего Мегрэ. Какой-то речник толкнул другого локтем. Комиссара заметили.

— Тут один фламандец собирается отойти завтра без мотора, надеется на течение...

Фламандцев в кафе не было. Они предпочитали лавку Питерсов, облицованную темным деревом. Там пахло кофе, цикорием, корицей и можжевелевой водкой. Они могли стоять там часами, облокотившись на стойку, неспешно и лениво беседуя, разглядывая светлыми глазами рекламу на дверях.

Мегрэ прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Он узнал, что фламандских речников здесь не любят, и не столько из-за их характера, сколько за то, что они со своими судами, оснащенными мощными моторами, представляют конкуренцию французам, потому что за перевозку грузов взимают низкую плату.

— И они еще смеют убивать наших девушек!

Это было явно сказано для Мегрэ. За ним наблюдали краем глаз.

— Интересно бы узнать, почему полиция не торопится арестовать Питерсов? Видно, у них слишком много денег...

Мегрэ вышел, еще несколько минут побродил по набережной, глядя, как коричневая вода уносит ветки деревьев. На маленькой улице, слева, он увидел дом, на который указала ему Анна.

Утро было хмурое, небо серое. Из-за холода люди не задерживались на улицах.

Комиссар подошел к двери и дернул за шнурок звонка. Было около четверти девятого. Женщина, отворившая ему, вероятно, занималась уборкой. Она вытерла руки о мокрый фартук.

— Вам кого?

В глубине коридора виднелась кухня. Там на полу стояло ведро и лежала щетка.

— Мсье Пьедбёф дома?

Она недоверчиво оглядела его с ног до головы.

— Отец или сын?

— Отец.

— Вы, наверное, из полиции? Тогда вы должны были бы сами знать, что в это время он всегда спит. Ведь он ночной сторож и раньше семи утра никогда домой не возвращается... Может, вы хотите подняться наверх?

— Не беспокойтесь. А сын?

— Десять минут назад ушел в свою контору.

В кухне послышался стук упавшей ложки. Мегрэ заметил голову маленького ребенка.

— Это случайно не... — начал он.

— Да, это сын бедной мадемуазель Жермены! Заходите сюда или уходите, а то выстудите весь дом.

Комиссар вошел. Стены в коридоре были выкрашены под мрамор. В кухне царил беспорядок, и женщина смущенно ворчала, подбирая ведро и щетку. На столе стояли тарелки и чашки. За столом мальчуган лет трех сидел один и неловко ел яйцо всмятку.

Женщине было лет сорок. Худая, с аскетическим лицом.

— Это вы его воспитываете?

— Да, с тех пор, как они убили его мать, я почти все время смотрю за ним. Дедушке днем приходится спать. Больше никого в доме нет. А когда меня вызывают пациентки, приходится поручать его соседке.

— Пациентки?

— Да, я ведь акушерка, с дипломом.

И она сняла клетчатый фартук, словно в нем она теряла свое достоинство.

— Не бойся, мой миленький Жожо! — сказала она ребенку, который перестал есть и глядел на посетителя.

Был ли он похож на Жозефа Питерса? Трудно сказать. Во всяком случае, ребенок был с явно выраженными признаками дебильности. Неправильные черты лица, слишком большая голова, тощая шея, а главное, тонкий и длинный рот, как у ребенка по меньшей мере десяти лет.

Он не спускал глаз с Мегрэ, но взгляд его не выражал ничего. Он не выразил никаких чувств даже тогда, когда акушерка захотела обнять его немного театральным жестом. Она воскликнула:

— Бедненький малыш! Ешь яйцо, дорогой!

Она не пригласила Мегрэ сесть. На полу стояла лужа.

— Это, видно, за вами ездили в Париж?

Голос звучал не агрессивно, но однако и не любезно.

— Что вы хотите сказать?

— Здесь не может быть никаких тайн. И так все известно.

— Объясните!

— Сами знаете, не хуже меня! Нечего сказать, за хорошее дело вы взялись! Ну да разве полиция не всегда на стороне богатых!

Мегрэ нахмурился, и не из-за слов, а из-за того, что стояло за ними.

— Ведь фламандцы повсюду раззвонили, что если сейчас их притесняют, то это продлится недолго, и что все изменится, когда из Парижа приедет какой-то комиссар.

Она говорила с неприязненной улыбкой.

— Черт возьми! Им дали время придумать подходящую ложь! Они прекрасно знают, что тело Жермены никогда не найдут! Ешь, мой миленький... Не беспокойся...

И она со слезами на глазах поглядела на малыша, который, подняв вверх ложку, не спускал глаз с комиссара.

— Вы ничего не хотите мне сообщить? — спросил Мегрэ.

— Ровно ничего. Питерсы, конечно, уже снабдили вас всеми нужными вам сведениями и даже, наверное, сказали, что ребенок не от Жозефа.

Стоило ли настаивать? Здесь Мегрэ был врагом. В этом бедном доме царила атмосфера ненависти.

— А теперь, если вы захотите повидать мсье Пьедбёфа, можете прийти в полдень...

В это время он встает, а мсье Жерар приходит из конторы.

Она проводила его по коридору и закрыла за ним дверь.

Шторы окон второго этажа были спущены.

* * *

Недалеко от дома фламандцев Мегрэ увидел инспектора Машера. Он разговаривал с двумя речниками и сразу же отошел от них, когда заметил комиссара.

— Что они рассказывают?

— Я говорил с ними о «Полярной звезде»... Они, сказали, что третьего января хозяин судна ушел из кафе где-то около восьми часов и, как обычно, был здорово пьян... Сейчас он еще спит... Я только что поднимался к нему на судно, но он даже не услышал...

Через витрину лавки фламандцев видна была седая голова мадам Питерс; она наблюдала за полицейскими. Разговор не клеился. Оба они смотрели вокруг, ни на чем не останавливая взгляда.

По одну сторону река с прорванными плотинами уносила обломки судов. На другой стороне возвышался дом фламандцев.

— У них два выхода,— заметил Машер. — Один — тот, который мы знаем, другой — позади дома... Во дворе есть колодец...

И он поспешно добавил:

— Я его исследовал, я все там проверил. И все-таки, не знаю, почему, мне все время кажется, что труп в Мёзу не бросали. Откуда взялся этот дамский носовой платок на крыше?

— Вы знаете, что мотоциклиста обнаружили?

— Да, мне сообщили. Но это совсем не доказывает, что Жозефа Питерса в тот вечер здесь не было.

Ну, конечно. Никаких доказательств ни за, ни против! Не было даже серьезного свидетельского показания.

Жермена Пьедбёф вошла в лавку около восьми вечера. Фламандцы утверждают, что через несколько минут она от них ушла. Однако же никто другой больше ее не видел.

Вот и все!

Пьедбёфы обвиняли фламандцев и требовали триста тысяч франков компенсации. Задрезжал звонок. В лавку вошли две женщины с барок.

— Вы все еще думаете, комиссар...

— Я совсем ничего не думаю, старина! До скорого!..

И он тоже вошел в лавку. Обе покупательницы подвинулись, чтобы дать ему место.

Мадам Питерс крикнула:

— Анна!

Она засуетилась, открыла застекленную дверь, ведущую в кухню.

— Входите, господин комиссар... Анна сейчас спустится... Она убирает спальни...

Мадам Питерс снова занялась покупательницами, а комиссар, пройдя через кухню, вышел в коридор и стал медленно подниматься по лестнице.

Анна, по-видимому, не слышала его шагов. Повязав голову платком, она чистила мужские брюки. Дверь была открыта.

Увидев посетителя в зеркале, Анна живо обернулась и выпустила из рук щетку.

— Вы были там?

Утром, не одетая, она была все такой же. Тот же облик благовоспитанной, сдержанной девушки.

— Прошу прощения... Мне сказали, что вы наверху... Это комната вашего брата?

— Да... Он уехал сегодня рано утром... Экзамен предстоит очень трудный... Он хочет сдать его с блеском, как и предыдущие...

На комодѣ большой портрет Маргариты Ван де Веерт в светлом платье и шляпе из итальянской соломки. И надпись, сделанная рукой Маргариты узкими, остроконечными буквами. Это было начало «Песни Сольвейг»:

Зима пройдет,
И весна промелькнет...

Мегрэ взял в руки портрет. Анна с каким-то недоверием пристально смотрела на комиссара, словно боялась, что он улыбнется.

— Это стихи Ибсена,— сказала она.

— Знаю...

И Мегрэ продекламировал окончание поэмы:

И ты ко мне вернешься,
Прекрасный мой жених.
Тебе верна останусь,
Тобой лишь буду жить...

И все-таки комиссар чуть не улыбнулся, глядя на брюки, которые Анна не выпускала из рук.

Это было так неожиданно, даже трогательно, эти романтические стихи в серенькой обстановке студенческой комнаты.

Жозеф Питерс, длинный и тощий, плохо одетый, со светлыми волосами, которые никак не укладывались, несмотря на старания, со слишком большим носом и близорукими глазами...

Прекрасный мой жених...

И этот портрет провинциалочки с ее воздушной, слащавой красотой! Ничто не напоминало здесь волнующей обстановки из драмы Ибсена, героиня не взывала к звездам! Она по-мещански списала готовые стихи:

Тебе верна останусь,
Тобой лишь буду жить.

Она и в самом деле оставалась верной, она и в самом деле ждала! Несмотря на Жермену Пьедбёф! Несмотря на ребенка! Несмотря на проходящие годы!

Мегрэ стало как-то неловко. Он окинул взглядом стол, на котором лежал зеленый бювар, стояла медная чернильница, должно быть, чей-то подарок, и пластмассовые ручки.

Он машинально открыл один из ящиков комода и увидел в картонной коробке без крышки любительские фотографии.

— У моего брата есть фотоаппарат.

Молодые люди в студенческих фуражках. Жозеф на мотоцикле, рука на ручке газа, словно он собирался рвануть с места... Анна за роялем... Еще одна девушка, более тонкая, более грустная...

— Это моя сестра Мария.

И вдруг он увидел маленькую фотографию для паспорта, унылую, как все подобные снимки, из-за резких контрастов черных и белых тонов.

На ней была девушка, такая хрупкая, миниатюрная, что ее можно было принять за девочку. Огромные глаза чуть ли не во все лицо. Она была в какой-то смешной шляпке и, казалось, с испугом смотрела в аппарат.

— Это Жермена, правда?

Сын был на нее похож.

— Она была больная?

— Не очень здоровая. Перенесла туберкулез.

Зато у Анны здоровья хватало! Крупная и крепко сбитая, она отличалась удивительной уравновешенностью. Она, наконец, положила брюки на кровать, покрытую стеганым одеялом.

— Я сейчас был у нее.

— Что они вам сказали?.. Должно быть...

— Я видел только акушерку... И малыша...

Она, словно стесняясь, не стала задавать вопросов. Держалась скромно.

— Ваша комната рядом?

— Да, у нас общая комната с сестрой...

Комнаты были смежные, и Мегрэ открыл дверь, ведущую в спальню девушек. Она была светлее, потому что окна выходили на набережную. Кровать была уже застелена. В комнате царил полный порядок, вся одежда была убрана.

Только две тщательно сложенные ночные рубашки на обеих подушках.

— Вам двадцать пять лет?

— Двадцать шесть.

Мегрэ хотел спросить ее, но не знал, как задать этот вопрос.

— Вы никогда не были обручены?

— Никогда.

Но вопрос, который он хотел задать ей, был несколько иной. Она заинтересовала его, и особенно теперь, когда он увидел ее комнату. Заинтересовала, как загадочная статуя. Он думал о том, трепетало ли уже от страсти это совсем не соблазнительное тело, была ли она кем-нибудь еще, кроме преданной сестры, примерной дочери, хозяйки дома, одной из семьи Питерсов, скрывалась ли, наконец, под этими ее обличьями настоящая женщина!

А она не отводила взгляда. Она не пряталась. Она, должно быть, чувствовала, что он разглядывает не только ее лицо, но и фигуру, и даже не вздрогнула.

— Мы ни с кем не встречаемся, кроме наших родственников Ван де Веертов.

Мегрэ колебался, и голос его звучал не совсем естественно, когда он сказал:

— Я хочу попросить вас проделать один опыт... Не спуститесь ли вы в столовую и не поиграете ли на рояле, пока я вас не позову... Если возможно, ту же вещь, что и третьего января... Кто тогда играл?

— Маргарита... Она поет и аккомпанирует себе... Она брала уроки пения...

— Вы помните, что это было?

— Все то же. «Песня Сольвейг»... но... я... я не понимаю...

— Это просто опыт...

Она вышла из комнаты и хотела закрыть за собой дверь.

— Нет! Оставьте ее открытой...

Через несколько минут ее пальцы уже небрежно скользили по клавишам, раздавались едва связанные друг с другом аккорды. А Мегрэ, не теряя времени, открывал шкафы в спальне девушек.

Первый шкаф был для белья. Аккуратные стопки рубашек, панталон, нижних юбок, все тщательно отглажено...

Аккорды сливались в мелодию. Слышалась знакомая песнь. А толстые пальцы Мегрэ перебирали белое полотняное белье.

Какой-нибудь свидетель, несомненно, принял бы его за влюбленного или, скорее, за человека, утоляющего какую-то тайную страсть.

Грубое, прочное, не знающее износа белье, без малейшей кокетливости. Белье обеих сестер лежало вместе.

Теперь дошла очередь до ящика: чулки, подвязки, коробочки со шпильками... Никакой пудры... Никаких духов, кроме флакона одеколona, которым, вероятно, пользовались только по большим праздникам...

Звуки стали громче... Дом наполнялся музыкой... Теперь, кроме звуков рояля, слышался голос, который понемногу стал заглушать аккомпанемент.

Но ты ко мне вернешься,
Прекрасный мой жених.

Это пела не Маргарита! Это пела Анна Питерс! Она выделяла каждый слог. Она с тоскливым чувством подчеркивала отдельные фразы.

Пальцы Мегрэ по-прежнему ощупывали материю в шкафу.

В одной из стопок белья зашуршало что-то похожее на бумагу.

Еще одна фотография. Любительский снимок в коричневом тоне. Молодой человек с вьющимися волосами, тонкими чертами лица, выступающей вперед верхней губой, с самодовольной, чуть-чуть иронической улыбкой.

Мегрэ не смог бы сказать, кого напомнила ему эта фотография. Но она напомнила ему кого-то.

Тебе верна останусь,
Тобой лишь буду жить.

Низкий голос, почти мужской, постепенно стал медленно затихать. Потом Анна обратилась к нему:

— Мне продолжать, господин комиссар?

Он закрыл дверцы шкафов, сунул фотографию в карман пиджака и быстро вошел в комнату Жозефа Питерса:

— Нет, не трудитесь больше!

Когда Анна поднялась наверх, Мегрэ увидел, что она заметно побледнела. Быть может, она вложила слишком много души в свое пение. Мегрэ окинул взглядом комнату, но не обнаружил ничего необычного.

— Я не понимаю... Я хотела бы у вас спросить, господин комиссар... Вы видели Жозефа вчера вечером... Что вы о нем думаете?.. Неужели вы верите, что он способен?..

Пока Анна была внизу, она сняла платок, покрывавший ее волосы. Мегрэ даже показалось, что она вымыла руки.

— Нужно, понимаете ли, нужно,— продолжала она,— чтобы все признали его невиновность!.. Нужно, чтобы он был счастлив!..

— С Маргаритой Ван де Веерт?

Она ничего не ответила. Только вздохнула.

— Сколько лет вашей сестре Марии?

— Двадцать восемь... Все думают, что она станет директрисой школы в Намюре...

Мегрэ потрогал фотографию у себя в кармане.

— У нее нет возлюбленных?

И Анна мгновенно отозвалась:

— У Марии?

Что должно было означать:

— Возлюбленный, у Марии?.. Нет, вы ее не знаете.

— Я буду продолжать расследование,— сказал Мегрэ, направляясь к лестнице.

— У вас уже есть какие-нибудь результаты?

— Не знаю.

Она спустилась вместе с ним по лестнице. Проходя через кухню, он увидел старого Питерса, который сидел в своем кресле и, должно быть, даже не заметил комиссара.

— Он уже ни на что не реагирует,— вздохнула Анна.

В лавке было три или четыре покупателя. Мадам Питерс разливала по рюмкам можжевелевую водку. Не выпуская из рук бутылку, она, поклонившись, попрощалась с комиссаром и снова заговорила по-фламандски.

Вероятно, она объяснила им, что это комиссар, приехавший из Парижа, так как речники обернулись и с уважением посмотрели на Мегрэ.

Выйдя на улицу, комиссар увидел инспектора Машера, который осматривал участок земли, где почва была более рыхлой, чем в других местах.

— Есть новости? — спросил комиссар.

— Не знаю! Я все ищу труп. Пока мы его не найдем, нельзя арестовать этих людей...

И он посмотрел на Мёзу с таким видом, будто хотел сказать, что это не ее воды унесли отсюда тело Жермены.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Фотография

Это было вскоре после полудня. Вот уже, вероятно, в четвертый раз, с самого утра, Мегрэ прохаживался вдоль берега. По другую сторону Мёзы возвышалась оштукатуренная заводская стена, а в ней виднелись ворота, откуда сейчас выходили пешком или выезжали на велосипедах десятки рабочих и работниц.

Встреча состоялась в ста метрах от моста. Комиссар прошел мимо какого-то чело-

века, посмотрев ему в лицо, а потом, когда обернулся, то увидел, что прохожий тоже смотрит ему вслед.

Это был человек с фотографии, найденной среди белья в шкафу у Анны.

Оба мгновение колебались. Молодой человек первый шагнул в сторону Мегрэ.

— Вы не полицейский из Парижа?

— А вы, конечно, Жерар Пьедбёф?

«Полицейский из Парижа». Вот уже пятый или шестой раз сегодня Мегрэ слышал, что его называли так. И он прекрасно понимал, как это было сказано. Его коллега Машер приехал сюда из Нанси, чтобы вести следствие, и ничего больше. Все видели, как он ходил взад и вперед по городку, и когда жителям казалось, что они что-то узнали, они немедленно сообщали ему.

Мегрэ же был «полицейский из Парижа», вызванный фламандцами, приехавший специально для того, чтобы снять с них всякие подозрения. И люди, уже знавшие его в лицо, без малейшей симпатии провожали комиссара взглядом.

— Вы идете от нас?

— Я уже был у вас сегодня рано утром и видел только вашего племянника.

Жерар выглядел старше, чем на фотографии. Правда, черты лица его не изменились, одет и причесан он был, по-молодежному, но все же, глядя на него, можно было смело сказать, что он перешагнул уже за двадцать пять.

— Вы хотите со мной поговорить?

Во всяком случае, застенчивость не была его недостатком. Он ни разу не отвел взгляда. Глаза его были карие, очень блестящие, глаза, которые, несомненно, имели успех у женщин, тем более, что кожа у него была матовая, а губы красиво очерчены.

— Я только начинаю расследование.

— Конечно, за счет Питерсов, я это знаю! Все здесь это знают! Знали даже до вашего приезда... Вы — друг их семьи и взялись за то, чтобы...

— Ни за что я не взялся! А вот, кстати, ваш отец... Он встает...

Отсюда был виден маленький дом. На втором этаже поднялась штора, и они увидели человека с большими седыми усами, который смотрел в окно.

— Он нас заметил, — сказал Жерар. — Сейчас оденется...

— Вы лично знаете Питерсов?

Они шли по набережной, поворачивая назад всякий раз, когда доходили до причала, расположенного в ста метрах от лавки фламандцев. Дул свежий ветер. На Жераре было легкое пальто, которое он выбрал, вероятно, потому, что оно плотно облегало его фигуру.

— Что вы этим хотите сказать?

— Вот уже три года, как ваша сестра любовница Жозефа Питерса. Она ходила к нему?

Молодой человек пожал плечами.

— К чему копаться в таких мелочах? Сначала, незадолго до рождения ребенка, Жозеф клялся, что женится на ней... Потом явился доктор Ван де Веерт и от имени Питерсов предложил моей сестре десять тысяч франков, если она покинет эти места и никогда больше сюда не вернется. Оправившись от родов, Жермена первым делом пошла к Питерсам, чтобы показать им ребенка. Разыгралась ужасная сцена, ее не захотели впустить, а старуха обошлась с ней, как с уличной девкой... В конце концов все это утряслось... Жозеф по-прежнему обещал на ней жениться... Но сначала хотел закончить свои занятия.

— А вы?

— Я?

Сначала он притворился, что не понимает. Но тут же передумал, и на его лице скользнула улыбка, самодовольная и ироническая.

— А вам уже что-то рассказали?

Мегрэ, не останавливаясь, вытащил из кармана маленькую фотографию и показал своему спутнику.

— Вот те на! А я и не думал, что она еще существует!

Он протянул руку, чтобы взять фотографию, но Мегрэ снова положил ее в бумажник.

— Это она вам... Нет! Это невозможно! Она слишком горда... По крайней мере, сейчас...

Во время разговора Мегрэ не переставал наблюдать за своим собеседником. Болен ли он туберкулезом, как и его сестра и, конечно, как сын Жозефа? Может быть и нет! Но в нем было своеобразное очарование, свойственное некоторым чахоточным: тонкие черты лица, прозрачная кожа, чувственные и в то же время насмешливые губы.

Щегольство его было невысокого пошиба, щегольство мелкого служащего. Теперь он шел нужным надеть поверх своего бежевого пальто креповую повязку.

— Вы за ней ухаживали?

— Старая история... Это было еще до того, как сестра родила. По крайней мере, года четыре назад...

— Продолжайте...

— А вот и мой отец вышел поглядеть на улицу...

— Все равно продолжайте!

— Это было в воскресенье... Жермена и Жозеф собирались поехать на прогулку в гроты Рошфора... В последнюю минуту пригласили и меня, так как с ними поехала одна из сестер... Гроты находятся в двадцати пяти километрах отсюда... Позавтракали на траве. Мне было очень весело... Потом обе парочки разделились и отправились гулять по лесу...

Мегрэ, не отрываясь, смотрел на молодого человека, ничем не выражая своих мыслей.

— А потом?

— Что потом?.. Потом...

Жерар самодовольно и лукаво улыбнулся.

— Я не смог бы даже объяснить, как оно произошло... Я не привык долго тянуть...

Это застало ее врасплох и...

Они подошли к папаше Пьедбёфу, который стоял в рубашке без воротничка, в войлочных туфлях.

— Мне сказали, что сегодня утром вы были у нас... Прошу вас, входите... Ты говорил комиссару, Жерар?..

Мегрэ поднялся по узкой лестнице, некрашенные ступени которой казались совсем шаткими. Одна и та же комната служила кухней, столовой и гостиной. Все вокруг было убого и некрасиво. Стол был покрыт клеенкой с голубым рисунком.

— Кто же мог ее убить? — сразу начал папаша Пьедбёф. Чувствовалось, что он не очень умен. — В тот вечер она ушла, сказав, что еще не получила от них своего пособия и что от Жозефа ни слуху ни духу. Да! Они платили ей каждый месяц на содержание ребенка... Это, конечно, слишком уж мало и...

Жерар, поняв, что отец сейчас начнет выкладывать все те же жалобы, прервал его:

— Это комиссара не интересует! Ему нужны факты, доказательства! Так вот, у меня... Я, по крайней мере, могу доказать, что Жозеф Питерс, который утверждает, что в этот день в Живе не приезжал, в действительности был здесь... Он приехал на мотоцикле и...

— Вы говорите, что это можно засвидетельствовать?.. Теперь уж не стоит... Объявился другой мотоциклист, который утверждает, что это он проезжал по набережной в тот вечер, вскоре после восьми часов...

— А!..

И уже другим тоном Жерар спросил:

— Значит, вы против нас?

— Да я ни с кем! Я ни за кого, ни «за», ни «против». Я ищу правду!

Но Жерар ухмыльнулся и громко сказал, обращаясь к отцу:

— Комиссар приехал специально для того, чтобы постараться уличить нас... Простите меня, комиссар... Но мне нужно поесть... Я должен зарабатывать себе на жизнь, а в конторе перерыв на обед до двух часов.

О чем тут спорить? Мегрэ в последний раз огляделся вокруг, заметил в соседней комнате детскую кроватку и направился к двери.

* * *

Машер ожидал в гостинице «Мёза». Постояльцы ели в отдельном маленьком зале, отгороженном от кафе стеклянной дверью. А в самом кафе можно было перекусить за столиком без скатерти, и в это время там обедали несколько человек.

Машер был не один. За его столиком сидел человек небольшого роста, с чудовищно широкими плечами и длинными руками горбуна. Он пил аперитив и, увидя комиссара, поднялся.

— Владелец «Полярной звезды» — Гюстав Кассен.

Мегрэ подсел к ним. Бросив взгляд на блюдца, стоявшие перед ними на столике, комиссар понял, что они уже пьют третий аперитив.

— Кассен хочет вам кое-что рассказать.

Для Мегрэ это было совсем неожиданно. Едва лишь Машер замолк, как Кассен заговорил с доверительным видом, наклоняясь к плечу комиссара.

— Ведь нужно сказать то, что знаешь, верно? Только не надо говорить, пока тебя не спрашивают. Как любил повторять мой покойный папаша: впереди священника в церковь не лезь!

— Кружку пива! — бросил Мегрэ подошедшему к нему официанту.

Он сдвинул на затылок свою шляпу и расстегнул пальто. Потом, заметив, что речник не знает, как изложить свое дело, пророчал:

— Если не ошибаюсь, вечером третьего января вы были мертвецки пьяны?

— Мертвецки — это неправда! Я выпил несколько рюмок, однако держался крепко... И прекрасно видел то, что произошло на моих глазах...

— Вы видели мотоцикл, который остановился возле дома фламандцев?

— Я!.. Да ничего подобного...

Машер знаком показал Мегрэ, что не надо прерывать речника, которого он подбодрил жестом руки.

— На набережной я увидел женщину... Сейчас скажу вам какую... Ту из двух сестер, которая никогда не бывает в лавке, а каждое утро садится в поезд...

— Марию?

— Может быть, ее зовут и так... Худая, со светлыми волосами... Ну вот, мне показалось странным, что она стоит на улице, да еще в такую погоду, когда от ветра стучат цепи судов...

— В котором часу?

— Когда я возвращался домой спать... Что-то около восьми... Или немного позже...

— Она тоже вас заметила?

— Нет! Я не пошел дальше, а спрятался возле склада таможни. Я подумал, что она ожидает любовника, и надеялся позабыть...

— Конечно! Ведь вы уже дважды привлекались к ответственности за преступления против нравственности...

Кассен улыбнулся, показав ряд испорченных зубов. Это был человек без возраста. Правда, его темные волосы, растущие над узким лбом, еще не поседел, но лицо уже избороздили морщины.

Его очень интересовало, какое впечатление производит этот рассказ, и всякий раз, произнеся фразу, он смотрел сначала на Мегрэ, потом на инспектора Машера и, наконец, на какого-то посетителя кафе, сидевшего за его спиной и слушавшего их разговор.

— Продолжайте!

— Так, значит, вот... Она ожидала вовсе не любовника...

Речник все же немного заколебался. Он выпил залпом то, что оставалось у него в рюмке, и крикнул официанту:

— Повторите!

Потом одним духом выпалил:

— Она стояла, чтобы удостовериться, что поблизости никого нет... Тем временем из лавки вышли какие-то люди, но через заднюю дверь... Они несли что-то длинное и бросили это в Мёзу, как раз между моим судном и «Двумя братьями», которые пришвартованы за «Полярной звездой».

— Официант, сколько я вам должен? — спросил Мегрэ, вставая.

Комиссар не казался удивленным. Машер был совсем озадачен. Что же касается речника, то он не знал, что и подумать.

— Пойдемте со мной, — сказал Мегрэ.

— Это еще куда?

— Неважно! Пойдемте!

— Мне сейчас принесут рюмку, которую я заказал.

Мегрэ подождал, не выражая нетерпения. Он сказал хозяину, что через несколько минут придет завтракать, и увел пьянчугу на набережную.

В этот час там было пустынно, потому что все завтракали. Начали падать первые капли дождя.

— Покажите, где вы стояли! — сказал комиссар.

Он знал здание таможни. Кассен забился в уголок, чтобы показать ему это место.

— Вы не выходили отсюда?

— Конечно, нет! Зачем мне было впутываться в эту историю!

— Дайте-ка я встану на ваше место!

И через несколько секунд произнес, глядя в упор на речника:

— Придумайте-ка что-нибудь другое, друг мой!

— Как это что-нибудь другое?

— Я говорю, что ваша история никуда не годится. С этого места вы не могли видеть ни лавку, ни кусок реки, ограниченный двумя суднами.

— Когда я говорю, что стоял здесь, я хочу сказать...

— Нет! Достаточно! Повторяю, что вам нужно придумать что-нибудь другое! Когда придумаете, придете ко мне! А если это опять не подойдет, то, ей-богу, придется еще раз посадить вас за решетку...

Машер не верил своим ушам. Смущенный неудачей, он, в свою очередь, встал в тот же угол, чтобы проверить утверждение комиссара.

— Да, конечно, — согласился он...

Что касается речника, то он даже и не пытался отвечать. Он опустил голову и смотрел на ноги Мегрэ ироническим и злым взглядом.

— Не забывай то, что я тебе только что заявил: давай другую историю и более правдоподобную... Иначе — в тюрьму!.. Пойдемте, Машер!..

Мегрэ повернулся и направился к мосту, на ходу набивая трубку.

— Вы думаете, этот речник?..

— Я думаю, что сегодня вечером или завтра он принесет нам новое доказательство виновности Питерсов..

Инспектор Машер совсем растерялся...

— Не понимаю... Если у него есть доказательство...

— У него оно будет...

— Но каким образом?

— Откуда я знаю?.. Что-нибудь да придумает...

— Чтобы оправдать себя?

Но комиссар перевел разговор на другое. Он спросил:

— Есть у вас огонь?.. Вот уже зажигаю двадцать спичек, а они...

— Я не курю!

Машер не был вполне уверен, что услышал:

— Так я и знал...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Как Мегрэ провел вечер

Дождь пошел около полудня. В сумерки он еще сильнее забарабанил по булыжной мостовой. В восемь часов начался потоп.

Улицы Живе была пустынь. Вдоль набережной блестели огни баржей. Мегрэ, подняв воротник пальто, направился прямо к дому фламандцев, толкнул дверь (при этом раздался звонок, звук которого уже стал ему знакомым) и вдохнул теплый запах мелочной лавки.

Был тот же час, когда Жермена Пьедбёф вошла в лавку третьего января, после чего никто ее больше не видел.

Комиссар впервые заметил, что кухня была отделена от магазина только застекленной дверью. На ней висела тюлевая занавеска, через которую неясно различались контуры хозяев дома.

Кто-то поднялся с места.

— Не беспокойтесь! — крикнул Мегрэ.

Он вошел в кухню, вмешавшись таким образом в повседневную жизнь ее хозяев. Мадам Питерс встала и вышла в лавку. Ее муж сидел в своем плетеном кресле, так близко к печке, что было даже страшно: вдруг загорится. В руке он держал пенковую трубку с длинным мундштуком из вишневого дерева. Но он уже перестал курить. Веки его были опущены. Из полуоткрытых губ исходило мерное дыхание.

Анна сидела у некрашеного стола, натертого песком и отполированного годами. Она что-то подсчитывала в маленькой записной книжке.

— Проводи комиссара в столовую, Анна! — сказала вернувшаяся мадам Питерс.

— Да нет же, — запротестовал он. — Я только на минутку.

— Дайте мне ваше пальто.

И Мегрэ заметил, что голос у мадам Питерс красивый, глубокий, а легкий фламандский акцент придает ему еще больше сочности.

— Но вы ведь выпьете чашку кофе?

Ему захотелось узнать, что она делала до его прихода. Он увидел на столе очки в стальной оправе, сегодняшнюю газету.

Дыхание старика, казалось, отмечало ритм жизни всего дома. Анна закрыла записную книжку, надела наконечник на карандаш, встала и сняла с этажерки чашку.

— Извините, — сказала она.

— Я надеялся познакомиться с вашей сестрой Марией.

Мадам Питерс горестно покачала головой. Анна объяснила:

— Вы ее не увидите в ближайшие дни... Разве что поедете к ней в Намюр. Сейчас приходила ее коллега, которая тоже живет в Живе... Сегодня утром Мария, выходя из поезда, вывихнула себе ногу в щиколотке...

— Где она?

— В школе... У нее там есть комната...

Мадам Питерс вздыхала, качая головой:

— Не знаю, чем мы провинились перед господом!

— А Жозеф?

— Он не придет раньше субботы... Правда, суббота уже завтра...

— А ваша кузина Маргарита к вам не заходила?

— Нет! Я видела ее в церкви, у вечерни...

В чашку налили горячего кофе. Мадам Питерс вышла и вернулась с рюмкой и с бутылкой можжевелевой водки.

— Это старый Шидам.

Мегрэ сел. Он не надеялся ничего узнать. Быть может, его присутствие здесь даже не имело прямого отношения к делу.

Этот дом напомнил Мегрэ одно следствие, которое ему когда-то пришлось вести в Голландии, но все же дом фламандцев чем-то отличался от того дома, и Мегрэ не мог определить, чем. Здесь был тот же покой, такой же насыщенный запахами воздух, то же ощущение плотности атмосферы, как будто она представляла собой твердое тело, которое могло разбиться при малейшем толчке. Время от времени плетеное кресло потрескивало, хотя старик сидел неподвижно. И жизнь по-прежнему шла в ритме его дыхания, так же, как и разговор.

Анна сказала что-то по-фламандски, и Мегрэ, который выучил несколько слов этого языка в Дельфзейле, понял приблизительно следующее:

— Ты бы дала рюмку побольше...

Время от времени по набережной проходили люди. Дождь барабанил по витрине лавки.

— Вы мне сказали, что и тогда шел дождь, правда? Такой же сильный, как сегодня?

— Да... Кажется, такой же...

Теперь обе женщины снова сидели, глядя, как Мегрэ берет свою рюмку и подносит к губам.

У Анны были не такие тонкие черты лица, как у матери, и ей не хватало доброты и благожелательности, сквозившей в улыбке мадам Питерс. Она, как обычно, не спускала глаз с Мегрэ.

Заметила ли она исчезновение фотографии Жерара из ее спальни? Конечно, нет! Иначе она бы встревожилась.

— Мы живем здесь уже тридцать пять лет, господин комиссар, — сказал мадам Питерс. — Мой муж сначала завел здесь мастерскую для плетения корзин, в этом же доме, а потом мы надстроили этаж...

Мегрэ думал о другом, об Анне, когда она была на пять лет моложе и посетила Рошфорские пещеры вместе с Жераром Пьедбёф.

Что толкнуло эту девушку в объятия ее спутника? Почему она отдалась ему? Какие мысли терзали ее потом?

Ему казалось, что это было единственное приключение в ее жизни, что больше у нее уже никого не будет...

Ритм жизни в этом доме был угнетающий. От можжевелевой водки голова Мегрэ отяжелела. Он слышал малейший шум, скрипение кресла, храп старика, слышал, как капли дождя барабанили по подоконнику.

— Сыграли бы вы мне снова ту пьесу, что играли утром, — сказал он Анне.

И так как она колебалась, мать добавила:

— Ну конечно!.. Она хорошо играет, правда?.. Она занималась шесть лет, три раза в неделю, с лучшим преподавателем в Живе...

Девушка вышла. Две двери, отделявшие ее от кухни, оставались открытыми. Щелкнула крышка роаяля.

Несколько ленивых аккордов правой рукой.

— Ей следовало бы учиться петь... — прошептала мадам Питерс. — Маргарита поет лучше... Думали даже о том, не поступить ли ей в консерваторию...

Аккорды звучно раздавались в пустом доме. Старик не просыпался, и его жена, боясь, как бы он не выронил трубку, осторожно взяла ее у него из рук и повесила на гвоздь, вбитый в стену.

Почему Мегрэ все не уходил отсюда? Здесь больше ничего не узнаешь. Мадам Питерс слушала, поглядывая на свою газету, но не решаясь взять ее. Анна стала понемногу аккомпанировать себе левой рукой. Вероятно здесь, на этом столе, Мария обычно проверяла задания своих учеников.

И это было все!

Кроме того, что весь город обвинял Питерсов в том, что они убили Жермену Пьедбёф в такой же, как сегодня, вечер.

Мегрэ вздрогнул, услышав звонок в лавке. На мгновение ему почудилось, что сейчас сюда войдет любовница Жозефа, чтобы потребовать деньги на содержание ребенка, те сто франков, которые ей платили каждый месяц.

Это оказался речник в клетчатом плаще; он подал мадам Питерс маленькую бутылку, и она наполнила ее можжевелевой водкой.

— Восемь франков!

- Бельгийских?
- Нет, французских. Или десять бельгийских...
- Мегрэ встал, прошел через лавку.
- Вы уже уходите?
- Я приду завтра.

Выйдя из дома, он увидел речника, который возвращался к себе на баржу. Мегрэ обернулся и посмотрел на дом. Со своей светлой витриной он был похож на театральную декорацию, в особенности потому, что из него доносилась нежная, сентиментальная музыка.

Не примешивался ли к ней и голос Анны?

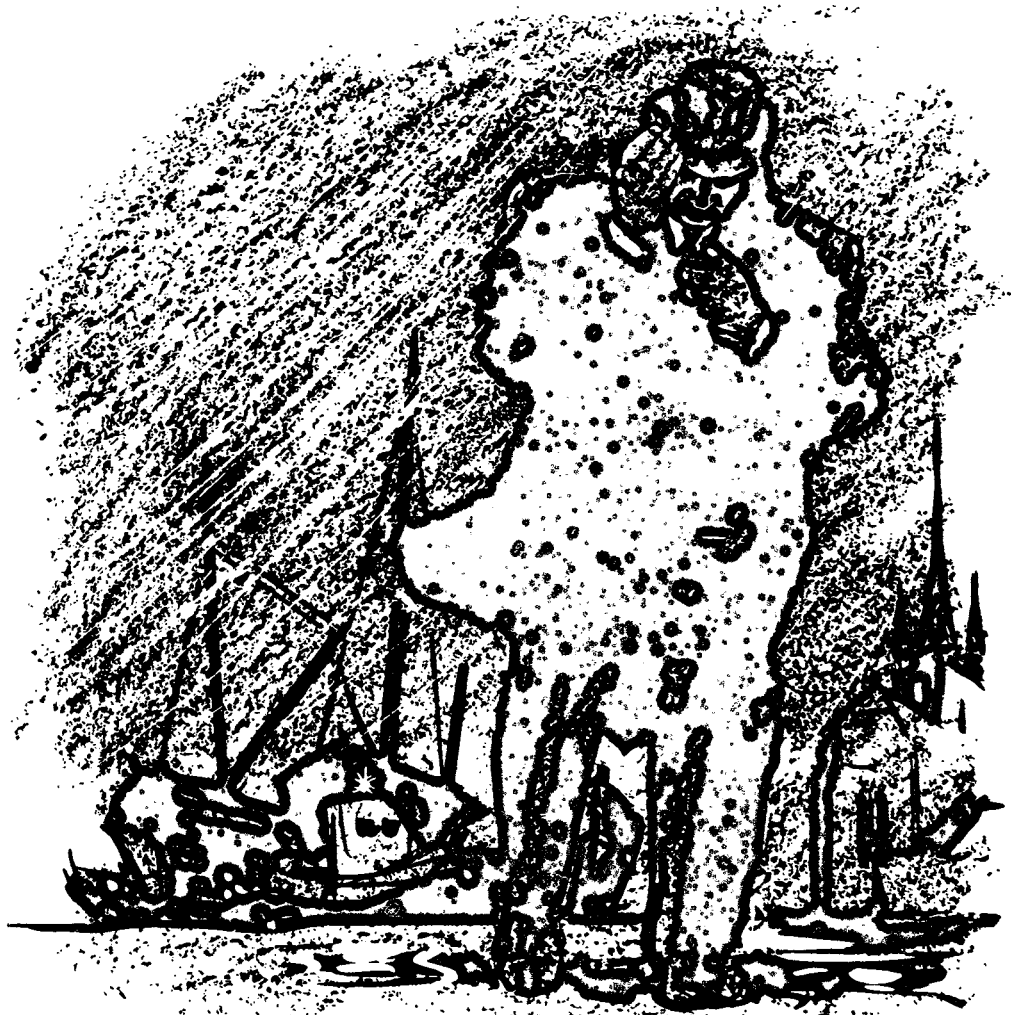
Но ты ко мне вернешься,
Прекрасный мой жених.

Мегрэ месил ногами грязь; дождь был такой сильный, что его трубка погасла. Теперь уже весь Живе казался ему похожим на театральную декорацию. Когда речник вернулся к себе на баржу, на улице не осталось ни души.

Только притушенный свет из нескольких окон. И шум разливающейся Мёзы постепенно заглушал звуки рояля.

Когда он прошел метров двести, он смог одновременно видеть в глубине сцены дом фламандцев и на первом плане другой дом, дом Пьедбёфов.

Во втором этаже не было света. Но коридор был освещен. Акушерка, должно быть, оставалась одна с ребенком.



Мегрэ был не в духе. Он редко до такой степени ощущал бесполезность своих усилий.

Зачем он, собственно говоря, сюда приехал? У него не было официального поручения. Люди обвиняли фламандцев в убийстве девушки. Но ведь не было даже уверенности в том, что она умерла!

Может быть, устав от своей бедной жизни в Живе, она уехала в Брюссель, в Реймс, в Нанси или в Париж и теперь сидела где-нибудь в пивной, угощаясь пивом с какими-нибудь случайными знакомыми?

А даже если она умерла, может быть, ее совсем и не убили?

Может быть, когда она, потеряв мужество, вышла из мелочной лавки, ее потянула к себе мутная река?

Никаких доказательств! Никаких признаков преступления! Машер тщательно вел следствие, но ничего не нашел, и прокуратура вот-вот положит дело под сукно.

Тогда зачем же Мегрэ мок под дождем в этом чужом городе?

Как раз напротив него, по другую сторону Мёзы, он видел завод, двор которого был освещен только одной электрической лампой. У самых ворот светилось окно сторожки.

Значит, старик Пьедбёф вышел на работу. Что он делает там всю ночь?

И вот комиссар, сам хорошенько не зная почему, засунув руки в карманы, направился к мосту. В кафе, где он утром выпил грогу, дюжина речников и владельцев буксиров разговаривали так громко, что их было слышно с набережной. Но комиссар не остановился.

От ветра вибрировали стальные лонжероны моста, который был построен вместо каменного, разрушенного во время войны.

А на другом берегу набережная даже не была вымощена. Приходилось шлепать по грязи. Какая-то бродячая собака прижалась к оштукатуренной белой стене.

В запертых воротах была проделана маленькая дверь. И Мегрэ увидел Пьедбёфа, который прижался лицом к окну сторожки.

— Добрый вечер!

На стороже была старая военная куртка, перекрашенная в черный цвет. Он тоже курил трубку. Посреди сторожки стояла маленькая печь, труба которой, сделав два колена, уходила в стену...

— Вы знаете, что не имеете права...

— Ходить сюда по ночам? Ничего!

Деревянная скамья. Старый стул. От пальто Мегрэ уже пошел пар.

— Вы всю ночь сидите здесь в сторожке?

— Нет, простите! Я должен трижды обойти дворы и цеха.

Издали его длинные седые усы имели внушительный вид. При ближайшем рассмотрении это был застенчивый человек, готовый замкнуться в себе и ясно сознающий свое весьма скромное положение. Мегрэ смущал его. Он не знал, что ему сказать.

— В общем, вы всегда бываете один... Ночью здесь... Утром у себя в постели... а днем?

— Я работаю в саду!

— В саду акушерки?

— Да... Овощи мы делим пополам...

Комиссар заметил в золе какие-то круглые предметы. Он пошарил в ней кочергой и обнаружил неочищенные картофелины. Мегрэ понял. Он представил себе, как этот человек, совсем один, среди ночи ест картошку, устремив взгляд в пустоту.

— Ваш сын никогда не приходит к вам на завод?

— Никогда!

И здесь перед дверью, одна за другой, падали капли дождя, отмечая приглушенный ритм жизни.

— Вы в самом деле думаете, что ваша дочь была убита?

Человек ответил не сразу. Он не знал, куда девать глаза.

— Раз уж Жерар...

И вдруг в голосе его послышалось рыдание:

— Она бы не покончила с собой... Она бы не уехала...

Его слова прозвучали с неожиданным трагизмом. Сторож машинально набивал свою трубку.

— Если бы я не думал, что эти люди...

— Вы хорошо знаете Жозефа Питерса?

Пьедбёф отвернулся.

— Я знал, что он на ней не женится... Это богатые люди... А мы...

На стене висели красивые электрические часы, единственная роскошь в этой сторожке. Напротив них черная доска, на которой было написано мелом: прием на работу не производится.

Наконец, возле двери, сложный аппарат, который отмечал час прихода и ухода рабочих и служащих.

— Мне пора идти в обход...

Мегрэ чуть не предложил пойти вместе с ним, чтобы поглубже вникнуть в жизнь этого человека. Пьедбёф надел бесформенный плащ, при ходьбе шлепавший его по пяткам, взял в углу электрический фонарь.

— Не понимаю, почему вы настроены против нас... Может быть, это, в конце концов, естественно!.. Жерар говорит, что...

Но они вышли во двор, и разговор был прерван дождем. Пьедбёф проводил своего гостя до ворот, которые он хотел запереть прежде, чем начать обход.

Комиссар огляделся. Отсюда он видел город, разделенный на одинаковые участки железными прутьями ворот: барки, пришвартованные на другом берегу реки, дом фламандцев со своей освещенной витриной, набережную, где фонари через каждые пятьдесят метров отбрасывали круги света.

Было хорошо видно здание таможни, кафе речников...

Особенно ясно виден был угол переулка, в котором вторым налево был дом Пьедбёфов.

3 января...

— Ваша жена давно умерла?

— Через месяц будет двенадцать лет... Она умерла от чахотки...

— Что сейчас делает Жерар?

Фонарь качался в руке сторожа. Он уже вложил в замочную скважину большой ключ. Вдалеке засвистел поезд.

— Должно быть, он в городе...

— Вы не знаете, где приблизительно?

— Молодые люди собираются чаще всего в «Кафе у Мэри».

И Мегрэ снова углубился в дождь, в темноту. В сущности, это не было следствием. Никакой отправной точки, никаких оснований.

Была только горсточка людей, живших каждый своей жизнью в маленьком городке, где свирепствовал ветер.

Быть может, все они были искренни? А может быть, душа кого-нибудь из них терзалась, испуганная, при мысли о плотной фигуре, бродившей в эту ночь по улицам?

Мегрэ прошел мимо своей гостиницы, но не заглянул в нее. Сквозь стекла окон он заметил инспектора Машера, разглагольствовавшего в группе людей, среди которых был и хозяин отеля. Чувствовалось, что все они выпили уже по четвертой или пятой рюмке.

Машер, чем-то воодушевленный, размахивал руками и, должно быть, говорил:

— Эти комиссары, которые приезжают из Парижа, воображают...

И они судачили о фламандцах! Рвали их на клочки!

В конце узкой улицы начинается обширная площадь. На углу кафе с белой вывеской, с тремя хорошо освещенными витринами: «Кафе у Мэри».

Как только вы открываете дверь, вы сразу попадаете в шумный зал. Оцинкованный прилавок. Столы. Карты на красных скатертях. Дым трубок, сигарет и кислый запах пива.

— Две кружки пива!

Звон жетонов на мраморной дощечке кассы. Белый передник гарсона.

— Проходите сюда!

Мегрэ сел за первый попавшийся столик и сначала увидел Жерара Пьедбёфа в одном из запотевших зеркал, украшавших стены зала. Он тоже был возбужден, как и Машер. Заметив комиссара, он сразу замолчал и толкнул ногой своих собеседников.

Это был его приятель и две подружки. Все четверо сидели за одним столом. Молодые люди одного возраста. Женщины, вероятно, работницы с завода.

Все замолчали. Даже игроки в карты за другими столиками объявляли о своих взятках вполголоса, и взгляды всех устремились на вновь прибывшего.

— Кружку пива!

Мегрэ зажег трубку, положил свою шляпу, с которой капала вода, на банкетку, обтянутую коричневым молескином.

— Одну кружку пива!..

А Жерар Пьедбёф иронически улыбнулся и презрительно пробормотал вполголоса:

— Это друг фламандцев...

Он уже тоже выпил. Его глаза слишком блестели. Алые губы подчеркивали бледность его лица. Чувствовалось, что он возбужден. Он наблюдал за присутствующими. Искал, что бы такое сказать, что поразило бы его собутыльников.

— Ты понимаешь, Нини, когда ты разбогатеешь, тебе нечего будет бояться полиции.

Приятель толкнул его локтем, чтобы он замолчал, но в результате Жерар разошелся еще больше.

— Ну и что ж такого? Значит, теперь уже нельзя говорить то, что думаешь?.. Я повторяю: полицией распоряжаются богатые, ну, а если вы бедны, она...

Он был бледен. В сущности, он сам испугался своих слов, но хотел сохранить внимание всего зала.

Мегрэ сдул пену с пива, сделал большой глоток. Слышно было, как игроки вполголоса говорили, чтобы нарушить воцарившееся молчание.

— Три карты одной масти!

— Четыре валета!

— Тебе ходить!

— Крою!

А две молоденькие работницы, которые не осмеливались глядеть в сторону комиссара, ловили его отражение в зеркале.

— Можно подумать, что во Франции быть французом преступление. В особенности, если ты к тому же еще беден.

Хозяин у кассы нахмурился, повернулся к Мегрэ в надежде дать ему понять, что молодой человек пьян; но комиссар не смотрел на него.

— Пики!.. И еще раз пики! Ага... такого не ожидали...

— Люди, которые разбогатели на контрабанде! — продолжал Жерар так громко, что его слышал весь зал. — В Живе это знают! До войны они получали сигары и кружева... А теперь, поскольку алкоголь запрещен в Бельгии, они поят можжевелевой водкой фламандских речников... И поэтому их сын может стать адвокатом... Ему это очень пригодится, чтобы защищать самого себя!..

А Мегрэ сидел за столиком один, и на него смотрели все клиенты кафе.

Хозяин забеспокоился, предвидя скандал. Он подошел к комиссару:

— Умоляю вас, не обращайтесь внимания... Он выпил... И потом, он переживает за сестру...

— Пойдем отсюда, Жерар, — прошептала девушка, сидевшая рядом с ним.

— Чтобы он решил, что я его боюсь?

Он по-прежнему сидел спиной к Мегрэ. Каждый из них видел только отражение другого в зеркале.

Посетители кафе играли теперь уже из приличия, забывая отметить число очков на грифельной доске.

— Рюмку коньяка, гарсон!..

Хозяин хотел было отказать Жерару, но не посмел, учитывая, что Мегрэ все еще делает вид, что не замечает его.

— Мошенничество, да и только!.. Вот что это такое!.. Эти люди берут наших девушек и убивают их, когда им надоест... А полиция...

Комиссар представлял себе старика Пьедбёфа в его перекрашенной форменной куртке, представлял себе, как он обходит цеха, освещая себе путь фонарем, потом возвращается в свою сторожку, где тепло и где он будет есть печеный картофель.

Напротив был дом Пьедбёфов; акушерка, должно быть, уже уложила ребенка и, коротая вечер, читает или вяжет.

А там, дальше, мелочная лавка фламандцев: старика Питерса разбудили и повели в свою комнату, мадам Питерс закрывает ставни, а Анна одна раздевается у себя в спальне.

И уснувшие баржи в реке, от быстрого течения которой натягиваются канаты, скрипят рулевые колеса и ударяются друг о друга шлюпки.

— Еще кружку пива!

Мегрэ говорил спокойно. Он медленно курил, пуская клубы дыма к потолку.

— Вы все видите, что он издевается надо мной!.. Ведь он издевается!..

Хозяин был в отчаянии. Не знал, что делать. Начиная скандал.

Потому что при последних словах Жерар встал и наконец повернулся к Мегрэ. Черты его напряглись, губы искривились от гнева.

— Я говорю, что он приехал сюда только для того, чтобы издеваться над нами!.. Посмотрите на него!.. Он насмехается над нами, потому что я выпил рюмку... Или, вернее, потому, что у нас нет денег...

Мегрэ не двигался с места. Это было невероятно. Он был таким же неподвижным, как его мраморный столик. В руке он держал кружку и не переставая курил.

— Бубны козыри! — сказал один из игроков в надежде разрядить обстановку.

И тогда Жерар взял карты со стола и бросил их через зал.

В то же мгновение половина присутствующих была на ногах. Никто не приблизился, но все готовы были вмешаться.

Мегрэ сидел на своем месте и курил.

— Но посмотрите же на него!.. Он плюет на нас!.. Он прекрасно знает, что моя сестра убита...

Хозяин совсем растерялся. Две девушки, сидевшие за столом Жерара, смотрели друг на друга с ужасом и уже поглядывали на дверь.

— Он не смеет ничего сказать!.. Вы видите, он и рта не открывает!.. Он боится!.. Да, боится, что правда восторжествует!..

— Клянусь вам, он пьян! — воскликнул хозяин, видя, что Мегрэ поднимается с места.

Слишком поздно! Из всех присутствующих, без сомнения, больше всех струхнул Жерар.

На него надвигалась эта мрачная, мокрая, массивная фигура...

Он быстро сунул правую руку в карман, и при этом его движении женщины громко вскрикнули.

Молодой человек вытащил револьвер. Но рука комиссара мгновенно схватила его. Сейчас уже вскочили все клиенты, растерянно глядя на комиссара и молодого человека.

Револьвер был в руке у Мегрэ. Лицо Жерара выражало злобу, он был унижен своим поражением.

И пока комиссар спокойным жестом клал оружие к себе в карман, молодой человек, задышавшись, проговорил:

— Вы меня арестуете, правда?

— Иди ложись спать! — медленно произнес Мегрэ.

И так как Жерар, казалось, не понял, что он сказал, Мегрэ добавил:

— Откройте дверь!

В удушливую атмосферу кафе ворвалась струя свежего воздуха. Мегрэ, держа Жерара за плечо, вытолкнул его на тротуар.

— Иди ложись спать!

И дверь снова закрылась.

— Он пьян в стельку!.. — объяснил Мегрэ, снова садясь за столик, на котором стояла начатая кружка пива.

Клиенты все еще не знали, что им делать. Некоторые сели на свои места, другие колебались.

И тут Мегрэ, еще раз глотнув пива, вздохнул:

— Это не страшно!

Потом, обращаясь к игроку, который все еще стоял в нерешительности, добавил:

— Вы объявили бубны козырями!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Молоток

Мегрэ решил поспать подольше, и не оттого, что его охватила лень, а просто от безделья. Его разбудили около десяти часов, и это было неприятно.

Сначала кто-то громко стучал к нему в дверь, чего он терпеть не мог. Потом, еще не вполне проснувшись, он услышал, что по балкону барабанит дождь.

— Кто там?

— Машер.

Инспектор провозгласил свое имя так, словно раздался торжественный звук трубы.

— Входи!.. Отдерни-ка занавески...

И Мегрэ, все еще лежа в постели, увидел, что в окно сочится тусклый свет хмурого утра. Внизу торговка рыбой разговаривала с хозяином гостиницы.

— Есть новости!.. Получили сегодня утром с первой почтой...

— Минутку! Крикни, пожалуйста, вниз, чтобы мне принесли завтрак. Позвонить не могу — нет звонка.

И, все еще лежа в постели, Мегрэ зажег трубку, которая, уже набитая, лежала у него под рукой.

— Какие новости?

— О Жермене Пьедбёф.

— Она мертва.

— Мертвее не бывает.

Машер объявил об этом с удовлетворением, вытаскивая из кармана письмо, написанное на четырех страницах, украшенное полицейскими печатями и штемпелем.

«ПРЕПРОВОЖДЕНО ПРОКУРАТУРОЙ ЮИ МИНИСТЕРСТВУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В БРЮССЕЛЕ»
«ПРЕПРОВОЖДЕНО МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ В ПАРИЖЕ»
«ПРЕПРОВОЖДЕНО УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИЕЙ В ПАРИЖЕ ОПЕРАТИВНОЙ БРИГАДЕ В НАНСИ»
«ПРЕПРОВОЖДЕНО ИНСПЕКТОРУ МАШЕРУ В ЖИВЕ...»

— А ты можешь покороче?

— Так вот, в двух словах: ее вытащили из Мёзы, в Юи, иначе говоря, в сотне километров отсюда. Пять дней назад... Не сразу вспомнили о моем запросе бельгийской полиции. Но я вам сейчас прочту...

— Можно войти?

Вошла горничная с кофе и рогаликами. Когда она вышла, Машер продолжал:

— «Сего января двадцать шестого, тысяча девятьсот...»

— Нет, старина! Говори сразу, в чем дело...

— Так вот, почти наверняка она была убита... Теперь мы убеждены в этом не только с моральной точки зрения. Теперь это подтверждается фактами. Вот послушайте:

— «Насколько можно судить, тело находилось в воде в течение трех недель или месяца... Степень его...»

— Короче! — проворчал Мегрэ с полным ртом.

— «Степень его разложения...»

— Знаю! Читай заключение! А главное, пропусти описания!

— Да здесь их целая страница...

— Чего?

— Описаний... Ну, если вы не хотите... Это еще не совсем точно... Однако же ясно одно: то, что смерть Жермены Пьедбёф наступила гораздо раньше, чем ее тело появилось в воде, доктор говорит: за два или за три дня до этого...

Мегрэ по-прежнему макал свой рогалик в кофе и ел, глядя на четырехугольные окна, так что Машер даже подумал, что комиссар его не слушает.

— Это вас не интересует?

— Продолжай!

— Дальше идет отчет о вскрытии. Вы хотите, чтобы я?.. Нет?.. Так вот, мне остается сообщить вам самое интересное... Череп трупа проломлен и врачи считают возможным утверждать, что смерть наступила из-за этой раны, нанесенной тяжелым инструментом, вроде молотка или куска железа...

Пока Мегрэ брился, инспектор Машер перечитывал донесение, которое он держал в руках.

— А это не кажется вам необычным?.. Нет, не удар молотком!.. Я говорю о том, что тело было брошено в воду только через два или три дня после убийства... Придется мне снова нанести визит фламандцам...

— У вас есть список вещей, надетых на Жермене Пьедбёф?

— Да... Постойте... Черные туфли со шнурками, довольно потрепанные... Черные чулки... Дешевое розовое белье... Платье из черной саржи, без этикетки...

— И это все? Пальто на ней не было?

— А ведь и правда...

— Дело происходило третьего января... Шел дождь... Было холодно...

Лицо Машера помрачнело. Он проворчал, не давая никаких объяснений:

— Очевидно.

— Что очевидно?

— Она не была в таких отношениях с Питерсами, чтобы они предложили ей раздеться... С другой стороны, я не вижу, зачем было убийце снимать с нее пальто... Тогда он мог бы совсем раздеть ее, чтобы труднее было опознать тело...

Мегрэ мылся с большим шумом и даже обрызгал водой инспектора, хотя тот и стоял посреди комнаты.

— Пьедбёфы уже знают?..

— Нет еще... Я думал, вы возьмете на себя...

— И не собираюсь! Я ведь не в служебной командировке! Поступайте так, как будто вы здесь один, старина!

Он застегнул воротничок, надел пальто и подтолкнул Машера к двери.

— Мне сейчас нужно выйти... До скорого!..

* * *

Мегрэ и сам не знал, куда идет. Он вышел для того, чтобы выйти или, вернее, чтобы снова углубиться в атмосферу этого города. По дороге он случайно остановился перед медной дощечкой с надписью:

ДОКТОР ВАН ДЕ ВЕЕРТ
Прием с десяти утра до двенадцати

Несколько минут спустя его провели мимо трех пациентов, которые ожидали в приемной, и он очутился перед маленьким человеком с розовой, как у ребенка, кожей, с волосами такими же белыми, как у мадам Питерс.

— Надеюсь, ничего неприятного?

Доктор потирал руки, и вся его фигура выражала привычный оптимизм.

— Моя дочь мне сказала, что вы согласились...

— Прежде всего, я хотел бы задать вам один вопрос. Какая сила нужна для того, чтобы проломить череп женщине, ударив по нему молотком?

Мегрэ наслаждался растерянностью этого маленького человека: доктор был в старомодном пиджаке; живот его пересекала толстая цепочка от часов.

— Череп?.. Откуда мне это знать?.. Мне никогда не приходилось, в Живе...

— Например, как вы думаете, способна ли женщина...

Доктор совсем растерялся, замахал руками.

— Женщина? Но ведь это безумие!.. Женщина никогда не подумает...

— Вы вдовец, мсье Ван де Веерт?

— Вот уже двадцать лет! К счастью, моя дочь...

— Что вы думаете о Жозефе Питерсе?

— Но... это отличный молодой человек! Я бы предпочел, чтобы он избрал медицину, тогда я оставил бы ему свой кабинет. Но, честное слово, если у него есть способности к праву... Это замечательная личность...

— А в отношении здоровья?

— Здоровье у него очень хорошее! Очень! Его немного утомляет столь упорная работа и то, что он так быстро растет...

— У Питерсов нет никаких наследственных пороков?

— Наследственных пороков?

Он был так поражен, словно никогда не слышал о наследственных пороках.

— Вы просто потрясли меня, комиссар! Я не понимаю! Вы же видели мою кузину. У нее такое крепкое сложение, что она проживет сто лет.

— И ваша дочь тоже?

— Она более хрупкая... Похожа на свою мать... Но позвольте предложить вам сигару...

Это был настоящий фламандец, каких мы видим на цветных фото для рекламы можжевеловой водки, фламандец с розовыми губами, со светлыми глазами, свидетельствующими о простоте его души.

— Итак, ваша дочь должна была выйти замуж за своего двоюродного брата?

Доктор слегка помрачнел.

— Конечно, рано или поздно! Если бы не его неудачное приключение...

Для доктора это было только неудачное приключение.

— Эти люди не могли понять, что лучше всего им было согласиться принять небольшую сумму на содержание ребенка и, по возможности, переехать в другой город... По-моему, это ее брат особенно несговорчивый...

Нет, на него положительно нельзя было сердиться. Он говорил искренне! Искренне до наивности!

— А кроме того, нет никаких доказательств, подтверждающих, что ребенок от Жозефа... Ему было бы гораздо лучше в санатории, вместе с матерью...

— Короче говоря, ваша дочь ждала.

И Ван де Веерт улыбнулся.

— Она любит его с четырнадцати или с пятнадцати лет... Разве это не прекрасно?.. У вас есть спички?.. Что до меня, если вы хотите знать мое мнение, то здесь нет никакой драмы. Эта девушка, которая всегда была потаскушкой, просто нашла где-нибудь нового друга... А ее брат воспользовался всей этой историей, чтобы попытаться выкачать деньги.

Он не спрашивал мнения Мегрэ. Он был уверен, что его собственные доводы верны. Одновременно он прислушивался к неясным звукам в приемной, где пациенты, должно быть, уже стали терять терпение.

Тогда комиссар спокойно, с таким же невинным взглядом, как и у его собеседника, задал последний вопрос:

— Как вы думаете, мадемуазель Маргарита любовница своего двоюродного брата?

Ван де Веерт, кажется, готов был возмутиться. Лоб его покраснел. Но в нем победило другое чувство: ему стало грустно, что его до такой степени не понимают.

— Маргарита?.. Да вы с ума сошли... Кто это мог выдумать такое? Чтобы Маргарита была... была...

А Мегрэ, который уже взялся за ручку двери, вышел, даже не улыбнувшись. В доме пахло одновременно и кухней, и аптекой. Служанка, открывавшая дверь пациентам, была такая свеженькая, словно только что вылезла из горячей ванны.

Но на улице снова дождь, грязь, грузовики, обрызгивающие ею тротуары.

Была суббота. Жозеф Питерс должен был приехать днем и провести воскресенье в Живе. В «Кафе моряков» шли страстные споры, потому что Управление мостами и дорогами только что объявило о возобновлении навигации от границы до Мэстрихта.

Однако, учитывая силу течения, владельцы буксиров вместо десяти франков требовали пятнадцать за каждую тонну. К тому же выяснилось, что одна из арок намюрского моста закрыта нагруженной камнями баржей, у которой оборвались канаты и которая встала поперек пилонов моста.

— Есть убитые? — спросил Мегрэ.

— Жена и сын. А сам владелец баржи, находившийся в то время в бистро, явился на берег, когда судно уже уплыло!

На велосипеде проехал Жерар Пьедбёф, возвращавшийся из заводской конторы. А спустя несколько секунд Мегрэ заметил идущего из дома фламандцев Машера, который ходил туда сообщить новость. Инспектор позвонил у дверей Пьедбёфов и был весьма сухо принят отворившей ему дверь акушеркой.

* * *

— За что это тебя таскали в полицию нравов?

На борту большинства баржей жилое помещение отличается такой чистотой, которую редко встретишь в домах. Но только не на «Полярной звезде».

Этот речник не был женат. Ему помогал перень лет двадцати, немного слабоумный, время от времени подверженный приступам эпилепсии.

В каюте пахло казармой. Речник ел хлеб с колбасой и запивал красным вином из литровой бутылки.

Он был не так пьян, как обычно. Недоверчиво поглядев на Мегрэ, он долго не решался заговорить.

— Это даже не попытка изнасиловать... Я уже два или три раза переспал с этой девкой... Однажды вечером встретил ее на дороге, и она мне отказала под тем предлогом, что я выпил... Тогда я схватил ее. Она завизжала... Мимо, будто случайно, проходили полицейские, и я ударом кулака свалил одного из них на землю...

— Пять лет?

— Мне чуть было их не пришили. Она отрицала, что раньше жила со мной... Мои приятели показали это на суде, но им поверили лишь наполовину... Если бы не полицейский, который угодил на две недели в больницу, мне бы дали только год, может быть, даже условно...

И он опять стал резать хлеб своим карманным ножом.

— Вы не хотите пить?.. Завтра, может быть, мы уйдем отсюда... Ждем только, пока освободят намюрский мост...

— А теперь скажи мне, зачем ты придумал историю с женщиной, которую будто бы видел на набережной?

— Я?

Он старался выиграть время, чтобы подумать, делал вид, что ест с аппетитом.

— Признайся, ты ведь совсем ничего не видел!

Мегрэ заметил, что в глазах его собеседника мелькнул радостный огонек.

— Вы так думаете? Ну что же, вы, конечно, правы!

— Кто просил тебя сказать это?

— Меня?

Он все еще балагурил. Выплевывал прямо перед собой кожу от колбасы.

— Где ты встретился с Жераром Пьедбёфом?

— Ах, вот оно что...

Но Мегрэ, сидевший напротив него, был так же безмятежен, как и он сам.

— Он для тебя что-нибудь делал?

— Платил за выпивку.

Потом вдруг добавил с беззвучным смехом:

— Да ведь это неправда! Я говорю так, чтобы доставить вам удовольствие...

Если вы хотите, чтобы я заявил в суде обратное, вы только подайте мне знак.

— Что же ты на самом деле видел?

— Если я скажу, вы мне не поверите.

— Все равно, говори!

— Ну так вот: я видел женщину, которая кого-то ждала... Потом пришел мужчина, и она бросилась к нему в объятия...

— Кто это был?

- Да разве я мог узнать их в темноте?
- Где ты стоял?
- Я возвращался из бистро...
- А куда пошла эта пара? К фламандцам?
- Нет! Они пошли к задней стороне.
- К задней стороне чего?

— Дома... Ну да что там! Если вы хотите, чтобы это было вранье... Я привык к таким вещам, понимаю... Когда меня судили, обо мне рассказывали столько всякого... Даже мой адвокат — он то и оказался самым главным вруном...

— Тебе случается зайти выпить стаканчик у фламандцев?

— Мне?... Да они отказываются мне наливать, потому что я как-то сломал их весы, ударив по ним ногой... Они признают только таких клиентов, которые, напившись, сидят молча, не двигаясь.

— Так Жерар Пьедбёф говорил с тобой?

— А на чем я сейчас остановился?

— Что он просил тебя сказать...

— Ну, так вот это уж правда... И такая уж правда, ей-богу, что я никогда не скажу вам то, что знаю, потому что терпеть не могу лгавых, а вас, как и всех других!.. Можете пойти и повторить это судье. И я поклянусь, что вы меня побили и покажу следы ударов... Но это не мешает мне предложить вам стаканчик красного вина, если вам охота выпить...

Но тут Мегрэ посмотрел ему в глаза и вдруг поднялся с места.

— Покажи-ка мне твое судно! — сухо сказал он.

Что это было? Удивление? Ужас? Просто досада? Во всяком случае, лицо этого человека с набитым ртом скривилось в гримасе.

— Что вы хотите осмотреть?

— Минутку...

И Мегрэ вышел. Но он тотчас же вернулся с таможенным чиновником в блестящем от дождя плаще. Хозяин баржи усмехнулся:

— Я уже прошел досмотр...

Комиссар сказал таможеннику:

— Вы ведь привыкли... Я думаю, почти все баржи в большей или меньшей степени перевозят контрабандные товары.

— Даже не почти все, а все!

— Где они обычно прячут эти товары?

— По-разному... Прежде они складывали их в водонепроницаемые мешки, которые привязывали под баржей... Но теперь мы пропускаем цепь под килем, так что это невозможно... Иногда под полом, то есть между полом и дном... Но мы обычно проделываем несколько дыр с помощью огромного сверла.

— И значит...

— Постойте!.. Какой у тебя груз?

— Железный лом.

— Это будет слишком уж долго, — проворчал таможенник. — Надо искать в другом месте.

А Мегрэ не спускал глаз с хозяина баржи. Он надеялся, что тот невольно укажет взглядом какой-то тайник. Речник продолжал есть без аппетита, просто, чтобы чем-нибудь заняться. Он не испугался, напротив, упорно не вставал с места.

— Встань!

На этот раз он нехотя повиновался.

— Значит, теперь я даже не имею права сидеть у себя дома?

На стуле лежала просаленная подушка. Мегрэ взял ее. Три стороны подушки были зашиты обычным образом. На четвертом виднелись грубые стежки, совсем не похожие на работу портнихи.

— Благодарю вас! Вы мне больше не нужны! — сказал комиссар таможеннику.

— Вы считаете, что он мошенничает?

— И не думаю... Благодарю вас...

И он подождал, пока чиновник удалился.

— А это что такое?

— Да ничего!

— Ты всегда засовываешь в подушки такие твердые предметы?

Шов распоролся. В отверстии виднелось что-то черное. И вскоре Мегрэ развернул маленький плащ из саржи, потрепанный и смятый. Это была такая же саржа, как та, что упоминалась в отчете бельгийской прокуратуры. Фирменной этикетки не было. Плащ был сшит самой Жерменой Пьедбёф.

Но это было не самое интересное. В плаще был завернут молоток с ручкой, отполированной от долгого употребления.

— Забавнее всего то, — проворчал речник, — что вы сейчас попадете пальцем в

небо... Я ничего не сделал... А эти две штуки я вытащил из Мёзы четвертого января, в первом часу ночи.

— И тебе явилась удачная мысль хорошенько припрятать их!

— Начинаю привыкать! — ответил хозяин с довольным видом. — Вы меня арестуете?

— Это все, что ты можешь сказать?

— Нет, еще то... что вы попали пальцем в небо!

— Ты все же уходишь завтра?

— Возможно, если вы меня не арестуете.

Вероятно, он удивился, как никогда в жизни, увидев, что Мегрэ старательно завернул пакет, сунул его себе под пальто и ушел, не говоря ни слова.

Он смотрел, как комиссар удалялся по набережной, под дождем, как он прошел мимо таможенника, который отдал ему честь. Потом речник, почесывая голову, снова спустился в каюту и налил себе вина.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Перерыв на три часа

Когда Мегрэ вернулся в свою гостиницу, чтобы позавтракать, хозяин сказал ему, что почтальон приносил на его имя заказное письмо, но не захотел оставить.

Это был словно сигнал, после которого началось множество мелких неприятностей, совпавших, как будто намеренно, чтобы вывести человека из себя. Едва лишь сев за стол, комиссар справился о своем коллеге. Его никто не видел. Мегрэ попросил позвонить к нему в гостиницу. Оттуда ответили, что Машер ушел с полчаса назад.

В сущности, это было неважно. У Мегрэ даже не было права давать Машеру инструкции. Но комиссару хотелось посоветовать ему, чтобы он не терял из вида речника с баржи.

В два часа Мегрэ был на почте, где ему вручили заказное письмо. Глупая история. Он купил мебель, но когда ее доставили, отказался за нее заплатить, потому что она не соответствовала сделанному им заказу. Поставщик предъявил свои требования.

Ему пришлось добрых полчаса составлять ответ, потом писать письмо жене и объяснять ей, что в связи с этим нужно сделать.

Он еще не закончил письмо, когда его позвали к телефону. Это был начальник уголовной полиции, который спрашивал, когда он вернется, и просил сообщить кое-какие подробности, касающиеся двух или трех текущих дел.

На улице все еще шел дождь. Пол в кафе был покрыт опилками. В этот час там никого не было, и гарсон воспользовался свободным временем, чтобы тоже написать письмо.

Забавная деталь: Мегрэ терпеть не мог писать на мраморных столах, а других здесь не было.

— Позвоните в вокзальную гостиницу и спросите, не приходил ли инспектор.

Мегрэ овладело мрачное настроение, которое тем более угнетало, что для него не было серьезной причины. Два или три раза он подходил к окну и касался лбом запотевшего стекла. Небо немного посветлело, дождь редел. Но покрытая грязью набережная оставалась пустынной.

Около четырех часов комиссар услышал свисток. Он бросился к дверям и увидел буксир, который впервые после начала половодья выплевывал густой пар.

Река все еще с силой несла свои воды. Буксир, узенький и совсем легкий, по сравнению с баржами, похожий на чистокровного коня, отделился от берега и буквально поднялся носом вверх; казалось, его сейчас унесет течением.

Опять свисток, более пронзительный. И буксир выдержал. За ним виднелся натянутый канат. Первая баржа отделилась от группы ожидавших судов и стала поперек Мёзы.

На порогах нескольких кафе собрались люди, чтобы наблюдать за отправкой. В борьбу с рекой по очереди вступили две, потом три баржи; они описали полукруг, и тут, издав горделивый свисток, буксир рывком направился в Бельгию, а баржи, следуя за ним, стремились по возможности выстроиться в прямую линию.

«Полярной звезды» среди них не было.

«...и поэтому я прошу вас распорядиться, чтобы из моей квартиры на бульваре Ришар Ленуар забрали мебель, которую...»

Мегрэ писал необыкновенно медленно, как будто пальцы его были слишком толсты для пера, которым он давил на бумагу. В результате получался очень мелкий, но жирный почерк, издали похожий на ряд пятен.

— Мсье Питерс едет мимо на мотоцикле... — объявил гарсон, который зажигал лампы и задергивал занавески на витрине.

Часы показывали половину пятого.

— Не всякий согласится проехать двести километров по такой погоде! Он с ног до головы в грязи!

— Альбер!.. Подойди к телефону! — крикнула хозяйка.

Мегрэ подписал письмо и вложил его в конверт.

— Это вас, господин комиссар... из Парижа...

И Мегрэ попытался обуздать свое плохое настроение. Звонила его жена. Она спрашивала, когда он вернется.

— Алло... Приезжали за мебелью...

— Я знаю! Делаю все необходимое...

— Еще есть письмо от твоего английского коллеги, который...

— Да, дорогая! Это не важно...

— У вас там холодно? Одевайся потеплее... Ты ведь все еще простужен...

Почему его охватило почти болезненное нетерпение? Он был во власти какого-то неясного чувства. Ему казалось, что он упускает что-то, теряет время, стоя в этой кабине.

— Я буду в Париже дня через два или три.

— Так нескоро!

— Да... Целую тебя... До свидания...

Вернувшись в кафе, он спросил, где почтовый ящик.

— Как раз на углу нашей улицы, возле табачной лавочки, — объяснил хозяин.

Стемнело. Мёза угадывалась только по отражениям фонарей. Возле ствола одного из деревьев комиссар заметил чей-то силуэт. Мегрэ удивился — вряд ли кто-нибудь вышел бы подышать свежим воздухом под таким дождем и ветром.

Он бросил письмо в почтовый ящик, обернулся и увидел, что силуэт отделился от дерева. Мегрэ сделал несколько шагов, а незнакомец последовал за ним.

Комиссар не стал мешкать. Он быстро обернулся и схватил человека за шиворот.

— Ты что здесь делаешь?

У него была слишком сильная хватка. Лицо незнакомца налилось кровью. Мегрэ разжал руку.

— Говори!

Что-то неприятно поражало его. Бегающий взгляд этого человека тревожил еще больше, чем его принужденная улыбка.

— Ты работаешь на «Полярной звезде»?

Человек радостно кивнул головой.

— Ты подстерегал меня?

На лице несчастного появилась какая-то смесь страха и радости. Но разве речник не сказал Мегрэ, что его работник не в своем уме и что по временам у него бывают приступы эпилепсии?

— Не смейся! Говори, что ты здесь делаешь!

— Смотрю на вас.

— Это твой хозяин велел тебе следить за мной?

Мегрэ не мог грубо обращаться с этим беднягой, который вызывал жалость, тем более, что это был взрослый парень лет двадцати.

— Не бейте меня!

— Пошли!

Многие баржи уже сдвинулись с места. Впервые за последние несколько недель на их палубах царило оживление: готовились к отплытию. Женщины шли за провизией. Повсюду шныряли таможенники, поднимались на суда.

Соседние баржи удалялись в сторону, а «Полярная звезда» оставалась одна, и нос ее немного отошел от берега. В каюте виднелся свет.

— Иди вперед!

Нужно было перейти через мостик, состоявший из одной только доски, гибкой и неустойчивой.

На борту никого не было, хоть там и горела керосиновая лампа.

— Где твой хозяин держит свою воскресную одежду?

Мегрэ задал этот вопрос потому, что в каюте царил необычный беспорядок. Работник открыл стеной шкаф и выразил удивление. На дне его валялась одежда, которая была на речнике еще сегодня утром.

Работник стал неистово жестикулировать. Он ничего не знал!

— Ну ладно! Можешь оставаться здесь.

Обескураженный Мегрэ вышел и наткнулся на таможенного чиновника.

— Вы не видели речника с «Полярной звезды»?

— Нет. А он не на борту? Я думал, он хочет уйти завтра рано утром.

— Это его баржа?

— Да нет, что вы! Она принадлежит его двоюродному брату, который живет в Флемале. Такой же оригинал, как и он...

— Сколько он зарабатывает перевозкой грузов?

— Франков шестьсот в месяц... Может быть, немного больше, если учитывать контрабанду. Но ненамного...

Дом фламандцев был освещен. Свет виднелся не только в окнах лавки, но и на втором этаже.

Несколько минут спустя там зазвенел звонок, Мегрэ вытер ноги о соломенный коврик и крикнул мадам Питерс, которая уже выбежала из кухни:

— Не беспокойтесь!

* * *

Первая, кого он увидел, когда его проводили в столовую, была Маргарита Ван де Веерт; она перелистывала какую-то партитуру.

Воздушнее, чем когда-либо, в своем светло-голубом атласном платье, она приветливо улыбнулась комиссару.

— Вы хотите видеть Жозефа?

— А его здесь нет?

— Он пошел вверх переодеться... Это безумие ездить на мотоцикле в такую погоду! Особенно для него, он и так слабого здоровья и переутомлен своими занятиями...

Это была не любовь! Скорее обожание! Чувствовалось, что она может часами сидеть неподвижно и глядеть на этого молодого человека.

Что же в нем было такого, чтобы он мог внушить подобные чувства? Разве его сестра не говорила о нем примерно в таких же выражениях?

— Анна с ним?

— Она готовит ему одежду.

— А вы? Вы давно пришли сюда?

— Около часу назад.

— Вы знали, что Жозеф Питерс должен приехать?

Она слегка смутилась. Но это продолжалось только секунду, и она тут же ответила:

— Он приезжает каждую субботу, в один и тот же час.

— В доме есть телефон?

— Здесь нет! А у нас есть, конечно. Отцу ведь он все время нужен.

Сам не зная почему, Мегрэ начинал чувствовать к ней неприязнь. Или, точнее, она теперь раздражала его! Ему не нравилась эта инфантильная манера держаться, нарочито детская речь, взгляд, которому она старалась придать наивную чистоту.

— Ну вот! Он спускается сюда...

И действительно, на лестнице послышались шаги. В столовую вошел Жозеф Питерс, чистенький, свежий, только что причесанный влажной гребенкой.

— Ах, вы здесь, господин комиссар?

Он не посмел подать Мегрэ руку и, повернувшись к Маргарите, спросил:

— А ты ему еще ничего не предложила?

Слышно было, как в лавке несколько человек говорили по-фламандски. Пришла Анна. Спокойная, она склонилась в реверансе, которому, вероятно, ее обучили в монастыре.

— Это правда, господин комиссар, что вчера вечером произошел скандал в одном из городских кафе?.. Я знаю, люди всегда преувеличивают... Но садитесь же!.. Жозеф! Пойди принеси чего-нибудь выпить...

В камине горели торфяные брикеты. Рояль был открыт.

Мегрэ старался вспомнить впечатление, сложившееся у него еще когда он впервые пришел сюда, но каждый раз, как ему казалось, что он достиг цели, мысль его убегала в сторону.

Здесь что-то изменилось. Но только он не понимал, что.

Его охватила досада. Лицо у него было замкнутое, упрямое, как в те дни, когда ему не везло. Точнее, ему хотелось сказать нехотать что-нибудь неожиданное, чтобы нарушить окружающую его обстановку.

Причиной этого неясного чувства была, главным образом, Анна. Она была все в том же темно-сером костюме, придававшем ее фигуре неподвижные формы статуи.

Неужели и впрямь недавние события не взволновали ее? Она двигалась, но при этом ни одна складка ее одежды не шевелилась. Лицо оставалось безмятежным.

Она напоминала героиню из античной трагедии, заблудившуюся в повседневной и мелочной жизни маленького пограничного городка.

— Вам случается иногда отпускать товары в магазине?

— Часто. Я заменяю маму.

— И наливаете вино?

Она не улыбнулась. Только произнесла с удивлением:

— А почему бы и нет?

— Речники иногда бывают пьяны, не так ли? Они, наверное, очень фамильярны, даже нахальны?

— У нас — никогда!

И она снова превратилась в статую! Она была уверена в себе!

— Вы хотите портвейна или?..

— Налейте лучше рюмку того Шидама, которым вы меня угощали в прошлый раз.

— Жозеф, спроси у мамы бутылку из старых запасов.

И Жозеф повиновался.

Ошибся ли Мегрэ, вообразив себе следующую иерархию в этой семье: сначала Жозеф, настоящее божество для всех. Потом Анна, потом Мария. Затем мадам Питерс, посвятившая себя торговле. И, наконец, отец, спящий в своем кресле.

Но сейчас Анна, казалось, беспрепятственно заняла первое место.

— Вы не обнаружили ничего нового, господин инспектор?.. Видели, что баржи потихоньку стали двигаться? Навигация восстановлена до Льежа, а может быть и до Маастрихта. Через два дня здесь будет одновременно не больше трех-четырех баржей.

Почему она это сказала?

— Нет, Маргарита! Возьми рюмки, а не стаканы.

Маргарита как раз вынимала стаканы из буфета.

Мегрэ все еще мучила потребность нарушить обстановку в доме, и вот, воспользовавшись тем, что Жозеф пошел в лавку, а его кузина выбирала рюмки, он показал Анне фотографию Жерара Пьедбёфа.

— Мне нужно поговорить с вами о нем!.. — сказал он вполголоса.

Он пристально смотрел на нее. Но если он надеялся изменить безмятежное выражение ее лица, ему пришлось разочароваться. Она только подала ему знак, как будто оба они были в заговоре. Знак, который означал:

— Хорошо... Но потом...

И, обращаясь к вошедшему брату, спросила:

— Там еще много народа?

— Пять человек.

Тут выяснилось, что Анна не лишена чувства такта. На бутылке, принесенной Жозефом, был маленький оловянный наконечник, благодаря которому можно наливать из нее вино, не теряя ни капли. Прежде чем налить, девушка сняла это приспособление, подчеркнув таким образом, что оно неуместно в гостиной, в присутствии приглашенных.

Мегрэ с минуту разогревал свою рюмку в руке.

— За ваше здоровье! — сказал он.

— За ваше здоровье! — повторил Жозеф Питерс; из присутствующих, кроме Мегрэ, пил только он один.

— Теперь у нас есть доказательство, что Жермена Пьедбёф была убита.

Только Маргарита испустила легкий, испуганный крик, настоящий крик девушки, который можно услышать со сцены в театре.

— Это ужасно!

— Мне уже говорили, но я не хотела верить, — сказала Анна, — это еще усложнит наше положение, не правда ли?

— Или облегчит! В особенности, если мне удастся доказать, что третьего января вашего брата не было в Живе.

— Почему?

— Потому что Жермена Пьедбёф была убита ударом молотка.

— Боже мой! Замолчите!..

Это воскликнула Маргарита. Она поднялась, смертельно бледная, готовая потерять сознание.

— Молоток у меня в кармане.

— Нет... Умоляю вас... Не показывайте его...

Анна же была по-прежнему спокойна. Она обратилась к брату:

— Твой приятель вернулся?

— Вчера.

Тогда она объяснила комиссару:

— С этим приятелем он провел вечер третьего января в одном из кафе в Нанси... Приятель уехал в Марсель дней десять назад, по случаю смерти матери... Он только сейчас вернулся...

— За ваше здоровье!.. — ответил Мегрэ, осушив свою рюмку.

И, взяв бутылку, он снова налил себе. Время от времени дребезжал звонок. Или слышался звук маленькой лопатки, которой насыпали сахар в бумажный мешок, и стук весов.

— Вашей сестре не лучше?

— Думаю, что она сможет встать в понедельник. Но сюда она, конечно, не скоро приедет.

— Она выходит замуж?

— Нет. Она хочет постричься в монахини. Она давно уже мечтает об этом.

Почему Мегрэ угадал, что в лавке что-то происходит? Звуки были все те же, может быть, даже потише. Минуту спустя, однако, они услышали, как мадам Питерс сказала по-французски:

— Пройдите, они в гостиной.

Дверь отворилась и закрылась. На пороге остановился инспектор Машер, очень возбужденный; он силился казаться спокойным и смотрел на комиссара, который сидел за столом, намереваясь выпить рюмку можжевелевой водки.

— В чем дело, Машер?

— Я... Я хотел бы сказать вам пару слов наедине...

— О чем?

— О...

Он не решался говорить и подавал Мегрэ знаки, которые были понятны всем.

— Не стесняйся, говори...

— Речник...

— Он вернулся?

— Нет... Он...

— В чем-нибудь признался?

Для Машера это была пытка. Он пришел сообщить известие, казавшееся ему крайне важным, которое он хотел сохранить в тайне, а тут его заставляли говорить в присутствии трех лиц!

— Он... Нашли его фуражку и пиджак...

— Старый или новый?

— Не понимаю.

— Нашли его воскресный пиджак, из синего сукна?

— Да, из синего сукна... На берегу...

Все молчали. Анна стоя смотрела на инспектора, и ни одна черта ее лица не дрогнула. Жозеф Питерс нервно потирал руки.

— Продолжай!

— Он, наверное, бросился в Мёзу... Его фуражку выловили около баржи, стоявшей чуть подале... Баржа ее остановила. Понимаете?

— Продолжай!

— А пиджак был на берегу... К нему была приколоты эта записка...

Он осторожно вытащил ее из бумажника. Бесформенный клочок бумаги, весь мокрый от дождя. С большим трудом можно было прочесть:

«Я подонок. Уж лучше головой в реку...»

Мегрэ прочел это негромко. Жозеф Питерс нетвердым голосом спросил:

— Не понимаю... Что он хочет этим сказать?

Машер стоял обескураженный, смущенный. Маргарита переводила с одного на другого свои большие невыразительные глаза.

— Я думаю, что вы... — начал инспектор.

А Мегрэ встал, любезный, с сердечной улыбкой. Обращаясь главным образом к Анне, он сказал:

— Вот видите!.. Я вам сейчас говорил о молотке...

— Замолчите! — умоляюще проговорила Маргарита.

— Что вы делаете завтра днем?

— Как всегда по воскресеньям... Проводим время в своей семье... Не будет только Марии...

— Вы мне позволите зайти к вам и засвидетельствовать свое почтение? Может быть, вы приготовите этот замечательный рисовый пудинг?

И Мегрэ направился в коридор, где он надел пальто, которое от дождя стало вдвое тяжелее.

— Извините меня... — пробормотал Машер. — Это комиссар пожелал...

— Пошли!

Посещение монахинь ордена святой Урсулы

Возле того места, где выловили фуражку, собралась группа людей, но комиссар, увлекая за собой Машера, направился в сторону моста.

— Вы мне ничего не сказали об этом молотке... Иначе было бы очевидно...

— Что ты делал весь день?

У инспектора был вид нашалившего школьника.

— Ездил в Намюр... Хотел удостовериться в том, что Мария Питерс и в самом деле вывихнула...

— Ну и что же?

— Меня туда не пустили... Я оказался в женском монастыре, где монахини смотрели на меня, как на таракана, попавшего в суп...

— А ты настаивал?

— Даже угрожал им.

Мегрэ скрыл улыбку, он забавлялся. Возле моста он вошел в гараж, где можно было взять напрокат автомобиль, и попросил машину с шофером, чтобы съездить в Намюр.

— Пятьдесят километров туда и пятьдесят обратно вдоль Мёзы.

— Поедешь со мной?

— А вы хотите?... Ведь я вам объяснил, что вас туда не пустят. Не говоря уже о том, что теперь, когда нашли молоток...

— Ладно! Займись чем-нибудь другим. Возьми и ты машину. объезди все маленькие вокзалы на двадцать километров вокруг. Убедись в том, что речник не уехал на поезде...

И машина Мегрэ тронулась в путь. Удобно раскинувшись на сиденье, комиссар с блаженством покуривал трубку; снаружи ничего не было видно, кроме огней, горевших, как звезды, по обе стороны пути. Он знал, что Мария Питерс была учительницей в школе, которую содержали монахини ордена святой Урсулы. Он знал также, что в церковной иерархии эти монахини занимают такое же место, как иезуиты, то есть образуют в некотором роде аристократию, занимающуюся преподаванием. Школу в Намюре посещали дети из высшего общества этой провинции.

Поэтому и было так забавно представить себе, как Машер спорит с монахинями, требует, чтобы его пустили, а главное, еще угрожает.

«Я забыл спросить его, как он их величал, — подумал Мегрэ. — Наверное, он говорил «мадам» или «сестрица».

Мегрэ был высокий, тяжелый, широкоплечий, с крупными чертами лица. Однако же, когда он позвонил у входа в монастырь на маленькой провинциальной улице, где между булыжниками росла трава, сестра-привратница, открывшая ему дверь, ничуть не испугалась.

— Я хотел бы поговорить с настоятельницей, — сказал он.

— Она в часовне... Но как только служба кончится...

И его провели в приемную, по сравнению с которой в столовой Питерсов царили беспорядок и неопрятность. Здесь вы, словно в зеркале, могли видеть в паркете свое отражение. Чувствовалось, что даже самые мелкие предметы никогда не переставлялись с места на место, что стулья уже долгие годы стояли в том же порядке, что часы на камине никогда не останавливались, не спешили, не отставали...

В коридорах, выложенных роскошными плитками, слышались скользкие шаги, порой шепот. А издали доносилась нежная органная музыка.

Коллеги с набережной Орфевр, конечно, удивились бы, увидя, как свободно чувствовал себя здесь Мегрэ. Когда вошла настоятельница, он скромно поклонился, назвав ее так, как полагается называть монахинь ордена святой Урсулы: «матушка».

Она ждала, спрятав руки в рукава.

— Извините, что я побеспокоил вас, но я хотел бы попросить у вас разрешения посетить одну из ваших учительниц... Я знаю, что по правилам это не положено... Но поскольку дело идет о жизни или, во всяком случае, о свободе человека...

— Вы тоже из полиции?

— Кажется, к вам приходил инспектор?

— Был какой-то господин, который сказал, что он из полиции, нашумел здесь и ушел, крича, что мы еще о нем услышим...

Мегрэ извинился за него, оставаясь спокойным, вежливым. Он произнес несколько любезных фраз, и немного погодя привратнице было поручено предупредить Марию Питерс, что ее хотят видеть.

— Это очень достойная девушка, не правда ли, матушка?

— Я могу сказать о ней только одно хорошее. Вначале мы, настоятель и я, сомневались, принимать ли ее, потому что ее родители коммерсанты... Дело не в их мелочной лавке... Но тот факт, что там распивочно продают вино... Однако же мы не посчитались с этим и нисколько не жалеем... Вчера, спускаясь с лестницы, она вывихнула щиколотку и с тех пор лежит в постели очень подавленная — она считает, что подвела нас...

Вернулась сестра-привратница. Мегрэ пошел за ней по бесконечным коридорам. По дороге он встретил несколько групп учениц. Все они были одинаково одеты: черное платье в мелкую складку и вокруг шеи голубая лента.

Наконец на третьем этаже отворилась дверь. Привратница не знала, оставаться ли ей здесь или уходить.

— Оставьте нас, сестрица...

Совсем простая комнатка. На стенах, выкрашенных масляной краской, религиозные литографии в черных рамках и большое распятие.

Железная кровать. Тщедушная фигурка, едва заметная под одеялом.

Мегрэ не видел ее лица. Закрыв дверь, он несколько секунд стоял неподвижно, не зная, куда деть свою мокрую шляпу, свое толстое пальто.

Наконец он услышал подавленный плач. Но Мария Питерс все еще прятала голову под одеяло и лежала лицом к стене.

— Успокойтесь! — машинально прошептал он. — Ваша сестра Анна, наверное, сказала вам, что я скорее ваш друг...

Но это не успокоило девушку. Напротив! Ее тело сотрясилось теперь в настоящих рыданиях.

— Что сказал доктор? Долго ли вам придется пролежать в постели?

Было неловко разговаривать так с невидимой собеседницей. Тем более, что Мегрэ даже не был с нею знаком!

Рыдания утихали. К ней, должно быть, вернулось самообладание. Она всхлипывала, и рука ее искала под подушкой носовой платок.

— Почему вы такая нервная? Мать настоятельница сейчас говорила мне столько хорошего о вас!

— Оставьте меня! — умоляюще прошептала она.

В эту минуту постучали в дверь и вошла настоятельница, которая словно ждала подходящего момента, чтобы вмешаться.

— Простите меня! Но я знаю, что наша бедная Мария такая чувствительная...

— Она всегда была такой?

— Это на редкость деликатная натура. Когда она узнала, что ей нельзя будет двигаться из-за этого вывиха и что она целую неделю не сможет преподавать, у нее начался приступ отчаяния... Но покажите нам ваше лицо, Мария...

Девушка решительно покачала головой в знак отрицания.

— Мы, конечно, знаем, — продолжала настоятельница, — в чем люди обвиняют ее семью. Я велела отслужить три обедни, чтобы правда поскорее обнаружилась... Я и сейчас только что молилась за вас, Мария...

Наконец-то она повернулась к ним лицом. Маленькое, худое, бледное личико с красными пятнами от лихорадки и слез.

Она совсем не походила на Анну, скорее — на свою мать, от которой унаследовала тонкие черты, но, к сожалению, такие неправильные, что ее нельзя было назвать хорошей. Нос был слишком длинный и острый, рот большой, с тонкими губами.

— Простите меня, — сказала она, вытирая глаза носовым платком. — Я слишком нервная... И мысль о том, что я лежу здесь, в то время как... Вы комиссар Мегрэ? Вы видели моего брата?

— Я оставил его меньше часа назад у вас дома. В обществе Анны и вашей кузины Маргариты...

— Ну, как он держится?

— Очень спокойно. Верит, что все уладится...

Что это, она опять сейчас примется плакать? Настоятельница подбадривала Марию взглядом. Она была счастлива, что комиссар говорит так спокойно, авторитетно — это могло только благоприятно воздействовать на больную.

— Анна сказала мне, что вы решили постричься в монахини...

Мария снова заплакала. Даже не пыталась скрыть слезы. Она была лишена какого-либо кокетства и не стеснялась показывать им свое мокрое, распухшее от слез лицо.

— Этого решения мы ждали уже давно, — прошептала настоятельница. — Мария больше принадлежит религии, чем миру...

Снова начался приступ отчаяния, раздались рыдания, сотрясавшие ее тощую грудь. Тело по-прежнему металось, руки вцепились в одеяло.

— Видите, ведь я правильно поступила, не пустив сюда того господина, — тихонько сказала настоятельница.

Мегрэ все еще стоял в своем пальто, от которого он казался еще более плотным. Он смотрел на маленькую кровать, на эту несчастную девушку.

— У нее был врач?

— Да... Он сказал, что вывих не опасный. Самое главное — это нервный припадок, начавшийся уже после. Может быть, оставим ее?.. Успокойтесь, Мария... Я пошлю к вам мать Жюльену, она посидит с вами.

В коридоре настоятельница говорила тихо, скользя по натертому паркету.

— Она всегда была не очень здоровой... Этот скандал окончательно расшатал ей нервы, и, конечно, из-за возбуждения она и упала на лестнице... Ей стыдно за брата, за родных... Она несколько раз говорила мне, что после этого наш орден не примет ее в свое лоно... Целыми часами она лежит распростертая, устремив взгляд в потолок, отказываясь от всякой пищи. Потом, без видимой причины, начинается приступ... Ей делают уколы, чтобы подбодрить ее...

Они уже спустились на первый этаж.

— Могу я спросить у вас, что вы думаете об этом деле, господин комиссар?

— Можете, но мне очень трудно будет вам ответить... По чистой совести могу утверждать, что сам ничего не знаю. Только завтра...

— Вы думаете, завтра?..

— Мне остается, матушка, лишь поблагодарить вас и извиниться за свой визит... Может быть, вы мне позволите позвонить вам, чтобы узнать, как себя чувствует больная?

Наконец он оказался на улице. Вдохнул свежего воздуха, напоенного влагой. Нашел свое такси, стоявшее у тротуара.

— В Живе! — И с наслаждением набил свою трубку, потом улегся в глубине машины.

На повороте, недалеко от Динана, он заметил столб с указателем: «Рошфорские пещеры».

Но не успел прочесть, сколько до них километров. Только бросил взгляд в темноту поперечной дороги. И представил себе прекрасный воскресный день, набитый туристами поезд, две пары: Жозеф Питерс с Жерменой Пьедбёф и Анна с Жераром...

Наверное, было жарко... На обратном пути пассажиры везли, конечно, букеты полевых цветов...

Анна сидела на скамье взволнованная, растерянная. Быть может, она ловила взгляд человека, изменившего сегодня все ее существо?

А Жерар, очень веселый, разговаривал, отпускал шутки и неспособен был понять, что событие, произошедшее в тот день, было важное, почти решающее.

Пытался ли он вновь увидеть ее? Продолжалась ли их связь?

«Нет! — ответил самому себе Мегрэ. — Анна поняла! Она не строила иллюзий относительно своего приятеля! Уже на следующий день она, должно быть, стала его избегать».

И он воображал, как она хранила свою тайну, как в продолжение нескольких месяцев боялась последствий этих объятий и возненавидела лютой ненавистью мужчин, всех мужчин.

— Свезти вас в вашу гостиницу?

Вот уже Живе, бельгийская граница и дежурный таможенник в форме цвета хаки, французская граница, баржи, дом фламандцев, набережная в непролазной грязи.

Мегрэ удивился, нащупав у себя в кармане тяжелый предмет. Он сунул туда руку и обнаружил молоток, про который совсем забыл.

Инспектор Машер, услышав, что подъехала машина, вышел на порог кафе и смотрел, как Мегрэ расплывается с шофером.

— Вас туда пустили?

— Конечно, черт побери!

— Удивительно! Если говорить начистоту, я был убежден, что ее там нет.

— А где же она должна быть?

— Не знаю... Не понимаю... В особенности после того, как нашли молоток... Знаете, кто ко мне приходил?

— Речник?

Мегрэ вошел в зал, заказал кружку пива и уселся в углу у окна.

— Почти! В конце концов, это приблизительно то же самое... Приходил Жерар Пьедбёф... Я объездил на машине все вокзалы... Ничего не нашел...

— И он открыл вам, где прячется речник?

— Во всяком случае, он сказал, что видели, как тот садился в поезд, отходивший в четыре пятнадцать с вокзала в Живе... Этот поезд идет в Брюссель...

— Кто его видел?

— Приятель Жерара... Он предложил привести его ко мне...

— Я накрою на двоих? — спросил хозяин кафе.

— Да... Нет... Все равно...

Мегрэ жадно пил пиво.

— Это все?

— Думаете, этого недостаточно?.. Если его действительно видели на вокзале, значит, он жив... Главное, сбежал... А если сбежал..

— Очевидно!

— Вы думаете то же, что и я!

— Я ровно ничего не думаю, Машер! Мне жарко! Мне холодно! По-моему, я здорово простудился... Я ощупываю себя и думаю, не лечь ли мне спать без ужина... Еще кружку, гарсон!.. Или нет! Лучше грогу... И побольше рому туда...

— У нее и в самом деле вывихнута нога?

Мегрэ не ответил. Он был мрачен. По-видимому, его что-то тревожило.

✱ — Итак, следователь, наверное, выдал тебе незаполненный ордер на арест?

— Да... Но он посоветовал мне быть очень осторожным: в маленьком городке могут быть всякие настроения. Он просил, чтобы я позвонил ему прежде, чем действовать решительно.

— А что ты собираешься делать?

— Я уже позвонил в уголовную полицию в Брюсселе, чтобы речника арестовали, когда он сойдет с поезда. Мне придется просить вас отдать мне молоток.

К большому удивлению нескольких посетителей кафе, комиссар вытащил молоток из кармана и положил его на стол.

— Это все?

— Надо, чтобы вы предъявили его. Ведь это вы его нашли.

— Да нет! Мы скажем всем, что это ты нашел молоток.

Глаза Машера заблестели от радости.

— Благодарю вас. Это очень ценно для моего продвижения по службе.

— Я накрыл на двоих, возле печки! — объявил хозяин.

— Спасибо!.. Я пойду спать!.. Не хочется есть...

И Мегрэ поднялся к себе в номер, пожав руку своему коллеге.

Должно быть, он простудился. Два дня расхаживал в промокшей одежде — ведь он не захватил с собой запасного костюма.

Он лег спать измученный. Добрые полчаса его одолевали неясные картины, проплывавшие перед глазами в утомительном ритме.

Правда, в воскресенье утром Мегрэ первым был на ногах. В кафе он застал только гарсона, который включил кофейную машину и наполнял ее верхнюю часть молотым кофе.

Город еще спал. Заря только что сменила ночь, и еще горели фонари. А на реке слышно было, как люди на баржах перекликаются, бросают друг другу швартовы; подошел буксир и стал во главе вереницы баржей. Новый караван судов отправлялся в Бельгию и Голландию.

Дождя не было, но изморось капельками падала на плечи.

Где-то звонили колокола. В доме фламандцев загорелся огонь. Отворилась дверь. Мадам Питерс тщательно закрыла ее и ушла торопливыми шагами, держа в руках молитвенник в суконном футляре.

Мегрэ все утро провел на улице, по временам только заходя в кафе, чтобы пропустить рюмку спиртного и согреться. Осведомленные люди предсказывали, что грянет мороз и что для районов, залитых половодьем, это будет катастрофой.

В половине восьмого мадам Питерс, вернувшись с обедни, открыла ставни в лавке и зажгла плиту на кухне.

Только около девяти часов на пороге на секунду показался Жозеф, без воротничка, еще неумытый, с растрепанными волосами.

В 10 часов он пошел к обедне вместе с Анной, на которой было новое платье из бежевого сукна.

В кафе речников еще не было известно, согласится ли владелец буксира, прибытия которого ожидали, отправиться в тот же день с караваном судов, и потому хозяйева баржей все время сидели там и только порой выходили посмотреть на реку вверх по течению.

Было около полудня, когда Жерар Пьедбёф вышел из дома в воскресном костюме, обутый в желтые ботинки, в светлой фетровой шляпе и перчатках. Он прошел совсем рядом с Мегрэ... Сначала он, кажется, не собирался заговорить и даже поздороваться с ним.

Но не мог удержаться, чтобы не бросить комиссару вызов или не высказать все то, что он думает.

— Я вас стесняю, правда? Потому, что вы, наверно, меня ненавидите!

У него были синяки под глазами. После его выходки в кафе возле мэрии он жил в постоянной тревоге.

Мегрэ пожал плечами, повернулся к нему спиной и увидел акушерку, которая посадила в коляску ребенка и толкая ее перед собой, направлялась к центру города.

Машер не показывался. Мегрэ встретил его только около часа и как раз в «Кафе Мэри». Жерар сидел за другим столиком с двумя приятелями и с тем самым товарищем, с которым он был в прошлый вечер.

Машера окружали три человека, и комиссару показалось, что он их уже где-то видел.

— Помощник мэра... Полицейский комиссар... Его секретарь... — представил их инспектор.

Все они были в воскресных костюмах и пили анисовый аперитив. На столе уже стояло по три блюда на каждого. Машер казался необыкновенно уверенным в себе.

— Я как раз говорил этим господам, что следствие уже почти закончено... Теперь это зависит, главным образом, от бельгийской полиции. Удивляюсь, почему я до сих пор не получил телеграммы из Брюсселя с сообщением о том, что речник арестован...

— В воскресенье после одиннадцати утра телеграммы не разносят! — заявил помощник мэра. — Хотя вы можете получить ее на почте... Что вам предложить, господин комиссар?.. Вы знаете, о вас много говорили здесь в округе!..

— Очень польщен!

— Я хочу сказать, что говорили отнюдь не в положительном смысле. Вашу позицию истолковывали как...

— Гарсон, кружку пива! Холодного!

— Вы пьете пиво в такое время дня?

По улице проходила Маргарита, и по тому, как она держалась, чувствовалось, что она самая элегантная женщина в городе и знает, что все взгляды устремлены на нее.

— Неприятно, что эти дела, связанные с нравами... Послушайте! Вот уже десять лет, как в Живе не было таких дел... Последний раз один рабочий-поляк...

— Извините меня, господа...

И Мегрэ бросился к выходу, догнал на главной улице Анну Питерс и ее брата, которые шли, высоко подняв голову, словно бросая вызов всем подозрениям.

— Я позволю себе зайти к вам днем, как я уже говорил вчера...

— В котором часу?

— В половине четвертого... Вам это удобно?

И он, нахмурившись, вернулся в гостиницу, где позавтракал, одиноко сидя за столиком.

— Соедините меня с Парижем.

— По воскресеньям, после одиннадцати, телефон не работает.

— Очень жаль!

Во время завтрака он читал маленькую местную газету; его позабавил один заголовок:

«Мрак вокруг тайны Живе сгущается».

Для него это была уже не тайна.

Окончание следует

В 1989 году

«Звезда Востока» предполагает опубликовать:

Роман **МУРАДА МУХАММАД-ДОСТА «ПОРТРЕТ С ДРУГОМ И БЕЗ НЕГО»** — о нравственных исканиях современной молодежи; роман **УТКУРА ХАШИМОВА «МЕЖ ДВУХ ДВЕРЕЙ»** — о людях, кладущих кирпичи в здание, имя которому человечество, и о людях, изымающих кирпичи из этого здания;

роман **ЮРИЯ СЛАЩИНИНА «ВО ВЕКИ ВЕКОВ»** — о принудительной коллективизации, убившей в крестьянине рачительного хозяина земли, и о зловещей роли И. В. Сталина в этом процессе;

повесть **БОРИСА БОКСЕРА «ЖРЕБИЙ»**, в которой автор показывает на трагическом эпизоде минувшей войны, как карьеризм и показное благополучие ведут к гибели наших солдат;

повесть **ВЕНЕРЫ ИШБЕКОКОВОЙ «НА КРУТОМ ПОВОРОТЕ»** — о выборе жизненных ориентиров чистым и молодым человеком.

В разделе **«ПРИКЛЮЧЕНИЯ. ФАНТАСТИКА»:**

роман **ДИКА ФРЭНСИСА «ОТРАЖЕНИЕ»** — о преступном бизнесе на спорте;

роман **С. МОРИМУРА «ИСПЫТАНИЕ ЗВЕРЯ»**, в котором на примере безуспешной борьбы с преступной бандой (мафией) сделан слепок с японской социальной жизни;

роман о комиссаре **МЕГРЭ ЖОРЖА СИМЕНОНА**

роман **ХАСО МАГЕРА «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ДОКТОРА БАРТУШЕКА»** — оригинальный по форме детектив с раскрытием психологических истоков преступности;

повесть **ЭДУАРДА МАЦИПУЛО «НАШЕСТВИЕ ДАНЬЧЖИНОВ»** — о невероятных приключениях ученого-монстролога в близкой географически, но чрезвычайно далекой от нас по духу азиатской стране.

О НАШИХ АВТОРАХ

АЗИМ СУЮН (Азимбай Алимович Суюнов) родился в 1950 году в селении Кушилиш Нуратинского района Самаркандской области. Окончил Ташкентский государственный университет им. В. И. Ленина.

Стихи Азима Суюна публикуются с 1975 года. Он автор поэтических сборников «Мое небо», «Удар» и «Судьба земли».

МИР-ХАЙДАРОВ Рауль Мирсаидович родился в поселке Мартук Актюбинской области Казахской ССР в 1941 году. Окончил путевское отделение Актюбинского железнодорожного техникума, учился в Ташкентском государственном университете. Автор книг «Полустанок Самсона», «Такая долгая зима», «Оренбургский платок», «Не забывайте нас», «Дамба» и других.

Член Союза писателей СССР.

ОСТРОУМОВ Николай Алексеевич родился в Козельском районе Калужской области в 1917 году. Окончил Жиздринский сельскохозяйственный техникум и Московскую высшую партийную школу. Участник Великой Отечественной войны. Член КПСС. Работал в партийных органах: заведующим орготделом,

вторым и первым секретарем райкома партии в Калужской области, заведующим отделом оргпартиработы Ферганского обкома партии, инспектором и заместителем заведующего отделом оргпартиработы ЦК Компартии Узбекистана. Печатается впервые.

ЧЕРКЕЗ-АЛИ (Аметов Черкез-Али) родился в 1925 году в деревне Богатырь Куйбышевского района Крымской области.

Первые стихи Черкеза-Али были опубликованы в симферопольском журнале «Яш ленинджилер». Он автор нескольких поэм и сборников стихов. Его перу также принадлежат повести «Родные» и «Зеленые волны», романы «В объятиях зари» и «Щедрость».

ЛАРЦЕВ Василий Григорьевич родился в 1925 году в селе Канонерка Семипалатинской области.

Творческая деятельность В. Ларцева началась еще в студенческие годы: его стихи печатались в областной газете. В настоящее время перу В. Ларцева принадлежат свыше ста статей, опубликованных во всеююзных и республиканских журналах, циклы стихов в журнале «Звезда Востока», поэтический сборник «Обретенные весны».

Технический редактор Ф. Я. Викнянская.
Корректор З. Г. Байбазарова.

Адрес редакции: 700000, Ташкент, ГСП, ул. Ленина, 41.
Телефоны: главного редактора — 33-42-68, заместителя редактора и отв. секретаря — 33-40-43;
отделов: прозы, поэзии — 33-77-64, публицистики, литературной критики — 33-07-78.

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

Сдано в набор 4.05.88 г. Подписано к печати 14.06.88 г. Формат 70×108¹/₁₆. Фотонабор. Офсетная печать. Условных печ. л. 18,2+0,35 (вкл.). Уч.-изд. л. 20,95+0,35 (вкл.). Тираж 176228. Р-00022.
Заказ № 3147. Цена 1 рубль.

Ташкент, ордена Трудового Красного Знамени
типография Издательства ЦК Компартии Узбекистана.



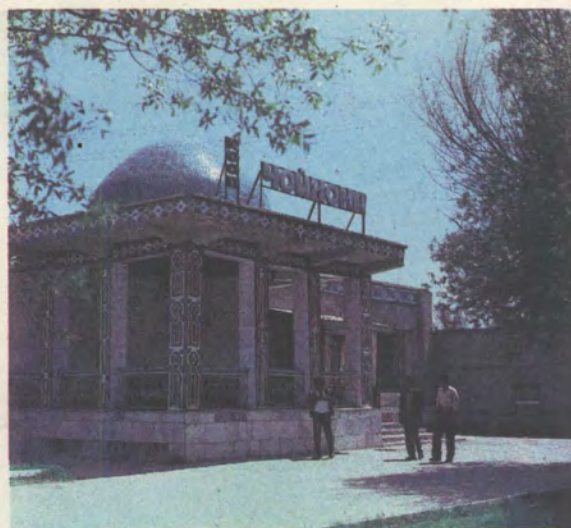
ТУРТКУЛЬ. Проспект В. И. Ленина



УРГЕНЧ. Драматический театр

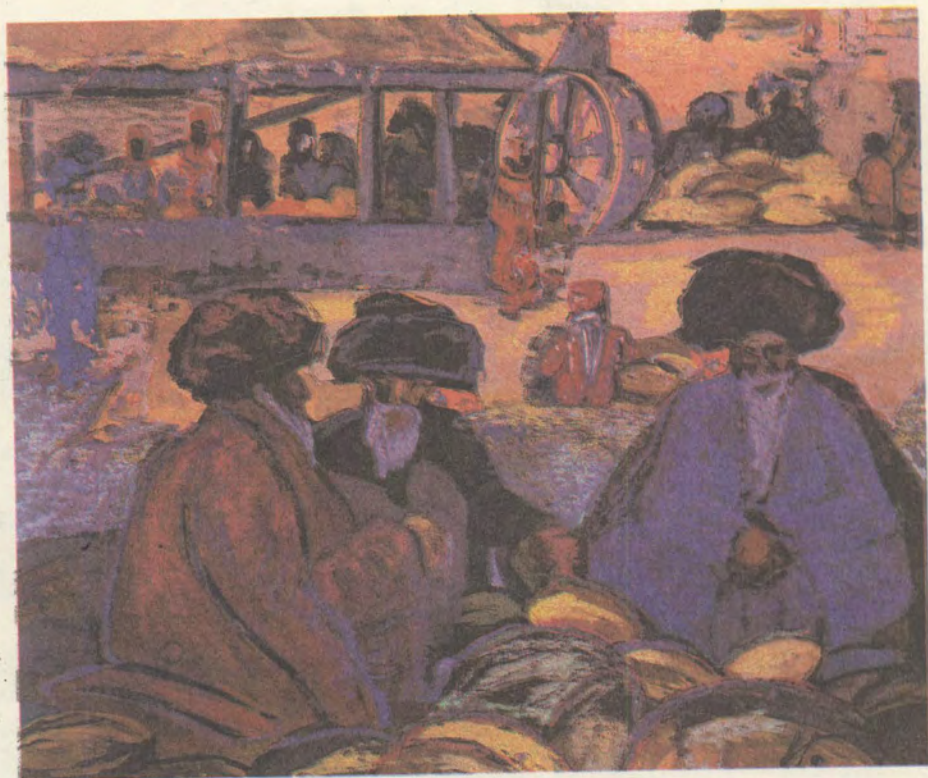


КАРШИ. Гостиница „Ленинград“

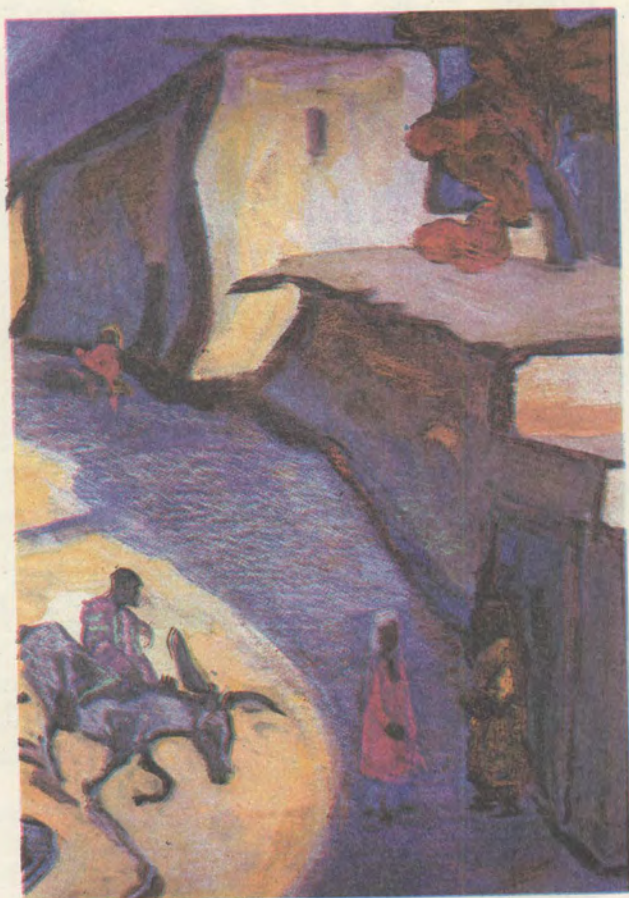


САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Чайхана в поселке Хумор

Из произведений Изольды Гартван



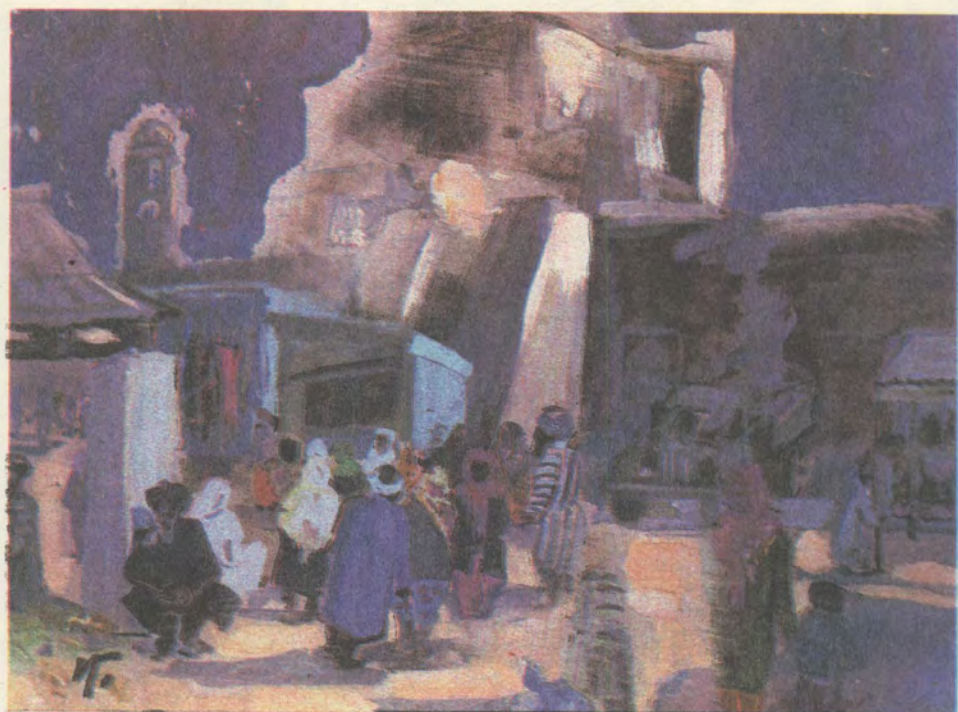
Хивинский базар



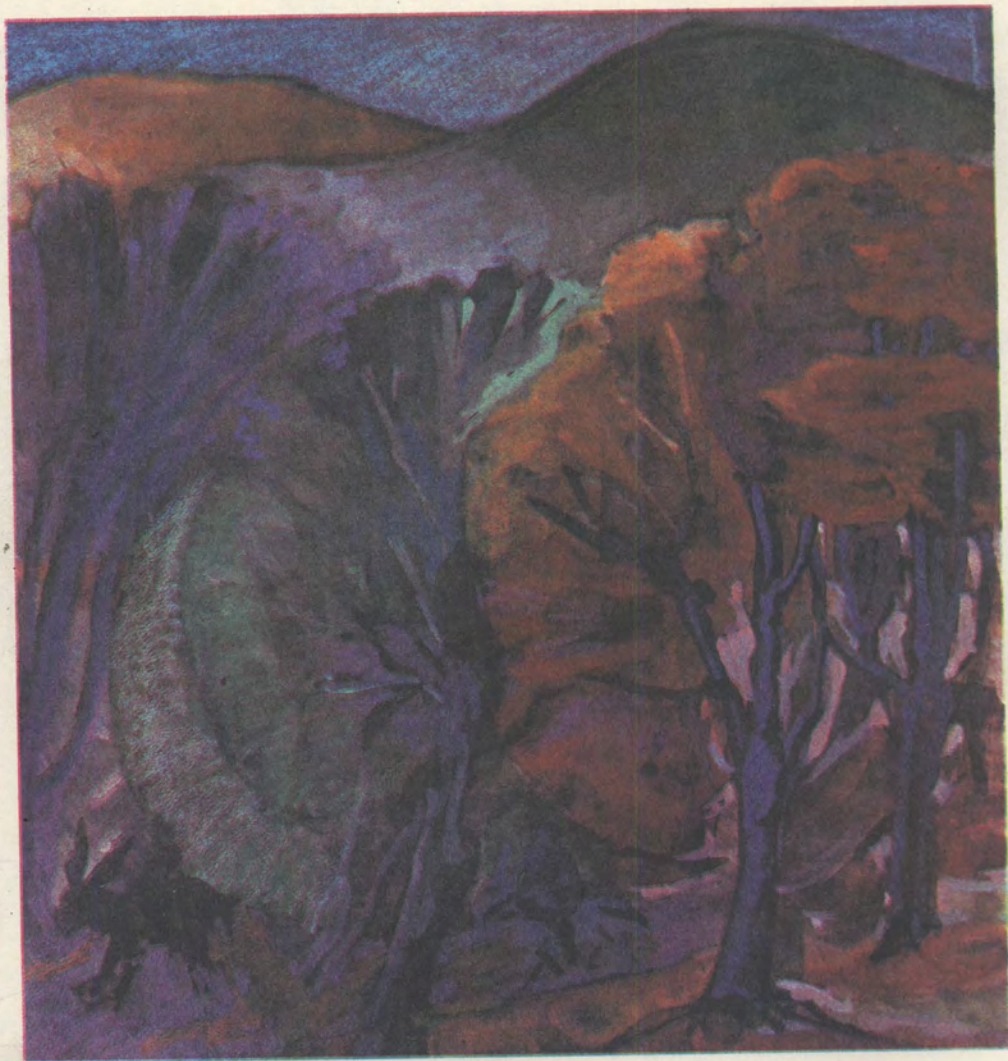
Ургут



Самаркандские козлики



Базар в Бухаре



Осенний мотив

Цена 1 рубль
Индекс 75273